95 коп. Индекс 73276

В 1990 году «НЕВА»

планирует опубликовать:

Алла Драбкина. «Грибники», повесть в новеллах

Владимир Дудинцев. «Между двумя романами». История жизни

Александр Житинский. Музыкальный роман

Роберт Конквест. «Большой террор», перевод с английского

Курцио Малапарте. «Капут», роман. Перевод с итальянского

Юрий Слепухин. «Час мужества», роман

Александр Солженицын. «Март семнадцатого», роман

Виктор Соснора. «Николай», историческое повествование

Лидия Чуковская. «Прочерк»

Письма **Федора Абрамова**, «Воспамятование об отцах» **Георгия Гачева**, главы из воспоминаний **Клауса Манна**

Над новыми произведениями для «Невы» работают: **Сергей Андреев, Андрей Битов, Борис Васильев, Даниил Гранин, Яков Гордин, Анатолий Злобин, Фазиль Искандер, Виктор Конецкий, Аркадий и Борис Стругацкие, Юрий Рытхэу, Михаил Чулаки**

Подписка на журнал принимается без ограничений



«Нева», 1989, № 8, 1—208

НЕВА 8/1989

ISSN 0130—741X

8/1989

В. КАВЕРИН
Эпилог
Главы из новой книги

Н. СЛАДКОВ
Мир иной
Рассказы

Нева

Ю. СЕМЕНОВ
Ненаписанные романы

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Н. КРЫЩУК
«Русский вопрос», или двести лет спустя



Из цикла «Ленинградские этюды» А. ПИНЧЕВСКОГО

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

8/1989

Выходит с апреля 1955 года



Ленинград «Художественная литература». Ленинградское отделение

СОДЕРЖАНИЕ

Старший технический редактор **Г. В. Александрова**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова**

Виталий
ДМИТРИЕВ

◆◆◆

Касались солнца спутанные ветки,
переплетались корни под скамьей,
и мы с тобой в тени живой беседки
парили между небом и землей,
средь ласточек, ныряющих в обрыв,
где по реке, сверкающей отвесно,
шел теплоход...

Припомнишь, как чудесен
был Волги ослепительный разлив,
и этот день опять начнет всплывать
из темной глубины, как райский остров.

Припомнишь и подумаешь — как просто
счастливым быть, но этого не знать.

◆◆◆

Ты знаешь, а время не шутит,
и многого нам не успеть:
зацепит, затянет, закрутит,—
сумеем ли вновь уцелеть?
И жить-то осталось немного.
И петь-то осталось чуть-чуть.
Все чудится лес и дорога,
с которой уже не свернуть.

И все-таки утром янтарным,
земли неоплатный должник,
в поклоне застыв благодарном,
целуя холодный родник,
забудешь последнее слово.
Но даже его не жалей,
любуясь разграбленным кровом:
и ржавчиной этой дубовой,
и золотом этим кленовым,
и черной листвой тополей —
не траурной, не погребальной,
а просто последней, прощальной,
летящей вслед жизни твоей.

◆◆◆

Тот чудак возле кромки прибоя
принимает за отзвук тоски
стоны чаек над темной водою,—
вот ведь, плачут почти по-людски.

Столько собственной боли и страсти
он вложил в этот жалобный крик,
что уже понимает отчасти
их нехитрый гортанный язык.

◆◆◆

Я когда-то и сам доверял
предсказаниям книг.
Распахнув наобум чьей-то жизни
разрозненный том,
закрывая глаза, упирался в страницу
перстом,
и чужая судьба совпадала с моею на миг.

Вроде глупость, игра,
подтасовка чистейшей воды,
словно блюдечко пальцем по кругу
толкать при свечах.

Сколько нами придумано всякой смешной
ерунды,
чтобы, с толку сбивая судьбу,
подловить в мелочах.

Словно ночью сквозь ветви,
любуясь проколом сквозным,
раздвигая дыханием чашу слепого цветка,
влажный запах вдыхая,
все мимо куда-то глядим.
Затеваем гаданье и держим разгадку
в руках.

Вениамин
КАВЕРИН



Рис. Д. Плаксина

1970—1988

Главы из книги

ПРЕДИСЛОВИЕ

Заранее должен предупредить, что эта книга написана в начале семидесятых годов, то есть в период так называемого «застоя». Господствующим ощущением, ставившим непреодолимые преграды развитию и экономики и культуры, был страх. Правда, это было не то чувство, какое мы испытывали в тридцатых—сороковых годах, когда страх был тесно связан с арестом, пытками, расстрелом, смертельной опасностью во всех ее проявлениях. Но это был прочно устоявшийся страх, как бы гордившийся своей стабильностью, сжимавшей в своей огромной лапе любую новую мысль, любую,

даже робкую попытку что-либо изменить. Это был страх, останавливающий руку писателя, кисть художника, открытие изобретателя, предложение экономиста.

Вот в такой-то атмосфере я и начал работать над «Эпилогом». Мне было семьдесят лет, и я надеялся, что судьба подарит мне счастливую возможность продолжать — и даже энергичнее, чем в молодости — любимую работу. Я решил подвести итоги — вот почему «Эпилог» ни в коем случае нельзя считать трудом, связанным с историей советской литературы. Этот труд тесно связан лишь с моей литературной историей. Это объективный рассказ о людях и отношениях, некогда меня поразивших. Возможно, что многое в нем необходимо уточнить, хотя основные факты подтверждены документами. Возможно также, что моя точка зрения на некоторые литературные события или на некоторых видных деятелей нашей литературы пристрастна. Я не прошу извинения за эти недостатки—они естественны. Напротив, я прошу как читателей, так и литературный круг отнестись к ним беспощадно. Может быть, благосклонная ко мне судьба даст мне время исправить мои ошибки.

15 марта 1988

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Засада

1

Кончая книгу «Освещенные окна», я не переставал сожалеть, что некоторые главы опущены по велению того «внутреннего редактора», о котором впервые написал, кажется, Твардовский. Лишь очень немногие читатели догадаются, что многолетний опыт помог мне придать книге законченный вид и скрыть эту неполноту, на которую я решился сознательно, понимая, что вполне откровенный рассказ о литературной жизни Ленинграда двадцатых годов был бы не пропущен редакцией и бросил бы опасную тень на всю трилогию в целом.

Между тем мне казалось существенно важным напечатать «Освещенные окна» — по причинам, которые касаются не только двадцатых годов, но и всей нашей литературы в целом. Опущенных глав — немного, но они придали бы бóльшую определенность политической атмосфере, о которой я почти не писал. Это умолчание было легко для меня. Литературные интересы всегда заслоняли от меня интересы политические, и это, кстати сказать, характерно для «опоязовцев», у которых я учился. Читая дневники Б. М. Эйхенбаума (хранящиеся в ЦГАЛИ) или переписку Ю. Тынянова с В. Шкловским (там же), невольно приходишь к мысли, что эти люди, всецело занятые перестройкой мирового литературоведения, были, в сущности, аполитичны. У них — это видно по письмам — не было основания бояться перлюстрации, достигшей в наши дни могущественного охвата — явление, глубоко исказившее, если не уничтожившее русскую эпистолярную литературу XX века.

Дневники Б. Эйхенбаума полны размышлений о борьбе нового направления против академической науки, отчетов о литературных спорах, кратких рассказов о значительных встречах. Об арестах — одна строка: «20 августа. В городе аресты (Лосский, Лапшин, Харитон, Волконысский, Замятин)». У старшего поколения «ОПОЯЗА» не было политического прошлого. Исключение составлял Шклонский: он в своей книге «Революция и фронт» рассказал, что был близок с видными представителями партии эсеров и энергично действовал как комиссар Временного правительства на Румынском фронте. Храбрый человек, он поднял батальон в атаку, был ранен. Генерал Корнилов лично наградил его Георгиевским крестом, и, хотя в этой необычайно интересной, написанной по живым следам книге не говорится о борьбе против большевиков, нетрудно представить себе, что в стороне от этой борьбы он не был. Книга кончалась пророчески: «Еще ничего не кончилось». Меру исторической незаконченности Революции тогда, в 1921 году, трудно было вообразить. Думаю, что и эту книгу, над которой я работаю в 1975-м, можно закончить такими же словами.

Как бы то ни было, после книги «Революция и фронт» Шкловский перестал интересоваться политикой. Со студенческих лет он занимался теорией литературы и теперь, на рубеже двадцатых годов, отдался ей, и безусловно. Знаменитый литератор, работавший в разных жанрах — научное исследование, полемическая статья, фельетон,— он был одной из самых заметных фигур литературного Петрограда. Блистательный оратор, острый полемист, он славился редкой находчивостью и едким остроумием.

Итак, политическая деятельность осталась позади, и, выпустив книгу, в которой были подведены итоги, он считал, что вправе забыть о советской власти. Но она о нем не забыла.

2

О том, что весной 1922 года в Москве готовится процесс эсеров, на котором должны были расправиться с виднейшими деятелями этой партии, мы не знали; он, очевидно, знал или догадывался. Иначе, подойдя однажды вечером к Дому искусств с саночками, на которых лежали дрова, и увидев в окнах своей комнаты свет, он не спросил бы Ефима Егоровича:

— А что, Ефим, нет ли у меня кого-нибудь?

Единственный из оставшихся в доме елисеевских слуг, маленький, сухонький, молчаливый, с желтой бородкой на худом лице, Ефим Егорович относился к новым обитателям дома с симпатией.

— А вот, пожалуй, что и есть,— ответил он.— У вас, Виктор Борисыч, гости.

Дрова, лежавшие на саночках, предназначались родителям Шкловского. Очевидно, прежде всего он доставил их по назначению. Не знаю, где он провел ночь. Вечером следующего дня он появился у нас, в квартире Тынянова, слегка напряженный, но ничуть не испуганный. Почти такой же, как всегда, не очень веселый, но способный говорить не только о том, что чекисты ищут его по всему Петрограду, но и о стиховых формах Некрасова, которыми тогда занимался Юрий.

Иногда напряжение прорывалось.

Мы были не одни. У Тынянова сидел некто Вася К., пскович, учившийся почти одновременно с Юрием в псковской гимназии. Он был из дальних знакомых; в семье моих родителей, да и в тыняновской, его не любили. К нам он зашел в этот вечер по делу: он открыл в Пскове маленькую книжную лавку, но превращаться в «частника», как тогда называли нэпманов, ему не хотелось, и он надеялся, что ему удастся оформить свое предприятие под маркой «ОПОЯЗА».

Юрий нехотя познакомил его с Виктором. Через пять минут этот Вася К. был, как теперь принято выражаться, «в курсе дела». Тем поразительнее показалось мне, что в доме, который был проникнут не высказанным, но всеми нами остро подразумеваемым желанием спасти Виктора от ареста, этот вежливый, красивый, хорошо воспитанный человек заговорил (хотя и с оттенком осторожности) о своих торговых расчетах. «ОПОЯЗ» выпускал сборники, которые немедленно раскупались, и К., упомянув об этом, неловко воспользовался словом «благополучие».

— Все мое благополучие заключается в этой чашке чая,— с опасно разгладившимся от бешенства лицом рявкнул Виктор.

Улыбка застыла на побледневшем лице Васи К. Он что-то пролепетал, и разговор прекратился. И даже не прекратился, а перешел в преднамеренно затянувшуюся паузу, которую нельзя было понять иначе, как наше общее желание, чтобы Вася К. немедленно удалился. Он понял. Протянуть руку Виктору он не решился.

Когда дверь закрылась, Юрий сказал о нем два слова, которые я, к сожалению, забыл. Но запомнилось впечатление, что они в полной мере исчерпали психологическую сущность Васи.

Я сказал, что Шкловский был в этот вечер почти таким, как всегда. Таким, да и не таким! Впервые я видел его в «деле» — это военное выражение вполне подходит к тому состоянию, в котором он находился. Бежать. Но куда? И как?

Скрыться немедленно, засесть где-нибудь в потайном месте, в подполье, он не намеревался. Надо было подготовить побег, а это требовало открытого присутствия в городе, причем не только ночью, но и днем. Впрочем, подобный ошеломляющий образ действий был в тот вечер, кажется, еще неясен ему.

Мы условились: если оконная занавеска в тыняновской спальне завязана узлом — все благополучно, можно зайти. Если нет — засада. Нужно было переодеться, и он ушел в моем осеннем пальто и чьей-то, кажется Льва Николаевича, шапке. Простились, как всегда: просто пожали друг другу руки. Все волновались. Но происходившее, которое попахивало смертельной опасностью, было значительнее любой аффектации, любого лишнего жеста.

На другой день я, как всегда, пошел в Институт восточных языков, но занимался плохо, хотя давно ждал перевода и толкования вдохновившей Пушкина суры Корана. Мне было не до Корана. Я ушел, не дождавшись Бартольда, хотя никогда не пропускал его лекций.

Возвращаясь по Невскому, я зашел к Мише Слонимскому в Дом искусств и нашел его похудевшим, помрачневшим. Он уже знал, что Виктора ищут. Мы поговорили о возможности побега, но он только рукой махнул.

— Схватят. Не сегодня, так завтра.

Мы вышли, он должен был зайти в типографию, где-то на Песках. Там печатался наш альманах «Серапионовы братья». Вероятно, агент шел за нами от Дома искусств и видел, как, остановившись у ворот на Греческом, я показал Слонимскому, где квартира Тыняновых,— он давно собирался заглянуть к Юрию. Завязанная узлом занавеска была хорошо видна с улицы. Мише я о ней не сказал. Мы простились.

Лев Николаевич и Юрий были на работе, Лена хозяйничала, Лидочка занималась, а с Ияночкой играл мой друг с гимназических лет Толя Р., левый эсер, успевший за два года посидеть и в Бутырках, и на Гороховой, 2, и лишь недавно, по ходатайству Юрия, выпущенный на волю. Прошло минут десять, прозвенел колокольчик над кухонной дверью, и вошел незнакомый, плотный, среднего роста человек, опрятный, с обыкновенной внешностью, однако чем-то напомнивший мне того сыщика-альбиноса, который при белых обыскивал квартиру Гординых в Пскове. Из кухни он почти пробежал коридор, заглянул в столовую, потом, вернувшись,— в спальню, ничего не ответив на вопросительные взгляды Лены. Он показал ей свою карточку, но и без карточки яснее ясного было, кто он такой и с какой целью явился.

— Документы,— спокойно сказал он Толе и мне.

Лена с неосторожной поспешностью стала развязывать занавеску. Он остановил ее.

— Оставьте как было.

Я показал свою трудовую книжку, а Толя, к моему удивлению, билет члена партии левых эсеров.

— Вам известно, что легальная деятельность нашей партии разрешена? — спросил он.

Чекист молча усмехнулся, вернул билет. Без сомнения, он прекрасно знал, что эта легальная деятельность была снова запрещена, тому назад с полгода.

Он предупредил Лену, что все, приходящие в квартиру, будут задержаны, а когда Лена спросила: «Надолго?» — ответил: «Смотря по обстоятельствам».

Телефон у Тыняновых тогда еще не работал, и, выяснив это, чекист куда-то ушел — ненадолго, минут на десять, внушительно запретив нам выходить из квартиры. Потом вернулся и началось ожидание. Он ходил по кухне, поглядывал в окно и курил, не обращая внимания на нас. Я думал, что начнется обыск. Нет. Ни обитатели квартиры, ни случайно подвернувшийся левый эсер не интересовали его. Кстати, я спросил Толю, почему он показал свой билет, и он ответил сдержанно:

— Так лучше. Меня знают.

Напряжение первых минут засады прошло, захотелось есть. Полчаса назад это желание показалось бы странным. Мы пообедали. Заходить в кухню не хотелось, но мы заходили. Чекист сидел у окна, курил, зажигая одну папиросу от другой. Я почему-то старался показать ему, что мы ничуть не встревожены. Это был страх. Спокойнее всех держался Толя. Бутырки и Гороховая не прошли для него даром.

3

День был уже в разгаре, шел третий час, когда чекист, потеряв терпение, снова побежал звонить по телефону. Случилось, что как раз в эту минуту Лена, относившая на кухню грязную посуду, увидела через окно, что к нам идет Давид Выгодский, известный испанист, историк литературы и переводчик, тот самый, о котором Мандельштам написал:

Как закорючка азбуки
еврейской...

— с необычайной точностью изобразив внешность этого доброго, умного, но, может быть, не очень смелого человека. Смелой и сметливой показала себя как раз Лена: осторожно, бесшумно приоткрыв дверь, она дождалась, когда Выгодский показался на лестнице и махнула ему рукой. Очевидно, жест был достаточно выразительный: испанист немедленно повернулся, спустился вниз на цыпочках и исчез.

После этой счастливой случайности можно было, кажется, не опасаться, что Виктор попадет в засаду. Выгодский мог предупредить не только его, но и всех друзей Юрия — и в литературных кругах, и в Коминтерне, где Юрий служил переводчиком французского отдела. Почему он этого не сделал, осталось загадкой.

Наконец, чекиста сменили двое других. Он был сдержанно-вежлив. Эти сразу стали вести себя, как хозяева квартиры. Проверив надежность закрытого и заваленного старой мебелью парадного хода, они притащили из комнаты Льва Николаевича кресла, уселись и стали, ссорясь, обсуждать какое-то несправедливое, по их мнению, назначение. У них были свои заботы, своя жизнь, и меня поразила разнонаправленность этих забот в сравнении с теми, которые тревожили нас. Они, ругая какого-то Лешку Свиридова, почти машинально занимались своим делом, заключавшимся в аресте имярека, досадуя лишь на то, что это нельзя сделать немедленно, а мы остро, болезненно волновались, думая о том, что пройдет еще час или два, и друг, занявший в нашей жизни такое неоценимое место, будет схвачен на наших глазах.

Лена предупредила чекистов, что вскоре вернутся с работы хозяин дома и его брат, и все же, когда прозвенел колокольчик и вошел Юрий, они воинственно бросились к нему. Он сразу понял, что случилось, вспыхнул, но удержался и позволил обыскать

себя с нескрываемым негодованием. Впрочем, они только снаружи похлопали по карманам пальто и небрежно заглянули в его портфель. Очевидно, искали оружие. Это было при мне, и я, наконец, разглядел их. У одного, постарше, с короткими руками и ногами, было страшноватое лицо — мелькало что-то решительное, зверское. Второй был узкоплечий, серый, с бегающими глазами.

Лев Николаевич пришел через полчаса. Когда его обыскивали, он сказал весело: «Бомба!», а потом любезно опустошил свой портфель, выложив на стол чью-то историю болезни, стетоскоп и молоточек. Разумеется, он сразу понял, кого ждут чекисты, но, вопреки трагичности положения, перед ним, очевидно, мелькнуло что-то комическое. Когда Лена кормила его и Юрия, он, посмеиваясь, сказал, что сегодня ждет приятеля, Льва Эммануиловича Шкловского. Мы знали его. Из многочисленных Шкловских, рассеянных по всему земному шару, меньше всех был похож на Виктора Шкловского, без сомнения, этот военный врач, статный, высокий, красивый, с чуть седеющей шевелюрой, подтянутый, радушно-уверенный, с твердой осанкой.

— Как же быть? — спросила Лидочка, которая время от времени задавала неожиданные вопросы.

— Разберутся,— спокойно ответил Лев Николаевич, пообедав и отправляясь в свою комнату, где он немедленно снял сапоги, лег на диван и уснул. Шел уже седьмой час.

— А в семь собирался зайти Варшавер,— сказал Юрий.

Это был его сослуживец, аккуратный, чистенький, маленький, с розовыми щечками. Юрий говорил, что он даже думает по-французски.

Но когда ровно в семь прозвенел колокольчик, оказалось, что это не Варшавер, а нищий. Старший чекист даже плюнул с досады, но младший подозрительно сощурился — уж не заподозрил ли, что это — загримированный Шкловский?

Нищий был большой, рыжий, без шапки, с холщовой сумкой через плечо, в оборванном армяке и опорках. Он хотел было остаться в кухне, но кухня как главный наблюдательный пункт была оккупирована чекистами, и они проводили его в столовую. С трудом уяснив себе положение, в котором он оказался, нищий снял суму и смиренно уселся в уголке: он был доволен. Пожалуй, он был единственным посетителем тыняновской квартиры, который считал, что ему повезло. Впоследствии он попытался проповедовать слово Божие, но, убедившись, что находится в кругу убежденных атеистов, замолчал, положив руки на колени и поглядывая вокруг. От него шел крепкий, не неприятный мужицкий запах пыли, дороги.

Варшавер пришел вслед за ним и смертельно испугался, когда чекисты накинулись на него, едва он переступил порог. Заглянув в кухню, Юрий сказал ему несколько слов, и он сразу же успокоился. Портфель его был туго набит книгами и бумагами. На одной из них нашлась успокоившая чекистов печать Коминтерна.

Теперь стало ясно, что в ближайшие часы или даже минуты надо ждать новых посетителей, которые будут приходить и оставаться в квартире на неопределенное время: Толя Р. сказал, что, беспокоясь о нем, может явиться младший брат, студент Военно-медицинской академии Захарий, которого у Тыняновых звали просто Заяц или даже Зайка.

— А может быть, и еще кто-нибудь,— прибавил Толя, застенчиво и одновременно загадочно улыбнувшись.

Успокоившись, улыбающийся Варшавер, поговорив с Юрием по делу, ради которого он зашел, рассказал о сенсационном выступлении Клары Цеткин на съезде французской компартии в Туре, а потом заметил, что вскоре за ним, очевидно, прибежит жена, потому что он обещал ей вернуться к обеду.

И она действительно прибежала, высокая, полная, едва ли не вдвое выше мужа, взволнованная, в шляпке, которая еле держалась на пышных волосах.

Не обратив никакого внимания на ошеломленных чекистов, она ринулась в столовую и, едва поздоровавшись с нами, крикнула мужу:

— Ты что сидишь? У меня все сгорело!

— Спокойно, спокойно,— ответил он, улыбаясь.— Придется и тебе посидеть! Ничего не поделаешь.

— Да ты в уме?

Чекисты, сообразившие, что влетевшая дама едва ли могла оказаться Шкловским, все же пришли в столовую, потребовали документы, и Варшавер предложил немедленно сбегать за ними.

— Мы живем очень близко,— сказал он.— Я вернусь через десять минут.

Лишь теперь его бедная, растерянно хлопавшая глазами жена сообразила, в чем дело. Она села, сдернула шляпку и сказала:

— Боже мой, у меня горит примус!..

Теперь в квартире было десять человек: Юрий, Лена, пятилетняя Инна, Лидочка, Варшавер, его жена, домашняя работница Варька, молоденькая, веснушчатая, плотненькая, называвшая чекистов «дядьками», Толя, нищий и я. Примус (на котором, как с горечью сообщила нам пышноволосая супруга Варшавера, стояла сковородка с маисовыми лепешками, жарившимися на драгоценном американском сале, полученном из АРА) напомнил о том, что наш продовольственный запас весьма ограничен. Лев Николаевич, как человек хорошо выспавшийся и военный, был направлен в кухню, чтобы обсудить этот важный вопрос. Вернувшись, он сказал кратко:

— Завтра привезут.

...Никогда еще, кажется, не ползла так медленно часовая стрелка. Наконец, пробило десять, и мы вздохнули с облегчением: едва ли Виктор мог прийти так поздно. Тревожные взгляды — от часов к небрежно завязанной оконной занавеске — прекратились. Стемнело, и Лена нарочно не зажигала света в спальне — на темном фоне узел был почти не виден. Пора было устраиваться на ночь, и хозяева сразу же оказались в тупике перед множеством практических задач, решить которые было невозможно. Положим, нищий мог остаться на своем стуле, он давно дремал, опустив свою большую рыжую голову. Это был какой-то не совсем обыкновенный нищий, а точно сошедший со страниц известной книги С. В. Максимова «Бродячая Русь Христа ради». Собирал он на «черкву» — произношение указывало, что он родом с Верхней Волги, как выяснилось, из Торжка. Впоследствии я пожалел, что не поговорил с ним: собирать на «черкву» в 1921 году было необыкновенным занятием.

Мы с Толькой могли провести ночь, лежа валетом на моей постели. Но что было делать с Варшаверами, почтенной четой, давно разговаривавшей между собой с помощью кошки?

Кошка лежала на коленях у маленького переводчика и, ласково гладя ее, он говорил что-то жене по-французски. Мог бы говорить и по-русски, чекисты давно спали, отлично устроившись в креслах. Впрочем, и не владея французским, нетрудно было понять, что, лаская кошку, Варшавер успокаивает свою расшумевшуюся к ночи жену. Потом, деликатные люди, они стали уговаривать Тыняновых не беспокоиться о ночлеге. Однако, когда Лидочка уступила им свой диван, они немедленно улеглись и, как по команде, захрапели, он — с легким подсвистыванием, тактично, она — помужски, с грубыми подвертками и басовитой трелью.

Мы с Толей тоже легли, но не валетом, а рядом и долго разговаривали, спать не хотелось. Мне странно было, что когда зимой, по доносу управдома, ко мне явились с обыском и взяли подписку о невыезде, я почти не волновался. А теперь не только волновался, но чувствовал непреоборимый страх, который приходилось скрывать. Скрыл я его и от Тольки — мы говорили совсем о другом.

Шепотом, чтобы не разбудить Тыняновых (и Лидочку, пристроившуюся между ними), я страстно доказывал Тольке, что политический арест — преступление, и что, если бы левые эсеры добрались до власти, они действовали бы еще более бесчеловечно. Он слушал терпеливо, потом вдруг всхрапнул. Я с бешенством толкнул его, он засмеялся.

— Боюсь, что у нас еще будет немало времени, чтобы обсудить этот вопрос,— сказал он и лег валетом.

Уснул, а я так и не сомкнул глаз до рассвета...

4

Утро открылось радостным криком Варьки:

— Привезли!

И действительно, в кухне послышались голоса, движение, через несколько минут чекисты вызвали Лену и вручили ей суточный паек на десять человек — хлеб и крупу.

Кроме Льва Николаевича, все встали невыспавшиеся, с бледными, помятыми лицами, точно съели какую-то гадость, отравились и все-таки сегодня тоже должны есть эту гадость.

Толя ждал брата, и Заяц действительно пришел — чистенький, в военной форме, бравый и ничуть не удивившийся, когда его встретили чекисты.

— Понятно,— сказал он заглянувшему в кухню Толе. Это было его любимое словечко.

Братья были похожи и непохожи. Толя, с его сизыми, не поддающимися бритью щеками, казался старше своих лет, Заяц — моложе. Ему только минуло восемнадцать, он был розовый, светленький, с едва заметным белым пушком в тех местах, где растут борода и усы, и казалось странным, что и месяца не прошло с тех пор, как он участвовал в наступлении на восставший Кронштадт. Вернувшись, он трогательно пожалел, что я не был рядом с ним, когда он шел по тонкому льду под артиллерийским огнем.

— Тебе было бы интересно,— сказал он.

Чекисты проверили его документы, и, войдя в знакомую тыняновскую столовую, теперь напоминавшую бивак, он не мог удержаться от улыбки. Особенно позабавил его нищий, удобно устроившийся на своем стуле и, по всей видимости, глубоко благодарный судьбе, пославшей нежданно-негаданно ему пищу и кров.

...С каждым часом мы убеждались в том, что Виктор засел где-нибудь, а может быть, и скрылся из Петрограда. Ведь иначе засада была бы снята. Но при взгляде на проклятую, завязанную узлом занавеску, сердце все-таки сжималось: на догадливость и энергию Выгодского, по-видимому, не было надежды.

Но вот в десять часов вновь бодренько забренчал колокольчик, и чекисты, хватаясь за свои пистолеты, кинулись к дверям. Вошел почтальон, почтенный, сухонький, с седой бородкой клинышком, в форменной старорежимной, сильно потертой шинели. Разумно было бы, без сомнений, отпустить его, взяв письма, тем более, что ему и в голову не пришло, в какую он попал переделку. Ничуть не бывало! Вместе со своей туго набитой сумкой он был препровожден в столовую и встречен общим смехом. Одно из писем, помнится, было от Федина: как редактор журнала «Книга и Революция» он просил Юрия написать рецензию на какую-то только что появившуюся книгу.

Казалось бы, время, которое было, в сущности, главным героем этой истории, должно было, как ему и полагалось, делиться на часы и минуты. Между тем оно как-то сминалось, тасовалось. В поэме Пастернака «Лейтенант Шмидт» есть строки, похожие на то, о чем я хочу рассказать:

Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спахтан!
Эти лица, и в толпе — свои!
Эти бабы, плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осади!

Так «спахтан» был второй день нашего тревожного ожидания. Впрочем, только первая половина. После обеда явилась та, о которой Толя сказал загадочно:

— А может быть, и еще кто-нибудь...

Это была Лиза Т., о которой рассказывал мне с восхищением Толя. В подобных делах между нами не было тайн, и тогда, в наших разговорах, передо мной впервые открылась возможность таких откровений в любви, о которых я до сих пор не имел никакого понятия. Лизу Т. смело можно было назвать красавицей, хотя при ее стройности, высоком росте, гордой посадке головы в ней было что-то подчеркнутое, но не искусственное, а от природы. Слишком густые брови, чуть припухший большой рот, завязанные на затылке волосы, небрежно и пышно. В лице, чувственном и смелом, было что-то хлещущее через край.

К Тыняновым она пришла, потому что знала, что Толя бывает у меня очень часто. Соскучилась? Беспокоилась? Об этом трудно было судить. Он вспыхнул от радости, она поздоровалась с ним беспечно, небрежно.

Что-то изменилось в нашем биваке с ее появлением. Казалось, она не только не досадовала на обстоятельства, в которых невольно оказалась, но встретила их с восхищением. Теперь о втором дне засады нельзя было сказать, что он, «как масло, спахтан». К тревожному ожиданию, в глубине которого проглядывалась завязанная занавеска, присоединилась общая заинтересованность этой молодой хорошенькой женщиной, сразу оживившей своим смехом и непринужденной болтовней собрание притихших, слегка подавленных интеллигентов.

Толя так и сиял. Его добрые серые глаза смеялись. На небритых, всегда бледных щеках проступил румянец. Без сомнения, он от души удивился бы, если бы ему напомнили, что, как левый эсер, он находится в особенно опасном положении. Кроме дремавших в кухне чекистов, он был готов обнять весь мир. Свое положение он находил не опасным, а прекрасным. Он видел, что мы с Зайцем молчаливо не одобряем его, но плевать он хотел на наше неодобрение! Когда Юрий как бы между прочим высказал опасение, чтобы красавица не выкинула какой-нибудь номер, он радостно засмеялся.

Считая эту девушку, которая как легкая, смелая птица залетела в случайную западню, нас было теперь тринадцать человек. Чекисты время от времени пересчитывали нас, и Инна, принимая все происходившее как забавную игру, напоминала нам, что они каждый раз забывали о кошке.

Пообедали — и выяснилось, что ужинать не придется. На этот раз к чекистам как представитель господствующей партии был послан Заяц (в ту пору еще странной показалась бы мысль, что он должен отвечать за своего порочного брата). На этот раз разговор продолжался довольно долго. Однако, вернувшись, Заяц повторил то, что накануне сказал Лев Николаевич:

— Завтра привезут.

В ответ все заговорили разом.

— Как, завтра? Да что они, с ума спятили? Стало быть, сегодня голодать? Мы протестуем!..

Крики донеслись до кухни, старший чекист показался в дверях, и на него немедленно навалилась пышная жена Варшавера:

— Из-за вас у меня, может быть, давно сгорела квартира! Я подам на вас в суд! Мой муж служит в Коминтерне! Он будет жаловаться лично Зиновьеву!

Она шумно дышала, высокая грудь так и ходила ходуном, ноздри раздувались. Муж пытался удержать ее, она сделала легкое движение рукой, и он, как мотылек, отлетел от нее.

— Вы не имеете права морить людей голодом! Зиновьев без него вообще как без рук! Он лично расскажет об этом безобразии Марселю Кашену...

Возможно, что знаменитые имена отрезвляюще подействовали на чекистов. Послышалось кряканье дверного крючка, один из них вышел — и через полчаса вернулся. Заяц отправился на разведку.

— Привезут сегодня,— сообщил он.

Все успокоились, то есть вернулись к прежнему томительному ничегонеделанию и тревожному ожиданию.

5

Впрочем, томился, кажется, больше всех я. И не только томился — был подавлен, не находил себе места. Это состояние (унизительное, потому что мне приходилось еще и скрывать его) удвоилось, когда Толя, уединившись со мной на парадной лестнице, сказал, что Лиза хочет удрать.

— Дело в том,— сказал он загадочно,— что попасть в Чека она просто не имеет права.

И он понес какую-то околесицу, из которой не без труда можно было понять, что Лиза связана с меньшевиками.

Чекисты не интересовались людьми, случайно попавшими в засаду, и ничто, мне казалось, не угрожало Лизе, тем более, что в ту пору видные меньшевики еще работали в советских учреждениях. Но, может быть, Толя был прав, и у нее все-таки были серьезные основания опасаться ареста. Я знал историю их отношений. Впервые он увидел Лизу в тюрьме, на Гороховой или на Шпалерной. Увидел и влюбился — да так, как только один он, кажется, умел — до беспамятства, до полного исчезновения всех других чувств, кроме ослепительного чувства счастья. Не знаю, как ему удалось переслать Лизе свои стихи — но удалось, и ответ был, по его словам, остроумный, прелестный. Завязалась переписка, в тюрьме, с помощью сочувствующей охраны — теперь это уже вообразить почти невозможно.

Лизу выпустили месяцем раньше, но они, разумеется, уже успели обменяться адресами.

Потом вышел Толя, и вот первое, что он сделал: забросил свой сундучок на Староневский (где он жил у своего дяди, известного доктора Брамсона) и, не переодеваясь, не побрившись, кинулся к Лизе, благо она жила на Песках, недалеко. Лиза сама открыла ему — и ведь с первого взгляда узнала своего корреспондента. Они обнялись («Ох, что это был за поцелуй!» — простонал, рассказывая мне об этой встрече, Толька), и, оттолкнув его, она захлопнула двери...

Словом, она уже была однажды арестована. Может быть, ей действительно надо было удрать — и, возможно, скорее? Или она просто соскучилась в засаде, где ею вскоре перестали интересоваться, потому что в этой атмосфере тревожного ожидания и вынужденного безделья было не до красавиц?

Так или иначе, ошалевший, метавшийся, готовый на все с первой минуты ее появления, Толя без колебаний поддержал опасную затею — и немедленно принялся за дело.

К моему удивлению, он уговорил брата помочь — надо было выманить из кухни одного из чекистов. Все остальное Лиза брала на себя.

Никто, кроме меня, не был посвящен в этот план, и никто не удивился, когда Заяц, предложив чекисту покурить, стал прогуливаться с ним по коридору. Этот довольно длинный коридор заворачивал к парадной лестнице и, очевидно, Лиза проскользнула в кухню, когда они исчезли за углом.

Случайным свидетелем того, что произошло в ближайшие две-три минуты, был только я. Моя комната была прямо напротив кухни, обе двери открыты, и с блеском разыгранная сцена произошла на моих глазах. Сперва Лиза стала уговаривать чекиста — того, что был помоложе, с бегающими глазами:

— У меня тяжело больна мать, она была при смерти, когда я уходила. Мы живем рядом, на Третьей Советской, я вернусь через четверть часа! Клянусь!

Она задыхалась от слез, ломала руки.

— Боже мой, она умрет без меня. Воды! — закричала она так громко, что чекист невольно шарахнулся в сторону.— Воды!

И, рванув на себе блузку, она во весь рост хлопнулась на пол. Чекист окаменел — впрочем, на одно мгновение — и со всех ног кинулся за своим товарищем.

— Степан! Степан!

Но когда спустя полминуты он вместе со Степаном ворвался в кухню, она была пуста. Не сговариваясь, они кинулись вниз по лестнице и через несколько минут верну-

лись расстроенные, обескураженные: не догнали. Впоследствии оказалось, что и не могли догнать. Лиза побежала не вниз, а вверх по лестнице и, переждав на площадке последнего этажа минут десять-пятнадцать, спокойно ушла.

И в квартире наступило молчание. Молчали, сидя в кухне, чекисты, молчали, запершись в спальне, Тыняновы, молчали рассыпавшиеся по квартире их невольные гости. Одна и та же мысль была написана на всех лицах: «Ну, теперь начнется!» Нищий перекрестился, почтальон плюнул с досадой — очевидно, успел втянуться в государственные интересы и сердился на нерасторопность чекистов.

6

Но ничего не началось. Прошло минут двадцать, чекисты появились в столовой, и с первого взгляда стало ясно, что они напуганы не меньше, чем мы. Я уже упоминал, что время от времени они пересчитывали нас, не интересуясь ни профессией, ни фамилией. Для них важно было *наличие*, а теперь в *наличии* одной единицей стало меньше, и это, в сущности, сводило на нет всю целесообразность засады. Ведь сбежавшая единица могла предупредить Шкловского (а что, если именно с этой целью был устроен побег?). Кстати, подумал об этом и я — у Тольки был конспиративный опыт, и подобную возможность он, казалось, мог бы предусмотреть. Но он только отрицательно покачал головой.

У него было прекрасное настроение, серые добрые глаза сияли, смеялись. Посвистывая, он бродил из комнаты в комнату, рассеянный, неопределенно улыбающийся и, без сомнения, прочно забывший о том, что он — заметный левый эсер, попавший в засаду.

Между тем чекисты снова принялись пересчитывать нас, но уже совершенно иначе, чем прежде,— повежливее, помягче. В самом деле, они недосмотрели, промазали, упустили. Что, если кто-нибудь — хотя бы этот парнишка из Военно-медицинской академии — большевик! — возьмет да и доложит начальству? Они были напуганы так же, как и мы — и это, как ни странно, в чем-то даже сблизило нас. Теперь за повелительным обликом, соответствующим их беззаконному праву распоряжаться нами, проступило нечто обыкновенное, человеческое: и невозможность попросить нас, чтобы мы сохранили в тайне от начальства эту неприятную историю, и растерянность, которую они неумело скрывали.

Вяло встретили они сапожника, который принес Тыняновым починенную обувь, и лишь ненадолго оживились, когда в кухню вошел тоненький, в длинном черном пальто, как будто нарисованный одной узкой карандашной линией, Игнатий Игнатьевич Бернштейн, молодой, но отважный руководитель издательства «Картонный домик», которое выпустило известный сборник воспоминаний о Блоке и вскоре рухнуло, как картонный домик. То, что он рассказал, оправившись от легкого потрясения, огорчило нас: Выгодский никого не предупредил.

Впоследствии, когда история была позади, Юрий с блеском изображал, как Давид на цыпочках спускается по лестнице; с каждым шагом уменьшаясь в росте, бесшумно пересекает своими маленькими лапками двор, а за воротами растворяется в воздухе, тает. Мы хохотали. Но в те дни было не до смеха.

К вечеру приободрились — с каждым часом становилось все яснее, что Виктор не придет. Догадался? Теперь каждого нового посетителя встречали, с трудом удерживаясь (а то и не удерживаясь) от смеха. Пришла портниха и, ненадолго расстроившись, уединилась в спальне с хозяйкой дома. Примерялась новая юбка — событие, глубоко заинтересовавшее всех женщин, а их к концу второго дня собралось немало!

Впрочем, и мужчины, соскучившись, занялись — кто делом, а кто — бездельем. Заяц играл в шахматы с Бернштейном, Юрий что-то писал. Нищий, обманутый старорежимной внешностью почтальона, пытался убедить его в непреложности своих религиозных воззрений и встретил неожиданное сопротивление. Почтальон не только не поверил слухам о пророке Данииле, который предсказал, что через сто пять дней закончится «смута и скверна», но возразил, что это — «поповское словоблудие».

Варшавер интересно рассказал о том, как один из его знакомых в феврале 1919 года оказался в одной камере с Блоком на Гороховой, 2. Накануне Блок провел в приемной следователя бессонную ночь, дожидаясь допроса. Его подозревали в тесной связи с левыми эсерами. Он ответил лаконично, что в партии не состоял, но в изданиях партии печатался неоднократно.

Три разговора запомнились Варшаверу: первый касался работы Блока в Верховной следственной комиссии при Временном правительстве. Он взялся за эту работу, пытаясь убедить себя, что в старом укладе были черты «неисчерпанности», и убедился в обратном. «Тень от тени» — сказал он о самодержавном режиме. Два других разговора — и это было самое интересное — касались опасности шигалевщины — пророческой теории, которую излагает один из героев Достоевского в «Бесах». «Он (Шигалев) предлагает, в виде конечного разрешения вопроса,— разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать... Как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку...» Так излагает теорию Шигалева хромой преподаватель гимназии, «очень ядовитый и замечательно тщеславный человек». Петр Верховенский делает практический вывод: «Кричат: „Сто миллионов голов“,—это, может быть, еще и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов?» («Бесы», 1974, стр. 312—315).

В камере на Гороховой можно было встретить и спекулянтов, и взяточников, и убийцу, и генерала, два дня тому назад назначенного начальником всей артиллерии одной из действующих армий, и эсеров, правых и левых, и солдат, и матросов. Бывший кавалерист С., прославившийся на войне своей храбростью, не находил ничего удивительного в том, что в тюрьме оказался и он, о подвигах которого в свое время говорила вся Россия, и Блок, написавший «Двенадцать».

— Социализм стремится к полному равенству,— сказал он,— а всякий признак превосходства — все равно, духовного или материального,— неизбежно будет отсекаться, потому что по самой своей природе враждебен подавляющему большинству...

— Шигалевщина бродит в умах,— заметил Блок, когда разговор оборвался. И он на память процитировал Петра Верховенского: «Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями».

Разговор возобновился, когда к Блоку подсел молодой человек, еще недавно лицеист, попытавшийся доказать, что беда интеллигенции заключается в том, что она всегда стремилась опуститься до уровня маленького человека, а не возвысить его до себя.

— Нас погубила уверенность в том, что без нас обойтись невозможно. Ошибка! Можно. И очень скоро окажется, что не только можно, но и должно.

— Да,— ответил Блок.— Если шигалевщина победит.

— А вы думаете, она еще не победила? — спросил лицеист.

Любопытно, что в третий раз к этой теме вернулся генерал, который был убежден в том, что он арестован по ошибке, и уверенно ждал освобождения. Когда Блока увели на допрос, он прямо объявил, что если бы не поэты и писатели, «никогда бы не произошло то, что случилось». У генерала была своя, генеральская шигалевщина. Он думал, что в конце концов «башмак обомнется по ноге». Если государству без армии не обойтись, стало быть, оно не обойдется и без генералов. Великая держава не может существовать без сильного правительства, а доказать свою силу оно может только пожертвовав миллионом голов. Для государства такие люди, как Блок, да и хотя бы Лев Толстой,— всегда нежелательны, и в этом смысле в России ничего никогда перемениться не может...

Колокольчик над кухонной дверью прозвенел, и мы мгновенно вернулись из переполненной камеры на Гороховой, 2, где еще господствовала трагическая неразбериха девятнадцатого года, в квартиру Тыняновых на Греческом, где та же неразбериха стала принимать более отчетливые, как бы устоявшиеся очертания.

7

Пришли — да не пришли, а валом повалили — сослуживцы Юрия, обеспокоенные загадочным исчезновением двух сотрудников Коминтерна. Не прошло и часа, как в квартире собрались не меньше двадцати человек. Чекисты сбились с ног, пересчитывая нас. Подобного нашествия они не ожидали. Одного из переводчиков они обыскивали тщательно, долго, хотя его сходство со Шкловским заключалось только в том, что и тот и другой были совершенно плешивы.

Как нарисовать психологическую картину, сложившуюся в доме Тыняновых за эти трое суток? Люди, остановившиеся с разбега перед неожиданностью, перевернувшей их планы (одни, встретившие эту неожиданность спокойно, другие — с очевидным, хотя и скрываемым волнением), были, как это ни странно, чем-то объединены. Среди них не нашлось равнодушных. Никто не желал, чтобы Шкловский, которому грозила смертельная опасность, явился и был схвачен на наших глазах. Невысказанное, где-то глубоко спрятанное чувство подсказывало, что готовится несправедливость. Ни у кого не было и тени досады — потеряно время, обеспокоены близкие. Более того, все были как бы вовлечены в некую «общественную совокупность». Правда, у этой «совокупности» было только одно право — молчать. Но молчание было выразительное.

Молчание было предсказывающее. От этого молчания начали отсчитываться не дни или месяцы, а десятилетия. И еще одно: к концу вторых суток в квартире находились двадцать три человека. В наше время невозможно представить себе, что отношения между этими знакомыми, полузнакомыми, незнакомыми были основаны на полном, безусловном доверии. Мысль «кто?» пришла бы в голову любому из нас. Она является на любом собрании, большом или малом, в любом обществе, на званом обеде, в туристской поездке. Кому поручено присматривать, подслушивать, «мотать на ус», чтобы потом доложить куда положено, чтобы сделать отметку в соответствующем досье, или — это не исключено — воспользоваться в собственных целях?

В начале двадцатых годов служба наблюдений, внутренней информации не приобрела еще всеобщности. Доверие, которому предстояло перенести еще неслыханные в истории человечества испытания, еще существовало, почти неощутимое, естественное, как воздух.

Часов в одиннадцать стали устраиваться на ночь, и на этот раз при всем тыняновском гостеприимстве лишь человек десять — пятнадцать удалось уложить на что-нибудь мягкое, в относительном смысле этого слова. Все пошло в ход: половики, диванные подушки, давно отслужившие службу и лежавшие в темной комнате подле кухни портьеры. В коридоре спали на газетах, подложив под голову книги и оставив свободным только узкий проход к туалету. Поперек двух сдвинутых кроватей устроились шесть человек, которые должны были к середине ночи уступить место другой шестерке.

С продовольствием было плохо, хотя хлеб и крупу чекисты в этот день привозили дважды. Все были голодны, кроме Инны, для которой в доме хранился неприкосновенный запас, и кошки, находившейся на собственном иждивении... Беспечный Толька, еще не опомнившийся от подвига своей авантюристки, проектировал завтрашний обед из сапог и ботинок, доказывая, что именно так поступил в свое время попавший в беду известный полярный исследователь адмирал Грили.

...Бессонница мучила меня. И эту ночь я провел, напрасно стараясь справиться с растерянностью, раздражением, страхом.

Пора уже было привыкнуть к бесполезности сопротивления. Чужая воля владеет тобой, и ты не смеешь негодовать, возмущаться, прекословить. И хотя невозможно было представить себе, что это чувство будет сопровождать меня всю жизнь,— оно уже в чем-то болезненно изменяло меня. Я стану другим, менее свободным, более осторожным, осмотрительным, недоверчивым, воочию убедившись, что нельзя пройти через стену.

Грустная это была ночь, не пролетавшая, бесшумно отсчитывая время, а как бы влачившаяся, оборачиваясь и отступаясь...

Наутро, часов в одиннадцать, явился комиссар; бледный, в кожаном костюме, подвыпивший, но старавшийся держаться и разговаривать твердо. Запершись в кухне, он долго выслушивал своих подчиненных. Потом позвал Юрия.

— Ну вот что,— сказал он,— я снимаю засаду. А ты знаешь, кого мы у тебя искали?

— Я с вами на брудершафт не пил,— ответил Юрий.

Комиссар поморгал: очевидно, слово «брудершафт» слегка отрезвило его.

— Я гимназии не кончал,— покачнувшись, возразил он.

— Очень жаль,— отозвался Юрий.

Чекисты ушли, и через четверть часа квартира опустела. Разошлись шумно, весело, как будто получив обещанный, долгожданный подарок. Только нищий, которому не хотелось уходить, долго топтался на кухне и удалился лишь после того, как Варька повесила суму на его плечо.

— С богом, дедушка! С богом!..

Убежал Толька, без сомнения, к своей любительнице приключений. Исчез, как будто его стерли резинкой, похожий на карандашную черту Игнатий Бернштейн. Варька мыла полы. Лидочка с Леной убирали квартиру. Жизнь, казалось, вернулась к самой себе. Но с неприятным чувством слабости, перемешанной с отвращением, я обратился к своим книгам и рукописям. Это чувство вскоре прошло — еще далеко было до нежелания жить, которое я впоследствии не однажды испытывал в иные минуты душевных испытаний.

8

Чем же занимался, где скрывался виновник этого переполоха? Виновник не сидел на месте и не прятался, как ни трудно этому поверить. Какое-то магическое чувство остановило его, когда, подойдя к вечеру первого дня засады к нашему дому и увидев в окне приглашавшую его занавеску, он постоял, подумал и — не зашел. Может быть, его остановило то обстоятельство, что *все* окна были освещены, а окон было много. Это повторилось у дома, где жила Полонская,— и там его ждали.

Для побега нужны были деньги, и он на трамвае поехал в Госиздат, на Невский, 28, где все его знали, где изумились, увидев его, потому что он был *отторжен* и, следовательно, не имел права получить гонорар, который ему причитался. Но в административной инерции к тому времени еще не установилась полная ясность. Бухгалтер испугался, увидев Шкловского, но выписал счет, потому что между формулами существования Госиздата и Чека отсутствовала объединяющая связь.

Кассир тоже испугался, но заплатил — он тоже имел право не знать, что лицу, имеющему быть арестованным, не полагается выдавать государственные деньги. Впрочем, не только эти чиновники были ошеломлены смелостью Шкловского. Весь Госиздат окаменел бы, если бы у него хватило на это времени. Но времени не хватило. Шкловский сразу же ушел — на всякий случай через запасной выход: на Невском его могли ждать чекисты.

9

В романе Булгакова «Белая гвардия» среди второстепенных персонажей есть некий Михаил Семенович Шполянский, «черный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина». Написан он с холодной иронией, а кое-где даже с оттенком затаенной ненависти. Это он «прославился как превосходный чтец в клубе „Прах“ своих собственных стихов „Капли Сатурна“ и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена „Магнитный триолет“. Это он «не имел себе равных как оратор», это он «управлял машинами как военными, так и типа гражданского»... Это он «на рассвете писал научный труд „Интуитивное у Гоголя“». И, наконец,— самое существенное: это он поступает в броневой дивизион гетмана и выводит три машины из четырех, засыпая сахар в жиклеры, из строя.

К предполагаемым прототипам «Белой гвардии» (они указаны в архиве Булгакова, хранящемся в архиве Ленинской библиотеки: Василиса — священник Глаголев, Шервинский — Сангаевский) можно прибавить еще один: Шполянский — Шкловский. В наружности кое-что замаскировано. Однако «онегинские баки» — не придуманы: по словам Шкловского, в 1918 году он носил баки. Биографические данные совпадают, хотя Георгиевским крестом наградил Шкловского не Керенский, а генерал Корнилов. Но зачем Виктор вывел из строя гетманский броневой дивизион? Нынешним летом (1975) я попытался добиться от него ответа — и потерпел неудачу. Неизвестно зачем! Вероятно, Булгаков прав: «Гетманский город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семенович второго декабря 1918 года вечером в „Прахе“ заявил... следующее:

— Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в том. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб». (В книге Шкловского «Революция и фронт» об этом рассказано кратко: «В декабре или конце ноября я был в Киеве, в гетманских войсках, что кончилось угоном мною броневика и грузовика в Красную Армию. Но об этом и о странных перестрелках на Крещатике и о другом многом странном, когда-нибудь после».)

Я привел этот историко-литературный пример, чтобы объяснить, почему Шкловский в ответ на мои расспросы так и не рассказал мне более или менее подробно, как он бежал из Петрограда. Он бежал много раз, и подробности перепутались или обменялись местами. Из Киева он бежал в очень опасных обстоятельствах и спасся только потому, что, прыгая с поезда, оставил мешок сахара тем, кто хотел его убить. Таким образом, он воспользовался сахаром не только для того, чтобы вывести из строя броневики.

— В общем,— сказал он о переходе через финскую границу,— это было легко. Из Киева — труднее.

Это было легко, потому что в нем ключом била легкость таланта, открывавшая новое там, где другие покорно шли предопределенным путем. Новым и неожиданным было уже то, что он не согласился на арест, не сдался.

Его и прежде любили, а теперь, когда он доказал воочию незаурядное мужество, полюбили еще больше. Если бы желание добра имело крылья, он перелетел бы на них границу.

Но он обошелся без крыльев. Из Финляндии он прислал телеграмму: «Все хорошо. Пушкин». Так его называли у Горького, где он бывал очень часто. Мы вздохнули свободно. Полонская написала и напечатала «Балладу о беглеце», посвятив ее «памяти побега П. А. Кропоткина» и впоследствии (в 1960 году) заменив анархиста Кропоткина большевиком Я. Свердловым. Виктор Шкловский утверждает, что написал о его побеге и Тихонов.

Он ошибается. На другой день после засады я встретил Тихонова на Невском. Кто-то разговаривал с ним. Мы увидели друг друга за три-четыре шага, и он сразу же сделал едва уловимое движение глазами, которое могло значить только одно: «Не

останавливайся. Мы не знакомы». Возможно, что это было лишь разумной предосторожностью,— ведь я не знал, кто был его собеседником.

Что касается «Баллады о беглеце» — потомки Кропоткина могли быть довольны. Ее главное достоинство — искренность. Она полна атмосферой пережитого нами в те памятные дни:

У власти тысяча рук
И два лица.
У власти тысяча верных слуг
И разведчикам нет конца.
Дверь тюрьмы
Крепкий засов...
Но тайное слово знаем мы...
Тот, кому надо бежать — бежит,
Всякий засов для него открыт.

У власти тысяча рук
И два лица.
У власти тысяча верных слуг,
Но больше друзей у беглеца.
Ветер за ним
Закрывает дверь.
Вьюга за ним
Заметает след.
Эхо ему
Говорит, где враг.
Дерзость дает ему легкий шаг.

У власти тысяча рук.
Как божье око, она зорка.
У власти тысяча верных слуг,
Но город — не шахматная доска.
Не одна тысяча улиц в нем,
Не один на каждой улице дом,
В каждом доме не один вход,
Кто выйдет, а кто войдет.

На красного зверя назначен лов,
Охотников много и много псов,
Охотнику способ любой хорош —
Капкан или пуля, облава иль нож,—
Но зверь благородный, его не возьмешь.

И рыщут собаки, а люди ждут —
Догонят, поймают, возьмут, не возьмут...
Дурная охота, плохая игра!
Сегодня все то же, что было вчера,—
Холодное место, пустая нора...

У власти тысяча рук
И ей покорна страна,
У власти тысяча верных слуг
И страхом и карой владеет она...

А в городе шепот, за вестью — весть.
Убежище верное в городе есть...
Швыряет разведчик, патруль стоит,
Но тот, кому надо скрываться,— скрыт.

Затем, что из дома в соседний дом,
Из сердца в сердце мы молча ведем
Веселого дружества тайную сеть.
Ее не нащупать и не подсмотреть!

У власти тысяча рук
И не один пулемет.
У власти тысяча верных слуг,
Но тот, кому надо уйти,— уйдет

На Север,
На Запад,
На Юг,
На Восток.
Дорога свободна и мир широк.

Полонская пишет: «Мы». Однако уже в самом начале двадцатых годов это было понятием ограниченным. На помолвке Зои Гацкевич (впоследствии Никитиной) какой-то молодой человек, красивый, с артистической шевелюрой, узнав, что Шкловский скрылся, с поразившей меня горячностью стал доказывать, что его плохо искали, что, если бы это дело поручили ему... Шум танцевальной музыки заглушил его. Этот человек запомнился мне потому, что его слушали молча. Не возражали.

«Я поднимаю руку и сдаюсь»

1

Создавая новую теорию литературы, он не мог унизиться до страха. Это звучит парадоксально, и тем не менее это было именно так.

В Берлине он написал «Zoo, или письма не о любви» — свою лучшую книгу.

«Все, что было,— прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь»,— так в последнем тридцатом письме, умоляя правительство позволить ему вернуться, он впервые отказался от своей молодости. Но молодость не сдавалась. Еще года четыре, до «Памятника одной научной ошибке», он оставался самим собой, но только потому, что судьба, уродливо воплотившаяся в разных РАППах и ВАППах, еще не требовала перемены.

Друзья, продолжавшие работать, отказываясь от деклараций, еще любили его, хотя в сохранившейся переписке двадцатых годов между Тыняновым и Шкловским (ЦГАЛИ) есть уже и разрывы, и льдинки, и попытки самооправдания (Виктор), и без промаха разящие стрелы (Юрий).

И все же, когда в 1929 году Якобсон и Тынянов выработали и напечатали знаменитые «Тезисы», роль председателя нового ОПОЯЗа, признавшего значение социального ряда, они отдали Шкловскому. Это был последний всплеск опоязовской теории в Советском Союзе — то есть казавшийся последним в течение двух с половиной десятилетий.

Серьезно мог заниматься наукой только Якобсон, уехавший сперва в Прагу, потом в Брно, где не только спасся чудом (в годы оккупации), но чудом сохранил микрофильмы трудов Е. Д. Поливанова, который после многолетней травли был уже расстрелян.

Тынянов стал писать прозу, которая была для него образным выражением той же науки и которая сразу же поставила его в первый ряд советских писателей.

У Шкловского не было этого выхода. В спектре его многостороннего острого дарования один цвет отсутствовал: он не мог представить себе непережитое как пережитое. Впрочем, может быть, представить мог, но передать читателю — нет, потому что владел лишь однозначным, без оттенков, словом. У него была своя стилевая манера, и если даже не он, а Влас Дорошевич первым стал писать почти без придаточных предложений, одними главными (между которыми читателю представлялась полная возможность перекинуть мост), все же именно в прозе Шкловского эта манера утвердилась в полной мере и в разных жанрах. Но в ее основе было не поэтическое, не цветное, лишенное оттенков слово. Впрочем, выход был — кино, тогда еще немое. И он стал работать в кино.

Плохо было то, что для первых книг достаточно было биографии. В «Революции и фронте», в «Сентиментальном путешествии», в «Zoo» эта нетипическая биография в нетипических обстоятельствах говорила сама за себя. Она была прямым доказательством зрелости интеллигенции, вдохновленной русским ренессансом десятых годов.

Теперь, в середине двадцатых, биография кончилась, или, точнее, сломалась. Но и сломанная биография могла пригодиться — по меньшей мере до тех пор, пока о ней еще можно было говорить и писать. Так появилась «Третья фабрика», трагическая книга, в которой Шкловский впервые попытался доказать, что нам не нужна свобода искусства.

2

Теперь, через пятьдесят лет, самая возможность писать (не только для себя и своих друзей) о том, что в нашем искусстве нет свободы, выглядит странной. Приказано, чтобы искусство считало себя свободным, несвобода вошла в плоть и кровь, стала

воздухом, которым мы дышим, и если она вдруг исчезла бы, все были бы поражены, как если б увидели человека без тени.

Но в 1926 году еще можно было писать и печатать, что «стихи и проза сжаты мертвым сжатием», что «в литературе мы переживаем черный год», что «в искусстве одни проливают семя и кровь. Другие мочатся. Приемка по весу». Еще можно было сравнить литературу с льном. «Мы — лен на стлище. Так называется поле, на котором стелют лен. Лежим плоскими полосами. Нас обрабатывает солнце и бактерии, как их там зовут?.. Лен, если бы он имел голос, кричал бы при обработке. Его дергают из земли за голову. С корнем. Сеют его густо, чтобы угнетал себя и рос чахлым и не ветвистым. Лен нуждается в угнетении. Его дергают. Стелют на полях (в одних местах) или мочат в ямах и речках... Потом мнут и треплют» («Третья фабрика»).

Но за право писать о несвободе в искусстве надо было расплатиться отказом от свободы. Надо было снова поднять руку и сдаться. Второй раз это было, без сомнения, труднее: ведь покупалось не разрешение вернуться на родину, а право лежать, как лен на стлище. Но зато в третий, в четвертый, в пятый раз это было не очень трудно, а потом, в пятидесятых и шестидесятых — легко.

3

Итак, надо было доказать, что свобода не так и нужна, что писателю достаточно «зазора и в два шага, как боксеру для удара».

Но для того, чтобы согласиться на несвободу или даже (как он это делает) выбрать ее, надо найти оправдание. Надо было доказать, что свобода не так уж нужна; на худой конец ее можно заменить «зазором»: «Нужна иллюзия выбора».

И Шкловский мечется в поисках примеров, оправдывающих «целесообразность несвободы». Лихорадочные поиски пересекают книгу по диагонали.

Мы не только «лен на стлище». Мы — овощи, «которые варят в супе, а потом не едят». Мы — «камни, о которые точат истину». Мы — «эскимосы, которые связывают себя ремнем, когда сидят над продухом, сделанным тюленями во льду». Не в том дело, что мы «лежим на стлище», что нам больно или радостно, дело в острении ножа в искусстве». (О том, в чьих руках нож, он не упоминает.) И дальше: «Изменяйте свою биографию. Пользуйтесь жизнью. Ломайте себя о колено. Пусть останется неприкосновенным одно стилистическое хладнокровие».

Писатель, которого ломали о колено, полагал (или предполагал), что он сам выбрал для себя это занятие. «Я хочу изменяться. Боюсь негативной несвободы. Отрицание того, что делают другие, связывает тебя с ними».

Тогда еще можно было писать, что нравственная позиция — это дело писателя, а не государства. «Есть два пути сейчас. Уйти, окопаться, зарабатывать деньги не литературой и писать для себя»,— утверждает Шкловский. «Есть путь — пойти описывать жизнь и добросовестно искать нового быта и нового мировоззрения.

Третьего пути нет. Вот по нему и надо идти — работать в газетах, в журналах, не беречь себя, а беречь работу, изменяться, скрещиваться с материалом, снова обрабатывать его, и тогда будет литература.

Из жизни Пушкина только пуля Дантеса не была нужна поэту. Но страх и угнетение нужны».

Все ложно в этих строках, перебрасывающих мост между двадцатыми и семидесятыми годами. Не нужны литературе ни угнетение, ни страх, ни «зазор в два шага». У литературы всегда был и будет только один путь — правда. И сейчас, в наши дни, все, кому она дорога, постепенно приходят к этому решению. Это люди разных — да нет! — всех поколений. К счастью, у них есть предшественники: Булгаков, писавший «Мастера и Маргариту» в темноте, в тесноте, в неуюте, в подполье; Ахматова, сжигавшая на свечке каждую новую строчку своего бессмертного «Реквиема», предварительно убедившись в том, что ее друг Л. К. Чуковская запомнила ее наизусть; Мандельштам, который с неслыханной смелостью вырезал расстреливающий портрет Сталина и сталинизма.

4

Эта книга — не обвинительный акт, и я не склонен судить Шкловского за то, что его ломали о колено. Судить его, по-видимому, пытался А. Белинков — и напрасно. Впрочем, может быть, он не догадывался, что присоединяется к тем, кто полагал, что литература сидит на скамье подсудимых. Нет, я думаю совсем о другом: мне не хочется прощаться с жизнью, прихватив с собой все, о чем я не успел или не сумел рассказать.

Необычайная, сложная, кровавая история последнего полувека нашей литературы прошла на моих глазах. Она состоит из множества трагических биографий, несвершившихся событий, из притворства, предательства, равнодушия, цинизма, обманутого доверия, неслыханного мужества и еще более неслыханной невозможности самоуничтожения. Она состоит из медленного процесса деформации, продолжавшегося годами, десятилетиями.

Когда-нибудь ее история будет написана — в этом меня убеждает наше литературоведение, может быть, лучшее в мире. Тогда мои свидетельские показания пригодятся тому исследователю, который возьмет на себя этот благодарный труд.

5

Мне уже случалось рассказывать о том, как был написан роман «Скандалист, или вечера на Васильевском острове»,— не стану повторяться. Добавлю только, что он едва ли был бы написан, если бы Шкловскому удалось сохранить положение главы опоязовского направления. В 1925—1926 годах молодые филологи, уже окончившие университет и Институт истории искусств (Б. Бухштаб, В. Гофман, Л. Гинзбург, Т. Хмельницкая, А. Островский, В. Голицына и другие), собирались на семинары, которыми руководили Б. Эйхенбаум, Ю. Тынянов. Я не пропустил ни одного заседания, хотя сам уже был тогда преподавателем И.И.И. Читались и обсуждались доклады, затрагивающие основы новой теории литературы. Если бы не грубый политический поворот в конце двадцатых годов (прикончивший, кстати сказать, дальнейшее существование первоклассного И.И.И.), этот круг талантливых ученых, вероятно, мог бы взяться за создание новой истории русской литературы — задача, в переписке между Шкловским и Юрием упоминавшаяся неоднократно.

Когда в 1928 году Шкловский приехал в Ленинград, он убедился в том, что литературная наука и без него идет своим путем, постепенно захватывая философию и лингвистику. Между тем он не был силен ни в том, ни в другом.

Без сомнения, он был раздражен тем, что оказался полководцем без армии,— иначе в разговоре о Хлебникове не возразил бы в ответ на какое-то мое замечание, что если бы Хлебников был среди нас, «меня бы никто не заметил». Он сказал как-то иначе, остроумнее и точнее. Это было нападение не на меня, а на нас, на тех, кто продолжал работать в то время, как он «лежал на стлище, как на даче» («Третья фабрика») и доказывал, что полезно превратиться в камень, о который кто-то в поисках истины точит нож.

Потом зашел разговор о романе как жанре, и он с пренебрежением заметил, что в нашей литературе едва ли найдется смельчак, который возьмет на себя то, что не удалось даже Чехову. Это тоже было сказано больше о нас, обо мне. Взбесившись, я возразил, что завтра же сяду за роман и что это будет роман о нем, о скандалисте, у которого биография всегда была интереснее, чем книги. Он снова остроумно срезал меня — и напрасно.

Тогда мне казалось, что я стремился лишь доказать ему, что действительно могу написать роман, а заодно со всей решительностью заявить, что он — мой *бывший* учитель. Но в самом романе (который с перерывом в тридцать лет был вновь трижды опубликован) нетрудно найти другие, более существенные причины. Мне кажется, что он только потому и представляет некоторый интерес (в особенности на Западе, где неоднократно выходил в переводах), что в нем закреплен факт, характерный для истории нашей литературы. В нем «молодые» двадцатых годов не согласились «лежать на стлище». В самой работе над романом были поводы, заставившие меня распахнуть дверь перед живым прототипом. Но для меня ясно теперь, что книга не была бы написана, если бы Шкловский не опубликовал «Третью фабрику», в которой согласился на несвободу в искусстве. Одна из глав «Скандалиста» точно передает действительное положение дел. В честь приезда Некрылова его бывшие ученики устраивают вечеринку. Делая вид, что все в порядке, они поют гимн молодых формалистов

Пускай критический констриктор
Шумит и нам грозится люто.
Но Ave Cesar, Ave Victor
Formalituri te salutant

Мы были еще «formalituri», но Виктор уже не был Цезарем, во имя которого стоило умирать.

Вся сцена не только не выдумана, но написана по живым следам.

«Это был смотр сил, испытание позиций. Уйдя от науки, живя в Москве, среди чужих людей, которые путались у него под ногами в кино, Некрылов понимал, что он и его друзья переменились ролями. Когда-то он приезжал сюда как признанный руководитель — проверять состояние сил, восстанавливать нарушенное равновесие. Теперь пора было перестать притворяться хозяином дома, в котором произошли беспорядки. Беспорядок начинал требовать у него отчета».

Решающий разговор происходит через несколько минут — между Некрыловым и Драгомановым, а на деле — между Тыняновым и Шкловским.

«...— Товарищи, нам еще есть о чем говорить! Не будем считать время по-разному. Оно вытесняет нас из науки в беллетристику. Оно слопало нас, как хотело! Не нужно отшучиваться. Нужно это давление времени использовать».

Но Драгоманов (в уста которого я вложил слова Юрия) отвечает:

«...— Вы используете давление времени? Зачем? Чтобы выстроить мнимую литературу?»

В действительности было сказано более резко:

— Вы сидите там в Москве на дырявых стульях и делаете высокую литературу!

Слово «делать» имеет в русском языке много значений. Но уточнение «на дырявых стульях» не оставляет сомнений. Под словом «высокая» подразумевалась «мнимая» — это было прямое указание на позицию «Нового ЛЕФа», с которой был несогласен Юрий [1].

Могли ли мы предположить тогда всю громадность усилий, которые будут приложены, чтобы подменить подлинную литературу — мнимой? Могли ли вообразить, что придет время, когда позиция ЛЕФа покажется рыцарски-благородной? Ведь она была искренней, а за искренность Маяковскому пришлось расплатиться выстрелом весной 1930 года.

6

В 1928 году Шкловский опубликовал «Гамбургский счет». Это была книга, в которой Шкловский (так же, как и в «Третьей фабрике») с трудом выкарабкивался из-под обломков собственной личности: сейчас ее можно высыпать, как высыпают из корзинки стручки гороха — и среди многих почерневших, высохших, звенящих, как бубенчики, стручков найдется еще немало сохранивших свежесть.

Он отрекается в этой книге от «Третьей фабрики», утверждая, что она для него самого «совершенно непонятна»: «Я хотел в ней капитулировать перед временем, переведя свои войска на другую сторону. Признать современность. Очевидно, у меня оказался не такой голос...» и «книги уводят автора от намерения». Но он ошибается. В «Третьей фабрике» намерение осуществилось: капитуляция удалась.

«Гамбургский счет» был, однако, ударом по этой капитуляции, и ударом метким. Книгу предваряет маленькое предисловие: «Гамбургский счет — чрезвычайно важное понятие.

Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера.

Раз в год, в гамбургском трактире, собираются борцы.

Они борются при закрытых дверях и завешанных окнах.

Долго, некрасиво и тяжело.

Здесь устанавливаются истинные классы борцов — чтобы не исхалтуриться.

Гамбургский счет необходим в литературе.

По гамбургскому счету — Серафимовича и Вересаева нет. Они не доезжают до города.

В Гамбурге Булгаков у ковра.

Бабель — легковес.

Горький — сомнителен (часто не в форме).

Хлебников был чемпион».

Понятие удержалось надолго, пожалуй, до наших дней. Литература наша живет двойной жизнью, и хотя мы не съезжаемся время от времени в Гамбурге, чтобы бороться без подкупа и обмана, официальная точка зрения на искусство — одна, а профессиональная, почти не стронувшаяся с места за пятьдесят пять лет — другая. Понятие «гамбургский счет» на десятилетия вперед провело демаркационную линию между литературой подлинной и мнимой.

Нельзя не отдать должное смелости этого удара, в особенности если вспомнить, что он был нанесен в ту пору, когда рапповцы ходили среди нас с топориками за поясом, посвистывая, окидывая «попутчиков» налившимися кровью от зависти и ненависти глазами.

Как выглядел бы «гамбургский счет» в наши дни (1975)? Если Серафимович «не доезжал до города», Алексеевы и Софроновы еще стоят в очереди за железнодорожными билетами, что не мешает им издавать и переиздавать собрания своих сочинений. Бабель оказался тяжеловесом — борцу легкого веса не под силу были бы открытия, которыми он обогатил нашу прозу.

Булгаков — не у ковра, а в центре мировой литературной арены. К мертвому Хлебникову... О, к мертвому Хлебникову прибавились Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам!

Впрочем, картина настолько усложнилась, что самое понятие пришлось бы, пожалуй, признать устаревшим. Однако нельзя забывать об этой заслуге Шкловского еще и потому, что она настоятельно напомнила о «литературе на глубине» (Тынянов), о борьбе направлений, которая никогда не прерывалась и которой нет дела до постановлений ЦК.

[1] См. об этом мою книгу «Собеседник» (стр. 136—139).

7

Знаменитый деятель французской революции аббат Сийэс, голосовавший за казнь короля, на вопрос, что он делал в годы террора, ответил: «Я жил». Вероятно, так мог бы ответить и Шкловский, если бы его спросили, что он делал в тридцатых годах, когда закладывались основы рептильной литературы. Он жил и работал.

Был период (короткий), когда он отрицал необходимость истории литературы как науки. Этот себялюбивый взгляд объясняется тем, что, интересуясь историческими явлениями как фактами, он не различал над ними знака историзма. Его привлекала малоизученность, исключительность. Историку полезно время от времени забывать о себе — для Шкловского это почти невозможно: «Мы напрасно так умны и дальновидны в политике. Если бы мы, вместо того, чтобы делать историю, попытались считать себя просто ответственными за отдельные события, составляющие эту историю, то, может быть, это вышло бы не смешно. Не историю надо делать, а биографию»,— писал он в книге «Революция и фронт». Но биография уже лежала в обломках. О том, чтобы «делать историю», не могло быть и речи. Осталась только одна возможность — обратиться не к истории, а к историческому материалу.

Не оставляя кино (где еще можно было заниматься теорией), он написал несколько исторических книг — с моей точки зрения, неудачных. Его привлекала исключительность — черта, не характерная для подлинного историка. Так были написаны книги о Комарове, о Чулкове и Левшине, о художнике Федотове. Характеры не удались, они составлены, инвентарны, у них, как у музейных экспонатов, нет своего языка, а информационный стиль Шкловского передает только его собственную языковую манеру. Почему он написал историю Марко Поло? Потому, что, когда великий путешественник вернулся в Венецию, ему никто не поверил. Если появление книг о Комарове, о Чулкове и Левшине еще можно было объяснить давно задуманной (вместе с Тыняновым) историей русской литературы, откуда появился интерес к Марко Поло? Это — книга подставленная, заменившая какую-то другую, ту, которую он хотел и не мог написать. Косо торчит а его библиографии Марко Поло, косо торчат Минин и Пожарский, киносценарий, который он переделал в исторический роман. Потерянные годы!

8

Никто так много не писал о себе, как Шкловский, и, казалось бы, к этим бесчисленным автопортретам добавить нечего. Жизнь рассказана многократно с таким глубоким интересом к себе, что им невольно заражается читатель. Но сливаются ли эти наброски углем в единый портрет? Едва ли. Шкловский написал не менее 60 книг и около полутора тысяч статей. Но это не те (или не совсем те) книги и статьи, которые он мог и хотел написать, если бы ничто не удерживало руку. Будущий исследователь найдет, может быть, ту роковую черту, когда он перестал замечать необходимость своей свободы. Жизнь шла — и прошла,— обходя пустоты, срываясь в пустоты, отказываясь от себя, возвращаясь к себе.

Он признал — в двух десятках книг и статей — необходимость и целесообразность социалистического реализма, прекрасно понимая, разумеется, что эта теория, вокруг которой десятилетиями кормятся тысячи бездельников, придумана для управления литературой. Всю жизнь он любил (и любит) Юрия и, случалось, доказывал это на деле. На вечере в Доме литераторов, посвященном десятилетию со дня смерти Юрия, когда Андроников (испуганный необратимо) стал перечислять тыняновские идеологические ошибки, Шкловский прокричал с бешенством: «Пуд соли надо съесть и этот пуд слезами выплакать — тогда будешь говорить об ошибках учителя! И говорить будет трудно, Ираклий!»

Но в годы антисемитской кампании против выдуманного «космополитизма», когда имя Юрия попало в полосу неопределенно-враждебного тумана и исчезло со страниц периодической и непериодической прессы, Шкловский, чтобы не упоминать этого имени, назвал друга «автором примечаний к „Путешествию в Арзрум“».

Раздраженный его мелкими и крупными предательствами, Якобсон вернул ему, Шкловскому, все его книги с надписями и навсегда разорвал с ним отношения. Думаю, что Юрий поступил бы, как Якобсон. Я не сделал этого. Но прошли годы, прежде чем мы встретились снова.

Я слышу вновь друзей предательский привет...

...Были годы относительного благополучия. В 1939 году его наградили орденом

Трудового Красного Знамени (или, в просторечии, «Трудягой»), и он прислал Юрию телеграмму: «Счастлив быть с тобой под одним знаменем». Знамена были разные.

Были годы замалчивания, гонений. Он признавал свои ошибки, отказывался от своих книг, убеждал друзей, что «имеет право изменяться»

9

Когда я бывал у Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине, он не провожал меня до выходных дверей (надо было спускаться по лестнице), а выходил на балкон, провозглашая с неизменным, поучительным выражением:

— В России надо жить долго. Долго!

Его семидесятилетие было отмечено единственным подарком: соседи по дому отдыха (кажется, в Болшеве) подарили ему гипсовый бюст Мичурина. Уезжая, он «забыл» его под кроватью, и соседи немедленно прислали бюст на городскую квартиру.

Прошло пять лет, и вся страна торжественно отметила эту некруглую дату. В Доме литераторов был устроен большой вечер, на котором выступали писатели и «официальные лица». На этот раз он получил не бюст, а «Трудягу», или даже орден Ленина, не помню. Что же произошло? Неизвестно. Жил, жил и дожил до признания. Навстречу отечественной славе (Ленинская премия за книгу о Некрасове, четвертую или пятую книгу — он изучал творчество Некрасова добрых сорок лет) — вдруг стала торопиться мировая. Оксфордский университет избрал его почетным доктором литературы — из русских писателей только Тургенев получил это звание.

Переводы его книг появились во всех европейских и многих восточных странах. Он задумал издать Библию для детей — и разрешили, но потом спохватились: «Можно, но при условии, что в книге не будут упоминаться евреи».

Миллионы зрителей увидели Корнея Ивановича с экрана — он рассказывал о своей знаменитой «Чукоккале»...

Нечто подобное произошло и со Шкловским. Полное безусловное признание пришло к нему после семидесятилетия, по совсем другим, не российским, свалившимся с неба, а западноевропейским путем.

Значение русского искусства двадцатых годов на Западе было оценено в полной мере, должно быть, к середине пятидесятых годов. Вслед за вспыхнувшим и ярко разгоревшимся интересом к живописи и архитектуре (Малевич, Татлин) пришла очередь литературоведения, и здесь на первом месте оказался Шкловский. Всю жизнь ранние работы становились ему поперек дороги, висели, как гири на ногах, грохотали, как тачка каторжника, к которой он был прикован. Так много душевных сил, энергии, времени было потрачено, чтобы заслониться от них, отменить себя, нырнуть в небытие, в нирвану, в социалистический реализм,— и вдруг оказалось, что самое главное было сделано *до* — до этих попыток самоотмены.

ОПОЯЗ, сборники по теории поэтического языка, старые книги, напечатанные на желтой, ломкой бумаге, книги, которые автор сам развозил на саночках по опустевшему Петрограду,— все ожило, загорелось, заиграло — в России надо жить долго! Почти никто, кажется, не сомневается больше, что русский формализм был новым этапом в мировом литературоведении. Никто в наши дни не мешает Шкловскому заниматься теорией, никто не заставляет его произносить клятвы верности материалистическому пониманию истории. Явились структуралисты, с которыми, по мнению Шкловского, можно и должно спорить, тем более, что уж они-то, без сомнения, плоть от плоти русского формализма.

Мировая слава пришла к его молодости, а заодно и к нему. Его книги выходят в переводах в Германии, Англии, Франции, Италии, Америке, на всех континентах. Во Флоренции на шестисотлетнем юбилее Бокаччо он выступает с докладом о «Декамероне». Он еще не доктор Оксфорда, но издательства уже пользуются его именем для рекламы: мой роман «Художник неизвестен» вышел в Италии, опоясанный лентой: «Единомышленник Шкловского» или что-то в этом роде.

Все хорошо: ему доверяют. Он один из самых уважаемых писателей старшего поколения. Ему 82 года, но он много работает. У него ясная голова, хотя для того, чтобы понять смысл того, о чем он говорит, нужна еще более ясная. Свежесть первоначальности давно потеряна в его книгах, он повторяется. Иногда он этого не замечает. Так или иначе, он пишет сложно и поэтому безопасен.

Судьба исключенных из Союза писателей его не интересует. Он часто ездит за границу, ему доверяют: так называемых диссидентов нет среди его новых друзей. Впрочем, нет и друзей: есть знакомые, а среди них — что поделаешь! — много подонков. Разбираться некогда и неохота.

Прежде он был «отторжен», теперь — «самоотторжен». Он отказывается от нравственной позиции в литературе. Полтораста писателей поддержали письмо Солженицына Четвертому съезду, среди них Шкловского не было. Винить за это нельзя. Он натерпелся и больше не хочет. Жена тоже натерпелась, еще больше, чем он, и теперь

нравственной позицией (или ее отсутствием) управляет она. Все хорошо. Или не совсем хорошо. Все плохо, но заметить это можно только в узком кругу очень старых друзей. Но друзей нет.

Как и когда этот безрассудно-смелый человек успел и сумел свыкнуться с чувством непреодолимого страха? Это «когда» насчитывает десятилетия.

В 1955 году в Ялте я предложил ему прочитать мою «Речь, не произнесенную на Четвертом съезде», жена вернула мне рукопись дрожащими руками.

Шкловский молчал. Он не знал, что сказать. Ему было бы легче, если бы он был со мной не согласен. Он был не виноват, что его научили бояться.

На днях я прочел ему начало главы о засаде у Тыняновых в 1921 году. Он выслушал с интересом, смеялся. На другой день он явился один, без жены, озабоченный, с растерянным видом:

— Ты понимаешь, у тебя там левый эсер, меньшевичка и ждут меня. Заговор!

Он испугался того, что когда-нибудь я опубликую рукопись и тогда покажется, что он был причастен к заговору, а это опасно.

Фантомы бродят вокруг него. Ничто не прошло даром — ни 1949-й, когда пришлось просить Симонова «нейтрализовать травлю», ни вынужденное десятилетие молчания, ни благополучие, которым он (и жена) дорожит.

От меня он не скрывает страха, от других скрывает или старается скрыть. Ведь, в сущности, боятся все, а от тех, кто почему-то не очень боится, лучше держаться подальше. Унизительный, оскорбительный, никогда не отпускающий страх волей-неволей присоединяется к каждой минуте его существования. Он попытался объяснить свои опасения: у него было два брата и сестра — все погибли. Белые закололи штыками старшего брата Евгения — он был врачом и защищал раненых красноармейцев от белых. В «Сентиментальном путешествии» об этом рассказано коротко: «Его убили белые или красные».

Владимир, которого я знал, погиб в концлагере в тридцатых годах.

Не помню, при каких обстоятельствах погибла сестра.

Шкловский рассказал мне об этом в надежде, что и не стану продолжать историю засады у Тыняновых в 1921 году. Я успокоил его. Не знаю, почему из многочисленных бедствий, валившихся на его бедную, круглую, лысую голову, он выбрал гибель братьев. Он — в плену. И не виноват в том, что 50 лет тому назад его заставили поднять руку и сказать: «Я сдаюсь».

О себе

1

Еще в 1921 году Замятин напечатал статью «Я боюсь», в которой утверждал, что «настоящей литературы у нас не будет, пока мы не излечимся от какого-то нового католицизма, который не меньше старого боится еретического слова». Годом раньше он написал роман «Мы», с необычайной прозорливостью предсказав основные черты тоталитарного государства. Кажется, это была первая книга, запрещенная только что созданной цензурой.

Блок в своей речи «О назначении поэта», посвященной Пушкину (13 февраля 1921 года), окинул новым острым взглядом историю русской литературы: «Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. И, если это даже не совсем так, будем всетаки думать, что это совсем не так. Пока еще, ведь,

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку».

Блок не считал себя вправе развивать этот недвусмысленный намек на «жандармов либерализма». Но, оглядываясь назад, он видел будущее нашей литературы и попытался предостеречь тех, кто покушается на «покой и волю» поэта: «Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение».

Свободу искусства он защищал «веселым именем Пушкина», которого убило «отсутствие воздуха», а не пуля Дантеса.

Пунктирная, едва намеченная соотнесенность своей судьбы с судьбой Пушкина отчетливо видна в этой прощальной речи. И лгут те исследователи, которые утверждают, что Блок до своего последнего вздоха был предан революции, верил в нее, дышал ею (В. Орлов, Б. Соловьев). «Отсутствие воздуха» — это было сказано о себе.

2

Зимой 1922 года в Университете были объявлены свободные демократические выборы старост: закрытое голосование, списки кандидатов, контрольная комиссия — и хотя названия партий были зашифрованы, каждый студент знал, что номер первый — большевики, второй — беспартийные, третий — социалисты (меньшевики и эсеры), а четвертый — кадеты. (Возможно, что я ошибаюсь,— номера были другие.)

И ведь не одни отчаянные головы, вроде моего Тольки, но даже уравновешенный, нетороплививый, весь в отца, Павлик Щеголев,— с размаху врезались в эту, казавшуюся безопасной, но оказавшуюся смертельно опасной игру! Щеголев возглавил кадетов, назвавших свою партию «Гаудеамус». Как в английском колледже, выступали с речами. Развешивали плакаты (разумеется, самодельные). Писали мелом и краской на панели под сводом коридора, протянувшегося вдоль всего длинного университетского здания: «Голосуйте за список такой-то...» Дрались за места в контрольной комиссии.

Я не принимал участия в этом неожиданном демократическом взлете — и не только потому, что был очень занят. Мне смутно мерещилось что-то неопределенно-сомнительное в этой затее. Уж слишком распылались политические страсти в Университете, из которого только что заставили уйти (и арестовали) Лосского и Лапшина!

И предчувствие не обмануло меня. Староста был избран, а потом, не сразу (стараясь затушевать тот неоспоримый факт, что выборы были провокацией),— вожаков стали сажать. Посадили и Тольку, правда, ненадолго: Юрий выручил его с помощью своего гимназического друга, заместителя председателя Петроградского Чека Яна Озолина. Одних выпускали, а других посадили: ни те, ни другие не подозревали, что уже тогда они (в том числе и Толя) подписали свой смертный приговор. Впрочем, Павлик Щеголев уцелел.

3

Страх был разный — в двадцатых годах один, в тридцатых — другой. В двадцатых о нем можно было размышлять, его можно было осуждать. Он уже диктовал, но у него был неуверенный голос. В самой партии еще не были выжжены демократические навыки, а страх и демократия несовместимы. Когда в 1925 году я выпустил повесть «Конец хазы», она была встречена статьей, которая называлась «О том, как Госиздат выпустил руководство к хулиганству». В тридцатых такая статья была бы сигналом к всеобщей травле, тем более, что она появилась в «Ленинградской правде». Между тем она лишь подстегнула интерес и, хотя тираж был задержан на полгода, повесть имела успех.

Горький с большим одобрением отозвался о ней в письме к Слонимскому («какой смелый шаг в сторону»), Слонимский скрыл от меня этот отзыв, и он стал мне известен сорок лет спустя, когда я читал переписку Алексея Максимовича с «серапионами» в Горьковском музее. Но это уже другая тема: не страх, а зависть — зависть тоже другая, не та, о которой написал Ю. Олеша.

Когда «Литературные записки» предложили нам опубликовать свои автобиографии, Лунц ответил декларацией «Почему мы Серапионовы братья» — и, как ни трудно поверить, эта защита искусства и его независимости до наших дней сохранила свежесть и силу. Об этом в конце книги.

Очевидно, в 1946 году референты подсунули ее Жданову; они же, без сомнения, прицепили ее в знаменитом полуграмотном постановлении ЦК 1946 года к М. Зощенко — единственному из «серапионов», который написал, что «по общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен».

Уже еле волочат ноги еще оставшиеся в живых семидесяти- и восьмидесятилетние «серапионы», уже давным-давно они не братья, а враги или равнодушные знакомцы, а в редакциях и облитах все еще притворяются, что нет и не было никогда ни Лунца, ни идеологически порочной литературной группы.

Мертвые и живые, они отреклись от своей молодости, как Всеволод Иванов, который заявил на Первом съезде писателей, что «мы — за большевистскую тенденциозность в литературе».

Когда в шестидесятых годах я стремился напечатать статью «Белые пятна», где попытался выступить в защиту бывших «братьев», А. Дементьев принес в редакцию

и показал мне десять отречений, в которых *все* «серапионы» (кроме Зощенко и меня) порочили свою вольнолюбивую юность.

Но вернемся к Лунцу. Вот что он писал в своей декларации: «Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность. Пора сказать, что некоммунистический рассказ может быть бездарным, но может быть гениальным. И нам все равно, с кем был Блок-поэт, автор «Двенадцати», Бунин-писатель, автор «Господина из Сан-Франциско». Мы верим, что литературные химеры — особая реальность, и мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь. И как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать».

Декларация близка к пушкинской речи Блока — кстати, и та и другая датируются февралем 1921 года. И та и другая направлены против *сословия черни*, выделившей «из государства только один орган — цензуру, для охраны порядка своего мира, выраженного в государственых формах».

В декларации Лунца чернь не названа, но речь идет, без сомнения, о ней: «В феврале 1921 года, в период величайших регламентаций, регистраций и казарменного упорядочения, когда всем дан один железный и скучный устав, мы решили собираться без уставов, председателя, без выборов и голосований».

Напротив, в речи Блока *сословие черни* не только названо, но исторически определено, и в определении этом звучит роковой предсказывающий оттенок: «Эти чиновники и суть — наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье, не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы „не“ о них можно сказать только одно: они люди. Это — не особенно лестно. Люди — дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена „заботами суетного света“... Они могли бы изыскать средства для замутнения самих источников гармонии; что их удерживает — недогадливость, робость или совесть — неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?»

Средства изыскивались и изыскиваются доныне. Но задача оказалась сложнее, чем это могло показаться с первого взгляда.

4

В 1965 году мне удалось напечатать роман «Двойной портрет», причем в отдельном издании он появился почти в неискаженном виде. Роман кончается авторским признанием: «И я был обманут, и без вины виноват, и наказан унижением и страхом. И я верил, и не верил, и упрямо работал, оступаясь на каждом шагу, и путался в противоречиях, доказывая себе, что ложь — это правда. И я тосковал, стараясь забыть тяжкие сны, в которых приходилось мириться с бессмысленностью, хитрить и лицемерить.

Но это уже совсем другая книга, которую я когда-нибудь напишу».

Уж не пишу ли я сейчас эту книгу?

Здесь, в этом подцензурном обрывке, неясно, приблизительно и неточно сказано, что меня спасла (а могла и не спасти) склонность к самоотчету. Но через нелегкие испытания пришла эта склонность.

Еще в 1925 году, после «Конца хазы», я написал роман «Девять десятых судьбы» — в несомненной надежде, что он будет высоко оценен потому, что в нем речь шла об Октябрьской революции, и в одном из центральных эпизодов рассказывалось о взятии Зимнего дворца. Это была дань легкости, с которой уже тогда можно было сделать блестящую карьеру — официальную — в литературе. Соблазн открылся давно, еще в самом начале двадцатых годов, когда к «серапионам» приезжал внимательный, искренно любивший литературу Воронский. Он как раз не был сторонником подобных карьер. Но представителем «соблазна» он был, и недаром «серапионы» стали охотно печататься в его издательстве «Круг». Еще недавно, не прошло и трех-четырех лет, я единственный из «серапионов» безоговорочно признавал декларацию Лунца. Лишь мысль: «Искусство, как жизнь, существует без смысла и цели» казалась мне ложной. Мы спорили, но наш спор не касался сущности дела: так же, как и Лунц, я был убежден, что будущее — за сюжетной литературой, лишенной утилитаризма и решающей глубинную задачу, которая ничего общего не имеет с коммунистической или любой другой пропагандой. Таким образом, мой роман был прямой изменой собственным убеждениям. Именно так это было принято друзьями и учителями.

Федин с глубоким сожалением отозвался о нем в письме Горькому от 16 января 1926 года: «Читали ли Вы в третьей книге „Ковша“ (он Вам послан) Каверина? Что стало с человеком? И представьте — дальше — еще хуже, а он стойко убежден, что именно *так* нужно. Думаю, что это излечимо». (Горький трогательно подтвердил: «Каверин? Он — умник, он скоро догадается, что так писать ему не следует, не его дело».)

Ю. Г. Оксман иронически хохотнул, когда я сказал, что готовится пятое издание, и сказал:

— Еще бы!

Что касается Юрия... Прочитав две-три страницы, он обеими руками через весь стол оттолкнул рукопись, сказав, что все в ней «напряжено» (он процитировал какую-то фразу), давая понять таким образом, что напряжение неискренности не имеет ничего общего с литературой.

Как всегда, он сказал не больше пяти слов. Я упрямо промолчал. Что мне мерещилось? Не знаю. Надеялся ли я, что этот шаг принесет мне блистательное будущее, богатство (я был беден), влияние (с которым я не знал бы, что делать)?

Попытка была беспомощной — и самое содержание романа убеждало в том, что ни по своему характеру, ни по направлению ума, ни по серьезности отношения к делу я не способен «переядиться». И сюжет, и главное действующее лицо оказались до странности далекими от той генеральной задачи, которая на полстолетия вперед была задана нашей литературе: найти положительного героя, написать во весь рост его монументальную фигуру. Уже в двадцатых годах это было темой многочисленных критических статей. Ленинградец Лаврухин (давно забытый) написал книгу, которая так и называлась «Поиски героя». Даже Тихонов напечатал стихотворение, в котором героем нашего времени представлял соседа-сапожника, починившего его сапоги.

Он встал, перемазанный ваксой Марат,
И гордо рубцы показал мне...

В ту пору никому не приходило в голову, что подлинного героя не стоило искать, потому что он уже был схвачен зорким взглядом Зощенко, схвачен, назван и изображен в его ослепительных по новизне трагически-веселых рассказах. Этим героем был Борька Фомин в розовых подштанниках, тот самый, не представляющий из себя ничего особенного рабочий, который выигрывает пять тысяч рублей и радуется, что не успел подать заявление в партию, потому что тогда «половину денег пришлось бы отдать на борьбу с тем и с этим, и в Мопр, и во все места...» Пересказать Зощенко невозможно. К поразительной судьбе этого рыцаря нашей литературы — судьбе, в которой соединились черты того застенка, который называется свободой, волей,— я еще надеюсь вернуться.

Итак, не тот роман написал я, который мог изменить мою жизнь. И герой мой и сюжет — даром, что я рассказал о штурме Зимнего — были не те, не те! Интеллигент-подпольщик, который далеко не лучшим образом вел себя на допросах в царской охранке и стремится искупить нравственное падение энергичным участием в Октябрьском перевороте,— бесконечно далек от будущего Павки Корчагина, который вскоре был объявлен образцом революционного мужества и самопознания.

Сюжет... Мне просто стыдно пересказывать этот беспомощный сюжет, по поводу которого хочется повторить вслед за Фединым: «Что сделалось с человеком?»

Но вот что любопытно: ведь я и не думал скрывать, что книга написана в два-три месяца, что я не стремился к литературной задаче.

Это было зимой 1926 года, мы с Тихоновым руководили семинарами в Институте истории искусств, он — по современной поэзии, я — по прозе. Случилось так, что он прежде, чем я, кончил свои занятия и зашел в мою аудиторию как раз в то время, когда я рассказывал о романе «Девять десятых судьбы». Это не было самоуничижением. И о цинизме не могло быть речи. Но я точно хвастался, доказывая, что книга написана поверхностно, слабо. Неловкое молчание господствовало в аудитории, состоявшей из талантливых студентов, из которых иные были старше, чем я (мне было 24).

И ведь ничем не был вызван этот странный поступок — ничем, кроме вопроса одного из слушателей, только что прочитавшего книгу.

Так и не понимаю до сих пор — что это было. Не понял, помнится, и Тихонов. Мы вышли вместе, нам было по дороге, оба жили на Петроградской стороне, и он спросил меня с дружеским укором:

— Что это ты так, а?

Я что-то пробормотал, беззаботно махнув рукой.

Так кончилась моя первая попытка «не быть самим собой»: нелепым признанием перед слушателями моего семинара, что я написал плохой роман, знаю об этом и готов признать во всеуслышание, что я это знаю.

5

К счастью, настроение, сопутствовавшее работе над этой книгой, скользнуло и уплыло — иначе я не принялся бы за другой роман, история которого рассказана в книге «Как мы пишем».

Там я упоминал о том, что он был задуман неопределенно, отвлеченно,— и внезапно перестроился, когда в него ворвался «скандалист» Некрылов — Шкловский. Но не только развенчанный (или развенчавший себя) «скандалист» стоял тогда перед моими глазами. Книга дорога мне, потому что уже в середине двадцатых годов мне удалось подметить черты, вскоре (и надолго) определившие нашу литературную жизнь.

В «Скандалисте» писательский круг написан с горечью, с раздражением. В первом издании (худо ли, хорошо ли) были выведены Федин (Роберт Тюфин), Алексей Толстой (Шаховской), Слонимский (Сущевский), П. Е. Щеголев (Кекчеев-старший), мельком — Зощенко и Чапыгин. Предполагался еще Лавренев, но Юрий убедил меня вычеркнуть его (Лавировского): во-первых, слишком похоже, а во-вторых — лавировали многие. Все они говорят *не о том*, что в действительности беспокоило их,— и это «не о том» составляет атмосферу книги.

Так, не о том говорит на литературном вечере в Капелле Некрылов: в самом деле, стоило ли упрекать писателей за то, что они прикрыли себя фетровыми шляпами, покупают мебель и «продолжают» литературу?

Ведь, в сущности, он должен был говорить о том, как ее ломают о колено. О том, что равнодушие одних и разочарование других не упали с неба. О том, что неестественное чувство подчинения внесено в литературный круг — чувство уже не новое, еще не прижившееся, но уже набирающее силу. О том, что он — скандалист не потому, что на литературу накидывают петлю, а потому, что еще можно скандалить.

Вскоре это станет невозможным. Вскоре еще небывалые возможности откроются перед большими и маленькими «приобретателями», которые, опираясь на государство, начнут «разрастаться», как разрастается в моем романе Кирилл Кекчеев. Он-то еще интеллигентный карьерист, окончивший университет и умеющий говорить пошлости по-латыни. Такие продержатся недолго. Такие не пригодятся, когда начнется вторжение государства в литературу, нимало не похожее на те формы зависимости, о которых часто и охотно писали историки XIX века. В «Скандалисте» я попытался лишь наметить первый разбег карьеризма, который стремительно развернулся в тридцатых годах и с той поры неутомимо пытается превратить литературу в хозяйство, в «дело». Впоследствии он приобрел новую форму — «захват»,— и это было открытием того способа существования, который породил касту литературных вельмож, награжденных самыми высокими званиями, надежно прикрытых от критического обсуждения их книг, если они пишут, или их дел, если они редакторы, администраторы, члены секретариата. Но я забегаю вперед.

Так как в «Скандалисте» много места было отдано растерявшейся академической науке, он был встречен без грубости и даже с надеждой на мое исправление. М. Григорьев в статье «Литературный гомункулюс» («На литературном посту», 1930, № 23, 24) вслед за упреками в «надуманности», «идеалистической эстетике», «малоискусном комбинаторстве» отдает мне должное: высмеяв академиков, я не пощадил и формалистов. Если я не пойду — полагал М. Григорьев — последовательно в новом направлении, будущая история литературы не поместит моего имени «даже в петите примечаний».

Автор другой статьи (Евг. Северин. «Печать и революция», 1929, № 1), рассматривая всю мою работу, начиная с первой книги «Мастера и подмастерья», считал, что от «пустой фантастики» и «манерного оригинальничанья» я перешел (в «Скандалисте») к «социальности» (!) и более или менее удачно нарисовал «картину деградации старой интеллигенции».

Были и другие статьи, упрекавшие меня в холодности, в «пародии на действительность», в «фетишизации литературной техники», в «позе и ненужных вывертах». Подводя итоги, почти все авторы сходились на мысли, изумившей меня: оказывается, я написал роман о «лишних людях».

Еще в 1921 году Горький настоятельно советовал мне не обращать на критику никакого внимания — естественно, он опирался на свой многолетний дореволюционный опыт. Без сомнения, ему и во сне не могло присниться, что придет время, когда иная статья будет равняться смертному приговору. Но и об этом — в дальнейшем, когда я буду писать о положении литературы в конце тридцатых годов.

Критика всю жизнь преследовала меня то с большим, то с меньшим ожесточением. Первая книга «Мастера и подмастерья» была встречена рецензиями Я. Брауна (кажется, в «Сибирских огнях»), кончавшейся словами: «Советуем автору прочесть „Детство Багрова-внука“ и прийти в себя». Опомниться, очнуться, прийти в себя мне советовали до тех пор, пока в наказание за «инакомыслие» обо мне — после грязных «поэтапных» нападений — почти перестали упоминать в печати.

Даже первый том «Двух капитанов» был встречен разгромной статьей — какая-то учительница возмутилась, что я назвал комсомолку дурой. В конце концов мне удалось последовать совету Горького — я перестал читать статьи о своих книгах. Но вернемся к тем годам, когда немыслимо было их не читать.

6

Вскоре после выхода «Скандалиста» я пошел в редакцию «Звезды», помещавшуюся в Доме книги на Невском, и на лестнице встретил Федина, который, без сомнения, был возмущен появлением моего «памфлета» — этот термин попадался во многих статьях. Мы дружески поздоровались. Еще прежде, на «Серапионах», он не выразил и тени порицания, отметив лишь одну, действительно неудачную, фразу. Об этой выдержке, составлявшей одну из главных черт его характера, я еще расскажу. И в этот день он был доброжелательно сдержан. На лестнице он подарил мне одну из своих «улыбок для авторов». Еще в ту пору, когда он редактировал «Книгу и революцию», он выработал серию таких улыбок и однажды продемонстрировал свое изобретение на одной из серапионовских сред. Мы хохотали. Улыбки были поразительно разнообразны — недаром интернированный немцами в годы войны Федин играл в оперетте. (Его амплуа было «Комишер бас».) Радостно-обнадеживающая улыбка предназначалась для авторов, которым он возвращал рукопись. Ее-то я и получил, когда мы простились.

Но было в ней что-то неопределенно-язвительное, а может быть, даже и торжествующее,— или мне показалось?

На площадке третьего этажа стоял с газетой в руках Борис Соловьев, в ту пору скромный молодой человек, секретарь редакции журнала «Звезда», а в наши дни — вялый, вызывающий отвращение одной своей раскоряченной бабьей походкой старик, от которого так и несет предательством и нравственным разложением. Заместитель главного редактора издательства «Советский писатель», он, пользуясь своим положением, издает и переиздает (в роскошном оформлении) свою бездарную и лживую книгу о Блоке. Мы поздоровались. Не знаю, что заставило меня обернуться. Держа газету в руках, он смотрел мне вслед, улыбаясь с откровенным злорадством.

В газете — это была «Вечерняя Красная газета», некто Н. Берковский — впоследствии известный историк западноевропейской литературы — напечатал статью о «Скандалисте». В сравнении с добрым десятком других статей в ней не было политических обвинений. Тем не менее, она не только оскорбила меня, но и запомнилась на всю жизнь. Берковский писал обо мне в небрежно-хамском, пренебрежительном тоне: «Каждая литературная эпоха оставляет свой помет в пасквильном романе... В Ленинграде „Скандалист" равен витрине Наппельбаума (известный фотограф) — „Знакомых карточки приятные прибиты клиньями вокруг",— как сказал поэт Заболоцкий»... «Зарисовкой щели в купальню, где полощутся голые литераторы, Каверин себя не ограничил» и так далее. Статья смахивала на пощечину, нанесенную ленивой рукой, и я невольно пожалел, что история отменила дуэли — повод, с моей точки зрения, был вполне обоснован. Но, может быть, ответить на нее пощечиной в буквальном смысле слова? От этого поступка удержал меня Юрий.

Я помню промозглый зимний вечер 1929 года. В полупустом трамвае мы едем куда-то, должно быть, на Греческий с Большого проспекта Петроградской стороны (где мы с женой жили в ту пору), через Биржевой мост, прогромыхавший оглушительно-пусто, через Дворцовый. Холодно, невесело, тускло. Юрий смотрит на меня и почему-то спрашивает:

— Ты не очень здоров?

Мы оба расстроены, озабочены. У него — свои огорчения, в сравнении с которыми мои — мимолетны, ничтожны. Вот уже год, как его заставили расстаться с молодой, прелестной, двадцатидвухлетней женщиной, и он только что услышал от меня то, что меньше всего хотелось бы ему услышать о ней. И его вопрос «Ты не очень здоров?» обращен в большей мере к себе, чем ко мне. Он плохо чувствует себя всю зиму, и хотя еще далеко до пятнадцатилетней, загадочной, неотступной болезни, которая сведет его в могилу, он, как будто предчувствуя ее, томится и тоскует.

— А Берковский...— и он сделал рукой презрительный, предсказывающий жест.— Это не литература. Это... «Иль в Булгарина наступишь».

Я не знал тогда, что Мандельштам заступился за меня [1], отметив в рецензии Берковского именно ту черту, которая так памятливо меня оскорбила.

«Смертию смерть поправ»

1

Я рассказал о первых встречах с ним в «Освещенных окнах». Эти встречи — то частые, то редкие — продолжались всю жизнь, но не о них сейчас пойдет речь.

[1] Ст. О. Мандельштама «Веер герцогиня», газ. «Вечерняя Киев», 1929, 25 января; см. также перепечатку с ошибочной ссылкой на газ. «Красный пролетарий» и т. 3, стр. 52—56. Собр. соч. в 3 т., Нью-Йорк, 1969.

Никто (или почти никто) не помнит о стремительном взлете его славы в двадцатых годах. Уже в 1928 году издательство «Академия» выпустило посвященный ему сборник статей, в котором участвовали В. Шкловский и В. Виноградов.

«Сделанность вещей Зощенко, присутствие второго плана, хорошая и изобретательная языковая конструкция сделала Зощенко самым популярным русским прозаиком. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Как поезд»,— писал Шкловский.

Я был свидетелем воплощения этой формулы в жизнь. На перегоне Ярославль—Рыбинск находчивый пассажир продавал за двадцать копеек право прочитать маленькую книжечку Зощенко — последнюю, которая нашлась в газетном киоске.

К концу 1927 года он напечатал тридцать две такие книжечки, среди которых были и повести «Страшная ночь» и «Аполлон и Тамара».

Десятки самозванцев бродили по стране, выдавая себя за Михаила Михайловича. Он получал счета из гостиниц, из комиссионных магазинов, а однажды, помнится, повестку в суд по уголовному делу. Женщины, которых он и в глаза не видел, настоятельно, с угрозами, требовали у него алименты. Корреспонденция у него была необъятной. На некоторые значительные письма он отзывался, тысячи других оставались без ответа, и в конце концов, отобрав из них три-четыре десятка, он опубликовал «Письма к писателю», книгу, не столько объяснившую, сколько подтвердившую его успех, нимало не нуждавшийся в подтверждении.

Между тем над причинами этого успеха стоило задуматься, потому что он был связан с открытиями неоспоримо новыми в русской прозе.

Теперь, когда о Зощенко написаны книги, когда «Вопросы литературы» напечатали даже воспоминания его вдовы (которые, из уважения к его памяти, пожалуй, не следовало печатать). Когда знак равенства между Зощенко и его героями, наконец, зачеркнут. Когда после видимых колебаний, было решено отметить его восьмидесятилетие. (О том, что колебания были, свидетельствует издевательски подлое, ерническое сообщение об этой юбилейной дате в «Литературной газете» от имени — не редакции, а сатирического отдела «Двенадцать стульев», на последней странице.) Когда при ясном свете дня восстановлена истина, возвращающая Зощенко в узкий круг первоклассных русских писателей XX века — нет нужды вновь доказывать ее с помощью исторического и теоретического разбора. Но нельзя оставить в забвении, в темноте, в немоте те поразительные, никогда прежде не возникавшие *обстоятельства*, которые настигли его в 1946 году и преследовали до самой смерти. Нельзя оставить насильственно замолчанными годы оскорблений, поношений, предательства, нищеты.

В «Смерти Вазир-Мухтара» перед умственным взором Грибоедова — Дева-Обида... «От земли, родной земли, на которую голландский солдат и инженер, Петр по имени, навалил камни и назвал Петербургом, от финской чужой земли, издавна выдаваемой за русскую с эстонскими, чудьскими, белесыми людьми — астала обида...»

Это была обида не Вазир-Мухтара, приговоренного к Персии и к гибели, а Тынянова — о себе он писал на этих страницах.

Совсем другая, расплескавшаяся в ежедневных, ежечасных унижениях, выматывающая, растянувшаяся на годы, на вечность, утонувшая в толкотне мелких и крупных нападок, отступавшая, чтобы злобно накинуться снова, окружавшая безвыходно, безысходно,— другая обида встала перед Зощенко, который никогда не жаловался, не просил ни у кого помощи, ни перед кем — даже перед Сталиным — не склонил головы.

У него был огромный читательский успех, его слова и выражения рано вошли в разговорный язык. Однако в хоре похвал пробивалось и бессознательное непонимание. Для этого нужно было только одно — не чувствовать юмора. Впрочем, для того, чтобы не почувствовать зощенковского юмора, нужна полная глухота — такие люди едва ли могут отличить музыку от уличного шума.

К непониманию стали постепенно присоединяться подозрительность и отрицание. Волей-неволей каждой своей строкой Зощенко высмеивал славословие, все чаще звучавшее в литературе. Его смех странно звучал в ту пору, когда через каждые две-три минуты по радио слышалось имя Сталина, когда даже в повестках, приглашавших на очередное собрание любой секции Союза писателей, его называли гениальным.

Зощенко, в поисках выхода, обратился к «несмешным» жанрам, написав (1936—1939) историю падения Керенского, жизнь Тараса Шевченко, жизнь работницы Касьяновой («Возмездие»), ответившей, когда Зощенко попросил разрешения написать о ней: «Если это получится как забава, то не надо. Мне было бы неприятно, если бы вы посмеялись над моей жизнью». Разумеется, Зощенко исполнил эту просьбу.

Он написал «Черного принца» — историю английского парохода, потонувшего в 1854 году с грузом золота в Балаклавской бухте. Все эти произведения лишены той музыки юмора, того изящества, которые звучат в его произведениях двадцатых годов. К счастью, работая над ними, Зощенко не лишился своего необычайного дара. «Все начинало звенеть, когда он становился самим собою» [1].

[1] «За рабочим столом». «Новый мир», 1965, № 9, стр. 155.

Так или иначе, до 1946 года Зощенко оставался одним из уважаемых писателей старшего поколения, хотя он и не нравился бюрократии, инстинктивно чувствующей, что уже в первых книгах его острый взгляд безошибочно определил «Борьку Алмазова в полосатых подштанниках», как хваткого малого, который, слегка поумнев, занял руководящие посты в комитетах и наркоматах.

Но вот, в августе 1946 года, появилось Постановление ЦК «О журналах „Звезда" и „Ленинград"», и другой климат установился в литературе.

Но прежде, чем перейти к тому, что началось, надо рассказать о Михаиле Михайловиче как о писателе и человеке — ведь в наши дни уже никто, пожалуй, кроме меня, не сможет этого сделать.

2

В «Освещенных окнах» можно было дать лишь самое общее представление о нем, и я воспользовался этой возможностью доказать, что он был редким смельчаком,— ведь в сотнях речей и статей его называли трусом. На самом деле характерное для него гордое достоинство соединялось с полным бесстрашием — более того, небоязнью смерти. Но об этом — впереди, а сейчас я хочу лишь напомнить, что офицер русской, а потом Красной Армии, он был трижды ранен и неоднократно награжден. В 22 года он был уже штабс-капитаном.

На войне он был отравлен газами, и красивое, матово-бледное лицо его, чуть желтоватое, сдержанное, было всегда как бы подернуто этой матовостью, сквозь которую разглядеть его удавалось немногим.

Мы сближались медленно, поначалу даже и ссорились — моя мальчишеская самоуверенность, мои резкости на серапионовских собраниях не нравилась человеку, о котором Шкловский метко сказал, что «у него осторожная поступь, очень тихий голос... манера человека, который хочет очень вежливо кончить большой скандал...»[1]

Впоследствии моя искренняя любовь к нему, мое восхищение его удивительным дарованием смягчили его. Мы стали друзьями, хотя я никогда не чувствовал, что моя личность или мои книги глубоко занимали его. Для меня постепенно стало ясно, что его в особенности интересовали люди ничтожные, незаметные, с душевным надломом — это видно, кстати сказать, по его книге «Письма к писателю», где авторский комментарий ясно показывает, в какую сторону был направлен этот самобытный, оригинальный ум. Да и в жизни он склонен был встречаться с людьми средними, глуповатыми, обыкновенными (такими, например, как добрый, благожелательный, пустоватый Л.).

Мне кажется, что он отказывался судить людей, легко прощая им подлости, пошлости, даже трусость. Катаев — близкий друг — предал его, проголосовав за его исключение из Союза писателей. В Большом зале Дома ученых 17 сентября 1946 года он выступил против него, утверждая, что «провал Зощенко не должен набросить тень на работу московских сатириков» и так далее. Отчет об этом собрании напечатан в «Литературной газете» 21 сентября 1946 года.

Зощенко простил его и даже (судя по манере, с которой это было рассказано мне) отнесся к этому поступку с живым интересом. Через полгода (или раньше) пьяный Катаев, вымаливая прощение, стоял перед ним на коленях.

Я спросил:

— Откупался?

В ответ Михаил Михайлович только пожал плечами. Казалось, он огорчился, расстроив меня своим рассказом.

Сходство с нравственной трагедией Гоголя померещилось ему очень рано. Сходство было. Но для Гоголя характерна способность восхищаться, восторг, который роднит этого самого русского из русских писателей с украинской прозой. У Михаила Михайловича не было этой черты. Не было и тех сложных отношений с собственной совестью, которые привели Гоголя к крушению «восторга». Общие свойства заключались, мне кажется, в мучительном обращении к себе, в стремлении сократить расстояние между собой и «маленьким человеком». Оба вглядывались в него, как в самого себя,— и это странным образом приводило к почти пророческому ощущению своего призвания и дара.

Но Зощенко был щедр, швырялся деньгами (в лучшую пору), любил женщин, к которым относился по-офицерски легко.

Эта легкость не мешала ему, однако, нежно заботиться о них после неизменно-мягкого, но непреклонного разрыва. Он выдавал их замуж, пировал на свадьбах, одаривал приданым и оставался другом семьи, если муж не был человеком особенно глупым. Женщины были хорошенькие, иногда красивые, но, за редким исключением, средние, без блеска ума или чувства. Когда однажды, где-то на юге, две стройные, высокие красавицы сестры внезапно явились перед ним из пены морского прибоя, он был поражен, восхищен, но, слабо махнув рукой, сказал:

— Это не для меня.

[1] «Мастера литературы», Academia, 1928.

Внутренняя напряженность, которая была видна в нем с первых дней нашего знакомства, усилилась, когда он стал знаменитым писателем. «Аристократка», «В бане» — были написаны человеком, который, «находясь в болезненно нервическом раздражении» («Письма к писателю»), ушел из семьи, не разрывая отношений, без конца переезжал из комнаты в комнату, не подходил к телефону и «до 26 года уничтожал все полученные письма» (там же).

Помнится, он уехал отдыхать и, проведя на курорте день или два, не выходя из дома, вернулся в Ленинград. Слонимский, который из «серапионов» был к нему ближе других, боялся, что он может покончить с собой.

Случались недолгие месяцы успокоения, просветления. Однажды я встретился с ним на Невском, и он, с необычным для него оживлением, рассказал, что бросил все переезды из комнаты в комнату и живет с женой и сыном на улице Чайковского. Для него, постоянно погруженного в мучительные размышления, которыми он стал делиться не скоро, болезненного, угнетенного, склонного к меланхолии, естественная, обыкновенная жизнь в ту пору представлялась настоящим открытием. Именно так он рассказывал о ней — радостно, без малейшей иронии.

Впоследствии, когда он получил квартиру на канале Грибоедова, в писательской надстройке, он все же перестроил ее так, чтобы между его кабинетом и всеми остальными комнатами остался коридорчик.

Что еще рассказать о нем? Он никогда не острил, его милый, мягкий юмор сказывался не в остротах, а в почти неуловимой интонации, в маленьких артистических импровизациях, возникавших по неожиданному, мимолетному поводу — это-то и было прелестно.

Оказавшись однажды на одном из серапионовских праздников рядом с моей женой за столом, он мигом разыграл мнимую «общность интересов».

— Передайте, пожалуйста, нам с Лидочкой сто грамм масла...

И потом, в конце вечера:

— Нас с Лидочкой развозит.

Он радовался удачам друзей, как бы далеки ни были их произведения от его литературного вкуса. Зависть была глубоко чужда ему и даже, кажется, непонятна. Не говорю уж об его доброте — ненавязчивой, деликатной,— недаром же, широко помогая полузнакомым подчас людям, он остался без гроша, когда нагрянула беда, лишившая его всех средств к существованию.

3

В 1957 году в альманахе «Литературная Москва» (2) был напечатан рассказ А. Яшина «Рычаги».

На собраниях в Союзе писателей немедленно разгромили этот рассказ, а потом запретили и самый альманах, появление которого было связано с новой, обнадеживающей полосой в нашей литературе. А пока скажу лишь, что рассказ Яшина, прославивший имя автора, был разгромлен потому, что в нем было подхвачено и талантливо изображено всеобщее в нашей стране социальное явление: страх, порождающий двойную жизнь. Одну — личную, естественную, обыкновенную. Другую — административную, официальную, мгновенно превращающую чистых, сердечных, добрых людей в «рычаги» государственного аппарата.

Это раздвоение было предсказано Зощенко еще в двадцатых годах. Более того, в своих лучших рассказах он изобразил «нового» человека, для которого это раздвоение было активным, нападающим способом существования. «Вот в литературе существует так называемый „социальный заказ" — писал он в предисловии к упоминавшемуся сборнику статей („Академия").— Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно. Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой. Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывает, конечно же, не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой мелкой форме, с которой, по крайней мере, связывались раньше самые плохие литературные традиции... Мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе... Я взял подряд на этот заказ. Я предполагаю, что не ошибся».

Он не только не ошибся. Он первый почувствовал грозную силу, которая пошла бок о бок с понижением интеллектуального уровня, с многоэтапным нападением на беззащитное искусство. Этой силой было беспредельно разветвлявшееся мещанство. Только оно и могло выжить, заранее соглашаясь на раздвоение, на превращение в «рычаги», для которых нравственность была только обузой.

Да и сам Зощенко почувствовал, что некому смеяться над мещанством, которое уже в начале тридцатых годов заняло господствующее положение.

И вдруг этот широко известный писатель оказался в полном одиночестве. От него отвернулись даже те, кого он считал своими ближайшими друзьями. Началась новая, трагическая полоса его жизни, потребовавшая от него неслыханного напряжения всех душевных и физических сил.

4

Так до сих пор и осталось загадочным, чем было вызвано Постановление ЦК от 14 августа 1946 года «О журналах „Звезда" и „Ленинград"». О причинах внезапного нападения на Зощенко, Ахматову, «Серапионовых братьев» можно было только догадываться — по меньшей мере о причинах непосредственных, частных. Эти частные причины ничего не значили перед общей и даже всеобщей. Вот ее-то теперь, через тридцать лет, мне кажется, можно назвать. Без полной уверенности, но можно. Эта общая причина заключалась в том, что сразу после войны, после победы, унесшей миллионы жизней, в обществе наступила пора каких-то неопределенных надежд. Это были надежды на «послабление», на заслуженное доверие, на долгожданную человечность, на естественную, после всего пережитого, мягкость. По этим-то надеждам и решено было ударить, а так как в русской литературе во все времена и при любых обстоятельствах выражалась (или хотя бы бледной тенью отражалась) душа народа — в эту душу и решено было вонзить отравленный нож.

Самый выбор писателей, которых нарочно оставили на свободе, чтобы продлить на годы действенность удара, доказывает это предложение. Для «проработки» всегда предварительно намечался объект — это произошло на моих глазах с Леонидом Добычиным, историю гибели которого в 1936 году мне не дали рассказать в книге «Собеседник». Выбор был нелепый, хотя бы потому, что Зощенко и Ахматова находились на беспредельно далеком расстоянии друг от друга в литературе.

В «Освещенных окнах» я писал о том, что уже в первых книгах Зощенко расстояние между автором и героем было огромным, что не заметить его мог только человек, не отличавший музыки от уличного шума. Но ведь можно было его *намеренно* не заметить! И это, без сомнения, было сделано, когда в 1944 году после статьи в журнале «Большевик» правительство оборвало на середине печатание повести «Перед восходом солнца». Уже тогда Зощенко называли «тряпичником», который «бродит по человеческим помойкам, выбирая, что похуже», писали, что он, «повинуясь темному желанию, притягивает за волосы на сцену каких-то уродов», что он «пропагандирует пренебрежительное отношение к людям, смакует сцены, вызывающие глубокое омерзение».

5

Между тем книга «Перед восходом солнца» была продиктована стремлением принять участие в Великой Отечественной войне. По состоянию здоровья (да я по годам) Зощенко был вчистую освобожден от военной службы, не мог, как другие, стать военным корреспондентом, хотя на фронт и ездил. Впоследствии, когда на него обрушились беспримерные по своему размаху клеветнические обвинения, его объявили трусом, сбежавшим в Алма-Ату из блокированного Ленинграда. Это ложь. Он улетел из Ленинграда в сентябре 1941 года вместе с Шостаковичем — у кого-то из руководителей горкома хватило сметливости, чтобы позаботиться о великих гражданах страны. В третьей части «Освещенных окон» я писал, что Зощенко был одним из самых отважных людей, которых я встречал в своей жизни.

Как и Тынянову, фашизм был ненавистен ему прежде всего своим презрением к личности, к своеобразию индивидуального облика, к неповторимости, выработанной человечеством в течение тысячелетий.

Об этом мы говорили с ним еще в Ленинграде, после его двукратных коротких поездок на фронт. Быть может, тогда-то и оформилась давно задуманная книга «Перед восходом солнца» — книга, подводившая итоги научно-беллетристическому циклу.

Она делится на две части. Первая, опубликованная в журнале «Октябрь» (1943), состоит из рассказов, в которых перед читателем раскрывается панорама обыкновенной на первый взгляд, но на деле психопатологической жизни. Слово «панорама» определяется в словаре иностранных слов, как «больших размеров картина с объемным и рельефным планом на стене круглого с верхним светом здания, в середине которого находится зритель, получающий иллюзию реального вида». Это определение до некоторой степени подходит к первой части книги. Автор постепенно раскрывает перед читателем отдельные, рельефные и объемные сцены окружающего мира. Разница, однако, состоит в том, что они раскрываются постепенно, не только в пространстве, но во времени. Жизненным опытом автор воспользовался в хронологической последовательности. Там, где это необходимо, указаны годы.

Рецензия, появившаяся в журнале «Большевик», сделала публикацию следующей части невозможной. Редактор — умная, дельная, благожелательная М. М. Юнович — была заменена Панферовым. К сожалению, у меня нет времени, чтобы рассказать об этом самодуре, впоследствии долго смешившем читателей своими до странности безвкусными, длинными романами. Некоторые его выражения и доныне вспоминаются в литературных кругах,— такие, например, как: «Плеяда отъявленных злодеев вошла в зал» (о фашистском генералитете) или «Партизаны смотрели на отъезжавшую Татьяну, как на пароход, на котором им всем не досталось места...»

В более или менее полном виде рецензия отнесена в Приложения. Но вот несколько цитат: «Что же потрясло воображение писателя — современника величайших событий в истории человечества? В ответ на это Зощенко преподносит читателю 62 грязных происшествия, которые когда-то, с 1912-го по 1926 годы его „вдохновили". Вся повесть проникнута презрением автора к людям. Почти все, о ком пишет Зощенко,— это пьяницы, жулики и развратники. Это — грязный плевок в лицо нашему читателю. Как мог написать Зощенко эту галиматью, нужную лишь врагам нашей родины?»

Не только на анонимных полуграмотных рецензентов — даже на друзей Зощенко первая часть книги произвела странное впечатление — странное и ложное, потому что никто из них не читал вторую часть. Сорок третий год — нет необходимости напоминать о том, что происходило на фронтах в это время! А Зощенко, казалось, занят только собой. Все участвуют в войне, а он публично показывает свою «незадетость». Немцы на Волге, Ленинград в блокаде,— а он пишет о какой-то дамочке, которая забегает к любовнику «освежиться», пока недоумевающий автор ждет ее у подъезда.

Первая часть выглядела неловкой, бестактной, и, конечно М. М. Юнович сделала ошибку, не напечатав всю книгу. Очевидно, это было невозможно по техническим причинам.

Между тем первая часть написана ради второй. В ней Зощенко пытается объяснить психологическую сущность фашизма, и тогда шестьдесят два рассказа — примера из личной жизни — оказываются необходимыми, становясь на место.

В письме Сталину от 25 ноября 1943 года Зощенко попытался объяснить сущность дела.

Вот это письмо.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Только крайние обстоятельства позволили мне обратиться к Вам.

Мною написана книга — «Перед восходом солнца».

Это — антифашистская книга. Она написана в защиту разума и его прав.

Помимо художественного описания жизни, в книге заключена научная тема об условных рефлексах И. П. Павлова.

Эта теория основным образом была проверена на животных.

Мне удалось собрать материал, доказывающий полезную применимость ее и к человеческой жизни.

При этом с очевидностью были обнаружены грубейшие идеалистические ошибки Фрейда и, в свою очередь, доказаны большая правда и значение теории Павлова — простой, точной и достоверной.

Редакция журнала «Октябрь» не раз давала мою книгу на отзыв, еще в период, когда я писал эту книгу, академику А. Д. Сперанскому. Он признал, что книга написана в соответствии с данными современной науки и заслуживает печати и внимания.

Книгу начали печатать. Однако, не подождав конца, критика отнеслась к ней отрицательно.

Печатание ее было прекращено.

Мне кажется несправедливым оцениаать работу по первой ее половине, ибо в первой половине нет разрешения вопроса. Там приведен лишь материал, поставлены задачи и отчасти показан метод.

И только во второй половине развернута художественная и научная часть исследования, а также сделаны соответствующие выводы.

Дорогой Иосиф Виссарионович, я не посмел бы тревожить Вас, если б не имел глубокого убеждения, что книга моя, доказывающая могущество разума и его торжество над низшими силами, нужна в наши дни.

Она может быть нужна и советской науке. И еще мне думается, что книга моя полезна людям как художественное произведение, ибо она осмеивает пошлость лживость и безнравственность.

В силу этого беру на себя смелость просить Вас ознакомиться с моей работой, либо дать распоряжение проверить ее более обстоятельно, чем это сделано критиками. И, во всяком случае, проверить ее целиком.

Все указания, какие при этом могут быть сделаны, я с благодарностью учту.

Сердечно пожелаю Вам здоровья.

Мих. Зощенко.

25 ноября 1943 года.
Гостиница «Москва», № 1038.

Разумеется, Михаил Михайлович не получил ответа. Тогда он вскоре написал второе письмо, в ЦК — А. С. Щербакову. На этот раз он не защищался, не пытался объяснить смысл своей книги, не указывал, что она, в сущности, еще не опубликована полностью, и, следовательно, нельзя судить о ней. Он признал, что новый жанр «оказался порочным». Он сознавался в том, что «книгу не следовало печатать в том виде, как она есть».

Насколько мне известно, это было единственное «раскаяние» Зощенко. Эта позиция — как показало время — ни в малейшей степени не помогла ему. Более того, она год за годом заставляла его терять душевное равновесие, искать выхода там, где выхода не было, отказываться от себя в надежде найти жанр, который позволил бы ему остаться в литературе.

Замятин написал Сталину, что он отказывается работать «за решеткой». Булгаков, отнюдь не раскаиваясь, настойчиво доказывал свою правоту. Его не печатали с 1926 года, но он сохранил себя в работе над «Мастером и Маргаритой». Укрывшаяся в глубоком подполье поэзия Ахматовой была основой самоутверждения — и победила. Бабель замолчал, не желая лгать. В осаде они были разобщены, но между ними была глубокая внутренняя связь,— та нить, которая невидимо связывала все жизнедеятельные явления нашей литературы.

Зощенко продолжал работать, пытаясь вернуть свое положение. В его столе не было ни одной страницы, которую он *не хотел* бы напечатать. Это «не хотел» лишь на первый взгляд кажется чем-то неестественным или даже бессмысленным. На деле именно здесь идея независимости художника (не только от власти, но от читателя, зрителя, слушателя) — получает, может быть, самое глубокое свое выражение. Это «наедине с собой», сознательно рассчитанное на полную, ничем не ограниченную свободу — самая прочная основа для создания совершенного произведения искусства. Вспомним гениального поэта и художника Уильяма Блейка.

Путь, который был намечен Зощенко в письме к Щербакову, ничего не обещал, кроме позора и унижений. Не прошло и трех лет, как оказалось, что это — крестный путь.

6

Постановление ЦК от 14 августа 1946 года — это была уже не статья. В нем ни на чем не основанные обвинения приобрели форму закона. Правительство *постановило*, что Зощенко хулиган, клеветник, подонок, пошляк — с изумлением встречаешь в наши дни эти ругательства в государственном документе... «Он изображает советские порядки и советских людей,— клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно-хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами... Он рассчитывает дезориентировать нашу молодежь, *отравить* ее сознание».

Какие же доказательства предъявляются «отравителю»? В 1945 году он напечатал маленький рассказ «Приключения обезьяны». Никто не обратил на него внимания. Но в 1946 году редактору «Звезды» Саянову приходит в голову несчастная мысль перепечатать этот рассказ в разделе «Новинки детской литературы» — и Зощенко вступает в первый круг ада.

7

Есть нечто психопатологическое в том, что именно этот детский рассказик был избран как основной пункт громадного, еще неслыханного в нашей литературе политического обвинения — только маньяк мог вообразить, что мартышку, сбежавшую из зоопарка, Зощенко «наделяет ролью высшего судьи наших общественных порядков и заставляет читать нечто вроде морали советским людям». Только болезненная подозрительность могла заставить этого маньяка — кто бы он ни был — перетолковать этот рассказ, в сущности, гуманный, потому что в нем показано вовсе не высокопарное отношение обезьяны к людям, а бережное отношение людей к обезьяне,— истолковать как «нарочито уродливое, карикатурное изображение» советского быта. Ничего похожего нет в рассказе — и недаром же в докладе Жданова, надолго остановившем движение нашей литературы, нет ни одной цитаты.

Конечно, никому — и прежде всего самому Михаилу Михайловичу — и в голову

не пришло, что этот мимолетный детский рассказик был подлинной причиной изощренных гонений, обрушившихся на первоклассного писателя и благородного человека.

Выше я высказал свои соображения о генеральной общей причине подобной тактики — нападение на литературу было лишь одним из ее проявлений. Но мы, перенесшие бесчисленные тяготы войны и только что отпраздновавшие победу, мы были далеки, бесконечно далеки от таких предположений. Естественно, что сразу же все стали искать частную, непосредственную причину. Ясно, что обезьянка ни при чем, ясно, что Михаил Михайлович кого-то задел, в чем-то невольно провинился. Кого же?

Лидия Корнеевна Чуковская в своих «Записках об Ахматовой» приводит версию, которой придерживался, правда, без полной уверенности, и сам Михаил Михайлович: «В одном из первых рассказов о Ленине описано, как часовой, молодой красноармеец Лобанов отказался однажды пропустить его в Смольный. Какой-то человек с усами и бородкой крикнул: „Немедленно пропустить. Это же Ленин!“ Однако Ленин остановил грубияна и поблагодарил красноармейца за отличную службу. Рассказ был напечатан в „Звезде“ (1940, № 7). Редактор посоветовал выбросить бородку — грубиян был похож на Калинина. Остались усы и грубость. Сталин вообразил, что это о нем».

Помнится, Михаил Михайлович высказывал мне и другие соображения. Так или иначе, любое из них не было связано с понятием естественной соотнесенности, логической связи. Ни в постановлении, ни в докладе Жданова, ни в многочисленных статьях, ругавших писателей, обогативших нашу литературу, нет этой внутренней связи.

Они подчеркнуто демонстративны: прямое насилие в общественной атмосфере и мысли, как военный приказ, было выражено в двух словах.

Нет смысла подробно разбирать доклад Жданова. Для того, чтобы доказать всю глубину реакционности Зощенко, Жданов (то есть, разумеется, его референты) метнулся на двадцать пять лет назад, напомнив, что Михаил Михайлович был участником группы «Серапионовы братья». То, что Федин, Тихонов, Слонимский, Никитин давно занимали видное положение в административной иерархии, не остановило их. Перемахнули референты и тот факт, что почти все «серапионы» давным-давно отказались от своей молодости или в другой, менее демонстративной форме отнекрестились от своих мнимых грехов. Референтов Жданова интересовала не гражданская доблесть «серапионов», а их порочная молодость. Так появилось имя Льва Лунца, который действительно заявил (в тех же «Литературных записках» за 1922 год), что «пишет не для пропаганды», что «искусство реально, как сама жизнь». Только я в нашем «ордене» разделял взгляды Лунца, и только пристрастный взгляд мог не заметить, что несмотря на дружескую близость, Зощенко не только был не согласен с Лунцем, но — единственный из «серапионов» — признал (там же), что он «большевичить согласен» в что «кому же еще и быть большевиком, если не мне».

Об этом Жданов, понятно, умолчал. Подтасовкой, лицемерием, ложью так и разит от каждого его слова. Ложь, что Зощенко был одним из организаторов «Серапионовых братьев». Ложь, что он в годы войны «окопался в Алма-Ате, в глубоком тылу»; я уже упоминал, что Ленинградский горком предложил ему (вместе с Шостаковичем) покинуть блокадный, вымирающий город. Ложь, что он «триумфально вернулся» в родной Ленинград после войны. Ложь, что он «играл активную роль в литературных делах Ленинграда»...

Весь этот «доклад», в котором понимание литературы далеко не достигает уровня чеховского телеграфиста Ятя, проникнут тупой наигранной ненавистью к интеллигенции — уж так ясно, что он «задан», «приказан», заранее утвержден.

Не говорю уже о полном невежестве. Рядом с Зощенко поставлена «аристократически-салонная» Ахматова — «не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой». Патроном и родоначальником «Серапионовых братьев» и акмеистов объявляется Гофман — «один из основоположников аристократически-салонного декадентства и мистицизма». Какой же Гофман? Инициалы предусмотрительно не указаны. Неужели Эрнст Теодор Амадей Гофман, великий писатель, которого Белинский назвал «одним из величайших немецких поэтов, живописцем невидимого внутреннего мира, ясновидцем таинственных сил природы, воспитателем юношества, высшим идеалом писателя для детей»? Или, может быть, Виктор Гофман, второстепенный поэт-символист, известный в десятых годах, забытый в двадцатых?

О том, как далеки были «Серапионовы братья» от Теодора Амадея Гофмана (если все же предполагался он), легко судить по шутливому стихотворению Юрия Тынянова, написанному ко второй или третьей годовщине нашего «ордена»:

Пиша в неделю пять романов
Про азиатов и блядей,
Меж ними Всеволод Иванов
Чистейший Гофман Амадей.

Да, в наши дни горько и смешно читать «доклад» Жданова, всю его пересыпанную ругательствами казарменную чушь. Он переломал сотни жизней. Благодаря характерному для советской жизни самоповторению, кружению на месте, он не только не был отменен, но сознательно поддерживался в течение трех десятилетий. Эта чушь помогала и помогает администрированию в искусстве — ведь подобное же или даже еще более уродливое постановление было направлено против музыки, против Шостаковича, Прокофьева [1].

Она открыла широкую дорогу бесчисленным блюдолизам и дармоедам, которые тотчас стали рвать в клочья все достойное, что осталось в литературе. После Двадцатого съезда партии была полоса, очень короткая, когда постановления ЦК открыто высмеивались на собраниях. Я помню остроумную речь Ольги Берггольц, высмеявшей Жданова, который, едва умея играть «чижика» на рояле, осмелился судить о том, какие произведения должен создавать Шостакович. На Всесоюзном съезде преподавателей русской литературы, состоявшемся в Московском университете, К. Симонов решительно осудил постановление 1946 года, как давно устаревшее, невежественное и бесспорно мешающее развитию литературы. На этом же съезде я выступил в защиту Зощенко, прочитав речь, которую дважды повторил впоследствии в Союзе писателей.

Когда вместе с Симоновым мы вышли из старого здания университета на Моховой, я поблагодарил его и от всей души поздравил с блистательным выступлением. Он пожал мне руку улыбаясь. Он был доволен, но и одновременно смущен, озадачен.

— Да, но в зале было много беспартийных,— сказал он, прокартавив это «беспартийных» с интонацией, по которой нетрудно было догадаться, что он далеко не уверен в том, что «попал в яблочко», выступив с критикой постановления ЦК.

Так вот: и в «светлую» пору знаменитые постановления оберегались, сохранялись...

А смешно его читать в наши дни потому, что в этой неравной схватке между телеграфистом Ять и литературой — победила истерзанная и все-таки сияющая ровным светом гордости и достоинства литература. Увенчана мировой славой, признана и глубоко любима на родине Ахматова — и не к Ларисе Рейснер, а к ней хочется отнести известную строку Пастернака:

Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

Победил Зощенко, «смертию смерть поправ», заставил отвести ему одно из первых мест в нашей литературе. Но какие жертвы, какие муки должен был перенести он во имя этой победы! Умолчать о них я не имею права.

8

Итак, в августе 1946 года он вступил в первый круг ада. Если окинуть одним взглядом все, что произошло с ним в течение последующего десятилетия, можно сказать, что положение униженного, опозоренного писателя не изменилось. Даже смерть Сталина, даже полоса неопределенных надежд после XX съезда прошли мимо него вопреки усилиям немногих друзей. Это была полоса маятника. Маятник качался. То здравый смысл и здравое понимание искусства заставляли его отклоняться влево, то под влиянием Кочетова и других он отклонялся вправо. Но эти колебания почти не отражались на судьбе Зощенко. Там, наверху, никто и думать не думал об отмене произнесенного над ним приговора.

В 1952 году он приехал в Москву. Ему не удалось достать отдельного номера в гостинице, и он был вынужден поселиться в общежитии. Дежурный, появившись на пороге, крикнул:

— Зощенко к телефону!

Соседи кинулись к нему с расспросами, когда он вернулся:

— Какой Зощенко? Однофамилец?

— Неужели тот самый? Не может быть!..

На него смотрели, как на воскресшего из мертвых. Все, как один, были глубоко уверены, что он давным-давно погиб где-нибудь на Колыме или в Джезказгане.

Вот что пишет о нем Л. К. Чуковская 7 августа 1955 года:

«М. М. неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное — у него нет

[1] Л. М. Эренбург рассказывала мне, что когда она лежала в Кремлевской больнице, к ней зашел Шостакович, лечившийся там же после инфаркта. В разговоре он расстегнул халат и достал потемневший газетный лист. Это была статья «Сумбур вместо музыки». Он никогда не расставался с ней.

возраста, он — тень самого себя, а у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь. Старик? На старика не похож: ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный, замороженный — предсмертный. В молодости он разговаривал со всеми очень тихим голосом, но тогда это воспринималось как крайняя степень вежливого обращения, а теперь в его голосе словно не осталось звука. Звук из голоса выкачан... „Самое унизительное в моем положении — что не дают работы. Остальное мне уже все равно". Прочитал телеграмму от В. Каверина: „Правление Союза постановило добиваться обеспечения тебя работой". Пожаловался, что ничего не ест...»

Итак, самое унизительное — не в том, что его имя втоптано в грязь, а в том, что ему не дают работать. Он писал об этом и мне. Он понимал, что работа была единственным средством перенести незаслуженные оскорбления, отступничество друзей, горечь одиночества. Но эта возможность надолго закрылась для него с августа 1946 года.

«У него были „накопленные строчками" небольшие деньги, и первое время он не нуждался в работе для заработка,— пишет Е. Г. Полонская, наш старый общий друг, единственная „сестра" среди „Серапионовых братьев".— Потом пошло в продажу домашнее имущество. Не имея возможности печатать рассказы, он пробовал заняться сапожным ремеслом, которому когда-то научился в поисках профессии. Но он не был искусным и модным сапожником, и мало кто давал ему заказы на босоножки» [1].

Я уже не жил тогда в Ленинграде, переехал в Москву. О попытке Михаила Михайловича сделаться сапожником я не знал.

«Несколько лет спустя,— продолжает Полонская,— я познакомилась с врачом-невропатологом Киселевой, лечившей жену Зощенко. Она рассказала мне, как посещала больную Веру Владимировну в „писательской надстройке" на улице Софьи Перовской, как любовалась вначале красивой спальней из белого полированного дерева и стеклянной горкой, на полках которой красовались редчайшие фарфоровые фигурки. С каждым разом этих фигурок становилось меньше, а потом исчезла и сама горка, а с нею и другие предметы обстановки.

В послевоенные годы возникли в Ленинграде коммерческие магазины, где можно было за большие деньги купить сахар и масло тем, кто не получал карточек. Зощенко и его семья были лишены продовольственных карточек. Приходилось продавать вещи. Но ни Зощенко, ни Вера Владимировна не умели этого делать. Они нашли „благодетельную женщину", которая взялась устраивать их вещи и покупать для них еду. Львиная доля, разумеется, доставалась ей» [2].

Продано было все, вплоть до писем Горького (в Книжную лавку писателей) — писем, которые полны восхищенными отзывами, безоговорочным, полным признанием.

9

В сущности, судьба Зощенко почти не отличается от бесчисленных судеб жертв сталинского террора. Но есть и отличие, характерное, может быть, для жизни всего общества в целом: лагеря были строго засекречены, а Зощенко надолго, на годы, для примера был привязан на площади к позорному столбу и публично оплеван. Потом, после смерти Сталина, вступило в силу одно из самых непреодолимых явлений, мешающих развитию естественной жизни страны — инерция, боязнь перемен, жажда самоповторения.

К положению Зощенко привыкли. Дело его унижения, уничтожения продолжалось по-прежнему совершенно открыто — в нем уже участвовали тысячи людей, новое поколение. Теперь оно совершалось безмолвно, бесшумно, подобно тому, как совершается под стеклом экспериментального улья жизнь пчелы, которая трудится, не зная, что внимательный взгляд следит за каждым ее движением.

И ведь нельзя сказать, что не было попыток помочь ему, сломать эту проклятую инерцию, продолжавшуюся годами. Его восстановили в СП. В «Новом мире» были напечатаны его «Партизанские рассказы». Ему дали (очень скромную) возможность заняться переводами — и он создал шедевр, в полном смысле этого слова, переведя две повести финского писателя Лассила — «За спичками» и «Воскресший из мертвых». Первое издание вышло без фамилии переводчика, во втором она появилась среди выходных данных, рядом с фамилиями редактора и корректора.

Я пытался устраивать его литературные дела, неустанно уговаривал переехать в Москву из Ленинграда, где вокруг него все застыло в отравленной атмосфере страха. Помогал ему и до сих пор корю себя, что помогал все-таки мало. Убеждал помогать и других.

Однажды, встретившись в Переделкине с Фединым и терпеливо выслушав его

[1] Труды по славянской и русской филологии. Вып. 139, Тарту, 1963.
[2] Там же.

звучавшие мелодраматически, но, кажется, искренно, вопросы: «Но как помочь? Как?..» Я ответил с досадой: «Да очень просто. Пошли ему тысячу рублей. Ведь это для тебя небольшие деньги».

Федин задумался — он скуповат,— но согласился. Обещал послать и послал. Гораздо важнее то обстоятельство, что он опубликовал о старом друге благожелательную статью. Но и статья руководителя Союза писателей в судьбе Зощенко ничего не изменила.

Сложный, запутавшийся, уже глядевший в лицо смерти своими набухшими, несчастными, искусственно-веселыми глазами, Фадеев распорядился, чтобы Литфонд отправил Михаилу Михайловичу еще тысячу к его шестидесятилетию.

Годы шли, а инерция отчужденности, заставляющая каждого редактора трусливо вздрагивать при одном имени Зощенко, продолжалась. И не только при его жизни, но и после смерти, в июле 1958 года.

Все, писавшие о Зощенко в эти годы, писали, в сущности, о том, как он умирал. «...Тем временем Михаил Михайлович заболел. Это произошло тогда, когда его жизнь стала немного налаживаться. Словно он отпустил какие-то стягивающие его обручи, которые заставляли его держаться стоя, не упасть. Он отпустил их и пошатнулся. У него появилось отвращение к еде, он не мог на нее смотреть, не мог проглотить куска. Вызвать врача из Литфонда он не хотел, и жена не могла уговорить его даже пойти в поликлинику имени Перовской, находящуюся напротив дома, где они жили. Наконец, он появился у Киселевой. Она дала ему несколько советов, но Зощенко отнесся к ним иронически, не пошел ни в лабораторию, ни на рентген. Болезнь его продолжалась, он худел и слабел. Через год он снова появился у Киселевой в лаборатории. Это было перед концом приема, вечером. Он вошел и, сев у стола, начал рассказывать, что устал, чувствует отвращение к еде, чувствует старость. Киселева поняла, что ему нужно было поговорить с кем-то, выговориться, а в ее советах он не нуждался. Он не спрашивал ничего. Доктор Киселева слушала его, иногда поддакивала, произносила „гм“ или „да“, потом пришла санитарка и сказала, что поликлиника закрывается. Зощенко поклонился и ушел. Через несколько дней он пришел снова, в тот же час перед закрытием поликлиники, когда ни в приемных, ни в коридорах не было людей. Он снова заговорил о жизни, об усталости, о старости. Доктор слушала его молча. Он ушел, когда стали закрывать кабинеты» (Е. Полонская) [1].

К недавно вышедшему переводу книги «Перед восходом солнца» (США, первый полный текст. Перевод, примечания и послесловие Гарри Керна) приложена была биографическая канва.

И как глубокий вздох горечи, сочувствия, понимания, в строго научный комментарий врывается цитата из статьи К. Чуковского:

«...Я попробовал говорить с ним о его сочинениях... Он только рукой махнул.

— Мои сочинения? — сказал он своим медлительным и ровным голосом.— Какие мои сочинения? Их уже давно не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения.

И перевел разговор на другое.

Я познакомил его с одним молодым литератором. Он печально посмотрел на юнца и сказал, цитируя себя самого: „Литература производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил“» [2].

10

Это были встречи, напоминавшие тюремные свидания. Так, летом 1952 года, я приехал из Москвы, позвонил к нему и зашел.

В ту пору еще не все было продано, но квартира выглядела уже разоренной, опустевшей. Он ласково поздоровался со мной, стал расспрашивать, что пишу, как живется,— в Москву я переехал сравнительно недавно.

— Удалось раздвинуть эту толпу? — спросил он с любопытством о московских литераторах.

Я ответил, что раздвигать почти не пришлось, помогла премия (за «Двух капитанов»).

Заговорили о переводе книги Лассила — он вяло, нехотя, я — с восторгом.

— Откуда ты так хорошо знаешь финнов? Разве ты был в Финляндии?

— Н-нет,— ответил он осторожно, как если бы не был вполне в этом уверен.— Но у меня в полку Деревенской Бедноты был финн. Тут, собственно, только один финн и нужен. Вообще-то, я ведь не перевел, а пересказал. Они умеют смеяться над собой.

— Но как же Госиздат выпустил книгу без фамилии переводчика?

— Неужели? — медленно спросил он.

---

[1] Труды по славянской и русской филологии. Вып. 139, Тарту, 1963.

[2] В третьем томе Собрания сочинений Зощенко «Перед восходом солнца» напечатано в полном виде.

— Как они посмели?

— Посмели? — переспросил он.— Ты не представляешь себе моего положения.

И он рассказал о храбрости одного из руководителей театрального управления, который остановил свою машину, чтобы пожать ему руку.

— Впрочем, на улице было пустовато,— добавил он, усмехнувшись.

Я помнил, что Зощенко всегда как бы заслонялся от моей энергии, бодрости, моих почти всегда необоснованных надежд и предположений — вежливо, деликатно, но заслонялся. И все же я стал убеждать его, что надо действовать, действовать! Мой старший брат был арестован трижды, каждый раз я неустанно хлопотал за него — и ведь удалось же в конце концов добиться успеха!

Зощенко заметил мягко:

— Но это совсем другое...

Глядя на его спокойное, задумчивое лицо с погасшими глазами, я чувствовал, что он все видит и все понимает глубже и тоньше, чем я, что мне далеко до этого понимания. Всю жизнь он старался понять и объяснить себе (и другим) существо своей духовной жизни, останавливался перед ее загадками, принимал решения, от которых был вынужден впоследствии отказываться. И мне подумалось, что и теперь, оказавшись в полном одиночестве, отвергнутый всеми, униженный, он потому и не был унижен, что полная душевная занятость, которая плыла где-то высоко над всем, что случилось с ним, осталась нетронутой, незадетой.

Вдруг он рассказал почти весело, с добрым лицом, как вскоре после доклада Жданова к нему пришли три суворовца с одной девочкой шестнадцати-семнадцати лет — пришли, чтобы «отдать дань уважения» (так было сказано) — и он поспешил вежливо выпроводить их из квартиры.

— Хорошие мальчики,— тепло улыбнувшись, сказал он.— Фуражки держали по форме на локте левой руки. Я за них испугался.

Он недаром испугался за мальчиков. По приказу Главного штаба специальная комиссия приехала в Ленинград для разбора этого дела. Суворовцы были исключены из училища, вопреки тому, что один из них, по отзывам преподавателей, обещал стать выдающимся стратегом...

Я предложил Михаилу Михайловичу пройтись по Невскому. Он удивился:

— Пожалуй. Я давно не выходил. А ты не боишься?

И с вдруг вспыхнувшим раздражением он рассказал, что Вера Федоровна Панова на днях пригласила его к себе, он встретился на лестнице со Слонимским и тот, смутившись, поздоровался с ним, а потом, в передней, постарался объяснить Вере Федоровне и ее гостям, что они не пришли вместе, а встретились на лестнице случайно.

— Впрочем, однажды он уже перебежал на другую сторону улицы, увидев меня.

Я не удивился. Возможно, что Слонимский еще любил Михаила Михайловича. Среди «серапионов» они были самыми близкими друзьями.

Но Слонимский был уже «превращен». Он написал и послал Сталину свой роман об оппозиции, направленный против Бухарина, Зиновьева, Каменева, и пережил постыдную неудачу, связанную с этим романом. Он показывал мне рукопись этого романа.

Зощенко вскоре простил Катаева так же, как других, топтавших, терзавших и оскорблявших его ради карьеры и денег. Он был милосерден, но не в христианском смысле этого слова, а потому что находился по сравнению с ними на недосягаемой высоте.

Недолго продолжалось наше «тюремное» свидание. Михаил Михайлович вскоре устал, и мы повернули назад, не дойдя до Садовой. Прощаясь с ним, я вспомнил, как у постели смертельно больного Тынянова меня поразило известие, что он больше не может читать. Это было месяца за три до его кончины. Я принес лупу, но Елена Александровна (его жена и моя сестра) шепнула, чтобы я спрятал лупу. С упавшим сердцем я подошел к больному. Не может читать! Отрезан от книг, от мира, в котором он был хозяином, властелином!

Так Зощенко был отрезан от трехмиллионного города, в котором он родился и вырос, от предавших его друзей, от будущего и прошлого, предъявленного ему как обвинительное заключение.

«В журнал „Звезда“ я этого рассказа не давал. И в журнале он был напечатан без моего ведома. Несомненно, по некоторой неопытности редактора,— писал он Сталину.— Однако в этом моем рассказе никакого подтекста нет. И нет никакого эзоповского языка. Это потешная картинка для ребят без малейшего моего злого умысла. И я даю в этом честное слово. А если бы я хотел сатирически изобразить какую-либо сцену нашего быта, то я мог бы это сделать более тонко и остроумно. И уж во всяком случае не воспользовался бы таким устаревшим методом, который был опорочен еще в девятнадцатом столетии.

...Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить мою боль. Я никогда не был литературным пройдохой, или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас.

Мих. Зощенко».

Зощенко написал Сталину, но в сравнении с обдуманным лаконизмом Замятина, в сравнении с горячечными, мечущимися строками Булгакова, его письмо кажется простым, домашним, скромным. Он ни на кого не жалуется, всю ответственность он берет на себя. Он ни о чем не просит. Он пишет: «Даю Вам честное слово». Но в глубине — слабая, еле заметная надежда, что простые человеческие слова разбудят в Сталине человека. Он пишет не государственному деятелю, не демону с сухонькой ручкой, которому удалось растлить нравственность двухсотмиллионного народа. Не невежде, который на пошлой сказке Горького «Девушка и Смерть» написал: «Эта штука сильнее, чем „Фауст" Гете». Не властителю, соединившему в себе Гитлера и Тамерлана,— а человеку.

Ответа нет.

Бедный Миша! Ахматова называла его Мишенькой. Бедный Мишенька, никого никогда не обидевший, всем желавший добра, вспомнивший, что он в детстве обидел сестру, и поехавший к ней через тридцать лет, чтобы хоть чем-нибудь, хоть мусором денег загладить вину.

Ахматова думала, что он погиб потому, что когда в Ленинград приехали английские студенты, и было приказано показать им раскаявшихся, смирившихся писателей, она сказала, что совершенно согласна с постановлением ЦК, а Зощенко ответил, что «согласен не полностью и, написав письмо Сталину, еще не получил ответа». Права ли Анна Андреевна? Нет. Он погиб, потому что не мог ответить иначе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,—
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

А вокруг его — сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы, кует за указом указ,—
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него — то малина,
И широкая грудь осетина.

О. Мандельштам

1

Мне снилось, что я куда-то вызван, и надо идти туда, где со мной будут разговаривать и требовать, чтобы я все рассказал. На улице провинциального старого города навстречу мне движется колымага — или старинный автомобиль с высокими колесами, напоминающий тяжелую, высокую, неуклюжую колымагу. В ней сидят люди со странными лицами: низкие лбы, бледные, с приплюснутыми носами, громко, уверенно разговаривающие о чем-то, связанном с тем делом, по которому я вызван. Дорогой я спускаюсь по скользким ступеням в уборную, грязную, в подвале, а когда выхожу, за мной высовывается горбун и кричит с бешенством:

— Надо гасить свет!

Я стою на одном колене у подъезда дома, в который приглашен не только я, но и другие, такие, как Тихонов, начальство. Он кивает мне и поднимается по ступеням, озабоченный, серьезный. Он кидает мне какую-то шутку, и я отвечаю полушутя, но думаю, что нас обоих ждут неприятности, но у него обойдется. Наконец, вхожу. Это — приемная, но одновременно — парикмахерская. Стригут, бреют. На столе лежат затрепанные журналы, старые газеты. Сидят молча. Сажусь и я. Можно уйти, но нельзя. Можно вздохнуть, но нельзя. Я уже в кресле, и меня начинают стричь. Пожилой парикмахер, серый, спокойный, аккуратно делает свое дело. В это время из кабинета, куда я должен войти после того, как меня подстригут, появляется один из ехавших в колымаге. Он говорит парикмахеру: «А ведь верно, майор Лыков, этого в Переделкине взяли». Оба смеются. Мне страшно, но я молчу. Я в кресле, и майор с ножницами. Сейчас нагнется, начнет давить на глаза, и ничего нельзя сделать. Сижу и жду.

Этот сон, записанный в ночь на 8 августа 1964 года,— отзвук душевного трепета, настороженности, обреченности, донесшийся из грустного и страшного далека тридцатых годов. Почему-то он связался в памяти с гибелью Леонида Ивановича Добычина, когда я тоже промолчал, потому что тоже было «ничего нельзя»

2

В моей книге «Собеседник» (1973), выпущенной (намеренно) маленьким тиражом, замолчанной и вскоре ставшей редкостью, Л. И. Добычину посвящена одна глаака. В ней скупо рассказано *что и как* он писал,— и с еще большей скупостью о том, как он жил, и ни слова о том, как он умер. Между тем история его безвременной кончины, его гибель не должна быть забыта. Он покончил самоубийством, но на деле был беспощадно убит.

Это был талантливый, оригинальный писатель, от которого остались только три маленькие книги — «Встречи с Лиз», «Портрет» и «Город Эн» (две первые в значительной мере повторяют друг друга). Вот что я писал о нем в «Собеседнике»: «Крошечные, но две-три страницы, рассказы написаны почти без придаточных предложений и представляют собой как бы бесстрастный перечень незначительных происшествий. Однако они читаются с напряжением, и это не напряжение скуки. Это — поиски тех внутренних, подчас еле заметных, психологических сдвигов, ради которых автор взялся за перо. Иногда это — обманутая надежда („Дориан Грей"), иногда — ненависть к мещанскому равнодушию („Встречи с Лиз"). Но чаще всего — просто промелькнувшее и исчезнувшее душевное движение: привязанность, сочувствие, доброта».

Добычин писал о том, что в обыденной жизни проходит незамеченным, о мимолетном, необязательном, встречающемся на каждом шагу. Его крошечные рассказы представляют собой образец бережливости по отношению к каждому слову. Пересказать их невозможно.

В «Собеседнике» я привел один из них целиком. Здесь, чтобы не повторяться, приведу другой. Он называется «Пожалуйста».

Ветеринар взял два рубля. Лекарство стоило семь гривен. Пользы не было. «Сходите к бабке,— научили женщины,— она поможет». Селезнева заперла калитку и в платке, засунув руки в обшлага, согнувшись, низенькая, в длинной юбке, в валенках, отправилась.

Предчувствовалась оттепель. Деревья были черны. Огородные плетни делили склоны горок на кривые четырехугольники. Дымили трубы фабрик. Новые дома стояли — с круглыми углами. Инженеры с острыми бородками и в шапках со значками, гордые, прогуливались. Селезнева сторонилась и, остановясь, смотрела на них: ей платили сорок рублей в месяц, им — рассказывали, что шестьсот.

Репейники торчали из-под снега. Серые заборы нависали. «Тетка, эй!» — кричали мальчуганы и катились на салазках под ноги.

Дворы внизу, с тропинками и яблонями, и луга и лес вдаля видны были. У бабкиных ворот валялись головешки. Селезнева позвонила. Бабка, с темными кудряшками на лбу, пришитыми к платочку, и в шинели, отворила ей.

— Смотрите на ту сосенку,— сказала бабка,— и не думайте.

Сосна синелась, высунувшись над полоской леса. Бабка бормотала. Музыка играла на катке. «Вот соль,— толкнула Селезневу бабка,— вы подсыпьте ей...»

Коза нагнулась над питьем и отвернулась от него. Понурясь, Селезнева вышла. «Вот вы где,— сказала гостья в самодельной шляпе, низенькая. Селезнева поздоровалась с ней.— Он придет смотреть вас,— объявила гостья.— Я — советовала бы. Покойница была франтиха, у него все цело — полон дом вещей». Подняв с земли фонарь, они пошли, обнявшись, медленно.

Гость прибыл — в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником. «Я извиняюсь»,— говорил он и, блестя глазами, ухмылялся в сивые усы. «Напротив»,— отвечала Селезнева. Гостья наслаждалась, глядя.

— Время мчится,— удивлялся гость.— Весна не за горами. Мы уже разучиваем майский гимн.

Сестры,

— посмотрев на Селезневу, неожиданно запел он, взмахивая ложкой. Гостья подтолкнула Селезневу, просияв.

наденьте венчальные платья,
путь свой усыпьте гирляндами роз.
Братья,

— раскачнувшись, присоединилась гостья и мигнула Свлезневой, чтобы и она не отставала:

раскройте друг другу объятья:
пройдены годы страданья и слез.

«Прекрасно,— ликовала гостья.— Чудные, правдивые слова. И вы поете превосходно».— «Да»,— кивала Селезнева. Гость не нравился ей. Песня ей казалась глупой. «До свидания»,— распростились наконец.

Набросив кацавейку, Селезнева выбежала. Мокрыми пахло. Музыка неслась издалека. Коза не заблеила, когда загремел замок. Она, не шевелясь, лежала на соломе.

Рассвело. С крыш капало. Не нужно было нести пить. Умывшись, Селезнева вышла, чтобы все успеть устроить до конторы. Человек с базара подрядился за полтинник, и, усевшись в дровни, Селезнева прикатила к ним. «Да она жива»,— войдя в сарай, сказал он. Селезнева покачала головой. Мальчишки выбежали за санями. «Дохлая коза»,— кричали они и скакали. Люди разошлись. Согнувшись, Селезнева подтащила санки с ящиком и стала выгребать настилку.

— Здравствуйте,— внезапно оказался сзади вчерашний гость. Он ухмылялся в котиковой шапке из покойницыной муфты и блестел глазами. Его щеки лосились.— Ворота у вас настежь,— говорил он,— в школу рановато, дай-на, думаю.— Поставив грабли, Селезнева показала на пустую загородку. Он вздохнул учтиво.— Плачу и рыдаю,— начал напевать он,— егда вижу смерть.— Потупись, Селезнева прикасалась пальцами к стене сарая и смотрела на них. Капли падали на рукава. Ворона каркнула.— Ну что же,— оттопырил гость усы,— не буду вас задерживать. Я вот хочу прислать к вам женщину: поговорить.— Пожалуйста,— сказала Селезнева.

В своем страстном отрицании мещанства Добычин был близок к М. Зощенко, хотя оба писателя пришли бы в ужас от подобного сопоставления. Зощенко — разговорность, развязность, влечение к целому, интонационная свобода. Добычин — сдержанность, подчеркнутый лаконизм, мозаичность, недоговоренность. Но герои Добычина могли бы расположиться в произведениях Зощенко, как в собственном доме.

3

Его прямодушие меня поражало. Он был не способен солгать. Прочитав мой роман «Художник неизвестен», он пришел надувшийся, расстроенный, долго молчал, а потом сквозь зубы пробормотал, что ему понравилась только одна фраза: «Он пил чай с деревянной важностью крестьян».

Молчаливость его подчас была причиной забавных происшествий.

После убийства Кирова из Ленинграда выслали всех бывших дворян и в том числе известного режиссера Большого драматического театра — Тверского. Его настоящая фамилия — Кузьмин-Караваев, и ходили слухи (вероятно, инспирированные), что он был адъютантом Керенского. Мы были знакомы, и посетовать по поводу его вынужденного отъезда ко мне зашел известный уже и тогда актер Полицеймако. На свою беду он застал у меня Добычина, сразу же нахохлившегося — может быть, потому, что актер помешал нашему разговору.

— Я только что с вокзала, провожали Тверского,— с горечью сказал Полицеймако.— Загнали куда-то к черту на рога! Такого человека! За что? Даже если он и был сто лет назад адъютантом Керенского, помилуйте, кто же мог думать, что за это придется отвечать? И перед кем, я вас спрашиваю? Перед кем! Перед невежественными холуями!

Леонид Иванович промолчал. Полицеймако посмотрел на его лицо с поджатыми губами, поморгал и слегка смягчил формулировку:

— Ну, если не перед холуями, так перед неблагодарными людьми! Потому что так отплатить за все, что Тверской сделал для нашего искусства...

Продолжая свою речь, он время от времени вопросительно поглядывал на Добычина, очевидно, ожидая поддержки. Но Леонид Иванович загадочно молчал.

— Вообще говоря, уж кто-кто, а Тверской, просто как талантливый человек, заслуживал исключения из правил. Я понимаю, ков-кому следовало добровольно уехать. Прошлого не вычеркнешь. Если ты был адъютантом Керенского...

Он поговорил немного о том, что Тверскому, пожалуй, не следовало состоять при Керенском, тем более, что он уже тогда намеревался посвятить себя театральному искусству.

Добычин молчал. Слегка открыв рот, Полицеймако еще раз, уже опасливо, посмотрел на него и тоже замолчал. Я заметил, что не только адъютанты Керенского, но и сам военный министр Временного правительства Верховский работает в Главном штабе. Но было уже поздно. Молния понимания блеснула в округлившихся от страха глазах Полицеймако.

— Вообще говоря, да,— сказал он.— Мне была крайне неприятна эта суматоха на вокзале. Пришли с цветами — и кто? Те, кто в первую очередь гадили Тверскому в театре. Ну, уехал,— зачем же устраивать демонстрацию в общественном месте?

Леонид Иванович и на эту, вполне благонамеренную, тираду не ответил ни слова, и Полицеймако — крепкий мужчина с толстыми плечами — опал на глазах, как перебродившее тесто. Ничего не сказавший, время от времени нервно поправлявший пенсне (он носил не очки, а пенсне),— Добычин, без сомнения, показался актеру живым воплощением Большого дома.

Я проводил Полицеймако и вернулся, хохоча. Леонид Иванович даже не улыбнулся Но я видел, что все в нем так и кипело.

4

Мы переписывались, и у меня сохранились его короткие, парадоксальные письма. Однажды он прислал мне три свои переписанные от руки миниатюры — это был подарок. «Город Эн» он прислал мне с приклеенной на фронтисписе студенческой фотографией. Он был человек легко ранимый, опасавшийся любых оценок и считавший их — не без оснований — бесполезными, потому что все равно иначе писать не умел и не мог. Инженер-технолог по образованию, он работал в Брянске, но, занявшись литературой, часто и подолгу живал в Ленинграде. Он был прямодушен. Благородство его было режущее, непримиримое, саркастическое, неуютное. Он не «вписывался» психологически в литературный круг Ленинграда и был дружен, пожалуй, с одним только Н. К. Чуковским, что не мешало ему называть его «мосье Коля». Душевное богатство его было прочно, болезненно, навечно спрятано под семью печатями иронии, иногда прорывавшейся необычайно метким прозвищем, шуткой, карикатурой. Впрочем, он никого обижать не хотел. Он был зло, безнадежно, безысходно добр.

Почему в литературе тех лет его место — пусть небольшое — считалось особенным, отдельным? Потому что у него не было ни соседей, ни учителей, ни учеников. Он никого не напоминал. Он был сам по себе. Он существовал в литературе — да и не только в литературе,— ничего не требуя, ни на что не рассчитывая, не оглядываясь по сторонам и не боясь оступиться.

5

Весной тридцать шестого года в «Правде» появилась знаменитая редакционная статья «Сумбур вместо музыки» — та самая, которую Шостакович (я об этом упоминал) всю жизнь носил на груди. Главным врагом советского искусства был вновь объявлен формализм. Еще в те годы, когда в Институте истории искусств появился некто Назаренко, выпустивший книгу, в которой зависимость литературы от производительных сил страны выражалась в цифрах (прирост продукции непосредственно связывался с успешным развитием поэзии и прозы), нераскаявшиеся молодые формалисты распевали песенку:

В Институте искусств обвалилась стенка.
Стенка, стенка, задави Яшку Назаренко!

Это было в конце двадцатых. Институт был закрыт, Тынянов перешел на прозу, Эйхенбаум, изгнанный отовсюду, занимался редактированием классиков, некоторые их ученики покаялись (Коварский) и предложили покаяться мне. Я отказался. Времена были уже совсем другие, песенки давно умолкли. Уже Мандельштам написал:

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Грубый, наотмашь, удар в музыке вызвал естественные опасения, что в Ленинграде, родине ОПОЯЗа, он отзовется на бывших формалистах, заслонившихся прозой, редактированием, работой в кино. Ничуть не бывало! По-видимому, секретариат решил отделаться подешевле: «мальчиком для битья» был избран Добычин. В самом деле — он был удобной фигурой: печатался в «Русском современнике», живет наездами, связан с невлиятельными Н. Чуковским, Г. Гором, Е. Шварцем, Л. Рахмановым. Пишет какие-то подозрительные, злобно-иронические рассказы.

6

Понятно, мне трудно воскресить в памяти картину этого собрания с достаточной полнотой. Да и надо ли это? Дом писателя имени Маяковского был переполнен. Где-то мелькнул и исчез «виновник» переполоха. Ах, как разумно он поступил бы, оставшись дома!

Доклад был поручен маленькому Ефиму Добину, впоследствии написавшему несколько дельных книг. Но тогда он был не литературно-партийной, а партийно-литературной фигурой — и фигурой немного смешной, может быть, потому, что его очень маленький рост не соответствовал значительности, с которой он старался держаться. Не помню, в чем обвинялся Добычин, но помню, что эти обвинения имели обратное отношение к произведениям писателя. Страстного, язвительного, острого обличителя мещанства Добин обвинял в воинствующем мещанстве, а за его недоговоренностью разглядел антипатию к «положительному герою», о котором Леонид Иванович вообще никогда не писал. Из рядовых обличителей всем запомнился Наум Берковский — этому, как утверждают литераторы, знавшие его в пятидесятые — шестидесятые годы, трудно поверить. Судя по некрологам, он стал первоклассным (и прогрессивным) исследователем западноевропейской литературы. Когда я рассказывал им об этом собрании, они ахали и недоверчиво пожимали плечами. В его речи были отвратительны не только позерство, не только снисходительность, небрежность, не только какое-то странное в те годы для еврея лихое гусарство, но то обстоятельство, что никто не заставлял его выступать. Он по доброй воле старался убить Добычина и проделывал это умело — не то, что Добин.

— Добычин — это наш, ленинградский, грех,— кокетливо сказал он.

Не помню других выступлений. Почему никто — и я в том числе — не выступил в защиту Добычина, объяснить легко и в то же время трудно. Конечно, трусили — ведь за подобными выступлениями сразу же выступало понятие «группа», и начинало попахивать находившимся в двух шагах Большим домом. Но к трусости присоединялось ощущение неловкости, а к неловкости — безнадежность. Неловкость можно объяснить таким примером: это было бы так, как если бы в хорошем (условно) обществе кто-нибудь заговорил на заборном языке. А безнадежность — другим: если бы, когда распяли Христа, среди его учеников нашелся бы сумасшедший, который бросился бы его защищать. Почему такие сумасшедшие в тридцатых годах не находились — особый вопрос, о котором надо и говорить особо.

После прений слово было предоставлено Добычину. Он прошел через зал, невысокий, в своем лучшем костюме, сосредоточенный, но ничуть не испуганный. На кафедре он сперва помолчал, а потом, ломая скрещенные пальцы, произнес тихим, глухим голосом:

— К сожалению, с тем, что здесь было сказано, я не могу согласиться.

И, спустившись по ступенькам, снова прошел через зал и исчез.

На следующий день я позвонил ему, и разговор начался, как будто ничего не случилось. Все же он хотел — и это почувствовалось,— чтобы речь зашла о вчерашнем вечере, и я осторожно спросил, почему он ограничился одной фразой.

— Потому что я маленького роста, и свет ударил мне прямо в глаза,— ответил он с раздражением.

Он говорил о лампочках на кафедре, поставленных так, чтобы освещать лицо докладчика.

Потом мы замолчали, и в трубке послышалось нервное дыхание. В его манере держаться всегда чувствовалось напряжение, как будто изо всех сил он удерживал рвавшуюся из него прямоту. Так было и в этом разговоре. Он хрипло засмеялся, когда я с возмущением сказал что-то о Добине и Берковском, и саркастически заметил:

— Они были совершенно правы.

Мы простились спокойно. Мне и в голову не пришло, что я в последний раз услышал его голос.

На следующий день Николай Чуковский позвонил мне взволнованный, расстроенный и прочитал мне письмо Добычина. Леонид Иванович просил вернуть долги своим друзьям из тех денег, которые (как он ошибочно предполагал) причитались ему из «Красной нови» за предложенный рассказ, и прощался, но как-то загадочно прощался. «А меня не ищите, я отправляюсь в далекие края» — этими словами кончалось письмо.

— Как вы думаете, что это значит?

— Может быть, он решил вернуться домой, в Брянск?

— Да нет же! Я ездил к нему на Мойку. Пустая комната. Ни белья в гардеробе, ни книг. В ящике стола — паспорт.

Через две недели Чуковские получили письмо из Брянска от матери Леонида Ивановича. Она писала, что он прислал ей, без единого слова объяснения, свои носильные вещи. «Умоляю вас, сообщите мне о судьбе моего несчастного сына».

7

Оргсекретари Союза писателей в тридцатых годах менялись очень часто, и не потому, что им этого хотелось. Всемогущий руководитель, только что энергично проводивший «линию партии» в литературе, неожиданно исчезал, а на его месте появлялся другой, не менее энергичный. Помню Цильштейна, мягкого, вежливого,— считалось (без оснований), что его назначение — победа интеллигентной литературы. Быть может, именно поэтому он «загремел» — это *так* называлось — уже месяца через три после своего назначения. Был рабочий, кузнец (не помню фамилии), мучившийся на своем высоком посту уже потому, что его рука привыкла держать не перо, а молот. Когда его посадили, беременная жена в платочке приходила в Союз и умоляла помочь.

Был (уже после войны) молоденький Кожемякин, который никак не мог выговорить слово «лауреат» и которому на моих глазах положили на стол записку: «не луареат», а «лауреат».

Когда травили Добычина, секретарем был некто Беспамятнов из Спортинтерна — высокий, плотный, мрачноватый, решительный мужчина, обессмертивший себя откровенным признанием, вполне пригодным для того, чтобы на десятилетия вперед внести в литературную политику серьезные перемены.

Снимать его, а заодно и весь секретариат, приехал сам Александр Сергеевич Щербаков, «видный деятель Коммунистической партии и Советского государства», как сказано о нем в БСЭ. Это произошло, без сомнения, весной 1936 года, когда (согласно той же БСЭ) он еще был секретарем Союза писателей. Помнится, с ним приехал весело настроенный, красивый Фадеев. К вызванной маленькой группе писателей (я был в их числе) Щербаков обратился с укоризненной речью, смысл которой состоял в том, что писатели города Ленина не могут «сотворить» (так он сказал) ничего значительного в то время, как молодой Твардовский из Смоленска выступил, например, с хорошей поэмой «Страна Муравия». Обращался он к нам, но укорял, без сомнения, Беспамятнова, точно этот деятель из Спортинтерна мог по телефону заказать Ольге Форш «Войну и мир», а Зощенко — «Гаргантюа и Пантагрюэля».

Фадеев произнес длинную подбадривающую невнятную речь (прерываемую его неожиданно высоким, неприятным смехом), из которой следовало, что еще не все потеряно, и даже если кое-что все-таки потеряно, ленинградские писатели в основном все же стараются исправить допущенные ошибки.

Писатели отмалчивались — будущее было неясно. Что-то сказал, кажется, только Михаил Козаков. В заключение слово было предоставлено Беспамятнову, и вот тут-то он и произнес, оправдываясь, свою бессмертную фразу:

— Ведь я же был все равно что гвоздь, вставленный в часовой механизм!..

Но оставим эту сцену, прикончившую нашего оргсекретаря, и вернемся к тому времени, когда он был еще на руководящей работе.

Через два-три дня после исчезновения Добычина группа писателей — помню ясно, что кроме меня был Н. Чуковский, М. Козаков, Е. Шварц — поехала в секретариат — требовать, чтобы Союз писателей принял участие в судьбе Леонида Ивановича, или, по меньшей мере, выяснил, где он и что с ним. Беспамятнов выслушал нас и промолчал, а когда критик А. Горелов (член секретариата) хотел что-то сказать, в угрожающем и предупреждающем тоне оборвал его:

— Анатолий!

Потом он стал неопределенно уверять нас, что ничего, в сущности, не случилось. Есть все основания предполагать, что Добычин уехал.

— Куда?

Это еще неизвестно, выясняется, но его видели третьего дня. По-видимому, в Лугу. У него там друзья, и он, по-видимому, решил у них остаться и отдохнуть. Беспамятнов, без сомнения, лгал — или, что называется, «темнил». Возможно, что именно в эти минуты ему пришла в голову мысль о гвозде, вставленном в часовой механизм. Партия приказала ему сохранять спокойствие, и он его сохранял. Но в наших взволнованных речах слышался, хотя и законспирированный, вопрос:

— За что вы его убили?

И, догадываясь, что в нашем лице почти все ленинградские писатели требуют от него ответа на этот вопрос, он, по-видимому, пришел к убеждению, что без второго, успокоительного, собрания не обойтись.

8

Я забыл упомянуть, что основным поводом для нападения на Добычина были избраны не только его рассказы, но (главным образом) повесть «Город Эн» — его лучшая книга. В ней беспощадно, с горькой откровенностью показана жизнь мальчика, потом юноши в провинциальном городке,— может быть, в Двинске с его смешанным в начале века, русско-польским населением.

В прекрасном стихотворении Арсения Тарковского «Вещи» названы вещи его детства.

Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?

Где «Остров мертвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?
. . . .
Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось,
И что не отделялось запятою,
То запятой и смертью отделилось...

Любую из этих исчезнувших вещей можно найти в «Городе Эн». Но повесть написана не о них. Они просто существуют, как существует и самый город с его повторяющейся, машинальной жизнью, скользящей перед глазами взрослых и ежеминутно останавливающейся перед глазами ребенка.

Кстати, о глазах. Через всю книгу проходит неосознанная, необъясненная неполнота зрения маленького героя. Никто не догадывается, что он — близорук, ни он сам, ни его близкие, ни товарищи по гимназии. Мир сдвинут, слегка стерт, растушеван. Но вот однажды его взгляд нечаянно попадает в стеклышко чужого пенсне, и в тот же день, после посещения глазного врача, к нему возвращается нормальное зрение. Но становится ли богаче его душевный мир, который больше не нуждается в дополнительной, увлекательной работе воображения?

Повесть написана не об исчезнувших предметах, а об исчезнувших отношениях («Собеседник»).

На втором собрании центральной фигурой был А. Н. Толстой — его привезли из Москвы с целью утихомирить взволнованное общественное мнение. Он не выдвигал идеологических обвинений — речь была построена тонко. Он не воспользовался, как это сделал Берковский, близорукостью подростка, героя «Города Эн», чтобы обвинить сорокалетнего инженера-экономиста и писателя в *политической* близорукости. Он держался снисходительно, доброжелательно и даже пожалел Добычина, как человека старого, отжившего, мертвого мире.

— В лице Добычина озлобленный, беспомощный завистник жадными, но пустыми глазами следит за расцветающей жизнью, за полетом молодости, и эта слепая зависть мстит ему, убивает его,— говорил он (или что-то в этом роде).

Но «завистник» был одновременно безобидным мечтателем, которого преследовали призраки несбывшегося счастья,— вот здесь мельком было сказано о его загадочном исчезновении. И — уже не мельком — о том, что ничего не произошло: к критике надо относиться терпимо.

Знал ли Толстой, что его роль гастролера — позорна? Без сомнения. Но он шагал и не через такое.

Федина не было на собрании. Он тогда уже переехал в Москву. Но была его жена, Дора Сергеевна. В перерыве я подошел и поздоровался с ней.

— Каков! — громко сказала она о Толстом, не обращая внимания на присутствующих (это было в переполненном коридоре).— Вы его еще не знаете! Такой может ночью подкрасться на цыпочках, задушить подушкой, а потом сказать, что так и было.

9

Пастернак в «Людях и положениях» писал, что самоубийству предшествует сознание душевного барьера, который воздвигается между прошлым и настоящим. «Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания» («Люди и положения», «Новый мир», 1967, № 1).

Примеры, которыми он пытается доказать эту мысль, не всегда убедительны. Фадеев, оставивший на ночном столике толстое письмо, адресованное ЦК, которое

Вс. Иванов и Федин видели своими глазами — Фадеев убил себя не с «виноватой улыбкой» и едва ли сказал себе перед смертью: «Прощай, Саша». Без сомнения, он трезво оценил свой антипартийный шаг, и можно предположить, что он не видел ни силы, ни возможности изменить положение в литературе таким образом, чтобы его новая деятельность заставила забыть то, в чем он был виноват перед нею. Литература изменялась уже без его участия, в котором никто не был заинтересован. За два-три месяца до самоубийства Фадеева мне попалась на глаза его статья в «Комсомольской правде». В ней «личность» была действительно стерта. Такую статью мог написать любой комсомольский активист.

Мне кажется, что Добычин покончил с собой с целью самоутверждения. Он был высокого мнения о себе. «Город Эн» он считал произведением европейского значения,— и однажды в разговоре со мной даже признался в этом, что было совсем на него не похоже.

Его самоубийство похоже на японское «харакири», когда униженный вспарывает себе живот мечом, если нет другой возможности сохранить свою честь. Он убил себя, чтобы доказать, что презирает виновников своего позора: «Ах, вы так? Вот же вам!..» Если бы он не был так скрупулезен в своем нравственном мире, если бы он хотя бы позволил себе «унизиться» до вполне откровенного разговора с друзьями, ему, может быть, удалось бы не преувеличить до такой степени размеры случившегося с ним несчастья. И он не мог себе представить, как скоро будет забыт его шаг.

Юрий Тынянов

1

«Восковая персона» не имела успеха. Не потому, что с первой до последней страницы в ней было изображено «пыточное государство», в котором «рубили под корень». Не потому, что с ошеломляющей смелостью Юрий предсказал трагический образ страны на коленях, вымаливающей прощения, без вины виноватой. Подобные мысли если и приходили кому-нибудь в голову, так ощупью, в полумраке сознания, растоптанного страхом. И слава богу! Автора упрекали за другое: стилизации (которой не было и в помине), исключительность избранных происшествий, людей, положений, «карикатурность» Петровской эпохи. «Монстры и натуралии Юрия Тынянова» — так называлась статья известного Иннокентия Оксенова[1], критика-рентгенолога, о котором литераторы говорили, что он хороший врач, а врачи, что он — хороший литератор. Положительных статей и рецензий не было. Словом, это был если не провал, то по меньшей мере неуспех, особенно чувствительный после триумфа «Кюхли», после многочисленных, в худшем случае, сдержанно-уважительных отзывов о «Смерти Вазир-Мухтара», после письма Горького, убедившегося в том, что Грибоедов таким и останется навсегда, каким изобразил его Юрий.

Я всегда был глубоко заинтересованным свидетелем его работы. Мне было известно, *кого* он видел перед собой, изображая Булгарина, Катеньку Телешову, «солдата Балка полка», мать Пушкина. Но он, смеясь, прикладывал палец к губам, когда я догадывался о прототипах.

В наше время это — модное занятие не только русских исследователей, но и западноевропейских русистов. Чем-то напоминая сплетню, оно не связано, в сущности, ни с историей, ни с литературой, ни с ее теорией. Но если бы даже я думал иначе — и тогда я не стал бы раскрывать прототипы романов Тынянова, тем более, что они представляют собой скорее «органическое соединение», чем прототипы. Я не забыл, как он прикладывал палец к губам.

Мы виделись часто, почти каждый день, и я не перестаю сожалеть, что не записывал наших разговоров. Теперь это кажется странным. Но тогда, если бы я стал записывать, это показалось бы еще более странным. У нас, в сущности, не было литературных отношений. Те, что были, с лихвой включали решительно все — в том числе и литературу. Так же, как старший брат в гимназические годы, Юрий в те годы, когда мы оказались на равных, стал для меня нравственным эталоном. Впрочем, мы с ним никогда не были «на равных». Его оценки, в двух словах, мимоходом, относились не к тому, *что* и *как* я написал, а ко мне, как личности, написавшей то или другое.

— Все-таки писатель,— сказал он, прочитав повесть «Черновик человека» (1932). Я печатался уже 12 лет. Это не помешало ему прибавить: — Ведь тебе хотелось, помнится, стать моряком.

Да, оценки были мимолетными и, может быть, не всегда справедливыми. Зато советы — бесценными. Именно он подсказал мне мысль воспользоваться историей

[1] «Новый мир», 1931, № 8, стр. 175—180, а также «Стройка», 1931, № 23, 24.

десятой главы «Евгения Онегина» для «Исполнения желаний». Я рассказал ему о высоконаучной издевательской речи, которой Сенковский простился с Санкт-Петербургским университетом, и, посоветовав отдать эту речь Драгоманову (в «Скандалисте»), он в десять минут, хохоча, придумал ее содержание.

«Не на равных» относилось не только ко мне. Его уровень — не только в науке, но и в отношении к науке — разделяли немногие: Р. Якобсон, Е. Поливанов, Б. Эйхенбаум, П. Богатырев, Ю. Оксман, В. Шкловский — до 1929 года. Но любопытно, что этот уровень молчаливо признавался всем литературным кругом. Недаром Маяковский предложил ему «поговорить, как держава с державой».

2

В главе, посвященной Л. И. Добычину, я рассказал о том, как после его самоубийства был снят первый секретарь Ленинградского Союза Беспамятнов. Одновременно или несколько позже был назначен новый секретариат, в который вошел и я, вместе с Ю. Германом и Л. Рахмановым.

Почему выбор пал и на меня? Потому что к концу тридцатых годов я, с политической точки зрения, был если не вполне безгрешен (бывший формалист, автор порочного романа «Художник неизвестен», защищавший поэзию Заболоцкого до его ареста, помогавший семьям арестованных и так далее), так по меньшей мере вполне безопасен. К тому времени «психологическая деформация», превращавшая писателей в исполнителей «социального заказа», произошла и со мной.

В 1939 году писатели были впервые награждены орденами, и это было событием, потому что в атмосфере «макетной» сталинской литературы тридцатых годов орден равнялся так же, как и сталинская премия, официальному признанию. Более того, он казался гарантией безопасности,— разумеется, только издали, потому что вскоре «загремели» один за другим и писатели, награжденные орденами. Награждение было широкое и щедрое: орден Трудового Красного Знамени получил, например, Юрий Герман, который стал заметен в литературе лишь в 1931 году.

Меня обошли, не знаю, по какой причине,— может быть, случайно, и я должен был сделать вид, что принял эту несправедливость совершенно спокойно. В Доме литераторов немедленно состоялось общее собрание — шумное, радостное, на котором с восторженными речами выступили как награжденные, так и ненагражденные, равно прославлявшие правительство и лично товарища Сталина. Я был на этом собрании, радовался вместе с другими, поздравлял награжденных, дважды разъяснил кому-то, поздравлявшему и меня, что я к ним не принадлежу, и снова поздравлял, жал руки, радовался и так далее. Но на деле я был глубоко уязвлен — вот факт, который теперь, через много лет, кажется мне заслуживающим внимания.

Я был уязвлен, расстроен, огорчен, и не только потому, что заподозрил государственную немилость, которая могла внушить известные опасения. Нет, дело заключалось в том, что я уже был «как все» или почти «как все». Литература не столько жила, сколько существовала — тайная, подпольная, истинная ее жизнь была не известна или не принималась в расчет. Для того, чтобы участвовать в этом существовании, нужны были не только книги, но и ордена,— и вот этот-то важный признак административного существования подарили десяткам писателей, не сделавшим и десятой доли того, что сделал я за двадцать лет работы, а мне *не подарили*. И ведь любопытно, что и думать не думал о том, что автора «Скандалиста», который и сам был склонен к полемике, скандалу, спору, с точки зрения правительства, в сущности, и не следовало награждать. О моих книгах почти не было положительных рецензий, даже «Два капитана» были встречены разгромной статьей — некая учительница с возмущением констатировала, что мой герой Саня Григорьев называет комсомолку дурой! Но мне казалось, что следовало. Мне казалось, что я несправедливо, жестоко, незаслуженно обижен.

Награжденные — и среди них Юрий Тынянов — поехали в Москву, мне ничего не оставалось, как проводить их,— весело, спокойно, но в таком душевном упадке, какого, кажется, я никогда до тех пор не испытывал. Бессонница мучила меня, я сильно похудел и не расхворался, кажется, только потому, что мне удалось вернуться к работе.

3

Я сказал, что уже был «почти как все». Это «почти», за которое я внутренне уцепился, было давно и привычно связано с Юрием, духовный пример которого всегда стоял перед моими глазами. Он был в лучшем положении, чем я: от знаменитого исторического романиста, да и еще и тяжело больного, почти не требовали участия в административной жизни литературы. Почти не требовали ни показной верности, ни клятв, ни признаний. Всеми как бы молчаливо признавалось его особое значение, которое давало ему право занять и особое положение в литературных кругах (что не помешало НКВД попытаться его спровоцировать в 1939 году — об этом я еще расскажу). Но если бы этого признания, этого особого положения не было — ничто и никогда не могло измениться в нем. Об этом я не то что знал, но чувствовал всем своим существом. От него, как от неприступной крепости, отлетали любые возможности, кроме одной: быть писателем, да еще писателем русским. Об этом не говорилось, не думалось, этого как бы не существовало. Но если бы не Юрий...

Сергей Александрович Ермолинский рассказывал мне, что в тюрьме, в унижении и страхе его поддерживала мысль, что он был другом Булгакова. Только мысль! Между тем рядом со мной была не мысль об ушедшем друге, а друг, которому я должен был смотреть прямо в глаза, перед которым я никогда не посмел бы притворяться. Конечно, была и во мне сила внушенной еще с детства порядочности, профессиональная требовательность, наконец, вкус — черты, которые заставляли меня крепко держаться за ниточку призвания. Но если бы не Юрий... Он спас меня от душевного распада, от компромиссов, от возможности «легкой карьеры» в литературе.

4

Я бывал у него почти каждый день, естественно, что наши встречи слились в памяти, как бы превратившись в одну, продолжавшуюся годами, встречу. Но в этой непрерывности были сцены, когда время как бы останавливалось, застывало и приближающийся из глубины кадр занимал весь экран, объединяя все, что оставалось за рамкой. Так, однажды осенью 1937 года я пришел к нему и застал его в том настроении, которое он любил выразительно показывать позой, полной невозможности не то что работать, а говорить или любым способом участвовать в жизни: понурившись, сидя в кресле, не за столом, он говорил: «Я сегодня...» — и показывал, каков он сегодня, полуоткрыв рот и беспомощно покачивая брошенными руками. Он был уже тяжело болен тогда, но этот упадок, подчас длившийся неделями, почти всегда был вызван не только болезнью. Его могла сбить с ног случайность, чей-то хамский, несправедливый поступок, чужая беда, которой он, с его поражавшей меня проницательностью, придавал общее значение.

Одна из таких наших встреч рассказана в моем романе «Двойной портрет». Она почти не замаскирована и может, мне кажется, занять свое место в этой книге.

Вот эта главка:

«...Я зашел к старому другу, глубокому ученому, занимавшемуся историей русской жизни прошлого века. Он был озлобленно-спокоен.

— Смотри,— сказал он, подведя меня к окну, из которого открывался обыкновенный вид на стену соседнего дома.— Видишь?

Тесный, старопетербургский двор был пуст. К залатанной крыше сарая прилепился высокий деревянный домик с лесенкой и длинным шестом. Голубятня? Но и домик был безжизненно пуст.

— Ничего не вижу.

— Присмотрись.

И я увидел — не двор, а воздух двора, рассеянную, незримо-мелкую пепельную пыль, неподвижно стоявшую в каменном узком колодце.

— Что это?

Он усмехнулся.

— Память жгут,— сказал он.— Давно — и каждую ночь.

И он заговорил о гибели писем, фотографий, документов, в которых с неповторимым своеобразием отпечаталась частная жизнь, об осколках времени — драгоценных, потому что из них складывается история народа.

— Я схожу с ума,— сказал он,— когда думаю, что каждую ночь тысячи людей бросают в огонь свои дневники».

Казалось, давно забылись, померкли в памяти эти дни, пустой двор, запах гари, улетевшие голуби, легкий пепел в лучах осеннего солнца! Но как на черно-белом экране вспыхнула передо мной эта сцена, когда...

...и уходя от романа «Двойной портрет», я мог бы закончить: «когда теперь, через сорок лет, я пытаюсь показать Юрия Тынянова, оставляя за рамкой кадра события 1937 года».

5

Мало кто знает — да почти никто не знает, что в 1937 году он пытался покончить самоубийством. У него была мученическая жизнь. В «Освещенных окнах» я глухо написал о ней: «Его ждет трудная жизнь, физические и душевные муки. Его ждет комнатная жизнь, книги и книги, упорная борьба с традиционной наукой, жестокости, которых он не выносил, признание, непризнание, снова признание. Рукописи и книги. Хлопоты за друзей. Непонимание, борьба за свою, никого не повторяющую сложность. Книги — свои и чужие. Счастье открытий. Пустоты, в которые он падал ночами».

Здесь многое зашифровано, многое не досказано из боязни, что все равно будет срезано цензурой. Что значит «хлопоты за друзей»? Это значит хлопоты за арестованных друзей, за моего старшего брата Льва, за Ю. Г. Оксмана, за Н. А. Заболоцкого... Что значит «упорная борьба с традиционной наукой»? Это — не только «Архаисты и новаторы», но и произведения, которые еще до сих пор не удалось опубликовать — пошел пятый год с тех пор, как с помощью Д. С. Лихачева, Г. В. Степанова, М. и А. Чудаковых, Е. А. Тоддеса, А. Л. Яншина, П. Л. Капицы и других друзей русской литературы я хлопочу об издании книги «Теория литературы, поэтика, кино» Ю. Тынянова, в которой эта борьба, нимало не потерявшая своего значения, отражена на каждой странице![1]

Что значит «пустоты, в которые он падал ночами»? Это волчьи ямы, вырытые волчьим временем, перед которым мы все были опустошены и бессильны. И не только ночами — при свете дня он пытался выкарабкаться из этих ям, преодолевая смертную тоску, одиночество, болезнь.

Да, и одиночество. Старый круг друзей постепенно отдалился, растаял, в доме появились теоретики музыки, музыканты, музыковеды — Елена Александровна, его жена и моя сестра, была сперва музыкантом, потом музыковедом. Он радовался и этому кругу, он стал собирать для жены коллекцию старинных гравюр, связанных с мировой музыкальной культурой. Но новые друзья были не то что равнодушны к нему, он просто был недосягаемо высок по сравнению с ними, и сглаживать это неравенство не хотелось ни им, ни ему. Виктор Шкловский на поминальном вечере сказал, что «Юрий донес свою ношу». Теперь-то, через много лет, видно, как велика была эта ноша, какая воля, какое мужество, какая всеохватывающая любовь к литературе нужны были, чтобы пронести ее среди волчьих ям, подстерегавших на каждом шагу...

В тот день я пришел к нему и сразу почувствовал какую-то невнятную, скрытую неурядицу в доме. Юрий лежал в кабинете, лицом к стене, сестра была у себя, и оба не сразу отозвались на мои расспросы. Они были, казалось, чем-то расстроены, но у Юрия был смущенно-виноватый вид, а у сестры — смущенно-негодующий, раздраженный.

...Он отмалчивался, я молча сидел подле него, потом пошел в комнату сестры.

— Что случилось?

— Что случилось? Вот...— и она бросила к моим ногам обрывок веревки с петлей.— Вздумал повеситься...

Я не смог произнести ни слова.

Не помню, на что она стала жаловаться, сдерживая слезы — она часто жаловалась,— но помню, что главной нотой в ее сетованиях была обида. Она сердилась на мужа, пытавшегося покончить с собой, как на человека, который оскорбил ее,— за что? Все в доме давно было соотнесено с ее — а не его — интересами, с ее делами, надеждами, привязанностями,— и она, естественно, как само собой разумеющееся, соотнесла и эту попытку.

Но, конечно, не семейная жизнь, какова бы она ни была, послужила причиной этой попытки. И я не стану пытаться угадывать причину. Должно быть, соединилось все — и мучительная, долго не налаживающаяся работа над романом «Пушкин», и аресты друзей, и сознание беспомощности перед блеснувшей возможностью счастья, от которой он сознательно отказался[2].

...Растерянный, я стоял в комнате сестры с веревкой в руках. Потом не зная, что делать, положил ее на диван и вернулся к Юрию.

Мы не говорили о том, что произошло — или, к счастью, не произошло по какой-то случайности, которая осталась для меня навсегда неизвестной. Я уговорил его пойти погулять — то была пора, когда болезнь еще не очень мешала нашим прогулкам. «Пушкин» имел успех, когда он появился в Доме книги, у прилавка была настоящая свалка. Вот об этом мы и поговорили...

Почему в 1947 году, когда я с семьей переезжал в Москву, мне не пришло в голову взять с собой архив Юрия, хранившийся сперва в его квартире на улице Плеханова у сестры моей матери Елены Григорьевны Дессон? Может быть, потому, что после смерти Юрия было принято правительственное решение объявить его квартиру музеем? Только в начале пятидесятых годов, когда исчезли всякие сомнения в том, что никакого музея не будет, когда в квартире жили чужие люди, а Елена Григорьевна перевезла архив в маленькую комнату, которую она получила на улице Некрасова, 60,— я поехал в Ленинград за бумагами Юрия и в трех больших чемоданах перевез архив в Москву.

Архив был далеко не полон, большую часть бумаг и в том числе личную переписку Юрий накануне эвакуации отдал на хранение своему другу В. В. Казанскому, скончавшемуся 4 февраля 1962 года, и судьба их до сих пор неизвестна.

Но и для того, чтобы заняться разборкой сохранившихся бумаг, необходимы были

---

[1] Книга вышла в издательстве «Наука» в 1977 году.

[2] Об этом в книге «Новое зрение». Изд-во «Книга», 1988 г.

силы и время, а мне в ту пору приходилось заново налаживать жизнь в Москве, это было сложной во всех отношениях задачей. Но иногда я все-таки перелистывал рукописи и однажды наткнулся на косо исписанный крупными буквами лист бумаги... Без всякого сомнения, это была записка, которую он оставил, решившись покончить с собой...

Она не сохранилась. Прошли годы. Неразобранный архив лежал в ящиках старинного шифоньера. Убедившись в том, что мне едва ли удастся когда-нибудь без посторонней помощи разобрать архив, я пригласил для этой цели некую Милехину,— и она, воспользовавшись нашей — моей и жены — доверчивостью, *украла* личные письма Юрия и в их числе и эту записку[1].

Но я помню содержание записки. На желтоватом листе бумаги разбежались косые строки, написанные нетвердой рукой. Он ничего не объяснял, ни о чем не просил. Он невнятно писал о невозможности существования, о душевном упадке. Какое-то письмо упоминалось, и я вспомнил о той полосе отчаяния, когда Юрий сжег бумаги, которые могли показаться политически компрометирующими в 1937 году. Среди них было одно из писем Горького — из Москвы, начала тридцатых годов. Оно пропало, и Юрий терзался догадкой, что вместе с другими бумагами он сжег и это письмо — недаром же мы с ним не могли найти его, тщательно перебрав все ящики письменного стола. Терзавшее Юрия сознание, что он *не помнит*, сжег он письмо или нет,— несколько строк в записке были об этом...

Один день 1937 года

1

Одна умная молодая актриса спросила меня, как мы жили в конце тридцатых годов, и когда я упомянул о сложности личных отношений, сказала:

— Ага, понимаю! У вас были романы.

Она ошибалась. Никакими романами нельзя было заслониться от выработавшейся железной осторожности, от замка на губах, от всепроникающего чувства неуверенности: день прожит. А завтра?

Л. К. Чуковская в своих замечательных «Записках об Ахматовой» пыталась объяснить это чувство. У нее эти годы отняли вдесятеро больше душевных сил, и мне нечего равняться с ней в этой попытке.

«Мои записки эпохи террора примечательны, между прочим, тем, что в них воспроизводятся полностью только сны. Реальность моему описанию не поддавалась: больше того,— в дневнике я не пыталась ее описывать. Дневником ее было не взять, да и мыслимо ли было в ту пору вести настоящий дневник? Содержание наших тогдашних разговоров, шепотов, догадок, умолчаний в этих записках аккуратно отсутствует. Содержание моих дней, которые я проводила за какой-нибудь случайной работой (с постоянной меня выгнали еще в 1937 году), а чаще всего в очередях к разнообразным представителям Петра Ивановича (псевдоним НКВД.— *В. К.*), ленинградским или в составлении просьб... словом, реальная жизнь в моих записях... опущена: так, мерцает кое-где...»

«Застенок, поглотивший целые кварталы города, а духовно — наши помыслы во сне и наяву, выкрикивавший собственную ремесленно-сработанную ложь с каждой газетной полосы, из каждого радиорупора, требовал от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени его всуе даже в четырех стенах один на один. Мы были ослушниками, мы постоянно его поминали, смутно подозревая при этом, что и тогда, когда мы одни,— мы не одни, что кто-то не спускает с нас глаз, или, точнее сказать, ушей. Окруженный немотой, застенок желал оставаться и всевластным и не существующим зараз; он не хотел допускать, чтобы чье бы то ни было слово вызвало его из всемогущего бытия; он был рядом, рукой подать, но в то же время его как бы и не было; в очередях (тюремных.— *В. К.*) женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: „пришли“, „взяли“. Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из „Реквиема“, тоже шепотом, а у себя дома не решалась даже на шепот: внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне на потолок и стены, брала кусочек бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь очень светское: „хотите чаю“ или „вы очень загорели“, потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. „Нынче такая ранняя осень“,— громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей.

Это был обряд: руки, спички, пепельница — обряд прекрасный и горестный».

---

[1] Но впоследствии нашлась другая.

Двойная жизнь литературы (одну рукопись в редакцию, другую — в письменный стол) существовала и тогда, но почти не ощущалась. Самиздата не было. О том, что М. Булгаков работает над «Мастером и Маргаритой», знали пять человек, а может быть, и меньше,— и среди них благородный, поддерживавший великого писателя до последнего дня, мужественный С. Ермолинский. Андрей Платонов, печатаясь под десятком псевдонимов, в глухоте, в немоте создавал свои блистательные романы. То, что Л. Чуковская в 1938 году написала «Софью Петровну», кажется мне чудом. В сравнении с тридцатыми годами мы, подслушиваемые и выслеживаемые, потрясенные холодным цинизмом чиновников, сдавленные тупой цензурой, лицемерием, бесстыдством, развратом, мы — сейчас, в семидесятых годах,— в царстве свободы.

2

Это было в одном из домов отдыха Ленинградского отделения Союза писателей, в одном из захудалых, плохо устроенных, третьеразрядных домов. Я работал тогда над романом «Два капитана». Жизнь состояла не только из парадоксального соединения грозных случайностей, унизительного страха, беспрерывного напряжения с обыкновенностью быта, но и из шума, которым были полны газеты и журналы. Шум был связан с освоением Севера — исторической задачей, намеченной еще Менделеевым, и не нуждавшейся в шуме. Был ли он устроен, чтобы заглушить стоны, или бесчисленным доброхотам было поручено показать, какие беспримерные задачи способен поставить и решить Советский Союз? Трудно сказать. Так или иначе, флаги романтики были подняты над этой реальностью,— быть может, иллюзорные, но ведь иллюзии не мешают правде искусства. Иллюзии если не необходимы, так, по меньшей мере, достаточны, чтобы написать полезный роман. Работая над «Двумя капитанами», я думал о пользе справедливости,— вот откуда взялось фантастическое упорство моего героя. В те месяцы и годы, когда несправедливость, недоверие, предательство таились за каждым углом, так важно было воспользоваться объявленными, пусть даже номинально, понятиями благородства и чести.

Ни одной минуты я не думал, что эта книга спасет меня в прямом, практическом значении этого слова. Мне казалось, что я ухожу в детскую литературу. Но «Литературный современник» начал печатать ее прежде, чем закончилось опубликование в детском журнале «Костер».

Итак, я работал в доме отдыха над романом, покинув Ленинград, в котором, что ни день, узнавалось о новых арестах.

Из писателей, которые были в доме одновременно со мной, мне запомнились Е. А. Федоров и Н. В. Пинегин. Первый удивил меня. Он появился в литературных кругах только несколько лет тому назад и, тем не менее, сразу же стал членом секретариата.

До той счастливой минуты, когда в нем открылся талант, он работал на какой-то административной должности в Академии наук, и о нем ходили нехорошие, впоследствии с треском, громом и грохотом оправдавшиеся слухи.

На одном из заседаний Секретариата (в 1940 году) первый секретарь Ленинградского отделения А. Прокофьев огласил доносы, которые Федоров посылал в Москву. Без сомнения, они направлялись по определенному адресу, но сосредоточились в конечном счете в руках А. А. Фадеева, как генерального секретаря Союза писателей. Доносчик был одновременно и необычайно плодовит, и скрупулезно тщателен: от него, например, не укрылся тот маловероятный факт, что один из членов СП «помочился» — так и было написано — напротив здания НКВД на Литейном.

Без сомнения, Фадееву надоела неутомимая деятельность грязного пройдохи, и он, запечатав все доносы в один толстый пакет, отправил их на усмотрение Прокофьева. Решился ли Прокофьев на смелый шаг с ведома и разрешения начальства — не знаю. Но решился, тем более, что среди доносов на *всех* членов секретариата самый увесистый относился к нему. Закрывая очередное заседание, он попросил нас задержаться на несколько минут и *в присутствии* Федорова стал читать один донос за другим. Все было неожиданным в этой выразительной сцене. Взбешенный Федоров выскочил за дверь после того, как Прокофьев, не слушая его истерических выкриков, в течение получаса читал донос за доносом; тут же было решено вывести его из секретариата, и мы вернулись в свою страну из какой-то другой, странно мелькнувшей, в которой доносительство не только не поощрялось, но даже преследовалось, хотя и не очень сурово.

Федоров писал исторические романы с завидной быстротой — лист в день — и немного беспокоился: всегда ли так бывает у настоящих писателей или как-нибудь иначе? Именно с этим вопросом он однажды обратился ко мне, и я успокоил его, заметив, что «Пармская обитель» Стендаля была написана в три-четыре месяца, а Достоевский продиктовал своего «Игрока» чуть ли не в 29 дней.

Он тревожился еще о том, что ему почему-то совершенно не хочется вносить

поправки в написанные страницы, а между тем Лев Толстой правил свои рукописи, и «Война и мир», например, переписывалась семь раз.

Это была наша первая встреча, и кончилась она неожиданным предложением: не могу ли я показать ему, как править текст, уже напечатанный на машинке? И не найдется ли у меня час-другой, чтобы взяться за это дело?

— Насчет гонорара будьте спокойны,— сказал он и засмеялся.— Деньги будут.

Осторожно, сославшись на отсутствие времени, я отказался.

— Так, может, посоветуете кого-нибудь? — спросил он.

Мы стали перебирать писателей. Может быть, Зощенко? Лавренев? Слонимский? Не помню, как удалось мне отделаться от этого самородка, но отчетливо помню чувство неприятной зависимости, которое я испытал во время нашего разговора. Меня почему-то слегка прохватывало, как в ознобе.

С утра я работал в этот день, а после обеда мы с Николаем Васильевичем Пинегиным, художником и писателем, другом Седова, участником последнего трагического похода, отправились на прогулку — слишком далекую для такого холодного декабрьского дня. Может быть, нам инстинктивно хотелось уйти от этого неуютного дома, в котором началась суета, потому что должен был приехать Прокофьев или — не помню — кто-нибудь другой из литературных вельмож.

У меня замерзли руки, и Пинегин посоветовал приложить их к голому телу — сунуть за шею или за пояс.

— Почему-то сразу же отходит,— сказал он.

Я послушался — и точно: руки сразу согрелись.

Николай Васильевич рассказывал о походе «Св. Фоки». Он ни минуты не сомневался, что последний бросок Седова к полюсу с двумя матросами за восемьсот километров да еще после истерзавшей этого могучего человека цинги был обдуманной и удавшейся попыткой самоубийства.

Мы и прежде часто говорили о полярных экспедициях, но на этот раз не ладилась, не складывалась наша беседа. Другое заботило нас — то, что происходило в Ленинграде, и могло сегодня или завтра случиться с любым из нас.

Николай Васильевич, много раз смотревший смерти в глаза, был спокоен. Человек, перед которым, по слову Заболоцкого, природа всегда «валялась в беспорядке», и на террор смотрел как на беспорядок в природе.

— Представьте себе, что разразилась гроза,— сказал он.— Попробуйте ее остановить.

Я позавидовал его спокойствию, мужеству. Он не боялся. А мне было почему-то страшно, даже когда перед обедом нас осматривал приехавший врач, толстый, равнодушный грубиян, который обращался со мной так, как будто я уже был трупом.

Только за работой забывалось отвратительное чувство невольной настороженности, боязни. И, встретившись с бесстрашным оптимизмом Николая Васильевича, я вновь ощутил всю унизительность этого чувства.

Так проходил этот день, и, может быть, забылся бы, как сотни других, если бы к моей хорошенькой соседке по коттеджу не приехал любовник, стройный, подтянутый, уверенный, лет 26, в полувоенной форме.

Кто была эта соседка? Кажется, одна из группы ленинградских «ударников, призванных в литературу». Что только не проделывалось в те годы с нашей литературой! Среди других нелепых затей было и это «ударничество», заставившее иных рабкоров вообразить, что они — писатели, призванные «отразить и углубить пролетарскую тему». Эта мысль внушалась им в литературных кружках на заводах. На одном из собраний в Союзе писателей я слышал речь пожилого рабочего, который с горечью жаловался, что эта затея привела его к душевному краху.

...В соседней комнате долго слышалась возня, а потом моей соседке пришло в голову «показать» меня своему другу. Они постучались, вошли. Не знаю, кто был этот парень, но не прошло и десяти минут, как стало ясно, что не я, а он ведет разговор, и что этот разговор загадочно связан с моим будущим,— благополучным или неблагополучным. На первый взгляд ничто, кажется, не вызывало опасений. Мы говорили о том, как пишутся романы,— почему же наш безобидный разговор с каждой минутой все больше стал напоминать допрос? Нечто повелительное слышалось в его манере держаться — точно он не просил, а требовал, чтобы я отвечал. И я, как этому ни трудно поверить, почувствовал, что этот человек, которого я впервые увидел, сможет сделать со мной все, что ему угодно. Как ни странно, в нем было то, что можно выразить словами «до поры до времени» или «там видно будет». До поры до времени он разрешил мне дышать, ходить, сидеть — словом, жить и даже, если хватит духу, не думать о том, что может случиться. А потом... Я облизал вдруг пересохшие губы. Одному богу было известно, что будет потом.

— Ну, трудитесь, трудитесь,— строго-покровительственно сказал он мне, уходя, и я остался в своей комнате наедине с неопределенной опасностью, кажется, миновавшей, но не потерявшей возможности вернуться в любую минуту.

Дает ли краткий перечень этого дня хотя бы пунктирное ощущение того, как мы жили в годы террора? Не знаю. Это был ничем не замечательный, обыкновенный день. Зато ночь была совсем другая. Мне приснился сон, который я записал,— и вот теперь, перелистывая старые черновые тетради, я наткнулся на эту запись. Вот она:

«19 февраля 1937 года.

Начала не помню. Я скрываюсь. Приходят люди, которые не знают, что мне нужно скрываться, я свободно говорю с ними. Но один из них как будто догадывается. Но в комнате полутемно, он плохо видит меня. Я думаю, что один в квартире, и иду из своей комнаты (с дверью прямо на улицу) в другую. Но там кто-то маленький, с большим лицом, из милиции. Он спрашивает что-то, как на суде, я, не отвечая, возвращаюсь в свою комнату, открываю дверь прямо на улицу и бегу. Много народу, прямо косяком, десятки автомобилей на повороте. Я бегу во всю мочь, и со мной уже какой-то бедный мальчик. Мы с ним вверх по дороге, за нами гонятся, но вот вся в снегу боковая тропинка в сторону и наверх, в горы. Мы туда. Снег, снег, и какой-то человек, проваливаясь, гонит баранов. Я кричу ему — далеко ли до деревни? Не отвечает. Но мы бежим за ним. Небо розовеет все больше, я догадываюсь, что это от света внизу. И вот открывается „устроенная пропасть". Это колония каких-то бегунов, которые здесь живут очень давно. Мы по уступам спускаемся вниз — встречают так себе, не особенно приветливо. Со мной уже Юрий[1]. Его уводят куда-то. Я говорю с этими людьми, вокруг дети — веселые, кричат, играют. Это — поселок, построенный в крепости. Мне говорят, где моя койка, но я раньше хочу найти Юрия. По деревянной, с толстыми дубовыми перилами лестнице иду наверх, ищу 42-й номер, не нахожу. Спускаюсь и попадаю к каким-то здешним старичкам. Разговор с ними о чем-то, я смеюсь (потихоньку) над какими-то их дикими обычаями, они — самодовольные и смеются надо мной. Иду дальше, по другой лестнице, спрашиваю у старой служанки, где 42-й номер, она говорит: „Да ведь это валютный!" Я говорю, что мне все равно, и меня, наконец, проводят. Вхожу без стука. За длинным столом — человек восемь, у всех неприятные, квадратные, деревянные лица. Юрий спит, они говорят, что он устал и заснул. Я жду. Они сидят и молчат. Надо заговорить, но лучше молчать. Может быть, они тогда разойдутся. И они расходятся. Юрий просыпается, я спрашиваю его, почему они так переглядывались, когда я вошел. Он успокаивает: ерунда, обойдется. Потом я записываю все, что видел в „устроенной пропасти" и зачем-то кладу листки на дорогу. Они толстые, как картон. Прибегает мальчишка, другой, не тот, с которым я бежал, и поддает листки ногой. Я бегу и подбираю листки».

Конечно, это был сон преследования, в котором хлебниковский «ночной разум» раскрывал утаенную ночную жизнь. Валютный номер — без сомнения, отзвук арестов за «валюту». Об этом в «Мастере и Маргарите» — большая глава.

1941. Блокада. Допросы

1

Мое флотское назначение в Палдиски было отменено — немцы заняли этот порт в первые дни войны. Я был военным корреспондентом ТАСС, который ютился в тесном подвале с канализационными трубами над головой.

К фронту можно было подъехать на трамвае,— в октябре они еще ходили. В Союзе писателей еще выдавали блюдечко жидкой зеленоватой каши, и страшно было смотреть, как это крошечное блюдечко осторожно, бережно ставили на стол старые, знаменитые писатели и переводчики, которых почему-то не вывезли из Ленинграда.

В милиции будущим подпольщикам выдавали подложные паспорта, на стенах домов читались крупные надписи: «При артиллерийском обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». В городе попахивало дымком, летали, как умирающие серые бабочки, сожженные страницы сочинений Ленина, Сталина, Маркса. На этот раз жгли не память, а улики.

Жена и дети были эвакуированы в Ярославль, последняя связь с ними — телеграммы-молнии — оборвалась, когда Ленинград был окружен. Я жил в пустой квартире, отбиваясь от этой пустоты, наплывавшей на меня ночами. Голодал и работал: писал статьи, очерки, скетчи для фронтовых спектаклей, заметки, рассказы. В эти-то невеселые дни мне позвонили — редкий случай — не из ТАСС.

— Вениамин Александрович,— сказал приветливый молодой голос,— говорят из Управления. Моя фамилия Воронков Владимир Иванович.

[1] Тынянов.

— Слушаю.

— Хотелось бы встретиться, поговорить.

Я ответил, что очень занят, пишу срочную статью для ТАСС. Поговорить не отказываюсь, но прошу приехать ко мне.

— Одну минуту...— И после короткого молчания: — А еще есть кто-нибудь в квартире?

— Да. Домашняя работница. Но мы можем поговорить в кабинете, она не услышит.

Снова короткое молчание,— очевидно, мой собеседник с кем-то советовался. Потом:

— Хорошо, приеду. Когда?

Уговорились,— и он приехал, высокий, в штатском — потертое пальто, старая кепка. Молодой, лет тридцати, с добродушным, курносым лицом. Впечатление полной незаметности, обыкновенности. Снял пальто, и мы прошли в мой кабинет.

— Так, кроме вас, никого больше нет в квартире?

— Есть. Домашняя работница. На кухне.

— Много работаете? — мягко спросил он, окинув взглядом кабинет, который был завален исписанной бумагой.

Я сказал, что сегодня должен закончить статью.

— И закончите,— он одобрительно кивнул головой.— Я к вам ненадолго.

Но он пришел надолго. Часа полтора, а может быть, и больше, выспрашивал, с кем из писателей я дружен, у кого бываю, и сочувственно поцокал языком, узнав, что я потерял связь с семьей.

— Вот некоторые писатели думают, что надо предложить немцам мир,— сказал он.— Это правда?

Я ответил, что на днях разговаривал с Л. Н. Рахмановым, и он, делясь со мной крошечным кусочком мяса, повторял:

— Только не мир, только не мир!

— И вы так думаете?

— А вам не попадались мои статьи?

— Но ведь можно писать одно, а думать другое?

— Можно. Но я пишу то, что думаю.

Мы разговаривали, и я постепенно — многолетняя привычка — стал как бы подставлять себя вместо него. Мне стало ясно, что он мало знает, не начитан, туповат и, вероятнее всего, перешел откуда-то (может быть, с завода) на эту работу. В сравнении со мной он, как говорится, «не тянул». Я волновался в ожидании его прихода, волновался, отвечая на его вопросы, а теперь вдруг успокоился. Не стал бы он так долго разговаривать со мною, если бы Управление намеревалось меня посадить!

В особенности интересовался он моими друзьями — это был прекрасный повод, чтобы отрекомендовать их советскими людьми в самом подлинном значении этого слова.

...Передо мной как будто качалась стрелка барометра — немного налево, немного направо. В основном она стояла на «ясно». Но иногда чуть вздрагивала и отклонялась. Он спокойно выслушал аттестацию моих друзей, но когда я назвал среди них Тихонова, мне показалось, что стрелка едва заметно качнулась. Но это был, без сомнения, обман зрения! Кто посмел бы заподозрить писателя с всесоюзной известностью, политически безупречного, да еще недавно отличившегося во время финской войны. Конечно, мне это только почудилось!

Но вот мой собеседник вернулся к моим делам и заботам и, наконец, впрямую заговорил обо мне.

— В том, что вы — советский человек,— сказал он,— нет ни малейших сомнений. Именно в этом отношении мы, то есть Управление, полностью вам доверяем. Но хотелось бы, чтобы вы, так сказать, реализовали это доверие.

— То есть?

— То есть, в каком смысле... Могли бы вы оказать нам помощь?

Я спросил, что он подразумевает под этим словом, и он, помедлив, ответил:

— Да вот хотелось бы время от времени встречаться с вами, Вениамин Александрович. Не часто,— поспешно добавил он, заметив, должно быть, что у меня переменилось лицо.— Раз в месяц, час-полтора. Ничего особенного, просто поговорить.

Я сказал, что у меня нет времени на встречи, и что даже в эту минуту я сижу как на иголках, потому что мне и полночи надо кончить статью, а я еще только что начал.

Минут сорок он уговаривал меня:

— Ну что вам это стоит! Ведь мы никому зла не желаем. Кто же, если не такие люди, как вы, может нам помочь? Родина в опасности... и так далее.

Больше я не ссылался на отсутствие времени, и прямо сказал, что такой обязанности взять на себя не могу.

— Какая же это обязанность? Это добровольная помощь!..

Мы поговорили еще, он настаивал, упрашивал и, наконец, сказал почти добродушно:

— Ну, что делать.

И вынул из портфеля лист бумаги, на котором было напечатано крупно: «Протокол допроса» (может быть, не «протокол», а как-то иначе, не помню).

Странное дело: наш разговор и был самым настоящим допросом, но мне почему-то это и в голову не приходило. Разговор как-то растекался, уходил в сторону, возвращался. Теперь Воронков намеревался уточнить его, сократить и поместить на одном или двух листах бумаги. Мой собеседник мгновенно превратился в следователя, а я — в обвиняемого? В свидетеля?

Не торопясь он писал абзац и протягивал мне. Иногда мы спорили: ему хотелось подрезать формулировки, в которых я аттестовал моих друзей как людей политически безупречных. Я настоял на своем.

2

В дурном настроении я принялся за работу после его ухода. Точно меня заставили проглотить что-то скользкое, отдающее запахом тления, и теперь надо было справиться с нравственной тошнотой, подступавшей к горлу. Воронков взял с меня расписку, что разговор останется между нами,— и это тоже томило меня — было бы легче, если бы можно было посоветоваться с кем-нибудь из друзей. И еще одно: меня поразило несоответствие этого посещения с тем, что происходило вокруг. Немцы в двух шагах от города, на стенах висят плакаты «Враг у ворот» (а рядом воззвание Джамбула, начинавшееся словами «Ленинградцы, дети мои...» — хотя голодавшим ленинградцам было не до сытого акына), рядом с больницей имени Перовской на моих глазах закладывали мины, и такие же мины закладываются в сотнях или тысячах других мест,— а... Управление занимается вербовкой агентов, которых в Союзе писателей и без того было достаточно. И почему выбор пал на меня? Здесь что-то было.

Я остался после ухода Воронкова отравленный, с начатой статьей, с бессонницей и с горячим желанием бежать куда глаза глядят, потому что у меня не было ни малейшей уверенности в том, что разговор не может возобновиться через несколько дней.

Так и произошло. Вернувшись с фронта (где я и в самом деле отравился, не положив в котелок с водой обеззараживающую таблетку), я услышал телефонный звонок. На этот раз Воронков решительно отклонил предложение встретиться у меня.

— В Управлении, четвертый этаж, комната... Пропуск будет оставлен. В десять часов.— Тон был не допускающий возражений.

Я сказал, что приду.

У меня была назначена встреча с Марвичем,— он был, как и я, военкором ТАСС, и мы часто «делили тему»: я писал одну половину заказанной статьи, он — другую. Я ждал его в десять часов. Созвонившись, мы перенесли встречу.

Так что же делать? Не сказав никому ни слова, так и отправиться в Управление, из которого можно было и не вернуться? Ну, нет! Расписка о «неразглашении» меня не смущала. У меня были друзья, которым я мог смело рассказать и об этой расписке.

Деньги пропали в первые же дни войны. То, что мне удалось заработать в те месяцы, когда Ленинград еще не был отрезан, я переслал в Ярославль, жене и детям. Но остались какие-то колечки, серьги, браслеты. Я положил их в карман и отправился к Шварцу.

3

Евгений Львович Шварц был, несомненно, одним из самых значительных людей, с которыми я был знаком или дружен. Он был человеком одновременно и закрытым и открытым. Усилия, непрестанно повторяющиеся, чтобы утаить эту двойственность, могли бы, мне кажется, обогатить нашу литературу, если бы они были направлены на нее, а не на сложные условия нашего существования.

Но и в трагических обстоятельствах, окрасивших нашу жизнь, ему удалось многое, очень многое. В дальнейшем я постараюсь рассказать о нем.

...Разговор с Евгением Львовичем немного успокоил меня.

— Да как они смеют? — с возмущением сказал он.

Он ничего не посоветовал — да и что он мог посоветовать?

Без четверти десять я был в Большом доме, получил пропуск, поднялся на четвертый этаж, постучал... Никакого ответа.

Снова постучал. В коридоре было полутемно — экономия электроэнергии соблюдалась и в Управлении,— и я не узнал двух людей, быстро прошедших мимо. Но они, кажется, узнали меня. Обрывки разговора, смешок донеслись до меня, и я отчетливо расслышал свою фамилию, сопровождавшуюся этим смешком. Тут же пришел, извинился за опоздание — «Завтракад!» — и открыл ключом дверь Воронков.

...Это был уже совсем другой разговор, не добродушный, а требовательно-резкий. Повторились вопросы — Союз писателей, моя работа — и вообще, и в частности, в ТАСС, друзья, и так далее. Но теперь вопросы были уличающие, связанные с нашим первым разговором, в котором я будто бы что-то утаил или исказил. Когда мы заговорили о Союзе писателей, он обвинил меня в том, что я даже не упомянул о ссоре А. Прокофьева с поэтом А. Гитовичем и не поверил, что я слыхом не слыхал об этой ссоре.

— Да что вы втираете очки, когда это происходило на ваших глазах! — сказал он.

Но я говорил правду. Более того, о жизни Союза я знал гораздо меньше, чем он предполагал, даром, что я был членом Секретариата. Меня эти отношения никогда не интересовали, а в ту опасную пору я инстинктивно старался отстраняться от них. Втолковать это следователю я, естественно, не мог, да это было и небезопасно («антиобщественная позиция»); он, профессионально настроенный на выяснение и возможное использование этих отношений, просто не мог поверить, что они мне глубоко безразличны. Именно на этом несоответствии продержалась первая часть допроса. Воронков как бы стремился доказать, что я неискренен, что-то скрываю и, следовательно, виноват,— а раз виноват, так должен искупить вину. Чем же? Миролюбивым сотрудничеством, которое должно отнять у меня какой-то час в месяц и на которое я почему-то упорно не соглашаюсь.

Чем только он ни старался меня соблазнить! Сперва обещаниями: Управление располагает материалами неслыханными, никому не известными, и они на выбор будут предложены мне. Тут же не на один роман хватит, а на собрание сочинений! Да я такое узнаю, что никому и не снилось!

Это предложение было легко отклонить. В ответ я прочел ему, нарочно стараясь говорить сложно, длинную лекцию о том, как пишутся романы. Примеры я бесстыдно приводил не только из собственного опыта, но и из биографий Тургенева и Льва Толстого. Вслед за литературными обещаниями последовали практические: я не мальчик, тридцать девять лет, известный писатель, которого надо беречь. Простой здравый смысл подсказывает, что для меня разумнее не ездить на фронт, а работать для ТАСС, оставаясь в Ленинграде.

Это было предложение, слабость которого он, по-видимому, сразу же сам оценил.

— Вы шутите? В какое же положение я поставил бы себя перед моими товарищами по ТАСС?

Он помолчал и заговорил о другом.

...Однако мое упорство начинало злить его не на шутку, тем более, что никаких серьезных поводов для отказа я не предъявлял, а твердил, главным образом, о том, что «служу Советскому Союзу» своими книгами, и новая профессия не поможет, а помешает делу.

— Чем же помешает?

Психологически помешает: для работы над художественной прозой необходима полнейшая сосредоточенность. И практически помешает: у меня плохая память, а между тем многое, очевидно, придется запоминать?

Мы разговаривали таким образом, должно быть, часа два,— он с нарастающей злостью, а я с нарастающей сдержанностью волнения, ничуть не мешавшей горячности, с которой я убеждал его, что не гожусь, не подхожу, решительно не подхожу для того тонкого дела, которое мне предлагалось.

Наконец — впрочем, было еще далеко до конца,— он снял трубку.

— Владимир Иваныч? — спросил он, и у меня мелькнула мысль, что он с какой-то целью называет собеседника собственным именем. (Вскоре я убедился, что у них были одинаковые имена.) Вот разговариваем мы с Вениамином Александровичем. Упрямится он, отказывается, не согласен,— тон был почтительный, он говорил с начальством.

Дверь открылась, и, войдя, за второй стол сел какой-то человек, низенький и неприятный, в форме, но без знаков различия, подпоясанный ремнем, на котором висела кобура с револьвером. В том, что кобура не пуста, я вскоре убедился, потому что, листая для вида какие-то бумаги, он как бы между прочим ввязался в допрос и положил перед собой револьвер.

Меня револьвер не испугал, на что, очевидно, был расчет, но лицо второго следователя не то что испугало, но многократно увеличило душевную напряженность. Это было лицо звериное, скуластое, с грубыми, твердыми, злобно поджатыми губами, с низким лбом, над которым торчком стояла толща прямых волос.

Со стороны могло показаться, что он мешал Воронкову. А на деле помогал: неожиданными вопросами сбивал меня, обрывал на полуслове.

...Я в те годы курил и, уходя из дому, сунул в карман мундштук в виде изящно изогнутой трубочки, украшенной шелковым шнурочком с узлами. Трубочку эту подарил мне мой дядя, старый тромбонист, много лет прослуживший в оркестре Мариинской оперы. Не знаю, как передать чувство, с которым я крепко сжимал эту трубочку в руке (мы курили),— но для меня в ней каким-то чудом воплотилось все, что было *до*

этого допроса, до этой внутренней дрожи, *до* этого возрастающего напряжения, которое приходилось скрывать, подавлять. И, крепко сжимая трубочку, я как бы держался за это прошлое, в котором был и дом, и семья, и старый добряк-аккуратист, и даже то, что раз в году, в дни наших семейных праздников дяди (несколько лет мы жили вместе) будил нас игрой на своем тромбоне.

...Между тем после разговора с начальством, атмосфера допроса круто переменилась. Почему-то Воронков снова заставил меня повторить имена друзей и снова при имени Тихонова стрелка барометра закачалась. Закачалась, и вдруг он крикнул, стукнув кулаком по столу:

— А вы знаете, что один из ваших друзей сказал, что готов хоть голым, в чем мать родила, но оказаться за границей?!

Я спокойно ответил:

— Кто же, по вашим сведениям, решился сделать подобное заявление? Тынянов? Шварц? Тихонов? Рахманов? Зощенко?

— Это вы должны ответить.

— А я ничего подобного никогда от моих друзей не слышал.

Владимир Иванович снова позвонил Владимиру Ивановичу, повторил то, что «упорствует, отказывается Вениамин Александрович».

— Ну что же, пойдемте,— положив трубку, сказал он.

4

Второй Владимир Иванович (к сожалению, забыл его фамилию, кажется, Лапшин) был нимало не похож на первого. Плотный, в очках, лет тридцати, с квадратным лицом, на котором застыло выражение пытливости, он встретил меня вежливо, предложил папиросы, чай. Видно было, что он смертельно утомлен, преодолевает себя,— и мне стало страшно, что сейчас на меня обрушится эта усталость, и бессонные ночи, и сдержанная, но острая досада, что к тем важным делам, которыми он занимался, присоединилась еще и необходимость уламывать меня только потому, что с этим ничтожным делом не справился его подчиненный.

Было, должно быть, далеко за полночь, когда Воронков, у которого был виноватый вид, оставил меня в его кабинете. Может быть, память мне изменяет, но в кабинете стоял книжный шкаф, и сквозь стекла проглядывали корешки переплетов.

— Что ж, значит, не желаете нам помогать? — спросил он.— Считаете себя избранником богов, которому не к лицу черная работа?

Тогда я не знал, что в НКВД существует литературный отдел — может быть, под каким-нибудь другим названием. Второй Владимир Иванович был, без сомнения, начальником этого отдела — и подготовленным, начитанным,— это стало ясно в первые же минуты допроса. Он не стал, как Воронков, ловить меня на мелочах. Он опрокинул на меня всю мою работу за двадцать лет, представив ее, как антисоветскую,— тут-то он и показал начитанность, изумившую меня. Давным-давно и и думать забыл о статьях, в которых меня громили за буржуазное реставраторство, за формализм, мещанский индивидуализм, за «самооборону против марксизма», за «враждебность революционной эпохе», за идеологию саботажа.

Он последовательно выложил эти обвинения и присоединил к ним десяток других. Я был и остался — как он утверждал — скрытым врагом советской власти, а теперь, когда мне предоставляется возможность хотя бы в малой степени искупить свою вину, я ломаюсь, отказываюсь, ускользаю.

Это было неожиданно, и он, должно быть, заметил, что я растерялся. Но, растерявшись, я каким-то чудом не «потерялся», поняв, наверное, всю опасность этой минуты. Это было так, как будто, не слушая его, я на какое-то неопределенное время — продолжавшееся, может быть, две-три секунды — ушел в себя, занялся собой, и — удалось *собраться*.

Конечно, мне следовало спокойно и связно доказать ему, почему он неправ, а я заговорил слишком торопливо и бессвязно. Однако это был литературный разговор, в котором он, со всей своей начитанностью, сравняться со мной не мог. Обвинения были плоские. В подавляющем большинстве обвинения были рапповские и относились еще к тем временам, когда на них можно было отвечать. С этого я и начал. Хотя я и путался от волнения, однако внятно заявил, что все, что сейчас было сказано, я некогда читал в рапповских статьях, а РАПП, как известно, распущен, и деятельность его признана вредной. Однако и рапповцы, да и никто еще до сих пор не осмеливался утверждать, что я — враг советской власти. Книги мои опубликованы, никогда ни одной своей строчки я не скрывал...

...Теперь, через много лет вспоминая свою защитительную речь, я вспоминаю и то, что была произнесена она торопливо, в лихорадке,— но направлена была к единственной, всем моим существом овладевшей, цели — не соглашаться, отказаться, убедить, что я не могу, не могу, не могу... Если бы и захотел, не могу! Было ли в этом «не могу»

мужество, присутствие духа, самообладание? Нет. Была только инстинктивная уверенность, что если я соглашусь — все кончено, жизнь не сможет продолжаться. Безобразная искаженность, вывихнутость, предательство, ложь прикончили бы меня в два счета. Я убегал от верной гибели на дрожащих, неуверенных ногах. Но убегал.

— А вы, оказывается, упрямый,— с блеснувшим злобным огоньком в глазах сказал час назад Владимир Иванович-первый.

— Вы тут такого наговорили... Мне только дунуть стоит, и от вас останется одно воспоминание,— с таким же бешеным промельком в глазах сказал Владимир Иванович-второй.

Но он уступал, отступал, отпускал меня,— что-то переломилось в нашем разговоре, и я, едва веря себе, почувствовал этот перелом. В глубине души я уже захлебывался от радости, и надо было только не показать эту радость. Он, казалось, размышлял, слушая или не слушая меня. Потом вызвал Владимира Ивановича-первого, и когда тот вошел, сказал мне:

— Можете идти.

Но я еще не уходил. Это было рабское чувство, но мне хотелось поблагодарить его за то, что он меня отпускает. И я сказал голосом, невольно зазвеневшим от радостного волнения:

— Не ожидал встретить такого глубокого знатока нашей литературы.

Он поклонился, не подавая руки, и ответил:

— Вы видите перед собой чекиста.

...И ведь что любопытно: Воронков пошел меня провожать, и мы еще не спустились с лестницы, как между нами уже установились совершенно другие отношения. Ему понравилось, что я устоял, и это неуловимо проскользнуло в уважительном тоне, в манере держаться, в том, что мы, как добрые знакомые, закончившие неприятное дело, заговорили о положении на фронте, о последней сводке, даже, кажется, о погоде.

Он предложил мне машину, я не отказался. Уже наступило тяжелое, туманное, предзимнее утро. Мы простились, и поднялся к себе и, побродив по холодной, вдруг опостылевшей квартире с пустой, бесчувственной головой принялся за очередную статью для ТАСС.

5

Я упомянул о том, что в эти дни меня спасли только мои «Два капитана». И действительно, в конце допроса Владимир Иванович ясно дал мне понять, что именно «Два капитана» и помешали ему расправиться со мной по-свойски. Он не расспрашивал меня о друзьях, но мои догадки по поводу Тихонова впоследствии полностью подтвердились. Против Тихонова в течение ряда лет «шилось» дело, и если бы его взяли...

Трудно вообразить, что произошло бы, если бы в центре нового «шахтинского процесса» оказался человек, о котором еще в 1934 году было сказано: «Жить он будет, но петь — никогда».

О том, что «в холодный белый мрамор он будет превращен» (Гоцци), давно догадались те, кто слышал, с каким азартом он оправдывал каждый новый арест, как энергично отрекался от самого близкого «загремевшего» друга.

По «делу Тихонова» был арестован, доведен пытками до сумасшедшего дома и осужден на пять лет Н. А. Заболоцкий. В лагере он узнал, что главный обвиняемый в 1939 году награжден орденом Ленина, и дал Верховному прокурору СССР телеграмму, в которой, ссылаясь на это сообщение, просил о пересмотре дела. Когда Тихонов был назначен председателем Союза писателей, в 1943 году, я, заглянув к нему (мы оба жили в гостинице «Москва»), только заикнулся о его «деле», как он круто и бесповоротно повернул разговор. Он знал не только то, что все уже знали...

Впрочем, бегло о нем написать нельзя. В его лице перед нами сложный пример психологической деформации, заслуживающий подробного рассмотрения.

6

Никто, кроме Е. Шварца, не знал, почему я стремился возможно скорее уехать из Ленинграда. Не стану притворяться смельчаком, который не боялся ни голода, ни холода, ни немцев, сбрасывавших с самолетов листовки, призывающие убивать «жидов и коммунистов». Конечно, боялся, тем более, что на театральных тумбах еще сохранились обрывки афиш, объявляющих о моей пьесе «Актеры», которую смело можно было назвать антифашистской, хотя действие ее происходило на оккупированной Украине в 1918 году. Но еще больше боялся я новых допросов и ареста, казавшегося мне неизбежным.

Вот почему я благословил тот день, когда мне позвонили из горкома партии и сказали, что по распоряжению Шумилова (секретарь по агитации и пропаганде)

я завтра, 10 ноября, должен явиться на аэродром в семь утра, и что мой отъезд на Большую Землю согласован с ТАСС.

Не стану рассказывать ни о перелете, ни о том, как случайно обменялся вещевым мешком с одним из работников конструкторского бюро секретного авиазавода, ни о том, как получил отпуск для розысков семьи, ни о том, как нашел ее в Перми — тоже случайно, благодаря знакомству (в санитарном поезде) с бригадным комиссаром Зориным. Все это — для другой книги, которую я, может быть, еще напишу. А сейчас — о другом.

После моего неожиданного отъезда в Ленинграде распространились слухи, что я уехал самовольно, из трусости, без ведома и разрешения начальства. В письмах блокадных лет могли сохраниться отзвуки этих слухов. Винить тех, кто их распространял, я не стану. Ведь они не знали, что вместе с опасностью, которую мы могли встретить с оружием в руках, я убегал от другой опасности, против которой был безоружен.

О Федине

1

«Мы знакомы 48 лет, Костя. В молодости мы были друзьями». Мне нелегко было написать это письмо, после которого наши отношения должны были рухнуть — и рухнули навсегда, бесповоротно. Легко ссориться в молодости, когда впереди — годы перемен я мерещится среди них трудная или легкая возможность примирения. Тяжко ссориться в старости, когда грубо, непоправимо, точно взмахом колуна, отсекается то, что некогда согревало душу. Нужна какая-то каменистая, ободранная всеми ветрами вершина, чтобы, спотыкаясь, цепляясь за колючий кустарник, с трудом взобраться на нее и, прикрыв ладонью глаза, вглядеться в прошлое.

Кто же виноват? Что случилось впервые? Когда и почему повторилось?

Сущность дела заключается в том, что в течение всех этих сорока восьми лет отношения между нами были. Более того: в этих отношениях, менявшихся год от года, всегда звенела, пусть приглушенно, издалека, чуть слышно, нота молодой дружбы, искренней, бескорыстной, лишенной зависти и полной желания добра. Я знал, что ему нравится моя горячность, мое пристрастие к «алхимии» в литературе и то, что я считал «орденом» нашу маленькую группу, а ведь по отношению к ордену надо хранить нерушимую верность. В моих рассказах ему нравилось то, что они были выдуманы от первого до последнего слова, он всегда был близок к немецкой литературе, может быть, ему виделась «новая гофманиада».

В начале двадцатых годов он был редактором журнала «Книга и революция», и моя речь в связи со столетней годовщиной Гофмана так понравилась ему, что он даже напечатал ее, не предложив мне изменить ни слова. Что касается моего отношения к нему в начале двадцатых годов, то слово «нравиться» почти ничего не значит.

Я был влюблен в него, как влюбляются в старшего брата или друга в восемнадцать лет. И действительно, им можно было залюбоваться. Высокий блондин, широкоплечий, стройный, сразу же подкупающий вежливостью, умением подойти к собеседнику, очаровать его, найти его слабые стороны и — тоже из вежливости — притвориться, что он их не замечает; умелый спорщик, прекрасно владеющий собой, глубоко убежденный человек,— он тогда был действительно убежден в правоте своих взглядов, он производил впечатление благородной уравновешенности, если и нарушавшейся подчас, так неизменно по значительным поводам, заслуживающим внимания и уважения. Серьезностью, значительностью так и веяло от каждого его движения, каждого слова. Случалось, что он в споре загорался, большие серые глаза широко открывались, распахивались, бледное красивое лицо чуть розовело — я особенно любил его в такие минуты.

Мы придерживались мало сказать разных — прямо противоположных взглядов на литературу: я был горячим, хотя и небезоговорочным единомышленником Лунца с его призывом «На Запад!», он с первого же рассказа «Сад» заявил себя продолжателем традиции русской классической прозы. Но это ничему не мешало. Напротив, мне льстило, что тридцатилетний Федин относился к моим взглядам с уважением, хотя на серапионовских собраниях он иногда умерял мою пылкость.

В традиционность его взглядов входило тоже традиционное, характерно-русское, приподнятое уважение к литературному труду. Над этой приподнятостью «серапионы» слегка подсмеивались — Слонимский, делая большие глаза и поднимая указательный палец, торжественно провозглашал: «Ли-те-ра-ту-ра!». Но напрасно подсмеивались. Это чувство вело Федина, им проникнута его переписка с Горьким, оно связывалось с понятием призвания, оно долго окрашивало его поведение в литературных делах. Я по молодости лет пылко сражался с его традиционностью, не догадываясь, что она-то, в сущности, и была связана с его порядочностью и долго, в течение многих лет, до тех самых пор, когда эта пресловутая и даже знаменитая фединская порядочность стала позой.

В 1921 году он вышел из партии — уже тогда это был не вполне безопасный шаг. Он заявил право на самостоятельность: «У меня полка с книгами, я пишу»,— это было не так уж далеко от требования Лунца о свободе искусства. Когда Никитин подписал какой-то манифест одной из пролетарских литературных групп, он был в бешенстве — не потому, что подписал, а потому, что подпись косвенно отражала мнимую солидарность «серапионов» с этой группой. Я помню, как они схватились на очередной субботе, спор перешел на личности, Федин рванулся к Никитину, и если бы мы его не удержали... Впрочем, победневший Никитин успел выскочить за дверь. Точно так же, помнится, он пошел на Н. А. Брыкина, утверждавшего — это было на собрании в Ленклублите, стало быть, в начале тридцатых годов,— что Толстой и Тынянов не случайно, а с заранее обдуманным намерением уходят от современности в историю, подозрительно бойкотируя политическую жизнь страны. Мне кажется, что Федин уже переехал в Москву и оказался на собрании случайно. Из глубины зала он медленно пошел на Брыкина,— он стоял где-то за рядами стульев, у выхода.

— Но если Толстого, который с еще небывалой глубиной и силой воссоздал перед нами петровскую Русь... Если Тынянова, под пером которого загадочная фигура Грибоедова раскрылась во всей своей исторической сложности...

Он говорил о нетленном в литературе, о тех писателях, которые способны выразить эту нетленность,— да как же Брыкин смеет упрекать их, что они не пишут о колхозах...

Его голос все повышался, он уже не говорил, а гремел, и когда, приблизившись к столу президиума, он взялся за спинку стула — не только у меня, надо полагать, мелькнула мысль, что сейчас он взмахнет этим стулом, и маленький, щупленький, беленький Брыкин рухнет, исчезнет без следа, провалится под землю. Он испуганно верещал что-то, пытаясь перебить своего неожиданного противника, уже неясно было — возражал или соглашался. Куда там! Голос русского литератора неожиданно взорвал очередное административное мероприятие — и это, без всякого сомнения, был искренний и независимый голос.

Когда началось раздвоение? И можно ли назвать этим словом ту, кажущуюся почти фантастической, перемену, которая произошла с ним в течение десятилетий?

Пусть мое предположение покажется странным, но мне кажется, что в нашем литературном кругу, где все обусловлено, он, если можно так выразиться, был гением обусловленности, ее выдающимся представителем. Весь без остатка он был суммой ее результатов. В двадцатых годах, в кругу «Серапионовых братьев», он был воплощением той обусловленности, которая создала возможность существования и деятельности этой группы. По мере того, как он становился влиятельным деятелем Союза писателей, «административное начало», вторгшееся в литературу, создало особый взаимосвязанный мир обусловленности, который медленно, но верно становился его миром. Без сомнения, это не произошло бы, если бы у него был крупный талант, в существе которого лежит стремление, почти бессознательное, сказать новое слово в литературе. Но у него был талант воспроизведения, повторения, а не созидания. В лучших вещах («Трансвааль») ему удавалось схватить и удачно изобразить явление. Но писать запоминающиеся характеры он не умел, а что стоит без этого умения прочно заземленная психологическая проза? В двадцатых годах слово, хотя и не без труда, складывалось со словом. Пот был виден, но еще было что сказать, и, несмотря на стилистическую бедность (а подчас и корявость, на которую однажды в письме ко мне обратил внимание Горький), «Города и годы», и «Братья» были ощутимо нацелены на жанр романа. Замысел выполнялся, натяжки прощались, все здание еще можно было охватить одним взглядом: элементы его, хотя и кое-как, были соотнесены. Но начиная с «Похищения Европы», его книги уже не писались, а составлялись, и составлялись холодно, без полета, без ощущения власти слова, ведущего за собой другое слово, без той «зацепленности», которая заставляет перелистывать страницы.

Потом, должно быть, в пятидесятых годах, кончилось и это. Гуляя со мной однажды по Переделкину, он пожаловался, что совершенно не в силах писать.

— Ты не поверишь, слово, как детский кубик, приставляю к слову.

Для любого подлинного художника это было бы трагедией. Было бы безосновательной бестактностью с моей стороны говорить, что это не было трагедией и для него. Но у него уже была, как это ни странно, *замена*. «Да полно,— скажет читатель,— возможна ли подобная замена?» Возможна.

2

Было бы ошибкой недооценивать ту роль, которую играет Союз писателей для жизни почти каждого литератора в нашей стране. Это — организация широко разветвленная, богатая, влиятельная, созданная (согласно уставу) с целью содействовать

развитию литературы. Его история более чем занимательна, и ученый, который взял бы на себя нелегкий труд написать ее, не потерял бы времени даром. Возможно, что работая над ней, он не раз вспомнил бы свифтовских лапутян или «Процесс» Кафки.

В течение десятилетий я принимал участие в работе Союза писателей. В 1938—1941 годах в Ленинграде я был даже членом секретариата этой организации — впрочем, то была пора, когда это высокое звание ничего, кроме хлопот, не приносило. В Москве, после войны, я долго был заместителем Паустовского, руководившего секцией прозы. История развития Союза писателей и одновременно превращения его в род министерства (иерархического, как все министерства), прошла перед моими глазами. То, что я рассказал о нем,— лишь беглый очерк, необходимый, однако, для загадочного понятия — «замена».

3

Как могло случиться, что Юрий уже в начале тридцатых годов изображал Федина, сдернув со стола салфетку, ловко подкинув ее под локоть? Предвидение это можно назвать почти гениальным. В ту пору не было, казалось, решительно ничего, что могло бы послужить поводом к подобной карикатуре. Федин пользовался всеобщим уважением, и Юрий, вопреки своему предсказанию, разделял это чувство. Но что-то уже было, что-то было...

Вот сцена одновременно и незначительная и говорящая о многом. Какой-то банкет, может быть, пятилетие или десятилетие Госиздата. Человек двенадцать писателей, кто-то из горкома, руководители издательства и среди них заведующий Гослитом Ионов — старый большевик, добродушный, плотненький, с красным туповатым лицом. Произносятся речи, провозглашаются тосты. Федин берет слово, когда банкет в разгаре. Он вспоминает о своей работе в «Книге и революции», изящно шутит и так далее, но говорит слишком долго и, может, именно поэтому Ионову, его соседу за столом, приходит в голову эта, более чем странная, идея. Я не верю глазам: глупо подмигнув кому-то из горкома, он спокойно выливает полный бокал вина в слегка оттопыренный карман фединских брюк.

Что сделал бы я на месте Федина? Не знаю. Взбесился бы и влепил пощечину зазнавшемуся ветерану. Но Федин... Это поразило меня. Не прерывая своей речи, он хладнокровно переложил носовой платок из правого кармана в левый. К счастью, мгновенно проступившие пятна были почти незаметны на темном костюме... Помню, что я позавидовал Федину. Он сделал вид, что ничего не случилось. Он *не заметил* того, что случилось. Он не вышел из-за стола до конца банкета. В том, как он держался, было достоинство, самообладание, даже, пожалуй, презрение. Но провозгласить тост за здоровье того, кто только что так нагло подшутил над тобой?..

Я далеко не уверен, что этот случай был одним из признаков будущей «замены». Десятки раз меня спрашивали — когда он стал другим,— и я невольно старался найти в молодом Федине эти черты.

4

В годы войны мы почти не встречались, и я стал бывать у него лишь в самом конце 1947 года, когда обстоятельства вынудили меня переехать в Москву. Тогда его никто не спрашивал, как и почему он стал другим. Более того, его книга «Горький среди нас» вызвала резкие нападки критики, пристрастные и несправедливые, потому что это была его лучшая книга. Он первым из писателей моего поколения попытался напомнить о том, что было намеренно забыто, и сделал это со всей добросовестностью, на которую тогда еще был способен. Книга была «серапионовская», и его необходимо отметить, потому что вопреки всем будущим сделкам с совестью, в нем долго еще, поразительно долго, звучала обязывающая нота необусловленной молодости и не связанной по рукам и ногам литературы.

В 1957 году, в «Театре киноактера», выступая против «Литературной Москвы» на общем собрании московских писателей, он вплотную подошел к моему участию в защите этого единственного за многие десятилетия подлинно общественного альманаха,— и наткнувшись на мое имя, помедлил... И пропустил его, обошел, вдруг перестроив фразу. Между тем, согласно договоренности с теми, кто поручил ему произнести эту речь, я был для него объектом предусмотренного нападения. Я был деятельным членом редколлегии порочной «Литературной Москвы», я выступил на пленуме, энергично возражая против статей, которые, бессовестно передергивая факты, топили и травили наш сборник. Я был беззащитен, открыт со всех сторон, на меня можно было обрушиться, стереть в порошок. Почему же Федин обошел возможность, которая сама шла ему в руки? Это выглядит почти парадоксальным, но мне кажется, только потому, что мы оба были некогда «братьями во Серапионе».

И подтверждение нашлось. Я тяжело заболел вскоре после разгрома «Литературной Москвы». Это было воспаление паутинной оболочки мозга, результат гриппа, не имевшего, разумеется, ни малейшего отношения к литературной борьбе. Но когда Тамара Владимировна Иванова сказала Федину, что я тяжело заболел после его речи, он заплакал и сказал вошедшей дочери Нине:

— Тамара Владимировна говорит, что Веничка заболел из-за меня...

Оставляю на совести Тамары Владимировны Ивановой этот рассказ. Но он связывается с неупоминанием моей фамилии в речи, которая через два-три дня была напечатана в «Правде».

Да, память свободной дружбы в свободной «долитературе» еще долго занимала маленький краешек в этой истасканной компромиссами душе. Но пришел час, когда и он затушевался, растаял, отступил перед всемогущей «заменой».

5

Я рассказал в предыдущей главе о том, как была встречена первая часть моей трилогии «Открытая книга». Не хочется повторять эту историю, но придется — однако, совсем с другой точки зрения.

Это было время, когда высосанная из пальца антисемитская кампания против космополитизма была в разгаре. Трудно было воспользоваться для этой кампании моей «Открытой книгой», однако обличительный шум зацепил и ее. Мне не привыкать было к оплевыванию, швырянию камнями, замаскированным или прямым политическим доносам в печати. Но ни одна из моих книг еще не была удостоена такого внимания. Никогда не было, например, коллективных писем за тридцатью четырьмя подписями — вроде того, которое подготовил, подписал именами ленинградских студентов Педагогического института и напечатал в «Литературной газете» тогдашний ее редактор В. В. Ермилов.

Я поехал объясняться, и разговор был таков, что я, с трудом удержавшись, чтобы не ударить Ермилова, выскочил, хлопнув в бешенстве дверью, и очнулся от полубессознательного состояния, лишь увидев себя с удивлением на станции метро «Дворец Советов». Мой ответ на коллективное письмо студентов сохранился в моем архиве. Конечно, это была организованная Ермиловым подделка. Это подтвердил и Федин, который до своего выступления в «Театре киноактера» энергично поддерживал «Литературную Москву». Приехав из Ленинграда, где выступал перед студентами, он спросил у них об этом письме, и они ответили, что не имеют о нем никакого понятия.

Роман был обруган в передовой «Правды», и мне пришлось бы совсем туго, если бы К. Симонов (по его словам) не сказал Суслову, что «из руки работающего писателя нельзя же все-таки выбивать перо». Это была и самозащита — ведь он тогда редактировал «Новый мир», в котором была напечатана первая часть «Открытой книги».

Разумеется, Союз писателей не остался в стороне от травли. Меня удивило, кстати, что на заседание правления, обсуждавшего книгу, приехала из Ленинграда В. Ф. Панова, которая тоже энергично выступила против моей «рефлектирующей героини». «Ей-то это зачем?» — помнится, подумал я с удивлением.

Наконец, подошло время, когда почему-то еще не высказавшая свое мнение Секция прозы (председателем ее тогда был Федин) должна была внести свой вклад в государственное дело.

Я зашел к нему, и мы поговорили.

— Ничего, брат, не поделаешь,— ласково-ободряюще сказал он.— Надо.

На чем было основано это загадочное «надо»? После шестнадцатой отрицательной статьи наступила пауза, и я стал надеяться, что мне удастся отсидеться, отмолчаться. Между тем после собрания секции прозы притихшая было травли могла возобновиться — и, как показали ближайшие месяцы, действительно возобновилась.

Все это вспомнилось мне не по той причине, что через без малого тридцать лет мне захотелось пожаловаться на несправедливость критики, тем более, что трилогия после вынужденной мучительной работы все-таки устояла и многократно переиздавалась. Нет, в этой истории, после которой меня в течение трех лет не печатали, заслуживает внимания только одна, на первый взгляд незначительная, черта: фединское «надо».

Что означало для Федина это короткое слово? Во-первых, разрыв между тем, что он говорил, и тем, что он думал. Когда-то я рассказал ему о том, что Пастернак позвонил мне и похвалил первую часть «Открытой книги»; Федин поддержал этот одобрительный отзыв.

Во-вторых, это «надо» означало именно тот отзвук на уже сложившееся отношение к роману, *которого от Федина ожидали.* Конечно, он мог за меня заступиться. Но это резительно не соответствовало бы тому положению, которое он занимал. Более того, ему, может быть, показалось бы странным, если бы я решился намекнуть, что жду от него поддержки, защиты. И это действительно было бы странно в 1949 году.

Оставалось защищаться самому, и вместо раскаяния я придумал маневр, который должен был если не обезоружить моих противников, то, по меньшей мере, сгладить нападение. Как только собрание было открыто, я попросил слова и сказал, что по первой части нельзя судить обо всей трилогии в целом. А замысел второй и третьей... И, не касаясь критических оценок, я рассказал такую историю моей «рефлектирующей героини», против которой нечего было возразить поборникам социалистического реализма. Им оставалось только повторять требования, которые я предъявил самому себе, как автору будущей второй и третьей части. Выступали, помнится, Вячеслав Ковалевский, Чаковский. Первый утверждал, что антипартийность моей «Открытой книги» объясняется тем, что в молодости я был формалистом и снобом,— и меня подмывало сказать, что в то время, как в начале двадцатых годов он шлялся по Москве с накрашенными губами, я трудился ночами при свете коптилки, перемежая изучение арабских рукописей историей русской литературы.

Но я промолчал.

Заключая собрание, Федин сказал свое «надо».

— Мы вправе ожидать,— значительно произнес он,— что автор в дальнейшей работе учтет замечания критики, и в результате мы получим хорошую книгу.

6

Ох, уж это незаметное, как бы само собой разумеющееся, в самой литературной атмосфере растворенное «надо»! В сталинские десятилетия его принимали как должное, не соглашаться с ним — никому и в голову не приходило. Возражать против него — это значило немедленно (и, как правило, по другой причине или без причины) угодить за решетку. В те годы с Федина за его «надо» не было спроса. Он не принял участия в войне, и это было заметно: на общем собрании Союза, когда Тихонов был «избран» председателем, Эренбург в своей страстной, раздраженной речи призывал «умолчать об умолчавших». Относился ли его упрек к Федину? Без сомнения. Но Федин поступил честнее, чем, скажем, Леонов, с его кудрявым «Взятием Великошумска». «Надо» в судьбе Федина стало играть заметную роль после Двадцатого съезда, именно в ту пору, когда оно уже стало постепенно терять свое магическое значение. Он владел тогда неисчислимыми преимуществами высокого общественного положения. Он был знаменит и богат. Он пользовался уважением в правительстве как видный писатель, за которым *никогда* не было никаких провинностей, неосторожных поступков. Он был рассудителен, значителен, тверд и представлял в глазах высших чиновников великую русскую литературу.

Но сохранить положение с помощью пера он уже не мог. Книги еще писались и переиздавались — «Первые радости» и «Необыкновенное лето»,— но это были никуда не двигавшиеся неподвижные книги. Пера не было, и для того, чтобы устоять, сохранить высокую позицию (а на первых порах даже и некоторую власть в Союзе писателей) нужна была вышеупомянутая «замена».

7

Так начинается двойная жизнь — одна, реальная, в прошлом, другая, мнимая — в настоящем. Сделки с совестью начинаются, когда административная карьера предъявляет свои требования, не имеющие с литературой ничего общего. То в одном, то в другом случае приходится забывать о том, что призвание писателя обязывает в наше время, как никогда, что за малейший допуск подгонки деталей нравственности он расплачивается тоже как никогда. Между произведениями писателя и его нравственной позицией знак равенства, потому что писатель и есть то, что он создает. И если он ничего не создает, если он существует на праведно или неправедно «нажитое», он превращается в представительного, но бездарного актера, которому сверху швыряют очередную роль.

Олеша как-то сказал, что Федин годится на любое амплуа. То он — представитель старой русской интеллигенции, восторженно, без колебаний принявший Советскую власть. То его посылают за границу, чтобы показать мнимое монолитное единство советской литературы. То ему разрешается иметь «особое мнение», когда надо доказать, что социалистическая демократия отнюдь не стесняет свободу печати.

О том, как Федин предал «Литературную Москву», известно в литературных кругах. О том, что он притворился больным, чтобы не проводить в последний путь своего друга Пастернака,— известно. Но никто не знает о том, какую роль сыграл он в процессе Синявского и Даниэля. Никто не знает о его участии в многочисленных, долголетних хлопотах по изданию сочинений Льва Лунца — в конце книги я расскажу эту последнюю историю, потому что связь обусловленности с нравственной позицией сказалась в ней особенно ясно.

8

В начале шестидесятых годов я еще бывал у Федина, не потому, что я простил ему предательство по отношению к «Литературной Москве». Тогда я однажды прошел мимо него, не поздоровавшись (это было в Переделкине), и он окликнул меня с искренним изумлением:

— Веня! Ты не хочешь со мной здороваться?

Вокруг стояли знакомые и незнакомые люди, объясняться на ходу было невозможно. Я вернулся, и мы о чем-то поговорили. Потом я заходил к нему в связи с какими-то хлопотами — без него, как председателя Союза, невозможно было обойтись. И однажды случилось, что наша встреча, вызванная подобным поводом, состоялась в те дни, когда все порядочные люди были обеспокоены судьбой Синявского и Даниэля, заранее осужденных в газетных статьях, появившихся перед процессом.

Федин встретил меня радостно, спустился вниз — его кабинет и библиотека на втором этаже,— обнял за плечи, повел к себе, усадил, предложил кофе, чаю, вина. Я выбрал чай, который незамедлительно появился на маленьком столике в просторной правой половине кабинета, предназначенной для приема гостей.

Разговор был, как всегда, натянуто-радушный. Мне этот тон давался труднее, чем ему — нечто отвратительное мерещилось мне в том, что мы как будто заранее условились не задевать то, что снова могло обострить наши отношения. И чувствовалось, между прочим, что мало кто бывает в этом большом, чистом — ни пылинки — доме. Все было устроено раз и навсегда: стулья, кресла, ковры, книги, письменный стол, на котором те бумаги, которым полагалось лежать направо,— лежали направо, а те, которым полагалось лежать валево,— лежали налево. Высокая, седая, интеллигентная дама с приятным лицом вошла, когда мы пили чай, и поздоровалась со мной, тоже вежливо, слегка натянуто и радушно. Она хозяйничала в доме после кончины Доры Сергеевны. Мы были знакомы. Поговорили о погоде, о семейных делах — и я уже собирался уходить, когда Федин заговорил о процессе Синявского — Даниэля.

Почему он вдруг коснулся обжигающей темы? Потому что ова, как подернутый пеплом уголь, тускло светилась в глубине нашего разговора. Не было интеллигентного дома в Москве, где разговор, вольно или невольно, не касался бы этого нападения на смелую (и в ту пору еще беспримерную) попытку отстоять свободу в искусстве. Но дом Федина в данном случае легко мог оказаться исключением, если бы не одно исключительное обстоятельство, о котором ему захотелось рассказать мне. И опять-таки почему захотелось? Не знаю. Может быть, потому, что его томило желание высказаться с полной определенностью — чтобы у меня не осталось ни малейших сомнений в том, как он относится к предстоящему процессу. Исключительным обстоятельством было то, что к нему на днях приезжал Брежнев — разумеется, не один. Зачем?

Я спросил:

— Посоветоваться?

Он интересовался мнением Федина и был заинтересован — так я понял — в его одобрении. Более того: считая его самым выдающимся представителем советской интеллигенции, он как бы испрашивал его благословения. Без сомнения, это был, так сказать, «фарс альянса», который любят время от времени разыгрывать основатели «социалистической демократии». И без одобрения и без благословения К. А. Федина процесс был предрешен. Но вот поехал и посоветовался. И как ни скрывал это Константин Александрович, он был глубоко польщен. Подумать только — ведь само «надо» воочию явилось в его дом, воплотившись в высших представителей этого загадочного фантома!

— И что же ты им сказал?

— Разумеется, одобрил,— твердо сказал Федин.

Я замолчал. Было бы бессмысленно, да и бесполезно убеждать его, и я окончательно убедился в этом, когда, не дождавшись ответа, он вдруг резко, с вызовом спросил:

— А тебе больше нравятся сталинские тройки?

Брежнев знал, к кому он едет. К «Патриарху советской литературы», которому «не положено» было думать иначе, чем он.

«Мы потеряли Федина»,— грустно сказал мне Казакевич, когда мы вместе возвращались после собрания в «Театре киноактера».

Пропущенное дополнение

1

Роман Ажаева «Далеко от Москвы» написан бывшим зэком. Заключенные в этом романе изображены как энтузиасты социалистического строительства, каторга превращена в передовую стройку.

Книга, отредактированная Симоновым, имела успех, получила сталинскую премию, автор прославился, долго действовал в литературном кругу как член секретариата, писать *не мог* и был забыт, как десятки других. Заболоцкий рассказывал мне, что Ажаев на каторге был одним из «маленьких начальников» и держался «средне» — не зверствовал, но и не потакал заключенным, среди которых в его бригаде был и Николай Алексеевич. Пришло время, когда и сам Заболоцкий написал произведение о доблести труда, не упомянув ни словом о том, что это был рабский, подневольный труд. Не думаю, что ему легко далось стихотворение «Творцы дорог».

Когда решено было исключить Зощенко из Союза писателей, друзья Николая Алексеевича (и я в том числе) уговорили его пойти на общее собрание, которое должно было подтвердить это решение. Вопрос — идти или нет — касался и меня. Но я мог «храбро спрятаться» (как писал Шварц в «Красной шапочке»), а Заболоцкий не мог. Он только что был возвращен в Союз писателей, его не прописывали в Москве, он жил, скитаясь по квартирам и дачам у Андроникова, у Степанова, у Ильенкова, у меня. На даче Ильенкова он вскопал землю, посадил и вырастил картошку — заметное пособие в его нищенской жизни. Итак, мы уговорили его пойти на собрание; это, разумеется, значило, что он должен был проголосовать за исключение Зощенко. Мрачноватый, но спокойный, приодевшийся, чисто выбритый, он ушел, а мы — Катя Заболоцкая, Степанов и я — проводив его, остались (это было в Переделкине, на наемной даче) — остались и долго разговаривали о том, как важно, что нам удалось его уломать. Не пойти, не проголосовать — это было более, чем рискованно, опасно... В наши дни подобный разговор выглядел бы странным. В самом деле: жена Заболоцкого и его друзья были довольны, что уговорили Николая Алексеевича поступить против его совести, иными словами, совершить подлость. Однако, рано мы радовались. Прошло часа два, когда я увидел вдалеке, на дорожке, которая вела от станции, знакомую фигуру в черных брюках и белой просторной куртке. Слегка пошатываясь, Николай Алексеевич брел домой. Все ахнули, переглянулись. Екатерина Васильевна всплеснула руками. Улыбаясь слабо, но с хитрецой, Заболоцкий приближался, и чем медленнее он подходил, тем яснее становилось, что он в Москву не поехал. Войдя, он сел на стул и удовлетворенно вздохнул. Все два часа он провел на станции, в шалманчике, основательно выпил, разговорился с местными рабочими и, по его словам, провел время интересно и с пользой. Несколько дней мы тревожились, не отразится ли на его судьбе подобный, неслыханно смелый поступок. К счастью, сошло. Поступок не отразился.

...Нет, нельзя поставить рядом «Далеко от Москвы» и «Творцы дорог». Не только потому, что бездарный роман давно забыт, а блистательное стихотворение Заболоцкого навсегда останется в русской литературе. На первый взгляд сопоставление кажется странным. На деле оно касается значительного явления, без понимания которого нельзя понять нашу литературную историю. В романе Ажаева нет *преображения* труда, он просто переименован в свободный. Это — предательство, подчеркивающее кровавый цинизм сталинского террора, это — еще одна из форм лжи, в которой мы давно увязли. В стихотворении же Заболоцкого труд поднят на необозримую высоту, исключающую подневольность. Мысль о том, что это — рабский труд, даже не возникает в сознании. Этот труд-творчество, без которого человечество перестало бы развиваться. Преображение темы, навязанной необходимостью и рождение искусства вопреки «социальному заказу» — когда-нибудь пристальный взгляд историка отметит и эту жизненно важную черту нашей литературной жизни.

Фадеев

1

Отношения между Фадеевым и мною были приоткрыты в статье «За рабочим столом», которая шесть лет пролежала в редакции «Нового мира». Первоначально она называлась «Белые пятна» — литературная история советского периода была представлена в ней как бы в виде географической карты, на которой бросаются в глаза многочисленные белые пятна. Вот как эта статья начиналась в первой редакции (не предназначавшейся для печати): «Новая русская литература — молода. Последние годы она существует в обстановке сопротивления. Необычайная сложность этого сопротивления, далеко обогнавшая маскировочное искусство Салтыкова-Щедрина, когда-нибудь будет тщательно изучена историками литературы. Девятнадцатый век оставил нам богатый опыт в этом отношении. Однако он несоизмерим с нашими отчаянными попытками сохранить самостоятельный взгляд и самобытность в искусстве. Однако, как ни странно, подчас попытки достигают цели. Этому способствовала, мне кажется, с одной стороны, неопределенность самой идеи управления литературой, а с другой — неясность в умах руководителей, не догадавшихся, как это сделал Наполеон, сразу „закрыть" литературу».

Статья «Белые пятна» была направлена против известного Постановления ЦК о литературе от 1946 года «О журналах „Звезда" и „Ленинград"», постановления, глубоко и болезненно исказившего нашу литературную жизнь. Как известно, в этом постановлении (не отмененном и до сих пор) [1] были подвергнуты публичному поношению первоклассные писатели Ахматова и Зощенко, а виновником всех бедствий, постигших советскую литературу, объявлялось существовавшее в начале двадцатых годов маленькое литературное общество «Серапионовы братья».

После XX съезда была полоса, правда, очень короткая, когда это постановление открыто высмеивалось на собраниях писателей. Я помню остроумную речь Ольги Берггольц, в которой она убедительно доказала, что Жданов, умевший играть «чижика» на рояле, едва ли способен судить о том, в каком направлении должно развиваться творчество Шостаковича. На большом собрании преподавателей литературы в Московском университете К. Симонов решительно осудил постановление ЦК как давно устаревшее, невежественное и, бесспорно, мешающее развитию литературы. На том же собрании я прочел (в отрывках) статью «Белые пятна». Мне было ясно, что нельзя было рассчитывать на ее появление, так как я впрямую указал, что она направлена против постановления ЦК. Поэтому я изложил это постановление, не упоминая имени Жданова, воспользовавшись пересказом Большой Советской Энциклопедии. Статья была принята редакцией «Нового мира», хотя тщательный А. Дементьев справедливо указал мне, что я защищаю «Серапионовых братьев» от Серапионовых же братьев, поскольку почти все они в статьях и речах давным-давно, в разное время отреклись от себя. Это не меняло существа дела. Ведь постановление ЦК и его истолкователь А. Жданов пытались унизить и оскорбить молодость не только будущих членов секретариата Союза писателей и депутатов Верховного Совета!

В течение последующих шести лет, от 1957-го до 1963-го, моя статья набиралась пять раз. Ее варианты могли бы составить обширный том — и мне довелось увидеть этот том своими глазами. Об этом — ниже. Ни редакция, ни я не могли отказаться от новых и новых попыток напечатать статью, потому что в лице М. Зощенко нашей литературе было нанесено неслыханное оскорбление. Потому что, несмотря на все усилия друзей и деятельное участие А. Фадеева, трагическое положение Зощенко почти не изменилось в течение одиннадцати лет. Потому что ложь о «Серапионовых братьях» как бы поддерживала атмосферу лжи и фальсификации в литературе. Я расскажу только о последнем периоде борьбы за эту статью. Под новым, совершенно не подходящим к ней названием «За рабочим столом», набранная и сверстанная в шестой раз, она пролежала с полгода у Д. А. Поликарпова, самовластно распоряжавшегося тогда нашей литературой. Я написал ему и не получил ответа. Однажды мне довелось быть в ЦК — я хлопотал тогда о книге Н. Заболоцкого, которую не решался выпустить в свет пугливый руководитель серии «Библиотека поэта» В. Орлов. В коридоре я встретил Д. А. Поликарпова, который остановил меня и сказал хмуро, как всегда: «Надо поговорить. Позвоните». Через несколько дней условились о встрече.

...Впервые я увидел Поликарпова, кажется, в 1949 году, когда он был оргсекретарем Союза писателей. О нем говорили, что он «лично честен» — и он действительно производил впечатление человека, не извлекающего никаких выгод из своего высокого положения. Это напоминает известную басню Крылова:

...хоти дерут,
Но в рот хмельного не берут.

Эта «личная честность» соединилась с упрямым, несгибаемым догматизмом.

Разговор в ЦК начался для меня более чем лестно. Поликарпов пригласил меня сесть в кресло по ту сторону громадного письменного стола. Перед ним лежала толстая папка, на которой красным карандашом наискосок была написана моя фамилия. Мне подумалось, что это — досье. Но нет: из разговора выяснилось, что неисчерпаемое содержание папки касалось только моей статьи «Белые пятна».

...Сразу стало ясно, что Поликарпов решительно возражает против страниц, на которых была кратко изложена история Зощенко. Он не ссылался ни на отдельные критические статьи, ни на безграмотную, давно устаревшую речь А. Жданова. Он только сказал, что Зощенко недостойно вел себя в годы войны, пытаясь напечатать в журнале «Октябрь» (которым руководила тогда М. М. Юнович) мещанскую разоружающую книгу «Перед восходом солнца». Я возразил, что печатание было прервано на середине, и что это не мещанская, а антифашистская книга.

— Вторая, неопубликованная часть находится в рукописи у вдовы М. Зощенко. Вы ее читали?

Дмитрий Алексеевич ответил, что он ее не читал, но это не меняет дела. Я предложил немедленно запросить рукопись из Ленинграда. Он промолчал. Из других возражений мне запомнилось его замечание о Фадееве. В статье я привел фразу из письма

[1] Постановление отменено в 1988 году *(ред.)*.

Фадеева к Алигер: «Сижу в Переделкине и переделываю Молодую гвардию на старую».

— Представьте себе, как был бы огорчен Фадеев!

Я согласился. Фадеев действительно был бы огорчен, тем более, что «переделывая Молодую гвардию на старую», он выполнял бессмысленный приказ Сталина. Ведь суть романа как раз и заключалась в том, что молодогвардейцы организовали сопротивление по собственному почину, без «старой гвардии».

Разговор продолжался, о Зощенко мы больше не упоминали, и у меня создалось впечатление, что Поликарпов не возражает против опубликования статьи. С этой надеждой, которая была поддержана еще и дружеским или, по меньшей мере, очень вежливым прощаньем, я ушел из ЦК.

Днем я позвонил в «Новый мир». Увы! Поликарпов разрешил печатание статьи, но без тех страниц, где рассказывалось о трагической судьбе Зощенко.

— Завтра, в девять часов утра,— сказал мне Кондратович,— он будет звонить вам по телефону.

Я не сомневался ни минуты, что это пустая оговорка, к которой не привыкать в нашей литературной жизни. Но ошибся: в восемь пятьдесят утра секретарь предупредил меня, что ровно в девять мне будет звонить Дмитрий Алексеевич.

Это были хорошо запомнившиеся мне минуты. Я чувствовал себя обманутым вчерашней несбывшейся надеждой. Зощенко годами беспомощно отбивался от призрака незаслуженного бесчестия, влачившегося за ним по пятам. Притворное сожаление одних, ледяное равнодушие других. Поджатые губы при одном упоминании его имени. За что?

Я устал от напрасных, в течение шести лет, попыток убедить литературных сановников в том, что невиновный — невиновен, от притворного сожаления бывших друзей, от надвигавшейся на талантливейшего писателя безвестности, от фатальной незаслуженности всего, что с ним произошло и происходило.

Все это — и многое другое соединилось в душе за десять минут ожидания, но соединилось не беспорядочно, а стройно, связно, как это всегда бывало со мной в минуты неосознанного, но глубокого напряжения. И все это я, не торопясь, со всей откровенностью выложил Поликарпову. Он выслушал внимательно, не перебивая, потом стал отвечать.

Цель его была ясна: он не возражал, чтобы моя статья, в которой были главы, посвященные Вс. Иванову, Фадееву, Заболоцкому появилась. Но Зощенко...

— О нем вы напишете отдельно, через месяц-другой.

Я не согласился, и он, к моему удивлению, стал уговаривать меня, что было нимало на него не похоже. Он сказал, что сожалеет — трудно было поверить ушам — о моем упрямстве. Он процитировал несколько строк, которые ни при каких обстоятельствах не могли появиться в печати. Я ответил, что Зощенко давно убит, давно забыт, но что история русской литературы продолжает существовать, и что самый факт нашего разговора принадлежит этой истории.

— Я запишу наш разговор, и мне нетрудно будет доказать, что последняя возможность спасти Зощенко была в ваших руках, но вы отказались и убили его вторично.

Хотя я сказал ему, что беру верстку статьи из журнала, новомирцы посоветовали мне подождать — и не ошиблись. Статья под названием «За рабочим столом» была опубликована в девятом номере 1965 года. Страницы, посвященные Зощенко, остались в ней, хотя и с купюрами. Полные варианты сохранились, но они, конечно, потеряли значение после того, что я рассказал о судьбе Михаила Михайловича. Впрочем, кто-то из новомирцев, кажется, Лакшин, сказал мне, что статью удалось опубликовать только потому, что Поликарпов лежал в больнице. Вера Владимировна Зощенко прислала по моей просьбе вторую часть книги «Перед восходом солнца», я передал ее в ЦК с письмом на имя Дмитрия Алексеевича. Это было задолго до его болезни. Прочел ли он ее? Не знаю.

2

Но вернемся к Фадееву. В статье «За рабочим столом» я привел мой последний разговор с ним. Он неожиданно предложил встретиться и поговорить, хотя мы никогда не были в близких отношениях. Вот уже много лет, как статья «За рабочим столом» не перепечатывается по цензурным причинам. Три нижеследующие страницы из нее заслуживают, мне кажется, внимания. Вот они.

«Это было весной 1955 года, когда он неожиданно позвонил мне по телефону и стал расспрашивать о моих делах и здоровье. Потом вдруг предложил пройтись. Это удивило меня. Мы были знакомы, но виделись редко. Он ждал меня на дороге, неподалеку от его дома. Разговор начался, кажется, с вопроса о продлении прав наследства Михаила Булгакова, пьесы которого после многолетнего перерыва вновь стали появляться на сцене. Фадеев очень хлопотал об этом деле и огорчался, что, несмотря, на все его просьбы и настояния, не удавалось довести его до благополучного конца. (К сожалению, этот вопрос так до сих пор и не решен.)

Он выглядел превосходно, и когда я ему сказал об этом, засмеялся и ответил, что его ничто не берет.

— Вот только бессонница мучает,— сказал он.— Хотя мне кажется, что я научился с нею бороться.

И он рассказал о том, как, измученный бессонницей, скатывал в один ком множество снотворных, проглатывал их, забывался коротким, беспокойным сном и через два часа просыпался с туманом в голове и с опустошенным сердцем.

— В конце концов мне удалось переломить себя, хотя это было чертовски трудно. Однажды я выбросил все снотворные и решил: сон или смерть. Конечно, в конце концов пришел сон. Правда, на третьи сутки. А ведь какое это счастье — проспать подряд четыре часа! Ты ведь сам страдаешь бессонницей, ты меня понимаешь.

Разговор был легкий, даже веселый. И так же легко Фадеев коснулся того, о чем мне не хотелось, да я и не мог бы заговорить.

— Я ведь только что из Кремлевки,— сказал он.— На этот раз продержали четыре месяца. И, в общем, это было даже хорошо, потому что я много работал.— И он засмеялся высоким смехом, который был какой-то разный у него: то искренний и мальчишески-простой, то прикрывающий затаенную неловкость.

По началу нашего разговора он действительно показался мне выздоровевшим без притворства, без того стремления, которое иногда овладевало им: показать всем, что он здоров, и что вообще все благополучно.

Потом, как бы мельком, он спросил, читал ли я главы из романа «Черная металлургия», напечатанные в «Огоньке». Я ответил, что да, читал, и что, судя по тщательности психологических зарисовок, которые следуют одна за другой, можно представить себе, что это должно быть многотомное произведение.

И вдруг я почувствовал, что за кажущимся спокойствием, с которым он говорил о своем романе, скользнуло что-то совсем другое.

— Ты знаешь, а ведь я решил оставить эту книгу,— так спокойно, как будто это решение ничего не значило для него, сказал он.— Не то что решил, а вышло так, понимаешь, что я не могу продолжать ее.

— Как не можешь? Ведь ты уже много сделал!

— Да нет, не так уж и много.

— Но ведь ты же был так увлечен, так энергично собирал материал, ездил в Магнитогорск и, кажется, не раз?

— Да, ездил и собирал. А вот теперь, видишь, дело повернулось так, что я никак не могу кончить.

Он говорил уверенным голосом, в котором по-прежнему скользило стремление подчеркнуть, что ничего особенного не произошло и все превосходно.

— Но что же случилось? Откуда вдруг такое решение?

И я стал доказывать ему, что было бы преступлением отказаться от этого романа, который уже почти написан в уме, и материал для которого был изучен тщательно и с любовью.

— Да нет, понимаешь, там произошла такая история... Ведь этот материал — я говорю сейчас не о тех молодых героях, о которых ты читал в «Огоньке»,— он оказался ложным, совсем другим, чем я его понимал. В основе моего романа должен был лежать вопрос о прогрессе в промышленности, то есть о движущих силах этого прогресса. Но во главе движения я, понимаешь ли, поставил не тех людей, которым действительно были дороги интересы нашей промышленности, а стало быть, и народа.

— Ничего не понимаю!

— Ну да, это довольно сложно. Коротко говоря, я воспользовался материалами одного вредительского процесса, а теперь оказалось, что люди, которые были обвинены по этому процессу, потому что они якобы мешали нашему движению вперед, именно они-то оказались правы. А те, кто обвинял их и кто добился их уничтожения, оказались людьми, лишенными чести, любви к родине и вообще каких-бы то ни было других чувств, кроме любви к себе.— Он замолчал, и хотя это было сказано бодрым голосом уверенного человека, убеждающего себя и других, что все обстоит благополучно,— в нем прозвучало отчаяние.

— Постой, но ведь именно теперь-то тебе и нужно по-настоящему приняться за дело!

И я стал доказывать, что все это должно было не оттолкнуть его от романа, а как раз наоборот. Он был введен в заблуждение, как тысячи других, и его долг — сказать всему миру о том, как он был беспощадно обманут. Он должен провести черту под тем, что уже написал, и продолжить роман, в котором все станет на свое место, потому что пришло наконец время, когда все действительно становится на свое место. Тогда в книгу ворвется исповедь. Рядом с ненаписанным, ложным романом возникнет другой, в котором не будет неправды.

Он почти не слушал меня.

— Да, приблизительно то же советовал мне Федин,— нехотя сказал он.— И Твардовский. Я говорил с ними об этом. Нет, ничего не выйдет! Мне всегда было очень трудно писать о подлецах, а сейчас особенно трудно...

Мы заговорили о другом, но я все же не мог успокоиться. Мне всю жизнь было жаль напрасной работы, может быть, потому, что работа мне всегда давалась с трудом, и я не мог примириться с мыслью, что начатый роман, в который само время вмешалось, направив мысль по единственно правильному пути, будет медленно остывать где-то среди других начатых и брошенных рукописей.

— Может быть, ты все-таки попробовал бы пойти вслед за своими героями? — сказал я.— Мне кажется, что они сами приведут тебя куда нужно.

И я стал убеждать его, что если он поработает еще хоть немного, книга сама начнет писать себя, складываться почти независимо от его воли.

— Только не бросай ее! Ты знаешь — книги, как женщины. Они не любят, когда их бросают.

Он снова засмеялся, на этот раз невесело. Не знаю, о чем он подумал — о женщинах или книгах.

— Нет, понимаешь, у меня это все-таки не выйдет. Ведь я всегда стараюсь выразить только одну мысль, но уж зато до конца. Так я писал «Разгром», и «Последний из удэге», и «Молодую гвардию». И в этом новом романе тоже была одна мысль, которая казалась мне очень важной для всех. Она вела вперед книгу. Так что — нет! Уж если писать эту вещь, так с самого начала.

Мы долго ходили по темным дорогам, вдоль которых еще лежал по обочинам снег. Кто-то из писателей встретился нам на спуске, недалеко от кладбища, и Фадеев снова высоко захохотал и широко протянул ему руку, мгновенно превратившись в бодрого, прямого, знаменитого человека, уверенного в том, что для всех важно и всех касается его существование.

Потом я проводил его, и мы расстались. Но я еще побродил немного. Я думал о ненаписанной книге. Это был бы роман о тысячах обманутых надежд, о трагедии веры в человека, о мужестве тех, кто все-таки шел вперед. О молодежи, которая должна была переоценить многое, но которая помнит, что именно ей предстоит вести вперед время.

Потом я стал думать об этом человеке, одаренном необычайной силой, сказывавшейся во всем и, может быть, более всего в борьбе, которую он вел против самого себя. Картина его души представилась мне — и чего только в ней не было, чем только она не поражала! Тут было и чувство, что он настигнут бедой, от которой нет спасения, с которой он сам не в силах справиться, и спокойствие смертельно раненого. Здесь была власть над собой, уходящая из рук, и стремление во что бы то ни стало показать, что она вовсе не уходит из рук. Здесь было почти детское желание убедить, что он, в сущности, был создан для светлой жизни простого и справедливого человека. Здесь было жалкое стремление показать, что, в сущности, все в порядке, в то время как решительно все — он знал, что я это чувствую,— было в полном расстройстве и беспорядке. И печаль очень усталого человека, и то, о чем он мучительно думал и о чем, конечно, не мог и не хотел говорить со мною». («Новый мир», 1965, № 9, стр. 161—163).

Самоубийство — всегда тайна, и все попытки разгадать ее неизбежно обречены на неудачу. На подобную попытку решился, однако, Пастернак в автобиографическом очерке «Люди и положения» («Новый мир», 1967, № 1). Выше я уже писал об этом.

«Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая,— как знать, может быть, это еще не конец и, неровен час, бабушка еще надвое гадала... Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал (...) и ночью глядел на спящую дочь и воображал, что больше не достоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам, и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев, с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: „Ну вот, все кончено. Прощай, Саша"» (стр. 227—228).

Эта последняя догадка кажется мне не только ложной, но, что странно для Пастернака, плоской. У Фадеева было много причин для самоубийства, и разговор с самим собой продолжался долго, быть может, несколько лет прежде, чем он так трагически оборвался. Он был вознесен на неслыханную административную высоту и занимал в литературе положение, близкое к тому, которое Сталин занимал в стране. Отличаясь таким образом от других писателей, он, в результате полной зависимости от Сталина, решительно ничем от них не отличался. Неестественную идею управления литературой он воплощал с ловкостью и изяществом, которыми восхищался даже требовательный Эренбург. Именно Эренбург рассказал мне однажды, как во время совместной поездки в Италию, Фадеев, спохватившись, что он почти ничего не знает об итальянской литературе, сумел в течение двухчасового полета приготовить речь, в которой показал себя эрудитом, и таким образом блестяще справился с более чем трудной задачей.

Как известно, в годы сталинского террора цвет нашей литературы — писатели, без которых ее и вообразить невозможно, были арестованы и расстреляны. Для ареста требовалась санкция руководителя организации. Санкционировал ли Фадеев эти аресты? И если — да, могло ли это обстоятельство заставить его оценить нравственную целесообразность своего существования. Он совершенно искренно любил литературу, его запои начинались с чтения любимого стихотворения Пастернака. Он хотел участвовать в литературе как писатель, а не палач, а между тем его положение постепенно убивало в нем возможность писать, не оставляя для творчества ни малейшего места. Это странно, но он неизменно приезжал проститься с умирающими писателями: заглянул к Булгакову, когда тот был уже совершенно безнадежен. Приехал к Тынянову в Кремлевку недели за две-три до его смерти, хотя был с ним в далеких отношениях. Навестил умиравшего Платонова. Что это было? Долг руководителя организации, в которой работали вверенные его попечению деятели культуры? Или чувство, которое влечет преступника к месту его преступления? Кто знает? Однако нельзя не отметить, что по отношению к Платонову он должен был испытывать особенно острое чувство вины. Именно по его вине жизнь Платонова была уродливо и безжалостно искажена. В повести «Впрок» в «Красной нови» (1931) Фадеев, редактор журнала, подчеркнул те места, которые необходимо было, как он полагал, выкинуть по политическим причинам. Верстку он почему-то не просмотрел и подчеркнутые им строки в типографии набрали жирным шрифтом. В таком-то виде номер журнала попал на глаза Сталину, который оценил повесть Платонова одним словом: «Сволочь». Двойная жизнь Платонова, мученическая и тем не менее обогатившая нашу литературу, началась в эту минуту. Забыл ли о своей непростительной беспечности Фадеев? Не думаю, хотя в его жизни, состоявшей из компромиссов и сделок с совестью, которые оправдывались понятием «партийного долга», беспечность, погубившая Платонова, едва заметна, почти неразличима.

Мстит ли за себя литература, которую превращают в орудие политического насилия? Да. Трудно представить себе произведение более бездарное, чем пьеса Корнейчука «Фронт», написанная по заказу Сталина и представляющая собой «образец страстного партийного вмешательства искусства в жизнь» (БСЭ). Роман Фадеева «Черная металлургия» был (по слухам) заказан Берией — мог ли Фадеев продолжать его после расстрела Берии, когда политическая обстановка резко изменилась? Фадеев застрелился потому, что он принадлежал к другому времени и понимал, что ему не по силам тот решительный душевный поворот, который наивно предложили ему Твардовский и я.

В ночь перед смертью он долго говорил с Юрием Либединским, который, кстати сказать, не раз жаловался мне на пренебрежительное отношение к нему его старого, еще рапповского единомышленника и друга. Думаю, что Фадееву надо было выговориться, и что содержание разговора не изменилось бы, если бы на месте Либединского был кто-нибудь другой. Вот о чем, по словам Либединского, был разговор: Александр Александрович жаловался, что к его мнениям перестали прислушиваться в ЦК, что на его письма он не получает ответа. Он доказывал, что в литературной политике должен произойти перелом, что надо заново оценить то, что сделано старшим поколением, выдвинувшимся на Первом съезде, что мост между двадцатыми и пятидесятыми годами должен быть восстановлен. Он доказывал, что от генерального пересмотра истории советской литературы с этой позиции (все значение которой он пытался доказать ЦК) зависит будущее нашей литературы. Либединский и его жена Лидия Борисовна (дополнившая этот рассказ) ушли потрясенные.

Ночью Фадеев застрелился.

Впоследствии история его самоубийства обросла множеством подробностей, в которых, без сомнения, разберутся историки. Но две детали — впрочем, далеко не равнозначные — могут остаться вне поля их изысканий. Когда взволнованный Вс. Иванов прибежал к Федину, разбудил его, и они вдвоем отправились на дачу Фадеева (все три дачи находились в двух шагах друг от друга), Федин вдруг остановился и, хлопнув себя по лбу, вернулся домой: он забыл трубку. Деталь характерная. Впрочем, может быть, он волновался, и ему хотелось закурить?

Другая подробность заслуживает бóльшего внимания: и Федин, и Иванов видели на ночном столике Фадеева — он лежал на постели голый, закинув руки, с простреленным сердцем — толстое письмо, адресованное в ЦК. Когда явились представители НКВД, письмо исчезло. Сохранилось ли оно в неведомых для нас архивах? Узнают ли когда-нибудь наши потомки, о чем думал, что завещал, о чем сожалел, в чем убеждал новых руководителей страны этот человек, вся жизнь которого была подчинена сознательному, намеренному ограничению?

Солженицын

1

Вопреки попыткам реабилитации Сталина (попыткам, которые, в конечном счете, привели к запрещению даже мимолетных упоминаний о терроре) — новая, послевоенная литература продолжалась и развивалась. Я уже писал о том, что, с моей точки зрения, в ее основе была вызванная войной солидарность, на основе которой возникли искренние, правдивые произведения. Теперь, после смерти Сталина и полосы массовой реабилитации, появилась еще новая возможность — литература должна была рассказать о двадцатилетии террора, о самом глубоком народном бедствии за всю тысячелетнюю историю России. Рукописи, принадлежавшие безвинно осужденным, чудом оставшимся в живых, несломленным «зэкам», посыпались в редакции журналов и газет. Далеко не все (а может быть, лишь немногие из них) были опубликованы. Девяносто девять сотых остались в неизвестности и находятся в распоряжении второго и третьего (после Сталина) поколения. История террора рассказана в книгах Р. А. Медведева («Сталин»), Р. Конквеста («The Great Terror»), Солженицына («Архипелаг ГУЛаг») и (как утверждает тот же Солженицын) в тридцати других книгах, появившихся за границей до «Архипелага ГУЛаг». Неопубликованные рукописи, без всякого сомнения, могли бы добавить многое к тому, что мы уже знаем. Неоценимая заслуга Хрущева заключалась в том, что он допустил и даже поддержал «необратимое раскрепощение» сознания, сказавшееся в истории нашей литературы с удивительной силой. Удивительной, потому что после тяжелых ударов, нанесенных в годы борьбы с космополитизмом, она вновь показала жизнестойкость и способность изобразить духовную жизнь общества, так долго подвергавшегося насилию.

В шестидесятых годах оживление сказалось прежде всего в том, что появились новые писатели. Ю. Казаков выступил с рассказами, доказавшими, что классическая традиция, как была, так и осталась явлением, сопровождавшим все другие. В его лучших произведениях стилевая манера призвана, чтобы выразить исконные для русской литературы темы. В. Конецкий, моряк и писатель, опубликовал книги, в которых пытается нащупать новый в нашей литературе жанр романа-эссе. Появился В. Аксенов, о котором можно было бы сказать, что судьба ему вручила «билет дальнего следования» (как писал в двадцатых годах обо мне Е. Замятин). От первых реалистических, вызвавших горячие споры, романов и рассказов он в семидесятых годах перешел к своеобразной полуфантастической-полусатирической прозе, которая была мало сказать далека — вызывающе, принципиально далека от официальной литературы. Читая «Стальную птицу», например, начинаешь понимать, что ошеломляющая новизна «Мастера и Маргариты» уже не одинока в нашей литературе. В. Тендряков, который одновременно с В. Овечкиным и Г. Троепольским появился еще в пятидесятых годах, развернулся в шестидесятых и опубликовал правдивую и смелую повесть «Кончина».

Я не пишу историю литературы и называю лишь немногие имена; уже и они говорят об оживлении, характерном для поэзии, критики, литературоведения.

Журнал «Новый мир» под руководством А.Твардовского определился в шестидесятых годах как *направление* — не в том смысле, который мы некогда придавали этому термину, а совсем в другом — как институт общественно-литературный, как совокупность нравственных норм. В этом смысле он стал как бы орудием отбора лучших произведений. Понятие порядочности, названное или неназванное, было неотъемлемо связано с этими нормами — завоевание, которое трудно переоценить.

Одновременно шел другой, очень важный процесс — восстановление первоклассных писателей прошлого, без которых в наше время невозможно вообразить советскую литературу. Вновь были опубликованы «замолчанные» М. Булгаков, Ю. Тынянов, И. Бабель, А. Платонов, Н. Заболоцкий, А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак. Все это происходило в условиях более чем сложных. Во главе «Литературной газеты» стоял сталинист В. Кочетов, вторая часть романа В. Гроссмана, над которым он работал одиннадцать лет, была изъята и, может быть, уничтожена[1], постепенно складывалась (и сложилась в семидесятых годах) группа православно-антисемитских писателей, доходившая до оппозиционности «справа». Это перечисление — малая доля сложностей, которые сопровождали неуклонное развитие литературы — нельзя, например, забывать о сильном влиянии на нее набиравшего силу Самиздата. Такова была в общих чертах общественно-политическая атмосфера, на фоне которой появился Солженицын.

2

К сожалению, в моей памяти сместились те встречи писателей с правительством, которые входили с точки зрения Хрущева в его систему управления государством. Вот о ком нельзя было бы сказать, что он

[1] Роман «Жизнь и судьба» в настоящее время опубликован (*ред.*).

...управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

Об одной из этих встреч я рассказал на предыдущих страницах. Другая состоялась в Доме приемов, когда Никита Сергеевич по подсказке Ильичева громил левов искусство — я говорю «по подсказке», потому что время от времени он запутывался и оглядывался на Ильичева, явно пересказывая речь, подготовленную помощником по идеологической части.

Главным объектом нападения был И. Эренбург. Книгу «Люди, годы, жизнь» Хрущев оценил как «взгляд из парижского чердака на историю советского государства». Эренбург пытался возражать, крикнул что-то своим несильным голосом, но был тотчас же оборван и замолчал. Оскорбления сыпались одно за другим. Сидевший рядом со мной руководитель МХАТа Кедров сказал с негодованием: «Это безобразие подстроено». В перерыве я посоветовал Илье Григорьевичу уйти — вокруг него мгновенно образовалась пустота, и он, расстроенный, сидя за стаканом чая в буфете, не мог не видеть этой оскорбительной перемены.

— Вот это — заведующий иностранным отделом ЦК,— сказал он, указывая на метнувшегося от него в сторону молодого человека,— вчера он угодливо записывал мои замечания.

Когда заседание возобновилось, Эренбург все-таки ушел,— и хорошо сделал. Не он один пытался возражать Никите Сергеевичу. Е. Евтушенко, например, смело заступился за скульптора Эрнста Неизвестного. Когда Хрущев прервал его, крикнув: «Горбатого могила исправит», он ответил, что мы должны думать не о могилах и смерти, а о работе и жизни — или что-то в этом духе.

Еще смелее режиссер М. Ромм напомнил Хрущеву, что хотя они — члены одной партии, однако между ними — пропасть, через которую надо кричать, чтобы тебя услышали,— это заставило Хрущева засуетиться, заторопиться и даже сказать что-то вроде того, что он вовсе не хочет «давить» на чужое мнение.

Смертельно бледный А. Вознесенский начал свою речь словами: «Я — ученик Пастернака», и даже Р. Рождественский пролепетал что-то невнятно-возражающее — в наши дни этому трудно поверить. Он был так подавлен и устрашен, что Хрущев в заключительном слове даже подбодрил его, впрочем, тоже невнятно. Словом, с правительством еще можно было разговаривать и даже как бы спорить. Кажется, именно на этом совещании Хрущев показывал работы художников и скульпторов и среди них, между прочим, превосходный натюрморт Егоршиной, который я впоследствии купил у нее и подарил старшему брату. На деятелях искусства ставили кресты, но это были временные, картонные кресты. Так, Эренбург, который был потрясен, надолго замолчал — уговоры друзей и родных не производили на него никакого впечатления,— но в конце концов был принят Хрущевым и восстановил свое пошатнувшееся положение.

На одной из таких встреч я впервые увидел А. Солженицына. Это было задолго до Четвертого съезда, когда его позиция определилась. Он был в те годы автором повести «Один день Ивана Денисовича», изданной «Роман-газетой» миллионным тиражом и представленной на Ленинскую премию. Он опубликовал или готовился опубликовать рассказы «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» — каждый из них был событием, доказавшим, что положен конец непониманию и незнанию того, ка́к дорого обошелся стране «большой террор», и какой наивностью было бы надеяться, что мы оправимся от него в течение десятилетий.

Мы не познакомились в тот вечер, не было повода, а без повода Александр Исаевич знакомиться, может быть, и не стал бы. Я только смотрел на него издалека, но и издалека было видно, что он держится несколько в стороне, не принимая участия в происходящем, однако не равнодушно, а, напротив, с интересом, вглядываясь, оценивая, размышляя. Он был высок, держался прямо, спокойно опустив широкие плечи и вообще как бы оставив в полном покое покорное ему, крупное тело. Манера держаться была военная, более того, офицерская. Все это осталось и впоследствии, когда он заметно потолстел.

Познакомились же мы года через три-четыре на обсуждении первой части романа «Раковый корпус», когда его имя уже гремело и когда перепуганное руководство Союза писателей с намерением отвело для этого обсуждения малый зал Дома литераторов, в то время как и в большом негде было бы яблоку упасть, если бы собрание состоялось там.

3

Еще далеко было до открытого письма Четвертому съезду, но и в опубликованных и с жадностью читавшихся «самиздатских» произведениях Солженицына уже была давно забытая с начала двадцатых годов смелость, презрение к опасности и, следовательно, призыв к самоутверждению. Он доказал, что можно и должно писать, не думая ни о внутреннем редакторе, ни о внешнем. Именно в этом отношении опыт Солженицы-

на, или, точнее, его пример, оказался важным и многообещающим для всего дальнейшего развития нашей литературы.

Один способный, широко образованный литератор рассказывал мне, что в письме к Александру Исаевичу он спросил — как ему удается работать, не думая о будущей судьбе рукописи. И тот ответил: «А вы попробуйте!» Попробовали многие, и сейчас, через пятнадцать-двадцать лет, можно назвать немало писателей, рискнувших освободиться от «внутреннего редактора». Это относится не только к авторам, которые печатаются за границей. Оттенок известной «раскованности» заметен и в произведениях, публикующихся и широко обсуждающихся на родине — достаточно указать на пьесы талантливого Вампилова. Но об этом еще пойдет речь, а пока вернемся к обсуждению первой части «Ракового корпуса», когда многое было сказано впервые. За четыре дня до этого обсуждения скоропостижно скончался мой старший брат, которого я горячо и преданно любил. Я тяжело пережил потерю, был глубоко подавлен, потрясен и все же решил пойти — в том, что на моем месте брат непременно пошел бы, я ни минуты не сомневался.

В моем архиве сохранилась стенограмма обсуждения, состоявшегося в ноябре 1966 года. Я выступил третьим, вслед за вступительным (бесцветным) словом Г. Березко (председателя объединения прозы) и дельной речью Александра Михайловича Борщаговского, который признал «огромную нравственную высоту книги, подтвержденную выдающимся талантом автора». Текст моего выступления не отредактирован — поздняя правка могла бы повредить ощущению подлинности:

«Когда работаешь в литературе очень много лет, начинаешь думать о ней и видеть ее не глазами месяца или даже года, а глазами десятилетия, пятнадцатилетия, двадцатипятилетия.

Глядя на то, что происходит в нашей литературе сейчас, я вижу, что мы незаметно для себя вступили в совершенно новый, другой период нашей литературы. Это произошло как-то неощутимо, и это напомнило мне одну прогулку с моим близким другом и учителем Тыняновым, когда мы гуляли с ним за городом, а навстречу шел грузовик. Я посторонился от пыли, а он сказал: стоит ли? Пыль, как время, нам кажется, что она далеко, а мы уже дышим ею.

Так мы дышим. И сегодняшнее обсуждение, и роман Солженицына, и личность Солженицына — все это относится к новому периоду нашей литературы.

Трудно, конечно, сказать в нескольких словах, в чем характерное отличие старой литературы от новой, но для меня ясно, что с литературой рептильной, ползающей, литературой, понимающей общественное служение как прямую линию между двумя точками, идеей и ее воплощением, с этой литературой кончено. Никто не помнит о тысячах экземпляров, тысячах страниц, которые издавались в миллионных тиражах и которые служили идее лжи, искажения, восхваляющих Сталина прямо или косвенно и бесконечно далеких от правды. Покончено с позорившим нашу страну чучелом Лысенко. Я много лет имел дело с миром науки, и я знаю, кем был этот человек для нашей культуры.

Из литературы имеют огромный успех и, к счастью, издаются, хотя далеко не полностью, книги устоявших или замолчавших писателей, то есть сопротивлявшихся этой идее лжи и искажений, книги Тынянова, Бабеля, Булгакова, Платонова, Заболоцкого, Тарковского и очень многих других.

Наша литература приобретает блеск оригинальности, она постепенно начинает выходить на мировую магистраль и выйдет, если этому не помешают.

Я не могу сейчас, да и не надо перечислять множество новых имен, огромное количество новых талантов. Что ни месяц, появляются новые имена. Что ни месяц, появляются новые книги, которые заставляют задумываться, заставляют переоценить пройденный путь, заставляют даже завидовать, потому что такой полноты, такого откровения мы давно не видели в литературе. Я не буду называть этих имен, среди них Казаков, Конецкий, Можаев, Домбровский. Я на первое место среди них ставлю Солженицына.

В чем сила его таланта? Не только в умении воплотить пережитое, в простоте и выразительности средств, не только в литературном искусстве, которое иногда достигает у него необыкновенной высоты. Я имел случай здесь говорить об „Одном дне Ивана Денисовича", о высокой гармонии этого произведения [1]. Не буду называть других первоклассных его произведений, все вы их знаете прекрасно. Но, кроме того, у Солженицына есть две драгоценные черты, к которым должен присмотреться каждый серьезно работающий в литературе. Это — внутренняя свобода — первая черта, и могучее стремление к правде — вторая черта.

Что такое эта внутренняя свобода?

Мы, старшее поколение, в течение очень многих лет как-то скрывались от самих

[1] На обсуждении этой повести в Союзе писателей, когда она была представлена на Ленинскую премию.

себя, запутывались в противоречиях, стараясь пробраться среди них к истинной литературе. Это все было естественным следствием сталинского двадцатилетия. Слишком много было сомнений, колебаний, отчаяния, самоуговоров, попыток любыми средствами сохранить святость своего призвания. Солженицын, да, к счастью, и вся новая литература, если не вся, то лучшее из новой литературы, свободны от всего этого, отрешены от любой целенаправленности, кроме жажды рассказать правду.

Наивно представлять себе, что все, что происходило в течение тридцатых — сороковых — пятидесятых годов с двухсотмиллионным великим народом, может быть в один день забыто по чьему-то приказу. Отражение всего этого неизбежно, оно будет происходить. Александр Михайлович [1] прав, когда он говорил о том. И сколько бы ни свирепствовала цензура — это будет происходить потому, что это происходило всегда, с библейских времен. Система сдерживания лишь обостряет интерес к тому, что было.

Солженицын очень большой писатель. От него зависит, станет ли он великим писателем. Но тайна, секретность вокруг него, это сдерживание и то, что мы сегодня собрались в этом зале, а не в большом зале, который был бы полон, это поможет ему сделаться великим писателем. (Оживление в зале.)

Мы знаем, что существует машинописная литература. Среди этих машинописных вещей, которые ходят по рукам, есть множество превосходных произведений, которые должны были быть давно напечатаны, которые бессмысленно держать в рукописях. Кстати, между ними я хотел бы указать на первоклассный рассказ Солженицына „Правая кисть". Это произведение, отнюдь не подлежащее новому указу. Это произведение, украшающее нашу литературу, и умнее всего было бы опубликовать его возможно скорее.

Почему мы сегодня обсуждаем рукопись, а не книгу? Почему роман Бека, единодушно одобренный самыми крупными писателями, до сих пор не опубликован? На одной чаше весов было мнение первоклассных литераторов, работающих в литературе по тридцать-сорок лет и посвятивших ей всю свою жизнь, а на другой чаше было мнение какой-то дамы [2], и это мнение дамы перевесило, и роман Бека, первоклассный роман, до сих пор лежит в рукописи.[3] Умно ли это? Этого нет нигде, ни в промышленности, ни в науке. Везде прислушиваются к мнению специалистов. Но я далеко отклонился от романа „Раковый корпус". Хочу теперь сказать несколько слов о нем.

Какова, мне кажется, идея этой книги, еще не законченной (что, конечно, затрудняет ее обсуждение)? Идея, как мне кажется, поставить людей разных профессий, разного социального значения, разной нравственной тонкости перед лицом смерти. В „Смерти Ивана Ильича" он один. А здесь огромный замах, задача громадная, и у меня много надежд, что она будет решена Солженицыным.

Все герои книги как бы психологически вскрыты умным ланцетом автора. Это психологическая секция, обнаруживающая неведомые для них самих глубины. Это разрез социально-психологический, достигающий огромной глубины, которая, конечно, не может не затронуть нас, потому что все мы имеем отношение к тому, о чем пишет Солженицын, потому что мы все когда-нибудь окажемся перед лицом смерти.

В „Раковом корпусе" дело не только в том, что характеры написаны, а в том, что они устремлены к самопониманию. Такой Ефрем Поддуев, глубоко задумывающийся, читая Толстого, над смыслом собственной жизни: „Чем люди живы?" Человек, наконец почувствовавший болезнь как наказание за жизнь. Таков Костоглотов, в котором главное не только вера в жизнь, но небоязнь смерти. В нем выражена мысль великая и глубоко поучительная, потому что именно небоязнь смерти была порукой сохранения науки и искусства в годы террора, небоязнь смерти была порукой сохранения человеческого достоинства в самых тяжелых трагических обстоятельствах концлагерей и тюрем. Вот почему так трогательны и естественны все сцены любви в этом романе между Костоглотовым и Зоей. Он не боится смерти, он имеет право любить.

Тем же скальпелем неизбежной смерти вскрыт Русанов. Это первый раз, когда секция происходит в подлинном смысле этого слова, патологоанатомическая секция. Он, в сущности, не отличается от тех блатарей, о которых с таким отвращением рассказывает Костоглотов. Возможно, что Русанов написан слишком прямолинейно, об этом я тоже подумал, читая роман, и согласен в этом смысле с Александром Михайловичем. Но сила этой фигуры в том, что скальпель смерти вскрывает и страх разоблачения доносчика и убийцы. Он, конечно, очень сильное воплощение мертвого идола сталинизма. Может быть, он еще сильнее написан во сне, чем наяву, потому что вскрыты какие-то глубины его существа.

Так раскрывается Вадим Зацырко. Перед смертью он думает об относительности

[1] Борщаговский.

[2] Вдова Тевосяна, который был прототипом главного героя в романе А. Бека «Новое назначение», — дама, влиятельная в «правительственных кругах», воспользовалась этим влиянием, и роман был запрещен цензурой.

[3] Роман «Новое назначение» в настоящее время опубликован (*ред.*).

времени. Мысль глубокая, которая, мне кажется, должна быть развита во второй части романа.

Так и кончается первая часть: относительностью времени, ощущением жизни и уверенности новых глубоких перемен. Поэтому супруги Кадмины, которые всему радуются в ссылке, не случайно оказываются в конце первой части. О них слишком много написано... (Г. С. Березко: По-моему, мало!)

Об этом трудно говорить. Во всяком случае, эта глава важная и далеко не случайная. Не уровень благополучия, а отношение к жизни создает счастье людей.

Также важно в первой части ощущение шагов истории, которые чувствует Костоглотов, вспоминая свою полусвободу, свой ссыльный мир.

Трудно судить о незаконченной книге, но следует ждать глубоко значительного произведения, беспощадно правдивого, полного той силы совести, которая всегда одушевляла русскую литературу. Она и заставляет переворачивать, не отрываясь, страницы повести, в которой, в сущности говоря, ничего не происходит, почти ничего. Вот почему и не хочется говорить о таких ее сторонах, как композиция. Читая ее, я вспомнил Л. Н. Толстого, который сказал, что в произведениях, рожденных жизнью, форма подчас приходит сама собой.

И еще раз — почему не напечатана до сих пор эта рукопись? Найдутся ли нравственные уроды, которые будут защищать бессмысленный террор Сталина или Берии, или не захотит заметить в этой повести, в „Одном дне Ивана Денисовича", как и в других повестях, всю полноту благородства, желания добра, мужества и все то, на чем была замешена революция и о чем сейчас говорятся многими, ничего не выражающими словами? Солженицын и вся наша новая литература возвращает этим словам их подлинное значение. Вот почему я смело могу перебросить мост между литературой двадцатых и шестидесятых годов, не разделяя взгляда, что наша литература где-то оборвалась. Она продолжалась, хотя и в трудных обстоятельствах. И вот почему все желание замолчать Солженицына натыкается на неудачи.

Можно лишь позавидовать нравственной свободе Солженицына, его инстинктивному знанию того, что нужно людям, каждому из нас».

Славин в своей речи сказал, что «Раковый корпус» — «разрез общества через опухоли, и, в сущности, повесть — это некий поединок со смертью». Далее: «сила образности в этой повести достигает огромной высоты». И далее: «Солженицын принадлежит к жестокой линии нашей литературы, трагической линии Достоевского».

За Славиным выступила З. Кедрина, и многие, в том числе я, с подчеркнутым шумом покинули зал — сказалась дурная репутация, все были убеждены в отрицательном мнении — она выступала общественным обвинителем по делу Синявского и Даниэля. И ошиблись. Кедрина признала даже, что «вещь очень интересная», и выразила полную уверенность в том, «что она будет напечатана».

В своей смелой речи Б. Сарнов упомянул о письме Е. Замятина к Сталину (1932), рассказал о трагической судьбе В. Гроссмана. В целом его выступление было посвящено «времени» в литературе — времени, которое крадет у писателя государство. Только что был опубликован (с купюрами) «Мастер и Маргарита» — среди доказательств Сарнова это был самый убедительный пример. Он предостерег от этой «кражи времени» по отношению к роману «Раковый корпус».

Одно из содержательных выступлений принадлежало Ю. Карякину, который с *политической* точки зрения неопровержимо доказал, что «Раковый корпус» надо печатать. Он заметил, что «единодушное осуждение повести „Один день Ивана Денисовича" нашло место лишь на страницах троцкистской албанской, корейской и китайской печати», а «подавляющее большинство положительных отзывов... принадлежит самым преданным коммунистам из зарубежных партий». Он проницательно предостерег Солженицына от «прокурорской» направленности его таланта, процитировав Камю, который сказал, что «самое большое искусство... не осуждает». Мысль Карякина: «„высшая мера наказания" в искусстве — одна, а в жизни — другая», показалась мне глубокой и справедливой. «Высшая мера наказания в искусстве это, если угодно, расстрелять... а потом в общем помиловать, но не по счету социальному и политическому, а так, чтобы либо как Иуда — вешаться, либо „иди, искупись"».

После ряда других выступлений Солженицын подвел итоги, горячо поблагодарил за доброжелательную критику и — как следовало ожидать — высоко оценил речь Карякина, поставившего вопрос, который касается всей литературы в целом: «Это — суждение о том, что в произведении должны быть уравновешены современность и вечность. Это самые трудные весы... Когда слишком много дашь на чашку вечности — современность теряет плоть и теряется связь с читателем. Когда дашь слишком на чашу современности — произведение мельчает, не будет долго жить. И это чувство гармонии хотелось бы воспитать, достичь равновесия».

Я плохо чувствовал себя в этот вечер, ушел после выступления, и на другой день мне сказали, что Александр Исаевич искал меня, хотел поблагодарить. Вскоре мне передали маленькое письмо от него, которое я сохранил:

16.11.66

Многоуважаемый Вениамин Александрович,

я с большим вниманием слушал Вашу речь — и не потому, что там было много обо мне, а потому что был в ней налет истории — высокий, медленный и неотвратимый. Я радовался, волновался и ушам не верил: неужели мы дожили до того времени, когда все называется и становится на свои места? В перерыве я поспешил пожать Вашу руку и поздравить с этим выступлением, но Вы уже ушли. Разрешите сделать это сейчас!

Разрешите пожелать Вам упрочения Вашего здоровья!

Солженицын.

Письмо послужило поводом для знакомства, и Солженицын стал бывать у меня, впрочем, редко и всегда по делу. Теперь я мог внимательно рассмотреть и, насколько это было в моих силах, понять. Самые приходы его, всегда неожиданные, связывались в сознании с чем-то взрывающимся, может быть, потому, что он неизменно торопился куда-нибудь и тоже по делу. Это нисколько не мешало ему быть обаятельно-естественным, просто он существовал в другой скорости, чем его собеседник. Все в нем было крупно — и он сам, и все, о чем он говорил с полной определенностью в каждом движении и слове. В нем чувствовался глубоко осмысленный жизненный опыт, который не лежал неподвижным грузом в копилке памяти, а был, напротив, в постоянном движении, в энергичном стремлении помочь, подсказать решение, уловить черту еле заметную, но подчас позволяющую сделать неожиданный вывод. Есть русская поговорка «Счастье дороже богатырства, а сметка обоих обманет» (Даль). И богатырство, и сметка — слова, подходящие для впечатления, которое производил Солженицын. Первое из них связывалось не с его дородностью, а с ощущением, что он шагнул через чувство страха и этим заметно отличается от тех, кто его окружает. А второе, сметливость, так и сквозила не только в том, как он слушал, примеряя слова собеседника к чему-то внутреннему, своему, но и в мгновенном планировании ответа. Расторопность ума, быстрое соображение, находчивость, способность не теряя ни секунды встретить случайность и смело пойти ей навстречу — вот что восхищало его друзей и ставило в тупик врагов. Все это соединялось с гибкостью прирожденного полемиста, и все это было с блеском доказано, когда, записывая на Секретариате, 22 сентября 1967 года обсуждавшем «Раковый корпус», все, что говорилось, и готовясь к возражениям, он не упустил ни малейшей «слабины» или просто глупости в речах Федина, Кожевникова, Рюрикова и других руководителей СП. Но об этом — ниже.

Н. Заболоцкий в своем прекрасном стихотворении, посвященном Б. Пастернаку, написал о нем:

Выкованный грозами России
Собеседник сердца и поэт.

«Собеседник сердца» — этого нельзя сказать о Солженицыне. Он скорее собеседник ума, а не сердца. Но «выкованный грозами России» — это о нем. Более того: Пастернак уже сложился до конца в те годы, когда он встретился с Заболоцким. А Солженицын был еще в разбеге, в полете, своей «выкованностью» он еще только собирался воспользоваться для великой цели, которую он поставил перед собой («Архипелаг ГУЛаг») и для задуманной художественной прозы.

4

Годы, которые когда-нибудь будут обозначены историками нашей литературы как неразрывно связанные с появлением Солженицына, были переломными и для меня. И я отнюдь не отказался от возможности свободно писать о «дырявых душах» (Шварц). Я написал роман «Двойной портрет» и повесть «Семь пар нечистых». В книге «Вечерний день» (еще не опубликованной) рассказана (по необходимости кратко) история работы над «Двойным портретом». Это — антисталинская книга, и я сомневаюсь, что мне удастся вновь напечатать ее в готовящемся собрании сочинений. Удалось ли мне показать в ней кровавый отсвет расправы Т. Лысенко с нашей счастливо развивающейся в начале тридцатых годов биологией? Не знаю, не знаю. Главный герой ее, Остроградский, возвращается в Москву после тюрьмы и ссылки. Рассказывая о том, как трудно было ему устроить свою жизнь после возвращения, о преждевременной смерти, я воспользовался тем, что знал о судьбе Н. Заболоцкого, Ю. Оксмана и моего старшего брата — всем, что оставило и в моей жизни незабываемый след. Много помог мне своими рассказами известный наш биолог Э.

В основе романа лежала статья «О честности в науке», написанная по предложению «Литературной газеты». В этой статье я рассказал о характерной (по своей многолетней безнаказанности) жизни клеветника, завистника и предателя (без сомнения, связанного с органами КГБ) Н. В. Лебедева, ученика Лысенко, профессора

Московского университета. Ему-то и противопоставлен Остроградский. Но ход развития романа невольно привел к тому, что я вынужден был стать рядом со своими героями, подумать о собственной жизни, оценить и взвесить свое прошлое с новой, переосмыслившей точки зрения. Вот откуда взялись в романе автобиографические главы, такие, например, как 57-я, в которой «старый друг, глубокий ученый» говорит о «гибели писем, фотографий, документов, в которых с неповторимым своеобразием отпечаталась частная жизнь, об осколках времени — драгоценных, потому что из них складывается история народа». Я уже упоминал о том, что этот ученый и старый друг, конечно, Ю. Н. Тынянов, а вся глава — точное воспроизведение сцены, происшедшей в 1937 году в его кабинете на улице Плеханова, 8. В 22-й главе я рассказал о необходимости той загнанной в тупик и все-таки приоткрывшейся свободы мышления, без которой мне не удалось бы написать этот роман.

В эпилоге прямое признание: «Я думал о том, что все соотнесено, все неустранимо связано. И я был обманут, и без вины виноват, и наказан унижением и страхом. И я верил, и не верил, и упрямо работал, оступаясь на каждом шагу, и путался в противоречиях, доказывая себе, что ложь — это правда. И я тосковал, стараясь забыть тяжкие сны, в которых приходилось мириться с бессмысленностью, хитрить и лицемерить» («Двойной портрет», «Молодая гвардия», 1967, стр. 222—223).

Впервые в жизни без оглядки назад, с полной искренностью я заговорил о себе — и это было решительным поворотом, определившим многое в предстоящей работе. Каким-то образом «раскованность» связывалась с суровым словесным отбором, к которому я стал сознательно стремиться с тех пор: слова существовали теперь не для того, чтобы «украсить» мысль, а чтобы выразить ее, и оказалось, что для этой цели (простой и сложной) надо не очень много слов, а иногда — мало.

С таким же ощущением внутренней свободы я взялся за повесть «Семь пар нечистых» (ее история рассказана в книге «Вечерний день» короче, чем следовало бы ее рассказать). Разумеется, и роман «Двойной портрет», и повесть «Семь пар нечистых» не упали с неба. Они были связаны с напряженной, стремившейся к политической свободе жизнью нашей интеллигенции в шестидесятых годах.

Еще в 1956 году литераторы А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль начали публиковать свои произведения за границей под псевдонимами Абрам Терц и Н. Аржак. Они были арестованы, готовился процесс. Многие представители интеллигенции обратились с письмами в защиту Синявского и Даниэля к правительству, в Верховный Суд, в редакции газет, в Союз писателей и т. д. Подписать или не подписать такое письмо? Ответ на этот вопрос был испытанием порядочности не только в литературных кругах.

Приговор был предрешен. Синявский и Даниэль были осуждены, и тогда шестьдесят три писателя обратились в правительство с просьбой взять их на поруки:

В ПРЕЗИДИУМ XXIII СЪЕЗДА КПСС
В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Уважаемые товарищи!

Мы, группа писателей Москвы, обращаемся к вам с просьбой разрешить нам взять на поруки недавно осужденных писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Мы считаем, что это было бы мудрым и гуманным актом.

Хотя мы не одобряем тех средств, к которым прибегли эти писатели, публикуя свои произведения за границей, мы не можем согласиться с тем, что в их действиях присутствовал антисоветский умысел, доказательство которого было необходимо для столь тяжкого наказания. Этот злой умысел не был доказан в ходе процесса А. Синявского и Ю. Даниэля.

Между тем осуждение писателей за сатирические произведения — чрезвычайно опасный прецедент, способный затормозить процесс развития советской культуры. Ни наука, ни искусство не могут существовать без возможности высказывать парадоксальные идеи, создавать гиперболические образы. Сложная обстановка, в которой мы живем, требует расширения (а не сужения) свободы интеллектуального и художественного эксперимента. С этой точки зрения процесс над Синявским и Даниэлем причинил уже сейчас несравненно больший вред, чем все ошибки Синявского и Даниэля.

Синявский и Даниэль — люди талантливые, и им должна быть предоставлена возможность исправить совершенные ими политические просчеты и бестактности. Будучи взяты на поруки, Синявский и Даниэль скорее бы осознали ошибки, которые допустили, и в контакте с советской общественностью сумели бы создать новые произведения, художественная и идейная ценность которых могла бы искупить вред, причиненный их промахом.

По всем этим причинам мы просим выпустить Андрея Синявского и Юлия Даниэля на поруки.

Этого требуют интересы нашей страны. Этого требуют интересы мира. Этого требуют интересы мирового коммунистического движения.

Члены Союза писателей СССР:

Анастасьев А. Н.
Аникст А. А.
Аннинский Л. А.
Антокольский П. Г.
Ахмадулина Б. А.
Зонина Л. А.
Зорин Л. Г.
Зоркая Н. М.
Иванова Т. В.
Икрамов К. А.
Кабо Л. Р.
Каверин В. А.
Кин Ц. И.
Копелев Л. З.
Корнилов В. Н.
Крупник В. Н.
Кузнецов И. Н.
Левитанский Ю. Д.
Левицкий Л. А.
Лунгин С. Л.
Лунгина Л. З.
Бабенышева С. Э.
Берестов В. Д.
Богатырев К. П.
Богуславская З. Б.
Борев Ю. Б.
Маркиш С. П.
Масс В. З.
Михайлов О. Н.
Мориц Ю. П.
Нагибин Ю. М.
Нусинов И. И.
Огнев В. Ф.
Окуджава Б. Ш.
Орлова Р. Д.
Осповат Л. С.
Панченко Н. В.
Поповский М. А.
Пинский Л. Н.
Рассадин С. Б.
Реформатская Н. В.
Россельс В. М.
Войнович В. Н.
Домбровский Ю. О.
Дорош Е. Я.
Жигулин А. В.
Зак А. Г.
Самойлов Д. С.
Сарнов Б. М.
Светов Ф. Г.
Сергеев А. Я.
Сеф Р. С.
Славин Л. И.
Соловьева И. Н.
Тарковский А. А.
Турков А. М.
Тынянова Л. Н.
Фиш Г. С.
Чуковская Л. К.
Чуковский К. И.
Шатров М. Ф.
Шкловский В. Б.
Эренбург И. Г.

Единственным ответом на это письмо был протокол Секретариата МО ССП от 25 мая 1966 года, в котором было выражено «глубокое сожаление, что группа московских писателей, в том числе и члены партии, сочли возможным поставить свои подписи под документом более чем сомнительного свойства». Упоминались и безответственность, и беспринципность, и «стремление завуалировать откровенно неприкрытую антисоветскую сущность так называемых „сатирических“ произведений Синявского и Даниэля».

Каждый из «подписантов» — так стали называть авторов протестующих писем — был наказан: одни получили выговор, другие — строгий выговор, третьим (в том числе и мне) было «поставлено на вид» и т. д. Помню, как смеялись мы тогда над выговорами К. Чуковскому, В. Шкловскому и И. Эренбургу.

Но смех смехом, а многим из «подписантов» были возвращены из редакций их произведения, имена перестали упоминаться в печати, а у иных — в том числе и у меня — года на два замолчал (хотя и не был отключен) телефон.

Замолчал он, без сомнения, и у Л. К. Чуковской, написавшей письмо М. Шолохову, выступившему на XXIII съезде с речью, в которой он осудил мягкость приговора, вынесенного Синявскому и Даниэлю. «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на разграниченные статьи уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, ох, не ту меру получили бы эти оборотни». А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости приговора». Можно смело сказать, что блистательное письмо Л. Чуковской подвело итог всей кампании в защиту Синявского и Даниэля.

5

Не помню, который из съездов, кажется, именно Четвертый, орган компартии Италии «Унита» назвал «съездом мертвых душ». Все на этих съездах было заранее подготовлено, каждое выступление завизировано начальством, выборы — подтасованы, делегаты поднимали руки, вставали и садились когда положено и т. д. И на Четвертом съезде лежала поддерживаемая многочисленными чекистами в штатском (и в форме) печать мира и благодати.

Эту печать дерзко сорвал своим знаменитым письмом А. Солженицын[1]. В этом письме, которое он разослал полутораста литераторам, была нарисована с еще небывалой остротой и определенностью бедственная картина нашей литературы, указана блестящая (при определенных условиях) возможность ее развития и перечислены бессмысленные, наносящие ей непоправимый вред притеснения.

---

[1] Текст письма А. И. Солженицына IV Всесоюзному съезду советских писателей полностью приведен В. В. Конецким в повести «Париж без праздника» (см. «Нева» № 1, с. 109—111).

Самиздат размножил письмо в бесчисленном множестве экземпляров. Не замедлили откликнуться на него и писатели. Съезд получил, как признал на Секретариате ССП (22 сентября 1967 г.) Воронков, около пятисот писем. Были ли среди них осуждавшие Солженицына? Возможно. Но были обогатившие Самиздат, принадлежавшие перу В. Конецкого, Г. Владимова, В. Сосноры.

6

Разумеется, никакого ответа на свое письмо А. Солженицын не получил. Однако оно — как и посыпавшиеся вслед за ним письма других писателей,— без сомнения, произвели на Секретариат сильное впечатление, побудившее его «принять меры». О мерах, продолжавшихся годами, я упоминул. Но в самые ближайшие дни после съезда, 31 мая 1967 года, предполагалось отметить семидесятипятилетие К. Г. Паустовского. Как поступить по отношению к этому, по-видимому, тоже небезопасному мероприятию?

«Речь, не произнесенная на Четвертом съезде», была уже написана, но я намеревался послать ее после вечера Паустовского. Мне хотелось выступить, а если б я послал речь, об этом нечего было бы и думать.

Первый день съезда прошел благополучно — в том смысле, что афиша, объявлявшая о вечере, посвященном семидесятипятилетию К. Г. Паустовского, висела на своем месте в вестибюле Дома литераторов. Но на второй день она исчезла — и для меня сразу же стало ясно, что надо в свою очередь «принять меры», чтобы вечер состоялся.

В течение второго дня я несколько раз проходил вдоль переполненного зала, чтобы передать в президиум записки. Это было ложно понято некоторыми делегатами. Они решили, что я прошу слова. Это было неосновательное предположение: я не просил слова, потому что не сомневался в отказе. Записки касались вечера Паустовского. Первая была вручена Воронкову с просьбой передать ее Федину. В ней я сообщил ему, что афиша снята, вечер, по-видимому, не состоится, а это вызывает в широких литературных кругах справедливое негодование, которое он, Федин, и как друг Паустовского, и как председатель Союза, без сомнения, понимает и разделяет. В президиуме было много секретарей, официальных лиц, охрана, и я не видел, передал ли Воронков мою записку Федину или нет. На третий день, когда выяснилось, что афиша вернулась на свое место, я снова подошел к трибуне и передал Константину Александровичу вторую записку — на этот раз через Симонова, который вручил ее Федину у меня на глазах. Записка была короткая: «Мне необходимо с тобой поговорить. Если не возражаешь, подойди в перерыве». Он прочел и кивнул. Я вернулся на свое место.

Этот разговор чуть не сорвался по вине М. Слонимского, который раньше меня подошел к Федину и стал длинно рассказывать ему о своих делах. Прерывать было неудобно, я ждал, а между тем до конца перерыва оставались считанные минуты. Пришлось вмешаться в разговор.

— Прости, Костя. Вчера послал тебе записку. Ты ее получил?

— Нет.

— Ну, значит, Воронков тебе ее не передал.

— То есть как не передал?

Я посмотрел ему прямо в глаза и не без удовольствия заметил, что эти старые, давно потускневшие глаза, которые некогда так широко раскрывались, загораясь вниманием — снова загорелись, но не вниманием на этот раз, а гневом. То, что Воронков осмелился не передать ему мою записку, без сомнения, болезненно задело его.

Я говорил с нарастающим волнением, он слушал внимательно с потемневшим лицом, с поджатыми губами.

— Да ты меня не убеждай! — сказал он с оттенком досады.— Как Константин Георгиевич?

Я ответил, что неважно; но если вечер состоится — приедет.

Он уже овладел собой.

— Передай ему привет. Я все выясню. Думаю, что вечер состоится.

Я не был на четвертом дне съезда, но с удовлетворением узнал, что исчезнувшая было афиша появилась на прежнем месте. А еще через несколько дней получил красивый пригласительный билет, извещавший, что 31 мая под моим председательством состоится вечер, посвященный 75-летию К. Г. Паустовского. Фамилии будущих ораторов названы не были. Это значило, что мне предоставлялась, так сказать, «carte blanche». Впоследствии этот вечер заслуженно называли «антисъездом». Но ничего для этого не было сделано: ни с одним оратором я заранее не сговаривался, а некоторые (Яшин) «включились» в список выступавших, согласованный с Домом литераторов, по собственному желанию. На вечере литература явилась как призвание, как чудо. А на съезде она выглядела службой, прислуживанием, выслуживанием, одним из факторов не общества, а государства. На вечере ничего не было предусмотрено заранее, он сложился естественно, непроизвольно, и даже не сложился, а взорвался, как правдивое отражение того, чем в действительности жила и дышала литература. А на съезде говорилось о том, как заставить ее дышать согласно постановлениям ЦК и Секретариата. Увы, даже не устава Союза писателей.

Здесь уместно привести мою не произнесенную речь, тем более, что пунктирно намеченная в ней картина положения литературы с тех пор существенно не изменилась.

7

«Вероятно, мне не следовало выступать на этом съезде, зная, что при избрании делегатов (за полтора года до съезда) были допущены несомненные и грубые нарушения устава. Тем не менее я надеялся, что съезд не обойдет насущных вопросов нашей литературы, ее положения, которое можно смело назвать трагическим, что съезд не пройдет мимо глубоких произведений, появившихся в последние годы, что в результате их обсуждения появится общая картина нашей литературы, в которой давно и остро нуждаются писатели нового поколения. Этого не произошло. Более того — съезд отразил не состояние литературы, а состояние настороженности, неизменно встречающей каждый откровенный разговор о нашей литературе. Проще говоря, съезд отразил не жизнь литературы, а страх перед подлинной, набирающей силу, литературой. Заранее подготовленное, тщательно взвешенное изгнание литературы из огромного собрания писателей, съехавшихся со всех сторон страны, и заставляет меня занять ваше внимание.

Самый факт этого изгнания представляет собой бросающийся в глаза анахронизм. Это не просто пренебрежение к истории советской литературы, в которой за полстолетия произошло так много полных глубокого смысла событий. Это слепое стремление не видеть того, что в ней происходит в настоящее время, закрыв глаза, сделать вид, что все обстоит благополучно. Именно так — без сомнения, ввиду приближающегося праздника пятидесятилетия — были построены все доклады. Ни анализа литературной жизни, ни единой попытки объяснить сущность намечающихся литературных направлений, ни защиты писателей от неслыханного разбоя цензуры. Декларации, восклицательные знаки, лживая риторика — все это прозвучало звонко, но пусто; складно, но оскорбительно.

Я попросил слова, чтобы сказать то, что я думаю о нашей литературе. Но самый факт поставленного, как театральное представление, разыгранного, как по нотам, съезда заставляет меня прежде всего сказать несколько слов о Союзе Писателей.

Что представляет собой эта шеститысячная организация, имеющая свои отделения во всех крупных городах страны и обходящаяся государству в миллионы? Я — член этой организации со дня ее основания, и перед моими глазами прошли все стадии ее развития. Этот процесс можно характеризовать как непрерывное, то замедляющееся, то ускоряющееся отделение от литературной жизни и ее интересов. Даже в самые худшие времена сталинского произвола сохранялась некоторая видимость связи между Союзом Писателей и литературой. Происходили обсуждения, в секциях обдумывались меры, необходимые для поддержки писателей или их произведений. Но непрерывно действующая центробежная сила с каждым годом относила Союз Писателей в сторону от литературы, превращая его в громадный, действующий на холостом ходу аппарат. Между членами Союза Писателей и подлинными, профессиональными писателями образовалась пропасть. Литературные собрания, дискуссии, встречи не только прекратились, но самая мысль о них встречает у руководителей Союза сопротивление. Причина этой болезни ясна: руководители Союза боятся, что на любом из этих собраний может вспыхнуть спор, в котором с полной отчетливостью отразится несогласие большинства серьезно работающих писателей с литературной политикой, которую проводит Союз. Не защита и поддержка писателей, а защита от писателей — вот атмосфера этой политики. Союз с его аппаратом, с его сложной административно-хозяйственной жизнью, с его внутренними интригами и карьерами живет своей жизнью, нигде не скрещивающейся с жизнью литературы. Его руководителям, которые всецело подчиняются другим руководителям, кажется, что они управляют литературой. Это ложное впечатление. Литературой нельзя управлять. В лучшем случае, это — самообман, необходимый для более чем благополучного существования все той же литературной иерархии.

Можно — и это было сделано в сталинские времена — построить макет литературы, выпуская в миллионах экземпляров рептильные, насквозь фальшивые произведения. Где они теперь, кто читает эти книги, у кого есть охота и время разыскивать в этой самодеятельности, озаренной искусственным солнцем, крупицы таланта? С литературой ползающей, пошло-восторженной, с литературой, понимающей общественное служение как прямую линию между двумя точками — между идеей и воплощением — покончено. Но ничему не научил этот провалившийся опыт.

И то сказать: никто теперь не заказывает пьес и романов — заранее известно, что их не станут смотреть и читать. Выстроить новую мнимую литературу невозможно — и не только потому, что в современной общественной атмосфере она мгновенно рухнула бы, как карточный домик. Она невозможна, потому что ее место заняла подлинная новая литература.

Вот об этом-то и надо говорить на съезде писателей. Что ни месяц, по крайней мере так было до недавнего усиления цензуры, появлялись новые имена. Они всем известны, и я не буду их называть. Литература начинает приобретать блеск оригинальности, появилась надежда, что ей удастся в ближайшие годы выйти на мировую магистраль. Определились направления. Нет возможности в этом кратком выступлении нарисовать внятную картину их особенностей, их происхождения и развития. Можно дать лишь их слабый очерк, вероятно, во многом неточный. Прежде всего следует указать философско-реалистическое направление. Наиболее сильным, оригинальным и талантливым представителем его является А. И. Солженицын. Не буду говорить об «Одном дне Ивана Денисовича», произведении, заслуженно представленном в свое время на Ленинскую премию, о его первоклассных рассказах, печатавшихся в „Новом мире“. Скажу лишь, что „Матренин двор“ по своей глубине, силе и отчетливости социального значения представляет собою подлинный шедевр. Обратимся к другим его произведениям, еще не опубликованным (по причинам, о которых я скажу в дальнейшем), но достаточно известным широкому кругу литераторов. Я имею в виду повесть „Раковый корпус“ и роман „В круге первом“. Есть общая черта, соединяющая оба произведения — это могучее стремление к правде, опирающееся на чувство внутренней свободы.

Что такое внутренняя свобода? Мы, писатели старого поколения, в течение многих лет как бы скрывали от себя трагическое положение литературы, запутывались в противоречиях, с трудом различая в хоре фальшивого оркестра редкие ноты самоотреченин, жертвенности, призвания. Я никогда не соглашался с тем взглядом, что история советской литературы оборвалась в конце двадцатых годов и возобновилась в шестидесятых. Она продолжалась — разве это не становится очевидным, когда мы читаем Цветаеву, Булгакова, Ахматову, Андрея Платонова — книги писателей, сопротивлявшихся идее ложного благополучия, мнимого духовного расцвета? Это сопротивление, тесно связанное с революционным взлетом двадцатых годов, развивающее, как это ни было трудно, русский ренессанс первой четверти XX века, нетрудно обнаружить не только в голосах писателей, заговоривших после тридцати- и сорокалетнего молчания. Будущие историки советской литературы найдут его в творчестве Тынянова, Пастернака, Заболоцкого, Шварца. В замаскированном виде оно когда-нибудь будет обнаружено и в книгах, переиздававшихся неоднократно.

Так вот, новая наша литература свободна от сомнений, колебаний, самоуговоров, попыток всеми средствами сохранить святость своего призвания. Ей не надо доказывать свою преданность революции. К ней как нельзя лучше подходит мысль Пастернака, выраженная в его письме к Табидзе: „И если бы вы даже этого не хотели, революция растворена нами более крепко и разительно, чем вы можете нацедить ее из дискуссионного крана. Не обращайтесь к благотворительности, мой друг, надейтесь только на себя. Забирайте глубже земляным буравом, без страха и пощады, но в себя, в себя! И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать. Это ясно, даже если бы мы и не знали искавших по-другому. Разве их мало? И плоды их трудов — налицо“.

Самое важное в этой мысли, к которой я в последнее время неоднократно возвращаюсь,— видеть в себе народ, найти в себе отражение его надежд, радостей и страданий, его пробудившегося и все возрастающего стремления к правде. Правда о прошлом — вот дуга, упруго перекидывающаяся от одного произведения Солженицына к другому. Наивно представлять себе, что все, что происходило в 30—50-х годах с двухсотмиллионным народом, можно сразу забыть по чьему-то приказу. Для этого необходимо пустить в ход громадное, сложное, дорогостоящее устройство лжи, маскировки, искажений. Но, во-первых, оно неизбежно будет давать — и уже дает осечки, подрывающие престиж нашего государства. А во-вторых, нет более верного способа усугубить в сотню раз интерес к прошлому, чем попытаться скрыть это прошлое, или исказить его, что делается, в общем, весьма бездарно.

Произведения огромного, всеобщего значения редко получают немедленное признание. Успех и посредственность — понятия более близкие, чем гениальность и признание. Но я ни минуты не сомневаюсь в том, что размах и неожиданная новизна романа „В круге первом“ сразу же поставили Солженицына на одно из первых мест в мировой литературе. Прежде всего, это роман народный. Более того, „В круге первом“ заставляет окинуть все творчество Солженицына свежим новым взглядом, и становится ясно, что он, его книги, самая его личность являются ответом народа на то, что происходило в стране в годы сталинского произвола. Вот откуда эти все новые, до самого конца возникающие герои, вот откуда их разнообразие, социальная глубина, их определенность. Никто не обойден, все круги советского общества представлены в романе: крестьянство, рабочие, интеллигенция, аппарат принуждения от младшего лейтенанта госбезопасности до Сталина. В глубоком вертикальном разрезе с ясной до боли отчетливостью видна судьба каждого из них.

Среди ученых (действие происходит в закрытом научном институте, где работают заключенные) — много талантливых, один — гениален. Из заколдованного круга единственный выход — по этапу обратно в ссылку или в лагерь. В замкнутой, почти вещественно плотной атмосфере все обостряется, доходит до предела — и отдающее гениальностью терпение (Потапов), и мужество перед новыми испытаниями, желание этих испытаний, желание испить чашу до дна не во имя христианской жертвенности, а во имя познания (Нержин), и подлинно русский характер, с которым можно сделать все — и ничего нельзя сделать, потому что он неизменно остается самим собой (Спиридон), и чувство воплощенной истории, исторического пути, который насильственно искажен, направлен в тупик (Рубин).

Рассказывая об этих книгах, я чувствую, что невольно снижаю их значение, представлял героев Солженицына в черно-белых тонах. Между тем сила впечатления, которое они производят, прямо пропорциональна психологической сложности. Здесь и слабость сильных и сила слабых. Действие большого романа происходит в течение двух дней с нарастающим напряжением. Замысел воплощен до конца. В книге нет и тени отчаяния. Напротив — она проникнута торжеством человечности и надежды. Вы закрываете книгу с чувством благодарного изумления, скрещивая размышления о ней с размышлениями о себе.

Но довольно о Солженицыне. Он не один, направление, к которому он принадлежит, объединяет многих талантливых писателей, задумавшихся над судьбами страны. Их произведения проникнуты историзмом, над ними — независимо от жанра — стоит знак времени. Среди них Семин, Домбровский, Владимов, Залыгин, Бек, Макаров, Грекова, Бондарев — я не перечислил и десятой доли. Именно это направление в ближайшие годы станет, мне кажется, главенствующим в нашей литературе. За ним — будущее, потому что нравственная идея, исконно присущая русской литературе, с каждым годом все глубже проникает в сознание нового поколения.

Обратимся к другому направлению, которое можно, мне кажется, назвать гротескно-драматическим. Во главе его, с опозданием на сорок лет, встал Михаил Булгаков, фигура замолчанная, заслоненная и ныне заявившая о себе громким голосом, который услышал весь мир. Вот что он писал в 1930 году правительству СССР: „Борьба с цензурой, какой бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала,— мой писательский долг так же, как и призывы к свободе печати. Я — горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если бы кто-нибудь из писателей задумал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода...“. И дальше: „ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо „достижением“. ...Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие... Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР...“.

Загнанный в тень, в небытие, он продолжал работать над пьесами, которые в наши дни вошли в репертуар многих театров, над романом „Мастер и Маргарита“, получившим мировое признание. Мне уже не раз случалось говорить и писать о той своеобычной традиции литературы XIX века, которую продолжал с блеском развивать Булгаков. Начиная с загадки гоголевского „Носа“, через мефистофельскую горечь Сенковского (Брамбеуса) она идет к Сухово-Кобылину с его канцелярскими фантомами, вырастающими до понятия Рока, к Салтыкову-Щедрину, которого Булгаков недаром считал своим учителем. В „Мастере и Маргарите“ эта традиция вспыхнула с новым блеском, сохранив свою определяющую черту — идею справедливости, подчас искусно замаскированную и достигающую громадной силы как в обороне, так и в нападении. В романе действуют написанные с выразительностью Гойи силы зла, воплотившиеся в людей обыкновенных и даже ничтожных. Превращениям, чудесам, мрачному издевательству Сатаны над людьми нет предела. Но в самой смелости, с которой этому преступному всевластию противопоставлена простая история Христа, заложена основа нравственной победы.

Этот роман появился после того, как он почти тридцать лет пролежал в архиве покойного писателя. Поэтому — и не только поэтому — мне трудно назвать хотя бы несколько имен, которые следовало бы отнести к булгаковскому направлению. Рядом с ним можно смело поставить Шварца, искусно пользовавшегося кажущейся отдаленностью своей фантазии от реального мира. Но именно эта отдаленность и позволяла ему называть вещи своими именами. Изящное и глубокое искусство Шварца продолжает действовать в нашей литературе. Его меткие афоризмы проникли в разговорный язык.

В письме Булгакова, которое я цитировал, он сомневался (в 1930 году) в возможности сатирической литературы в СССР. В нашей сложной современности эту

мысль опровергают талантливые произведения Фазиля Искандера и Можаева, по-разному развивающие направление, о котором идет речь. Трудно судить о будущем, но если эта струя не затерялась, не погибла в годы, когда сотни членов Союза писателей спокойно взирали на ни в чем не повинного Зощенко, который корчился и бился в немоте и пустоте всеобщего равнодушия — она найдет свое место в панораме развивающейся жизни и литературы.

Наконец, третье направление, определившееся давно — романтическое — связано с именем Паустовского, с его школой. Появление этой школы объясняется не только неустанной деятельностью Паустовского, который терпеливо учил молодых писателей, вернувшихся с войны, „преображению“ того, что они видели и пережили,— он учил их искать и находить литературную форму этого преображения, уводя от фотографии, от блокнота военкора к подлинному искусству. Позиция Паустовского, которую приняли его ученики, тесно связана с поэтическим отношением к действительности — черта, характерная для Тендрякова, Казакова, Бакланова, Балтера, вопреки их полному несходству в стиле, композиции, выборе тем. Кстати сказать, меня бы ложно поняли, предположив, что эта черта — затушевывающая, смягчающая краски, озаряющая действительность розовым светом. Как раз наоборот: поэзия — кратчайший путь к правде, одна из немногих возможностей взглянуть на действительность по-орлиному зорко.

Нельзя сказать, что эти три направления уже определились в полной мере. Кристаллизация продолжается, так же как продолжается плодотворная борьба между ними. Ей способствует оживление в литературной теории, вспомнившей глубокие начала, заложенные ОПОЯЗом в двадцатых годах. Так и должно быть: литературная борьба должна опираться на теоретическую основу.

Но есть другая борьба, в которой подлинное искусство ждут и поражения и победы. Борьба между литературой искренней и выспренной, между литературой, которая действует потому, что она не может бездействовать, и литературой, которая создается во имя собственного благополучия, славы. Между литературой, упрямо поднимающейся в гору, и литературой, напоминающей неподвижного великана на глиняных ногах. Между удачами быстрых литературных карьер и мнимыми неудачами, связанными с новым зрением в искусстве.

Здесь своевременно перейти к явлению, получившему в последние годы неслыханный размах. Я имею в виду „американизацию“ литературы, подстегивание интересов к картонному искусству детектива, тоже озаренному „романтическим“ светом, к маленьким загадкам обыденной жизни, к „полезным советам“, облаченным в форму короткого рассказа, к „кроссвордам быта“, поднявшим тираж некоторых журналов до пяти-шести миллионов. Это — явление мировое, сетовать на него бесполезно, тем более, что оно все равно не в силах заслонить истинного искусства. Изучать это явление должны, мне кажется, социологи, а не историки литературы. Для социолога условное разделение литературы на две литературы — интеллектуальную и мнимоинтеллектуальную — вполне естественно, в особенности, если он сумеет подключить ко второй телевидение и радиовещание.

Но как быть с третьей литературой, представляющей собой еще не виданный феномен, как с исторической, так и с художественной точки зрения? Как быть с литературой машинописной, ходящей по рукам и увеличивающейся с каждым годом, несмотря на запретные меры, воплотившиеся в форму закона? Увеличивается она не только потому, что свирепая цензура и перепуганные руководители издательств и журналов запрещают, отказываются печатать первоклассные произведения, которые, без сомнения, стали бы гордостью не только нашей, но и мировой литературы. Она увеличивается и будет увеличиваться, потому что страна вступила в новый период — в период вглядывания в себя, в то, что случилось с нею в прожитые годы. Отражение этого народного „вглядывания в себя“ — вот что породило так называемый „Самиздат“, подвергающийся преследованиям и запретам. Писатели поняли, что без этого „вглядывания“ невозможно воспользоваться собственным опытом жизни — а ведь этот опыт неслыханно, необозримо богат! Писатели поняли, что нужно отрешиться от всякой целенаправленности и думать только о воплощении правды, а не о том, будет ли напечатана книга. Каждый из них — если он подлинный художник — является общественным деятелем, который вольно или невольно участвует в борьбе против страха, искажающего контуры искусства, против произвола и бессмыслицы, все еще господствующих в нашей литературе. Каждый из них произнес мысленно десятки речей, направленных против этого страха и этого произвола. Эти немые речи не пропали даром. Они приучили — в данном случае я говорю о себе — оставаться наедине с собой, а ведь одна из тяжких сторон работы писателя как раз и заключается в том, что он почти никогда не остается наедине с собой. Всегда присутствует третий — государство в любой форме, иногда незаметной и поэтому оскорбительно опасной. Но ведь невозможно изображать других, если не увидеть, не узнать, не понять себя — без свидетелей. В основе любого искусства лежит независимость, и немногое выигрывает художник, видя себя испуганным или притворяющимся. Впрочем, даже и таким он способен верно изобразить себя, если ему не мешают. Об исключительности прожитой жизни нечего и говорить. Так что же — так и оставить ее не разгаданной, не прочитанной, не понятой — ни тобой, ни другими?

Вот в чем одна из важных причин появления и роста машинописной художественной литературы. Подчеркиваю — художественной, потому что в ней встречается немало и сенсационного вздора. Замечу, что подлинная литература, остающаяся до поры до времени в рукописном виде, отнюдь не направлена против революционной идеи, во имя которой, подчас с мучительными тяготами, растет и развивается наша страна. Она с существенной остротой направлена против сталинского произвола и роковых пережитков этого произвола. Она вскрывает недостатки современного положения дел, но вскрывает их искренно и с желанием добра. Зато наша литературная политика — вот пункт, против которого она направлена, можно сказать, самим фактом своего существования.

Что же делать с этой новой, не желающей лгать и притворяться литературой? Что делать с писателями, которые перестали бояться, которые заняли нравственную позицию в жизни и литературе — позицию, которая дороже для них, чем сама жизнь? С ними ничего нельзя сделать. Они работают и будут работать — в безвестности, в одиночестве, в безмолвии, лишенные поддержки и воодушевленные лишь сочувствием интеллигентного круга, который становится все шире и глубже.

Так как же убедить тех, от кого это зависит, что политика запретов, сдерживания, насильственных сокращений вредна и не достигает цели? Тираж радищевского „Путешествия из Петербурга в Москву“ был уничтожен, осталось 18 экземпляров — и это не помешало книге стать могучим орудием развития русской общественной мысли.

В любой области культурной жизни страны широко используется предшествующий опыт. Так почему же ничему не научила нас история с романом „Доктор Живаго“? С „Крутым маршрутом“ Е. Гинзбург? Почему запрещают у нас первоклассные произведения, зная почти наверное, что они попадут за границу и будут использованы как бесспорное свидетельство гонений на советскую литературу? Примеры общеизвестны. Они множатся и будут множиться, если те, от кого это зависит, не возьмутся, наконец, за ум и не пересмотрят со всей серьезностью, что „нельзя“, а что „можно“ и „должно“.

Картина нашей литературы сложна. В ней можно найти, например, сторонников полной изоляции, основанной на идее православия. Можно найти вольных или невольных пособников фашизма. Я призываю лишь к одному — *увидеть* эту картину, не стоять перед ней с закрытыми глазами. Понять, наконец, что если литература изменилась и продолжает изменяться вместе со страной, так должны измениться и принципы „управления“ ею, если уж оно действительно необходимо. Электрическую лампочку нельзя, как известно, зажечь с помощью спички. Не слепое сдерживание во что бы то ни стало, а *размышление* должно стать основой литературной политики. Не казенный оптимизм, а стремление умно и точно взвесить ту пользу, которую может принести литература духовному развитию народа.

Товарищи, я выступил с этой речью не потому, что надеялся, что мне удастся убедить руководящих деятелей нашей литературы в своей правоте. Мне уже случалось излагать эти свои соображения в ЦК КПСС. Меня вежливо выслушали, но ничего не изменилось. Я выступил здесь потому, что эти мысли, от которых я при всем желании не мог освободиться, мешали мне спокойно работать».

8

Мое вступительное слово на семидесятипятилетии Паустовского было похоже на эту речь, но я, разумеется, не забыл о юбилейной дате и говорил, главным образом, о нем. Однако мне удалось, кажется, связать его деятельность не только с происходящей «на глубине» борьбой направлений: «Есть и другая борьба — между подлинной и мнимой литературой, между искренностью и выспренностью, между прямотой и обходными путями, между литературой выстраданной и литературой „на случай“».

Вслед за мной Н. Атаров несколько неожиданно противопоставил Паустовского хунвейбинам (!), заметив, впрочем, что, «будучи всю жизнь верным самому себе, он врал меньше других и потому... за долгие годы творчества построил целый мир образов, с которыми нам хорошо живется». В его речи почувствовалось стремление обойти общие вопросы. Это можно сказать и о В. Шкловском, выступление которого, как всегда блестящее, прозвучало, тем не менее, пусто, потому что и он ничего не сказал о том, что всех волновало. Тарковский, в противоположность бессвязному блеску Шкловского, убедительно и просто говорил о том, что «совесть — душа чести, и народ знает, что честь без нее — пустой звук. Совесть чувствует и мыслит, а душа говорит».

Слушая Тарковского, я подумал о том, как долго терзался он безвестностью, невозможностью печататься, одиночеством, как долго для его поэзии не находилось

места только потому, что он истинный поэт. Все это отразилось в его умной, но осторожной речи.

Потом выступил критик А. Н. Макаров, который смело мог в тех же выражениях сказать, что он думает о Паустовском, на Четвертом съезде, и стало казаться, что вечер покатится по проторенному пути, ничем не отличаясь от других юбилейных вечеров. Но неожиданно попросил слова А. Яшин, который начал с откровенного заявления о том, что ему влетит за то, что он намерен сказать,— и сразу же определилось то, что можно, пожалуй, назвать «оппозиционной атмосферой». Он горячо поблагодарил Паустовского за «напечатание одного маленького рассказа во втором сборнике „Литературной Москвы"» (конечно, он имел в виду «Рычаги»)... «после чего я сразу лишился и тиражей, и гонораров, и всего прочего. Я на всю жизнь благодарен ему бесконечно за это. Он пробудил во мне совесть человека. Низкий ему поклон за то, что он так изменил мою жизнь». Потом Яшин сказал, что русская литература всегда считалась совестью народа, и спросил, думают ли об этом писатели, «олицетворяющие партийность» (А. Яшин был членом партии). Потом, упомянув о том, что он «человек не из робких», прочел Паустовскому стихотворение «Переходные вопросы»:

А в чем моя вера?
Опора?
Основа?
Кого для примера
Брать —
Слова Толстого?

С ружьем, зачехленным
Без дела, до осени
Томлюсь,
Окруженный
Пустыми вопросами.

Конечно, проклятыми,
Конечно, немодными.
Давно бородатыми
И все переходными.

«Любить своих ближних,
Трубить славу жизни?»
А если не любится?
А если не трубится?

«О слабых заботиться?
О сильных тревожиться?»
А если не хочется?
А если не можется?
А если в судьбе у меня
Бездорожица?

Не новую повесть
В душе перетрясываю,
А может быть, совесть —
Понятье внеклассовое?

А может, все пошлое,
Фальшивое, тошное,
Продажность и ложь —
Не назовешь
Пережитками прошлого?

Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в бога не верится,
И с чертом не ладится.

Нечего и говорить о том, как была встречена речь и стихотворение Яшина. Аплодисменты долго не умолкали. Я забыл упомянуть, что Дом литераторов в этот вечер был переполнен. В Большом зале, рассчитанном на 600 мест, яблоку негде было упасть. Под репродукторами, вынесенными в гостиные и на лестницы, сидели и стояли люди.

Кажется, именно после речи Яшина выступил любящий юбилей и умеющий их

украшать Иван Семенович Козловский. На этот раз он начал не с традиционной «Славы», а сказал маленькую ироническую речь, упомянув о том, что на вечер «явился весь президиум и даже Михалков не опоздал». Легко представить себе, какую реакцию вызвали эти слова: из президиума (Козловский разумел Секретариат) не пришел никто, а Михалков опоздал на добрых полтора часа. Казалось бы, ничего особенного не было в его появлении. Но и на сцене и в зале уже сложилась «антиофициальная атмосфера», а в литературных кругах трудно назвать другого деятеля, который был бы в такой степени ей противопоказан.

У меня нет никакого желания грязнить эти страницы изображением литератора, сказавшего мне после смерти Сталина с искренней горечью и даже почти не заикаясь: «Двадцать лет работы — собаке под хвост!» Скажу только, что он живое воплощение язвы продажности, разъедавшей и разъедающей нашу литературу...

Козловский спел «Славу», потом, устроив целый спектакль, прелестный, с участием хора мальчиков, сказал что-то сердечное и простое о Паустовском. И вдруг на кафедре без моего приглашения появился Михалков. Это взбесило меня, и, забыв от волнения его отчество, я громко сказал:

— Сергей Михалыч, здесь я — председатель, а я не давал вам слова.

Он заморгал и покорно покинул кафедру, хотя уже произнес первые слова речи. Я назвал Ю. Бондарева, которому его друзья тогда еще подавали руку, он по бумажке прочитал что-то осторожно-восторженное, и тогда Михалков, заикаясь, спросил меня:

— Те-те-перь можно?

Забавно было убедиться в том, как мгновенно стерлось, растаяло высокое положение, ради которого столько подлостей было совершено, столько похлопываний по плечу, наград и орденов было вымолено едва ли не на коленях. Литературный вельможа стоял перед московскими писателями (которыми он номинально руководил), как провинившийся школьник.

Я дал ему слово, и он неудачно начал с заявления, что опоздал потому, что выступал перед избирателями — не помню, куда его назначали, кажется, в Московский Совет.

И Козловский, прервав его, немедленно изобразил свое благоговение перед такой государственно важной причиной, с благоговением поднял руки и смиренно подогнул колени.

В зале оглушительно захохотали. Михалков, растерянно моргая, умолк.

Он как-то рассказывал мне, что упорно лечился от заикания — в этот вечер легко было убедиться, что его усилия пропали напрасно. Длинные паузы, когда он силился закончить фразу, ежеминутно прерывали его неопределенную речь. Зрелище было жалкое, может быть, еще и потому, что Михалков, как известно, мужчина крупный, здоровенный, с длинными и одновременно толстыми ногами, и видеть его нерешительным, растерянным было неприятно и почему-то стыдно. Он вскоре ушел.

После него выступили А. Бек, Б. Балтер, М. Алигер, и в зале вновь установилась та атмосфера независимости, которая сделала этот вечер в глазах всех честных писателей событием, а в глазах Секретариата и начальства — серией возмутительных происшествий, нарушающих установленную Четвертым съездом формулу, гласящую, что «советская литература развивается более чем успешно, потому что она опирается на незыблемые принципы марксизма-ленинизма».

На другой день я получил маленькое письмо от Солженицына:

«Дорогой Вениамин Александрович!

Посылаю Вам обещанную стенограмму „Р. К." (без возврата). На обороте одного листа намазали рязанские писатели.

Все мы, присутствующие, высоко оценили Вашу речь на юбилее Константина Георгиевича. Звучало сильно и перешибло скуку съезда. Звучало так, как будто от съезда прошло десять лет.

Жму руку!
Искренне Ваш

2.6.67 *Солженицын*».

9

В конце августа я получил от него второе письмо:

«Дорогой Вениамин Александрович! Мне важно Ваше мнение и совет по одному вопросу. Я убедился за это время, как Вы превосходно понимаете общую литературную обстановку, и хочется знать Ваши соображения по прилагаемому.

Я не знаю, когда смогу быть в Переделкине и когда будете там Вы. Поэтому использую с Вашего разрешения заочный метод. Какие у Вас будут мысли, мне переда-

дут, хорошо? Тут особенно важен еще выбор момента: начало октября или начало декабря? И слишком рано не стоит и опаздывать нельзя.

Мой поклон Лидии Николаевне.

С самыми дружескими пожеланиями.

Солженицын».

Прилагаемое было, если не ошибаюсь, проект нового послания, которое он на этот раз собрался послать в Секретариат, всем сорока его секретарям, ни много ни мало. Не знаю, почему он считал меня знатоком «общей литературной обстановки». К моим советам он не то что не прислушивался, но как бы взвешивал их, а потом решал посвоему. Так, однажды (это было на даче К. Чуковского), когда мы обсуждали, кто мог бы поддержать его новое письмо, он вдруг назвал В. Катаева (!), а когда я предупредил его, что хозяин может спустить его с лестницы, все-таки пошел к нему и был, против ожидания, принят любезно. Здесь любопытно то обстоятельство, что он надеялся заинтересовать своими делами даже такого широко известного своей лживостью и предательством писателя, как Катаев. Но мне это показалось неразборчивостью, и я ему об этом сказал. Он отшутился.

Положение, в котором он тогда находился, можно смело назвать безвыходным, безнадежным. В течение моей жизни я не встречал литератора, который не отступил бы, не поддался бы обещаниям или угрозам.

На закрытых инструктажах, активах, семинарах распространяются фантастические слухи, что он бежал в Англию, видные деятели нашей государственной «элиты» публично выражают сожаление, что он не умер в лагере. Утверждают, что он еврей — Солженицер. «Один день Ивана Денисовича» (изданный миллионным тиражом) тайно изымается из библиотек. Его называют власовцем, уголовным преступником, дезертиром. Уже объявленные публичные выступления отменены. С точки зрения агитационно-бюрократической машины, он превращен в прах, в пыль. Он больше не существует.

В подобном положении был только М. Зощенко, которого травили, а потом унизительно «не замечали» двенадцать лет. Но и человек был другой, и время другое. Михаилу Михайловичу важно было защитить свое достоинство, добиться возможности работать. Он не нападал, а защищался. Он не признавал себя виновным, но обвинять других — это ему и в голову не приходило. Воспользоваться мнимым, ничего не значащим званием члена Союза писателей — от подобного намерения, которое Солженицын превратил в орудие нападения, он был бесконечно далек. Между тем письмо Секретариату, которое он послал не в декабре и не в октябре, а в сентябре, целиком построено как раз на той мысли, что он, Солженицын,— член Союза писателей, а руководители Союза не защищают его от клеветы, не помогают ему опубликовать «Раковый корпус» и т. д.— короче говоря, уклоняются от своих прямых обязанностей: «Секретари правления СП СССР Г. Марков, К. Воронков, С. Сартаков, Л. Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 года заявили, что Правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространившуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается... Те же секретари Правления обещали „рассмотреть вопрос" по крайней мере о моей последней повести „Раковый корпус". Но за три месяца... сорок два секретаря Правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендации о ее печатании... А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить ее печатать, если мы хотим ее появления сперва на русском языке, что в таких условиях мы не сможем остановить ее появления на Западе».

Это дерзкое письмо кончалось прямым оскорблением «...если так произойдет, то по явной вине (а может быть, и по тайному желанию) Секретариата», и не менее дерзким требованием: «Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно». Письмо было отправлено 12 сентября, а через десять дней 30 секретарей — ни много ни мало — собрались со всего Советского Союза, чтобы участвовать в заседании по разбору поведения Солженицына. Присутствовал и представитель ЦК Мелентьев. Заседание продолжалось пять часов. За 56 лет своей работы в литературе я ничего похожего не помню.

10

Не стану подробно пересказывать «Изложение заседания Секретариата», которое через несколько дней прислал мне Солженицын. Я прочитал его с изумлением. Какой цепкостью памяти, каким искусством мгновенно отражать нападение, какой маневренностью нужно обладать, чтобы превратить намеченный суд над ним в суд над Секретариатом! В течение пятичасового заседания (началось в 13 часов, кончилось около 18) ни единой минуты не было потеряно даром! Он не только слушал, возражал, уличал, задавал вопросы, но успевал записать и то, и другое, и третье. Да и незаписанное впоследствии ему пригодилось: в книге «Бодался теленок с дубом» он дал несколько таких схваченных на лету этюдов, что просто диву даешься, вспоминая, что он впервые встретился «с натурой». Таков, например, портрет Федина, в котором его настоящее точно и беспощадно объясняется прошлым. Один литератор метко заметил, что Солженицын играет с Секретариатом, как пушкинский Балда с чертенятами. И действительно — Секретариат собирался не раз, то в полном, то в сокращенном составе, и члены его каждый раз неудачно пытались обвести Солженицына. Неудача заключалась в том, что им не только не удавалось заставить Солженицына выступить с «четким ответом на буржуазную клевету для того, чтобы прекратить шум на Западе вокруг его писем» (Марков), во главным образом в том, что он противопоставлял секретности — публичность. Можно смело сказать, что благодаря его быстро распространившемуся «Изложению» перед всем миром раскрылось убожество нашей литературной администрации, отсутствие мысли, неповоротливость, тупость, лень и, наконец, очевидная нелепость самого существования Секретариата, фактически бездействующего и управляемого лишь несколькими «деловыми людьми», вроде бывшего бухгалтера С. Сартакова — людьми, перед которыми оргсекретарь Ю. Верченко (я был этому свидетелем) пресмыкался (и пресмыкается до сих пор). Кстати сказать, именно после «Изложения» гебисты на процессах не давали записывать, стирали пленку и т. п., а протестующих тащили в отделение. Впрочем, первой, кажется, стала записывать милая, спокойная, отважная, по-рыцарски благородная Ф. Вигдорова.

11

«Портреты» в «Теленке» относятся не только к отдельным лицам. Важно отметить, что Солженицыну пригодился самый «портрет атмосферы», в которой происходила борьба с Секретариатом. И едва ли я ошибаюсь, предполагая, что этим «портретом» Солженицын предполагал воспользоваться не только в «Теленке», но, как это ни странно, в романе «Август Четырнадцатого». Вспомните сцену схватки между Воротынцевым и Ставкой Верховного главнокомандующего, когда, в более чем рискованном положении, он упрекает генералов от инфантерии и кавалерии в августовском поражении и неопровержимо доказывает, что битву можно было выиграть, если бы не преступная недальновидность командующих армиями и дивизиями. Конечно, даже какой-нибудь бездарный генерал Жилинский в сравнении с К. Воронковым — Сократ, но Солженицын не сравнивал, он прислушивался к «атмосфере сходства». Воротынцев — один против всех, он опрокидывает ложные доказательства неизбежности разгрома, он нарушает субординацию, возражая главнокомандующему, великому князю Сергею Александровичу. Он дерзко настаивает на своей правоте. Вспоминалась ли Солженицыну, когда он работал над этой главой, сцена в Секретариате 22 сентября 1967 года? Полагаю, что да. Ведь для него от локальности до глобальности — один шаг.

12

Маленькое отступление

В «Теленке»[1] сделан этот шаг, вопреки подчеркнутой вещественности книги, оттолкнувшей от Солженицына многих. И то сказать, он действительно показал непонимание значения «Нового мира», который существовал для всех истинных писателей, а не только для него. Он несправедливо оскорбил В. Лакшина, который горячо и искренне приветствовал появление Солженицына в литературе. Он бестактно рассказал о Твардовском, хотя, без сомнения, всегда любил и уважал его. Вопреки тому, что многие страницы — фантастическая по своей сложности работа над «Архипелагом», арест, допрос, камера, высылка написаны с характерной для него настоятельной простотой и силой, перед нами — нескромная книга, в которой автор с такой же настоятельностью сосредоточен на самом себе. Я упомянул об отсутствии такта — это связано с отсутствием вкуса. Впрочем, может быть, отсутствие — слишком сильное слово. Но как назвать появление Авиэты в «Раковом корпусе», непризнанного художника в «Круге первом», о котором я уже упоминал? Конечно, могучему таланту прощается многое. Что за беда, если автору «Архипелага» подчас не хватает вкуса? Об этом не стоило бы и говорить, если бы автор не настаивал на своем недостатке. Но он настаивает: об этом говорит и его отвлеченная философская пьеса, в которой действуют герои с гриновскими фамилиями. И вмонтированная в «Август Четырнадцатого» кинохроника. И книга «Прусские ночи», убедительно доказавшая, что он ошибается, считая себя поэтом.

[1] «Бодался теленок с дубом».

13

«Раковый корпус» не был опубликован, хотя в игре Балды с чертенитами были перепады, когда казалось, что чертенята близки к отступлению. На одном из заседаний Секретариата вопрос, возможно, был бы решен положительно, если бы Федин воспользовался своим положением руководителя Союза, проголосовав за опубликование повести. Он струсил, отступился, тогда-то я и написал ему свое письмо, быстро разошедшееся по Москве, по стране, хотя оно было вовсе не «открытым», а сугубо личным. Текст его приведен в главе о Твардовском. Оценить поведение Федина без взгляда в его прошлое — было невозможно, и я сделал это, разорвав навсегда наши продолжавшиеся более сорока лет отношения.

Через два года деятельность правозащитников (которых почему-то назвали диссидентами) развернулась.

Я уже упоминал о том, что мой телефон надолго замолчал — я был в числе «подписантов». Мое имя было вычеркнуто из всех издательских планов. «Литературная газета» сообщила о том, что я наслаждаюсь слушанием моих писем и выступлений, которые передавались по «Немецкой волне» и «Свободе». Репрессии усилились, и когда видного общественного деятеля и моего хорошего знакомого Жореса Медведева посадили в психиатрическую лечебницу, мы с женой съездили в Калугу, чтобы навестить его и оставить директору больницы Лифшицу письмо, в котором я утверждал, что Медведев совершенно здоров, и требовал его освобождения.

В ту пору происходили десятки подобных происшествий, о которых написаны десятки книг, что дает мне возможность не останавливаться на этой далеко не последней общественной схватке между правительством и инакомыслящими. Упоминаю о поездке в Калугу потому, что результатом ее был вызов в Секретариат, где я должен был держать ответ за свои преступления. Отмечу, что вызов опоздал — меня пригласили к трем часам, а в двенадцать позвонил Рой Александрович Медведев, известный историк, и сообщил, что его брат — на свободе. Таким образом в моих руках оказалась козырная карта — вероятнее всего, я знал то, о чем руководители Союза писателей не знали.

Заседание состоялось под председательством С. Наровчатова, который был тогда председателем Московской писательской организации. Присутствовали В. Н. Ильин, секретарь парторганизации А. Н. Васильев (один из общественных обвинителей в деле Синявского — Даниэля) и все члены тогдашнего Секретариата. В сторонке сидел черненький неизвестный молодой человек, оказавшийся вскоре чрезвычайно смешливым. Он ничего не записывал — зачем? Не было сомнении в том, что под столом бесшумно работал соответствующий аппарат.

Наровчатов начал с чтения моего письма доктору Лифшицу, предварительно сообщив, что его переслал в Союз Калужский обком.

— Это ваше письмо?

— Да. И я рад, что больше мне, очевидно, не придется писать доктору Лифшицу, потому что Медведева выписали из больницы.

Немедленно произошло то, что в репортерских отчетах называется «общим движением».

— Как выписали? — закричал Ильин.

— Очень просто. Признали здоровым.

— Где он?

— Дома. С женой и детьми.

Впоследствии братья Медведевы опубликовали книгу «Кто сумасшедший?», в которой подробно рассказывается вся история общественных выступлений в защиту Жореса Александровича. Моя поездка в Калугу и письмо заведующему были едва заметны в этом движении, охватившем широкий круг интеллигенции: протестовали академики и видные деятели искусства у нас и за рубежом. Мы с женой навестили Медведева вслед за Твардовским и Тендряковым. Мое письмо Лифшицу было фактом незначительным — многие писали не Лифшицу, а в ЦК. Секретариат воспользовался моей поездкой, чтобы устроить маленький «показательный процесс» — и вот задуманное мероприятие (за которое, может быть, похвалили кого-нибудь в ЦК) зашаталось с первого слова.

— Но, может быть, вы все-таки расскажете нам о своих отношениях с Медведевым? — спросил Наровчатов.

Я ответил, что знаком с Жоресом Александровичем давно, с конца пятидесятых годов, знаю его как талантливого биолога, который сумел противопоставить свой ясный логический ум шарлатанству и жульничеству Лысенко.

Здесь я заметил, что черненький молодой человек в первый раз засмеялся. Не знаю, что его рассмешило.

— Когда я работал над своим романом «Двойной портрет»,— продолжал я,— Медведев помогал мне советами, за что я ему глубоко благодарен.

На этом допрос мог бы, в сущности, закончиться, но, очевидно, почувствовав неловкость, Наровчатов возобновил разговор.

— Вениамин Александрович, ведь вы — умница,— мягко сказал он,— вы знаете, что каждое слово советского писателя взвешивается за рубежом, неужели вы не понимаете, что вашей позицией пользуются враги? Я оценил бы передачи «Немецкой волны» как вмешательство в вашу жизнь. Что же, выходит, что вы это вмешательство одобряете?

Я ответил, что был бы решительно против подобного вмешательства, если бы оно существовало.

— Почему бы вам не выступить в печати с письмом, хотя бы коротким, из которого было бы ясно, что вы против враждебной интерпретации ваших высказываний и писем?

— Потому что их враждебно интерпретируют не за рубежом, а в «Литературной газете».

Молодой человек снова засмеялся, на этот раз довольно громко. Очевидно, его от души забавляли мои ответы.

Разговор в этом духе продолжался долго: говорили, что мне ничего не стоит напечатать маленькое письмо, десять слов. Опубликовал же подобное письмо такой-то и такой-то? Я отвечал, что у них — своя жизнь, а у меня — своя, и в моей — ни короткому, ни длинному письму нет места. Говорили о моем обращении к Федину, и я ответил, что решительно не понимаю, каким образом оно распространилось после того, как его единственный экземпляр был опущен моей рукой в почтовый ящик адресата. О том, что, по слухам, Федин ездил с моим письмом в ЦК, я не упомянул — не был в этом уверен. Но о том, что покойная Михайлова, секретарь Федина, работала в КГБ, сказал, добавив, что письмо прежде всего должно было попасть в ее руки. Это был косвенный намек на то, что сами работники КГБ распространяют подобные документы — и нет ничего удивительного в том, что мое предположение насчет Михайловой было встречено неловким молчанием.

— С первого взгляда видно, что это письмо — личное,— сказал я.— Обращение на «ты», некоторые намеки, понятные только мне и Федину. Я был заинтересован не в распространении письма, а в том, чтобы председатель Союза писателей поддержал «Раковый корпус».

Потом заговорили о «Раковом корпусе», и в эту минуту случилось то, что в старину называлось «qui pro quo», как бы подчеркнувшее мою независимость, что было очень кстати. В разгаре спора я спросил Васильева:

— Как вас зовут?

Мне действительно надо было узнать его имя-отчество, он больше всех кипятился, нападая на «Раковый корпус». Васильев растерянно заморгал, а неизвестный молодой человек так и покатился со смеху. Очевидно, ему показалось очень забавным, что я не знаю, как зовут секретаря парторганизации.

— Я... э-э-э, я — Васильев.

— Да нет, как ваше имя-отчество?

— Аркадий Николаевич.

— А вы знаете, Аркадий Николаевич, что Солженицын написал «Раковый корпус» с искренней целью найти свое место в советской литературе? Он, по просьбе Твардовского, пошел навстречу вам этой повестью, а вы вместо того, чтобы поддержать его...

Не помню, какие еще доводы я приводил в защиту *доверия*, но помню, что (как всегда в таких случаях) не спотыкался и сразу находил верное слово. Когда я, наконец, замолчал, Наровчатов решил подвести итог.

— Мы говорим уже два часа,— сказал он.— И я надеюсь, что Вениамин Александрович учтет наши просьбы и пожелания. В конце концов...

Я прервал его.

— Сергей Сергеевич, прежде чем разойтись, мне хотелось бы... До сих пор я слушал ваши претензии, теперь попрошу выслушать мои.

Не знаю, что на меня нашло и почему я так разбежался, может быть (как это было в Ленинграде, в НКВД, на допросе в сентябре 1941 года), обрадовался, что удалось отбиться, но разговор вдруг как бы повернулся на невидимой оси и принял другой оборот в буквальном смысле этого слова.

— Вот вы читали в «Литературке», что я в своем обращении к Федину оболгал Секретариат — почему, зная, что это — неправда, вы за меня не заступились? Почему вы не ответили на мое протестующее письмо, когда меня оскорбили, напечатав вздор о том, что я занимаюсь главным образом тем, что слушаю передачи о себе зарубежных радиостанций? Почему мое имя вычеркивается из всех издательских планов, и для того, чтобы опубликовать сказку в «Пионере», мне пришлось обратиться в ЦК? Или рука бы отвалилась, если бы кому-нибудь из вас пришло в голову снять трубку и позвонить мне, хотя бы для того, чтобы спросить, как я себя чувствую, а я последнее время часто хвораю?

В. Н. Ильин отодвинулся — он сидел в кресле — и за креслом я увидел небольшой столик, на котором лежала груда папок высотой — чтобы не соврать — в полметра... Не знаю, что это было, но мне мигом вспомнилась огромная папка, лежавшая на столе Поликарпова и содержащая материалы, связанные со статьей «Белые пятна». Теперь перед моими глазами выросла гора таких папок, и хотя Ильин заглянул только в одну из них, я понял, что мне предстоит выслушать обвинительную речь. Нельзя сказать, что это была глубокая речь — так же, как на ленинградском допросе,— мы с Ильиным оказались на разных уровнях, хотя тогда меня допрашивал, вероятно, старший лейтенант, а Виктор Николаевич был генералом с многолетним стажем. Пожалуй, можно даже сказать, что это была сдержанная речь, но когда он сказал, что, заступаясь за политических преступников, мне волей-неволей приходится подчеркивать единство наших взглядов, я взорвался:

— Я родился и вырос в Пскове, и когда через город, в котором был каторжный централ, проводили кандальников, не было бабы, которая не сунула бы в руку арестанта яичко! Я с детства привык помогать заключенным и не намерен отказываться от этой привычки! Когда мой старший брат, знаменитый ученый, был в третий раз арестован, я всю ночь звонил Берии — и дозвонился в конце концов: сказали, что дело брата лежит на столе наркома. Не я один, многие заступались за арестованных — почему же тогда, при Сталине, это было можно, а теперь нельзя?..

По-видимому, то, что я поставил Берию в пример нашему Секретариату, произвело впечатление, потому что в дальнейшем разговор принял доброжелательно-мягкий характер, и я вернулся домой — как мне показалось — с ощущением победы.

О Твардовском

1

Впервые я встретил Твардовского весной 1941 года в Ялте, и тогда он не пробудил во мне ничего, кроме холодного интереса. На меня, с детских лет потрясенного Блоком, влюбленного в Пастернака, «Страна Муравия» не произвела сильного впечатления. Мне казалось, что Некрасова нельзя продолжать, что преодолеть его исчерпывающую определенность может лишь поэт, обладающий талантом, еще небывалым в нашей поэзии.

В Ялте я познакомился с молодым человеком, который был так щедро оделен природой, что мог полноценно существовать и без этой великанской задачи. Он был очень хорош собой, белокурый, с ясными голубыми глазами. Он был знаменитым поэтом, и слава его была не схваченная на лету, не легковесно-эстрадная, а заслуженная, обещающая.

Он держался несколько в стороне. Точнее сказать, между ним и собеседником сразу же устанавливалось подчас незначительное, а подчас беспредельное расстояние. Возможно, что это было связано с прямодушием Твардовского: из гордости он не желал скрывать свои мнения.

Чуть ли не с первого слова он сказал мне, что в романе «Два капитана» (первая часть которого только что появилась) удался по своей новизне один только Ромашов, а все остальные лица более или менее рельефное отражение героев и прежде известных литературе.

— Но ведь это не так уж и мало? — с неожиданной мягкостью спросил он.

Я не согласился, но и спорить не стал.

Не только прямодушие было причиной некоторой пустоты, которая как-то невольно вокруг него образовалась. Для него — это сразу чувствовалось — литература была священным делом жизни — вот почему тех, для кого она была всего лишь способом существования, точно ветром от него относило.

Я бы солгал, уверяя, что уже задумался над хранившейся в душевной глубине нравственной силой Твардовского, может быть, невнятной еще для него. Еще меньше я мог предположить, что придет время, когда эта сила, всецело принадлежавшая исторической полосе, в которой мы существовали, приобретет те черты цельности и новизны, которые двинут вперед его поэзию, а вместе с ней и всю нашу поэзию. Я только смутно заподозрил, что за резкостью его литературных мнений таится застенчивость, а за мрачноватостью и немногословностью — мягкость и любовь к людям.

Василий Гроссман, с которым Твардовский был дружен, в случайном разговоре подтвердил эту догадку, но подтвердил как-то нехотя, морщась. Его в Твардовском интересовало другое.

— Подумать только,— сказал он,— кажется, все дано — красота, слава! А вот я вчера назвал его «Трифоныч» — и он обиделся. Да как! Не разговаривал со мной целый день.

Я подумал, что обращение «Трифоныч» в устах язвительного, умного, редко шутившего Гроссмана могло прозвучать и обидно. В «Трифоныче» было что-то не то трактирное, не то ямщицкое.

Но все это мелькнуло и исчезло. Была весна, много смеялись, ездили на «Орлиный залет», изящный Роскин остроумно шутил, Евгений Петров, открывая окно своей комнаты, кричал: «Гей, славяне! Еще два слова написал!» Паустовский неторопливо, вкусно рассказывал своим хрипловатым голосом необыкновенные истории. По утрам Гайдар будил нас пионерским горном, по вечерам Габрилович весело барабанил на рояле, и мы танцевали в уютной стеклянной гостиной, увитой снаружи маленькими вьющимися розами. Но случалось и другое. Однажды, собравшись перед сном вокруг радиоприемника, мы услышали голос Гитлера, лающий, рвущийся, срывающийся на истерической ноте. Пауза — и угрожающий рев штурмовиков. Две фразы — и снова рев. Клятва. «Хорст Вессель». Тишина.

Гроссман обвел глазами серьезные лица.

— Ну, кто первый? — спросил он голосом, не оставляющим и тени надежды.

2

Картина беззаботного отдыха в Ялте была бы недостоверна, если бы я не рассказал, чем кончился для меня этот отдых.

За три-четыре дня до намеченного отъезда из Ялты я был вызван телеграммой в Москву. Необходимо было возможно скорее передать Берии, тогдашнему министру госбезопасности, бумаги, которые помогли бы освобождению брата (об этом — в главе «Старший брат»). Это история трагически-сложная, к Твардовскому она не имеет ни малейшего отношения, и я упомянул о ней с единственной целью — напомнить, что и танцевали мы, и ездили на экскурсии, и веселились, чувствуя у виска — как герой честертоновского романа «Жив человек» — холодное дуло пистолета.

3

Прошли два года, да не прошли, а промчались, пролетели, перемешав события, понятия, лица. Из тех, кто слушал речь Гитлера в тот памятный вечер, первым оказался Роскин, погибший в московском ополчении, вторым — Евгений Петров. Дом с увитой розами стеклянной гостиной лежал в развалинах, Ялту занимали немцы, война, которая еще недавно была воплощением внезапности, сгустком потрясений, стала ежедневностью, бытом, трудом, объединившим всех, от мала до велика.

Мы встретились на улице Горького, я приехал из Заполярья, с Северного флота, Твардовский — с Юго-Западного фронта. Он похудел, загорел, военная форма шла к нему, он выглядел совсем молодым и добродушно-бравым.

Не помню, о чем мы говорили, но ясно помню, что разговор был свободный, без прежней ялтинской отдаленности. Но и близости не было, тем более, что едва познакомившись, мы не виделись два — и каких! — года.

Твардовский жил тогда на улице Горького, мы сошлись в двух шагах от его дома и после семи-восьми фраз — как, где, откуда, куда? — он вдруг пригласил меня к себе.

— Водочка есть. Зашли, а?

Почему-то я решил, что он зовет меня к себе только потому, что одному пить скучно. Да и не мог я пить! Не прошло и двух недель, как я выписался из госпиталя в Полярном, до Москвы добрался не без труда и наконец — этому трудно поверить — вообще никогда не пил водку. Надо было попросту рассказать все это Твардовскому. Но я постеснялся, промолчал — а он не стал настаивать. Мы простились, но тут же он обернулся.

— Ах, да! Хотел вам сказать... Читал ваши очерки.

— И каковы?

— Что же! Видно, что у вас в руке перо, а не полено.

4

Не было ни единой точки пересечения, в которой его жизнь хоть на мгновение сошлась с моей. Он жил в Москве, я — в Ленинграде, а перебравшись в 1947 году в Москву, встречался с ним случайно и редко. Но мы оба работали и — не знаю, как он, а я пристально следил за его работой.

Для меня важно было, прочитав «Дом у дороги» и «Я убит подо Ржевом», убедиться, что в нашей литературе утвердился поэт, сумевший схватить бесценный «миг узнаванья»,— тот миг, который на сто лет вперед останется инструментом познания сражающейся России. Я понял, что жизненный опыт, соединившийся с любовью к русской поэзии, всегда бившейся в стихах Твардовского, научили его и впредь схватывать эти «освещенные молнией навек» (Пастернак) мгновения. Что осознав себя как поэта

народного, Твардовский уверенно займет свое, особенное место в нашем искусстве. Что влияние на него Некрасова теперь впору вспоминать литературоведам, а нам, его товарищам по работе, важно, куда будет впредь обращен его поэтический взгляд.

5

Чехов считал, что критические статьи о себе читать надо не сразу: надо отложить их в сторонку, дождаться ясного летнего дня, запастись пивком и где-нибудь в прохладе, в тени, в саду прочитать их все сразу.

Именно так должен был поступить и я, напечатав в 1949 году первую часть романа «Открытая книга». И до той поры резкая критическая статья производила на меня глубокое впечатление. Однако подчас я понимал, какую цель преследовал автор, и в чем он меня упрекал. Но решительно ничего не мог я понять, прочитав шестнадцать статей, оценивающих первую часть моего романа. Почему-то особенное отвращение вызвала гимназическая дуэль, о которой я рассказал на первых страницах. Никто не отрицал, что она была возможна в 1916 году, но дерзость, с которой я осмелился остановить на ней внимание читателя, казалась критикам непростительной, беспрецедентной: «Любование дореволюционным бытом»,— вот куда единодушно гнули они, не замечая, что дуэль, как происшествие исключительное, нарушающее мирное течение жизни, никак не вяжется с понятием «быта». Кончались статьи горьким, а иногда грозным упреком в непонимании задач социалистического реализма.

«Провал» был продуманный, связанный с подложным письмом «читателей», состряпанным «Литературной газетой» (Ермилов), роман с тех пор много раз переиздавался и в целом получил совсем другую оценку. Но без упоминания о первой его части нельзя перейти ко второй («Доктор Власенкова»), напечатанной в «Новом мире» в 1952 году.

Зимой 1951 года я получил от Твардовского письмо, в котором он вежливо сообщал, что «много наслышан» о второй части романа и был бы рад познакомиться с нею. Месяца через два он заехал ко мне — веселый, летний, добродушный, в светлом костюме и подтвердил свое желание поскорее познакомиться с романом. Мы немного прошлись, дружески поговорили, и я, окрыленный, засел за роман.

И письмо, и этот приезд были для меня событием. Шумный «провал» первой части закрыл мне дорогу в издательства и журналы, и работу я продолжал просто потому, что не в силах был бросить начатое дело, стоившее мне упорного четырехлетнего труда. Но писал я теперь, хотя и старательно, но коряво, точно шел по просторному, ярко освещенному холодным светом коридору, спотыкаясь на каждом шагу.

Была в моей жизни трудная полоса, когда мучительная бессонница заставила меня прибегнуть к лечению гипнозом. И ночь проходила ровно, я крепко спал до утра. Но на другой день странное чувство «неодиночества» не покидало меня, хотя я был совершенно один в зимнем, теплом, просторном доме. Не знаю, кто оставался со мной, но кто-то оставался, а так как «он» был не только со мной, но и во мне — трудно было надеяться, что мне удастся избавиться от «него» до новой страницы. Так писалась вторая часть романа.

Ради беспристрастия следует заметить, что этот дух, заметно оживлявшийся, когда я садился за письменный стол, принадлежал к категории волшебных существ, которые любят людей. Это был добрый дух. В противном случае он не убеждал бы меня, что следует обходить некоторые стороны жизни, несмотря на то, что они в полной мере соответствовали замыслу романа.

Еще в большей степени желала мне счастья редакторша, которой «Новый мир» поручил приготовить роман для набора. Вот кто просто из сил выбивался, чтобы не допустить появления новых шестнадцати отрицательных статей! Ведь не только для меня, но и для журнала было важно доказать, что при умелом руководстве я способен усовершенствовать свое дарование даже в пределах того же произведения. «Александру Трифоновичу кажется, что...», «Я ничего не имею против, но Александр Трифонович...». Не знаю, что в действительности думал о моем романе Александр Трифонович. Подводя итоги, оказалось, что он возражает против каких бы то ни было личных отношений, кроме любви (в семейных границах) и коварства (при должном присмотре должностного лица).

Я защищался, и кое-что удалось отстоять. Мы ссорились. Однажды муж редакторши вышел из своего кабинета и сказал увещательно:

— Товарищи, вы же интеллигентные люди!

Искаженный до неузнаваемости, роман был напечатан на страницах «Нового мира» в 1952 году. Появились рецензии — немного, две или три. Отдавая должное моему упрямству, авторы в один голос утверждали, что, при всех недостатках, первая часть все-таки несомненно выше второй. Впоследствии я старательно восстановил первоначальный текст.

Прошел месяц, другой, и я случайно встретил Твардовского в Союзе писателей.

— Ну что ж! Почти «Джен Эйр»,— сказал он.

Тон его мне не понравился. В тоне было что-то снисходительное, ласково-насмешливое. Я промолчал. Не время и не место было упрекать его в том, что он допустил появление бледного подобия «Джен Эйр», с ее сентиментальной порядочностью и ангельской добротой, на страницах «Нового мира».

6

Другого Твардовского и другой журнал я встретил в 1960 году, когда принес в редакцию статью «Белые пятна». Я попытался восстановить в ней грубо искаженную историю группы «Серапионовы братья», рассказывал о трагической судьбе ни в чем не повинного Михаила Зощенко, восстанавливал по памяти свой последний разговор с Фадеевым незадолго до его самоубийства. Борьба журнала за опубликование этой статьи стоит внимания историка литературы. Она продолжалась пять лет — и под другим названием («За рабочим столом») статья с сильными сокращениями все-таки была опубликована в 1965 году.

Почему Твардовский и редакция, не сдаваясь, не уклоняясь, настаивали на опубликовании этой статьи? Потому что «Новый мир» был журналом, жизнь которого действительно состояла из цепи событий. У него было теперь не только будущее, но и прошлое, уходившее в историю русской общественной мысли. Стершееся понятие «традиции» ожило, заиграло. Оно стало осуществляться, как нападающее, причем объектом нападения была бедность мысли, серость языка, отсутствие достоинства, угодничество и лицемерие. На фоне упорной защиты традиций классической русской литературы острее ощущалось новаторство — вот почему все новое, свежее, талантливое потянулось к «Новому миру».

Но была и другая черта, еще более важная. Современность всегда интересна, неподмеченное, ненаблюдательное не перестает волновать. Но эту современность, ежедневность, злободневность журнал не мог и не хотел отъединить от нравственной цели, без которой грош цена любой занимательности, любой политической остроте.

Когда, в какой день и час произошел решительный поворот Твардовского к журналу? Не знаю. Думаю, что он был давно подготовлен к этому повороту, и что в то время, как он работал над своей поэзией, его поэзия работала над ним. Смысл этого взаимопроникновения заключался в том, что Твардовский, подобно Некрасову, положил в основу своего творчества поэтическую правду, которая по самой своей природе требовала более широкого поля деятельности, чем собственно литература. Так же, как и некрасовская, это была всеобъемлющего значения правда, для которой мало одной поэзии и которая в поэзии придерживается неизысканных, как бы самой народной речью рожденных форм.

Но были и внутренние причины, которые создали «Новый мир» Твардовского. О них я могу лишь догадываться. Без сомнения, те, кто помогал ему, учились у него многому и, прежде всего, умению поддерживать ту атмосферу ответственной любви к литературе, которую чувствовал любой писатель, переступавший порог редакции. Но и Твардовский, надо полагать, учился у своих помощников, которые кое в чем были даже и опытнее, чем он.

7

По-прежнему мы встречались редко, и поводы были теперь деловые, связанные с журналом. Но встречались и без повода, случайно, и не могу сказать, что между нами завязались отношения близости или, по меньшей мере, деятельного интереса друг к другу.

Может быть, ему была чужда моя «книжность» (о которой я впоследствии напечатал статью в том же «Новом мире»). Хотя ведь и он был «книжным» человеком, прекрасно знавшим историю русской литературы, что приятно удивило меня еще в Ялте! Но его книжность была другая — не вторгавшаяся в его поэзию, как моя — в мою прозу.

Так или иначе, встречаясь с ним, я все же не мог освободиться от чувства скованности. Мне все казалось, что и книг моих он не знает, и моей многолетней работе не придает значения. Вероятно, я ошибался, и причина была совсем другая, не имевшая к литературе никакого отношения: нам обоим мешала застенчивость, которую во мне еще труднее было предположить, чем в Твардовском.

Между тем годы шли шестидесятые. Я много работал и все написанное относил в «Новый мир». И Твардовский не упускал случая сказать, что он думает о моих произведениях. Иногда его мнение я слышал в передаче А. И. Кондратовича или В. Я. Лакшина.

Рассказ «Кусок стекла» понравился ему. Он позвонил мне и сердечно поздравил:

— Знаете, как у нас говорят молодым: «Пишите еще!»

Я знал о несходстве наших литературных вкусов: оно сказалось и в этом отзыве: рассказ был написан старательно, но неуверенно — соединение, не так уж редко встречающееся в прозе.

О повести «Семь пар нечистых» он выразился несколько неловко:

— Вот тут наши в один голос говорят, что это — лучшее из всего, что вы написали.

Я был несколько раздосадован. Уж и лучшее!

Но вот я предложил «Новому миру» роман «Двойной портрет» — и разговор с Твардовским был коротким, но мучительным, пожалуй, больше для него, чем для меня. Он говорил неловко, почти бессвязно, как бы сердись на себя. Он был огорчен, но очень старался, чтобы ни его огорчение, ни мое — в нем можно было не сомневаться — не затемнили, не заслонили сущности разговора. Роман не понравился ему. Он расценил его как неудачу, характерную для литературы половинчатой, полуправдивой.

— Беллетристика,— сказал он.

В «Новом мире» этому понятию придавали значение поверхностности, скольжения, игры, может быть и талантливой, но в конечном счете — бесполезной.

«Двойной портрет» — название профессиональное, хорошо известное не только художникам, но и любителям живописи. На одном холсте я попытался нарисовать два портрета — деятеля подлинной науки и холодного, не останавливающегося перед кровавым предательством карьериста. Как известно, в нашей биологической науке тридцать лет разбойничал Лысенко, показав человечеству единственный в своем роде феномен бреда, облеченного в форму закона, последовательно уничтожавшего прославленное русское земледелие.

Да и не только земледелие! В романе раскрыта лишь одна страница этой трагедии — страница, основанная на подлинных, хранящихся в моем архиве документах. Весь роман состоял (в первой редакции) из происшествий, поистине поразительных по той определенности, с которой выразилось в них время. Но должен ли я был идти за этой исключительностью — вот в чем усомнился Твардовский. Он полагал, что нет, не должен, а между тем я ринулся ей навстречу. Не слепая сила, не судьба погубила цвет русской биологии, вышедшей в двадцатых—тридцатых годах на мировую магистраль, а искусственно созданная атмосфера «мнимого чуда», фокусничества, фантастического по своему размаху «втирания очков». Об одной из самых страшных трагедий века я написал, по мнению Твардовского, слишком занимательно, без психологической глубины, без той проникновенности, которая одна только и способна озарить рыцарство одних, устоявших, нравственно победивших и низость других, вознесшихся, занявших чужие места и смертельно боявшихся, что придет время, когда вернутся их противники, хотя и полуживые. Вернутся — и тогда сотни карьер рухнут, рассыпятся в прах. Вот в чем было дело и вот почему, согласившись с Твардовским, я дважды переписал свой роман, оставив только то, что соответствовало этим соображениям.

Переработка была коренная — недаром же в последнем варианте книга заканчивается смертью главного героя. Через два года после нашего разговора, в 1967 году, в издательстве «Молодая гвардия» с помощью И. С. Черноуцана удалось опубликовать роман.

8

В шестидесятых годах началась новая полоса нашей литературы. Характерной чертой этой новизны был уход от прямой, элементарной политической направленности и возвращение к самостоятельности мысли и чувства.

С давно небывалой значительностью зазвучала в книгах шестидесятых годов никем не подсказанная социальная нота.

Возможен ли был этот гигантский рывок без оглядки на прошлое, без попытки разгадать это прошлое? Нет, не возможен.

Ведь в скорбном, тусклом беспамятстве сталинских лет некогда, да и страшно было спросить: «...Я ли это?». «...Да что же это происходит со мной?»

Все было сдвинуто, перемешано, растоптано. Разобраться в том, что происходило в те годы, могла только литература, в которой исконное духовное начало едва ли не со времен «Слова о полку Игореве» неразрывно соединилось с началом общегражданским, светским.

О жизни в лагерях были написаны и пишутся сотни книг; надежда на то, что эта жизнь останется неизвестной, что о ней забудут, что новым поколениям до нее не будет дела — близорука, по-детски наивна. Может быть, и удалось бы на два-три десятка лет установить безмолвие, может быть, и забылись бы опубликованные, поразившие весь мир, свидетельства-воспоминания. Но от имени народа, едва ли не шестая часть которого была в лагерях, заговорила литература. Произошло то, что иначе нельзя назвать, как преображение, а преображение, возникновение нового в искусстве, ни отменить, ни замолчать невозможно. Отраженный свет правды, с которой перед нами бесстрашно

открывалось прошлое, упал и на настоящее. И настоящее стало трудно держать в тени, в рамках некогда придуманного макета.

Бывают в сложных, перепутанных отношениях между кругом писателей и кругом администраторов минуты какого-то неустойчивого равновесия, стрелка на весах колеблется, чашки дрожат — то одна чуть-чуть поднимается, то другая.

Была именно такая минута.

Это одновременно почувствовали и Твардовский, и я. Мы оба, не сговариваясь, написали письма первому секретарю Союза писателей К. А. Федину, я — резкое, на правах почти пятидесятилетнего знакомства, юношеской дружбы, он — мягкое, напоминающее Федину о том, что его влияние может принести — и в прошлом не раз приносило — пользу нашей литературе.

Вот мое письмо к Федину.

«Мы знакомы сорок восемь лет, Костя. В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это — больше, чем право, это — долг.

Твои бывшие друзья не раз задумывались над тем, какие причины могли руководить твоим поведением в тех, навсегда запомнившихся, событиях нашей литературной жизни, которые одних выковали, а других превратили в послушных чиновников, далеких от подлинного искусства.

Кто не помнит, например, бессмысленной и трагической, принесшей много вреда нашей стране, истории с романом Пастернака? Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты был вынужден сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение 23 лет жил рядом с тобою. Может быть, из твоего окна не было видно, как его провожала тысячная толпа, как его на вытянутых руках пронесли мимо твоего дома?

Как случилось, что ты не поддержал „Литературную Москву", альманах, который был необходим нашей литературе? Ведь накануне полуторатысячного собрания писателей в Доме киноактера ты поддерживал это издание. С уже написанной, опаснопредательской речью в кармане ты хвалил нашу работу, не находя в ней ни тени политического неблагополучия.

Это далеко не все, и я не собираюсь в этом письме подводить итог твоей общественной деятельности, которая широко известна в писательских кругах. Недаром на 75-летии Паустовского твое имя было встречено полным молчанием... Не буду удивлен, если теперь, после того, как по твоему настоянию запрещен уже набранный в „Новом мире" „Раковый корпус", первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топаньем ног. Конечно, твоя позиция в литературе должна была, в известной мере, подготовить к этому поразительному факту. Придется шагнуть далеко назад, чтобы найти тот первоначальный сдвиг, с которого начались душевная деформация, необратимые изменения. Годы и годы она происходила как бы в глубине, не входя в разительное противоречие с позицией, которую подчас можно было если не оправдать, то хоть как-то объяснить причинами исторического порядка. Но что толкнуло тебя теперь на этот шаг, в результате которого снова тяжело пострадает наша литература? Неужели ты не понимаешь, что самый факт опубликования „Ракового корпуса" разрядил бы неслыханное напряжение в литературе, подорвал бы незаслуженное недоверие к ней, открыл бы дорогу другим книгам, которые обогатили бы нашу литературу? Лежит в рукописи превосходный роман Бека, сперва разрешенный, потом запрещенный, безоговорочно одобренный лучшими писателями страны. Лежат военные дневники Симонова. Едва ли найдется хоть один серьезный писатель, у которого не лежала бы в столе рукопись, выношенная, обдуманная и запрещенная по необъяснимым, выходящим за пределы здравого смысла, причинам. За кулисами мнимого благополучия, о котором докладывается начальству, растет сильная, оригинальная литература — духовное богатство страны, в котором она нуждается настоятельно, остро. Неужели ты не видишь, что громадный исторический опыт требует своего воплощения, и что ты присоединяешься к тем, кто ради своего благополучия и славы пытается остановить этот неизбежный процесс?

Но вернемся к „Раковому корпусу". Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были за опубликование романа, и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался *против*. Это значит, что роман останется в тысячах списков, ходящих по рукам и продающихся, говорят, за немалые деньги. Это значит, что он будет опубликован за границей. Мы отдадим его читающей публике Италии, Франции, Англии, Западной Германии. Возможно, что в руководстве Союза писателей найдутся люди, которые думают, что они накажут автора, отдав его зарубежной литературе? Они накажут его мировой известностью, которой наши противники воспользуются для политической цели...

Но твой шаг означает еще и другое. Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения. Писатель, накидывающий петлю на

шею другого писателя — фигура, которая останется в истории литературы независимо от того, что написал первый и в полной зависимости от того, что написал второй.

Ты становишься, может быть сам этого не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу. Измениться это может только в одном случае — если ты найдешь в себе силу и мужество, чтобы отказаться от своего решения.

Ты понимаешь, без сомнения, как трудно было мне написать тебе это письмо. Но промолчать я не имею права.

25.1.1968».

Не знаю, при каких обстоятельствах стал известен текст моего письма, во Твардовский вскоре позвонил мне, поблагодарил, и уже не было между нами и тени застенчивости, скованности, поисков невыговаривающегося слова. С такой теплотой, так горячо он еще никогда не говорил со мною.

— Да, отлично, сильно вы написали,— сказал он.— Но крутенько.— И он прибавил, подумав: — Крутенько.

С тех пор между нами образовались совсем другие, свободные и естественные отношения. Для моей жизни и работы они оказались значительными еще и потому, что я другими глазами прочел Твардовского, сызнова связав в его поэзии концы и начала. «За далью — даль» — не только название его знаменитой поэмы. Это — компас, без которого не обойдется исследователь, задумавшийся над сознательным возвращением в русскую поэзию разговорного, обыденного, прозаического слова после триумфальных побед символизма и футуризма.

Месяца за два до болезни Твардовского, уже после разгрома «Нового мира», мы случайно встретились у В. Я. Лакшина и дружески обнялись. Теперь в откровенном и доверительном разговоре звучало то, что в наш «жестокий век» встречается редко. Бесценное сокровище: верность.

9

Твардовский и «Новый мир» были опорой, державой, нравственным эталоном новой советской литературы. Роковое для нашего искусства решение, возможно, не было бы принято, если бы в нем не были кровно заинтересованы те писатели, характерной чертой которых является пропасть между дарованием и положением.

Мещанская литература пробивала себе дорогу, а Твардовский упрямо настаивал на совсем другой литературе — рожденной временем, а не личной целью. Но хотя опору сдвинули с места, запретив даже и вспоминать о прошлом — дорога и открылась и не открылась. Открылась, потому что после разгрома «Нового мира» боязливо оглядываться стало не на кого, и миллионными тиражами выходят книги мнимые, рассчитанные в лучшем случае на занимательность, а иногда и проникнутые плохо замаскированной ненавистью к человеку. А не открылась, потому что страна неисчислимо богата талантами, стремящимися к трезвому и разумному взгляду на жизнь. Громада талантливых писателей живет и трудится, и, вероятно, если бы их произведения были опубликованы, мир поразился бы богатству и разнообразию нашей литературы. Иногда, впрочем, они появляются в журналах — и сразу же становится ясно, что в них нет и следа недоброжелательства, тупой ненависти, злобы, и что русская литература как была, так и осталась чудом доброты, мужества и чести.

Это и было «Верую» Твардовского, которое он исповедовал, отстаивал и неназязчиво внушал тем, кто способен был прислушаться к его слову. Человек светлого разума, он понимал, что писатель должен обнадеживать человечество, помогать ему, как бы ему самому ни приходилось туго.

Он — весь в продолжающейся жизни нашего искусства. Он — в светлых снах тех, кто неустанно работает, в тесноте, в немоте, ничего не расчисляя заранее, ничего не взвешивая, но твердо зная, что наша литература все равно займет то место, которое ей в веках предназначено и которое отменить невозможно. «Верую» Твардовского — прочно, потому что просто. Разбежавшись в тысячах литературных и нравственных мнений, оно живет как прикосновение души, счастливой особенным счастьем: ничего не желая для себя, отдать всего себя родине и литературе.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло более десяти лет с тех пор, как я закончил эту книгу, и наступил счастливый день, когда мне стало ясно, что я напрасно назвал ее «Эпилогом». Правда, я оговорился, предупредив читателя, что эти страницы не имеют прямого отношения к истории советской литературы, а косвенное отношение заключается лишь в том, что вся моя шестидесятипятилетняя работа является ее малой, но неотъемлемой частью. Но как бы я ее ни назвал, не было ни малейшей надежды, что она когда-нибудь увидит свет и кажется лишь полустанком, мимо которого пролетит, сверкая ярко освещенными окнами, поезд нашей литературы. Я сжег рукопись, оставив только один экземпляр для себя и самых близких друзей. Трудно было работать, держа в памяти все, что было рассказано на этих страницах. Отодвинуть, загнать в самый далекий уголок памяти бесформенную груду неоправдавшихся надежд, обманутых ожиданий, горьких разочарований, забыть о них или притвориться, что они забыты — не решившись на этот шаг продолжать работу я не мог. А ведь были еще силы, был опыт, были неожиданности, заставлявшие кидаться к столу, был, наконец, привычный образ жизни, который в те годы, когда уходили навсегда сверстники и друзья, приобрел надо мной непреодолимую власть. Надежды не было. Надежда держалась на мысли или, точнее, на чувстве, что в России литературу убить невозможно. И вот, держась за эту тонкую ниточку, литература устояла. И не только устояла. Показала, что она полна сил. Журналы преобразились, вломились в каждую семью и заняли в сознании еще небывалое по значению место. Спор, непреложный спутник размышлений, поднялся на недосягаемую высоту искренности, откровенности, глубины. Он углубил борьбу мнений, а от борьбы мнений рукой подать до борьбы направлений. Критика начинает ориентироваться на себя, как на художественную литературу. В понятия, которыми она оперирует, наряду с темой начинает входить жанр и стиль. Усиливается внимание к форме — в наше время уже трудно вообразить съезд писателей, на котором никто не говорит о литературе как искусстве.

Одновременно выросло значение писателя как гражданина — его мнение учитывается подчас при решении государственных дел.

Все это не просто ново, а ослепительно ново. Все это невозможно было вообразить, когда я работал над «Эпилогом». Неизмеримо возросла заинтересованность читателя — незнакомое чувство охватывает автора за его столом: стыд. Писать, не отдавая каждой странице все силы души, просто стыдно. Этого не было и не могло быть, когда пытались угадать вкус начальства. Это заставляет писателя чувствовать ответственность за каждую строку, это поднимает его достоинство, это делает его исключительность оправданной, естественной, справедливой. Не жажда славы, а призвание производит строгий отбор будущих деятелей литературы. Тает слепая преграда между редактором и писателем, еще недавно упиравшимся лбом о стену невежества или равнодушия.

И вся эта новизна не стоит на месте. Открыта прямая дорога к читателю, огибающая лабиринты редакций.

Два новых понятия возникают в сознании смельчака, который берет в руки перо: воля и риск. Воля, без которой он никогда не напишет ничего, стоящего внимания, и риск — ведь еще никогда и нигде не было написано то, что он написал.

Никто не может даже предположить, куда пойдет наша литература. И догадки не нужны, бесполезны. Но она идет — вот что важно. Она стремится вперед, и никто ей не мешает. Этому трудно поверить, это наполняет душу детской радостью. Поезд движется в неизвестном направлении, и никто не смеет касаться стрелки, которая направила бы его по предназначенному пути. В страшных снах еще подчас мерещится, что кто-то, облеченный в мундир влиятельного чиновника, пытается направить его в страну ненависти, зависти, национализма, дешевой славы. Подчас еще сбываются эти дурные сны. Но от ненависти задыхаются, зависть сушит души, национализм, как топор, падает на искусство, а писатель, который гонится за дешевой славой, купленной высоким административным положением, в конце концов роняет перо.

Я не обманываюсь. Я понимаю, что эти соображения относятся скорее к будущему, чем к настоящему.

Но если бы я не был оптимистом, не была бы написана ни эта книга, ни много других.

25/III 88.

От редакции. Корректуры «Эпилога» автор не успел прочитать. В ночь на 2-е мая 1989 г. Вениамин Александрович Каверин умер. «Эпилог» стал его литературным завещанием...

Давид
САМОЙЛОВ

ПОХИТИТЕЛЬ СЛАВЫ

Глупая история

I. Он

...И прошелся колесом
Около карабинера.
«Что за странная манера?
Вероятно, иностранец.
Не похож на наших пьяниц».
— Битте. Ваши документ!
— Айн момент.
Страж порядка поперхнулся,
Поглядев на документ.
«Неужели это он?»
— Миль пардон.

Несмотря на ранний час,
Собралась
Небольшая группа лиц:
Работяга, вор, картежник,
Зачарованный художник,
Ресторанный вышибала.
И проворная старушка
В черной шали
— Кто там? Что там? —
Приставала к вышибале.
— Вставь глаза, карга слепая.
А не знаешь — приглядись!
— Это он! — вокруг шептались.
Но скомандовал ефрейтор:
— Разойдись!
Разошлись. Одна старушка
Загрустила над клюкой.
— Дура старая, не знаю
Кто такой.

Он по Главному бульвару
Шел на длинных двух ногах,
Облаченный в синий бархат,
С головою в облаках,
По бульвару шел к отелю,
Где блаженствовал неделю,
Приглашенный некой Лигой
Для участия в жюри.
Шел в сиянии зари.

Славы сладкие вериги
Он влачил, слегка устав,
Но, как член почтенной Лиги,
Уважал ее устав.

Он купил у киоскера
Пачку утренних газет,
Чтоб прочесть
Вчерашних шесть
Интервью.
И вошел в отель «Бельвю».

И пустыню сразу стало.
И затмился небосклон.
А старушка все стояла,
Все стояла и шептала:
— Кто же он?

Ну а вправду — кто же он?
Каждый знает: друг премьеров,
Президентов, флибустьеров,
Генералов, режиссеров,
Скрипачей, миллиардеров,
Мафиози,
Князя Позн,
Виконтессы Квинто-Кнози,
Жанпольсартров, ликанзанхунов,
Королей, газетных боссов,
Матадоров и трибунов,
Кинозвезд и их барбосов.
Член ста лиг, ассоциаций,
Всех движений за и против,
Обществ, фондов и дотаций,
(И в особенности фондов),
Посетитель всех бомондов,
Завсегдатай всех банкетов,
Юбилеев, фестивалей,
Конференций, кабаретов
И так дале, и так дале...

Он кивнул в дверях швейцару
На почтительный поклон.
Он вошел в отель «Бельвю».
И затмился небосклон.
В суперлюксе, где сверкала
Люстра чистым хрусталем,
Сняв пиджак, он сел устало
За внушительным столом.

Равнодушно и привычно
Стал просматривать газеты
И рассматривать портреты.
Пролистал почти что все.
Но внезапно в раздраженье
Он увидел объявленье
«Утреннего балабола»
На последней полосе.
В черной раме там стояло:
«Этой ночью, ровно в полночь
При трагических... скончался...»
Дальше следовали имя
И фамилия его.
— Что за шутка,— он вскричал,—
Идиотов-журналистов!
Это, верно, отмочили
Эрих или Жан Поклен!
Я пока еще не помер
И еще покуда вечен!
Накажу их поделом! —
...Не заметил он, что номер
«Утреннего балабола»
Был помечен
Завтрашним числом.

II. Они

Дело в том, что накануне
Спешно прибыли в столицу
Братья Альфа и Омега
Графы Бринген фон Гебрахт.
Фанфароны, негодяи,
Лоботрясы, попугаи,
Прожигатели наследств,
Не имеющие средств.
Родовитые подонки,
Обобравшие семью,
На последние деньжонки
Тоже въехали в «Бельвю».

Дело в том, что за два года
До означенных событий
В мир иной ушла графиня
Гильда Бринген фон Гебрахт,
Тетка Альфы и Омеги.
Зная их порочный нрав,
В лучший мир ушла графиня,
Братьям кукиш показав.

А оставила наследство
Голубому шимпанзе
Лао Тзе.

Дело в том. Опекуны,
Вняв практическим советам,
Меж собой постановили,
Чтоб человекообразный
В скромной загородной вилле
Проживал зимой и летом.
А графинин особняк
Переделали в «Бельвю».
Дело в том. И дело в этом.

Но вообще-то вот в чем дело:
Братья Альфа и Омега
Раздобыли документ,
Что под полом бывшей спальни
Гильды Бринген фон Гебрахт
Есть тайник, а в нем брильянты.
Бриллианты, бриллианты,
Бриллианты, бриллиа!..
А?

В пышном номере «Бельвю»
Братья дружно пировали,
Веселились, предвкушали,
Перемигивались тайно,
Громко ржали, словно кони.
«Як Цедрак Цимицидрони,
Ципи Дрипи Лямпомпони!»
Мы, мол, знаем; под паркетом.

Дело в том. И дело в этом.
День тянулся еле-еле.
Братья пили, братья ели.
Съели утку по-пекински,
И фазана по-румынски,
Съели устриц по-голландски,
И омара по-испански,
Артишоки, шампиньоны;
Делали опрокидоны
Под лангусты и форели...
День тянулся еле-еле.

Все же вечер наступил.
Приступили.
Осторожно
Отодвинули ковер.
И особым инструментом
Стали взламывать паркет.
Есть там что-то или нет?
Есть!
Едва не заорали,
Но себе зажали рты.
Под паркетом увидали
Очертания плиты
Из чугунного литья.
И огромные болты.
Видно все, как на ладони.
«Бриллианты, бриллиа!..
Як Цедрак Цимицидрони!»

Отвернули первый болт.
Отвернули.
Отвернули первый болт.
Отдохнули.
И дрожащими руками
Стали гаечным ключом
Отворачивать второй.

Не давался поначалу.
Оказался труд тяжел.
А потом пошел, пошел,
И еще пошел, пошел...
И тогда настал момент.

И раздался треск и гром.
Дрогнул дом!..

Дело в этом. Дело в том.
Был к тому же уик энд.

III. Она

Все же после извещенья
«Утреннего балабола»
Неприятный был осадок.
Закурил привычный «Кент».
Начинался уик энд.

Он решил не выходить.
Думал: надо бы отменно
Осадить
Эриха и Жан Поклена.

День тянулся еле-еле.
Покурил. Решил прилечь,
Чтоб обдумать темы встреч
С кем-то там, на той неделе.
Вдруг заснул. И понесла
Темная стихия сна.
И увидел он посла
Государства Лямпомпони.
Улыбаясь ста зубами,
Словно пасть фортепиано,
Приглашал его куда-то:

«Проше пана, проше пана!»
После енились Боби, Снοби,
Марта Кич, Вселенский клоун.
Все они кругом теснились,
Спрашивая: «Кто он? Кто он?»

Пробудился. Встал с постели.
В окнах сумерки серели.
Заказал коньяк и кофе.
День тянулся еле-еле.
Закурил привычный «Кент».
Выпил сока полстакана.
Телефон молчал. (Вот странно!)
(Был при этом уик энд.)

Не включить ли телевизор?
Сел под люстру. И увлекся
Детективом на семь серий.
А в «Последних сообщеньях»
С радостью узрел себя.
Говорил о съезде Лиги
И о новом рубеже...

А до полночи уже
Оставались только миги.

Братья Бринген в это время
Доставали инструмент.
И потом раздался гром.
Дрогнул дом.
С потолка упала люстра.
И в обломки хрустали
Черт с карниза прянул шустро,
Восклицая: «О-ли-ли!»

. . . .

И составлен был подробно
Полицейский документ.
Это было в полночь ровно.
Между прочим — в уик энд.

. . . .

. . . .

В понедельник от больницы
«Всех скорбящих»
Скромный ящик
Отплывал на нищих дрогах
С кучером в цилиндре грязном
И с лошадкою убогой.

А за дрогами старушка
Шла с клюкой.
А знакомый вышибала
С тротуара ей: «Послушь-ка,
Кто такой?»

И старушка отвечала:
— Каждый знает. Это он... —
Слабый свет мелькнул под тучей
В час унылых похорон
Завершился глупый случай.
И затмился небосклон.

Месяц плыл неспешно по
Небесам в туманном лоне.
«Як Цедрак Цимицидрони.
Ципи Дрипи Лимпомпо...»

Николай
СЛАДКОВ



МИР ИНОЙ

Рис. В. Курдова

Приглашаю в мир иной — там все не так, как у нас. Там не стены по сторонам и не крыша над головой, а одно настежь распахнутое окно — на все четыре стороны. И живут в этом мире существа особенные — в шерсти, перьях и чешуе. Все другое у них: вид, побуждения и заботы. Но одно у нас с ними общее — жизнь. Самое удивительное явление на Земле. Самое прекрасное и самое уязвимое.

Нехорошее слово

Есть такое научное слово — антропоморфизм. Для ученых оно почти что ругательное. Как прочтут они в книжке, что «заяц обрадовался», «лебедь илюбился» или «медведь соскучился», так сразу и заругаются: антропоморфизм, антропоморфизм, антропоморфизм! То есть ненаучное и непростительное уподобление животных или предметов человеку.

Но почему непростительное?

Глядишь на иную собаку и видишь, что она грустит или радуется, сердится или задумывается — совсем как и человек. И чувствует себя виноватой и даже отчаивается, что хозяин не хочет ее простить.

Да разве одни собаки радуются, печалятся, дружат друг с другом! Рискуя быть обруганным слоном антропоморфизм, расскажу все же три примечательные истории.

Верная утка

Жили во дворе у одного охотника дикая подсадная уточка и домашний селезень. Весной охотник охотился с подсадной на диких селезней. А все остальное время дикая подсадная и домашний селезень жили вместе. Вот уже восемь лет.

На девятый год заехал к охотнику старый его знакомый, тоже заядлый охотник, и выпросил у него подсадную утку. Очень уж у них там охота была богатая, а подсадной утки не было. Жаль было расставаться охотнику с испытанной уткой, но и товарища не хотелось обидеть. Сунули они утку в корзинку, завязали сверху дерюжкой, сел товарищ в самолет и увез утку за тысячи километров.

Прежний хозяин скоро о ней забыл, а вот она о нем не забыла. Как только новый хозяин на новом месте выпустил ее погулять, поразмяться и поплескаться, она вдруг взлетела, покружила над двором, потом над соседними крышами, еще выше — над городком и улетела неизвестно куда!

А через полтора месяца, пролетев полторы тысячи незнакомых ей километров, объявилась вдруг над старым своим двором. Уверенно опустилась — прямо у своего загона! И с радостным жвяканьем бросилась к селезню. А селезень, смешно приседая и переваливаясь, поспешил ей навстречу. И они долго щелокчили клювами перышки друг у друга и о чем-то по-утиному лопотали.

Больше всего хозяина подсадной удивило, что утка не осталась на воле, а прилетела! И что на долгом своем пути не нашла себе нового селезня. Не все ли ей равно, какой селезень? Да на воле их сколько хочешь, любого выбирай!

Выходило, что не все равно, если она свободу на своего старого селезня поменяла. И не нужен ей любой селезень, а только свой!

...Только, пожалуйста, не подыскивайте этому человеческое объяснение! А то вас сейчас же обругают словом антропоморфизм.

Верный петух

Тоже почти сказочная история: петушок — золотой гребешок и курочка ряба. Куриная эта история началась с того, что одна хозяйка продала соседке свою курочку рябу. Только-то и всего! А вот что из этого вышло...

На другой же день хозяйкин петух, не найдя в своей стайке курочку рябу, бросил всех подопечных кур и отправился на соседний двор. Избил и прогнал соседского петуха и остался с его курицами, среди которых была курочка ряба.

Хозяйкам, понятно, такое самоуправство совсем не понравилось. Они поймали влюбленного петуха, окунули в бочку с водой, настегали крапивой и вернули к брошенным курицам.

Что может быть нелепее мокрого петуха! Еще и выпоротого крапивой. Но упрямый петух, чуть обсохнув на ветерке, снова отправился на соседний двор, снова избил соседского петуха и остался с его курицами, то и дело подзывая свою курочку рябу.

Что только с ним, бедолагой, не вытворяли!

Топили в бочке, хлестали крапивой, гоняли по двору палками и камнями, выдирали из хвоста самые длинные перья, даже шпоры подпаливали на спичке! А он, придя в себя после очередной экзекуции, очумело тряс головой, поправлял наспех помятые перья, с трудом взлетал на забор, орал благим матом и... кидался на соседского петуха! А потом созывал чужих кур и вел их к себе во двор, то и дело оглядываясь, не отстала ли курочка ряба.

Хозяйки сдались.

Одна вернула курочку рябу, другая — деньги. И сразу же все наладилось! Петух со двора — ни шагу. Исправно водит кур, несет караульную службу. На ястреба подает сигнал воздушной тревоги, на собаку — земной. Курицы полностью полагаются на него, клюют день-деньской и несут хозяйке яйца.

Петух иногда занимается показухой: сзывает кур на несуществующее зерно. Куры-дуры со всех ног бегут, но быстрее всех бежит курочка ряба.

Хозяйки глядят на них и грозят хворостиной. И всем пересказывают историю этой куриной любви.

Рассказали ее и мне. А я — вам. А вы уж лучше никому больше не рассказывайте, а то еще обругают вас бранным словом антропоморфизм.

Верный гусь

И эту историю рассказал охотник. Вообще-то не люблю я байки охотников, вечно они похваляются, кто больше из них убил. Или разбирают, у кого ружье «убойное», а у кого «живит». Да и все их рассказы — это воспоминания об убийствах.

Но в этот раз убийство было особенное.

Сбил он весной из пары летящих гусей гусыню. Гусыня всегда летит впереди гусака. Охотники это знают, но все равно стреляют по первому, чтобы успеть выстрелить из второго ствола по заднему. И сбить дублетом обоих.

Но в этот раз охотник первым выстрелом промахнулся и пришлось в летящего впереди стрелять дважды. Гусыня скомкалась на лету, свесила длинную шею и ударилась о землю. А гусь, вместо того, чтобы шарахнуться в сторону, как ожидал охотник, вдруг вернулся и стал кружить над гусыней, призывно крича. И будь бы ружье заряжено, охотник сбил бы сгоряча и его. Но ружье было пустое, а патроны остались в укрытии.

Гусь кружил и кричал, кричал и кружил.

Охотник растерялся — первый раз в жизни. Ничего подобного с ним никогда не случалось: дичь всегда убегала и улетала. И по такой легко было стрелять.

Случись на его месте спортсмен-охотник — он бы такой случай не упустил. Такая заманчивая мишень! Стреляй в открытую — как на стенде! Но это был простецкий охотник-любитель: вместо того чтобы с шиком сбить одуревшего гусака, он смотрел на него, развеся губы. Этакая размазня, набитая сентиментальными предрассудками. И дремучим антропоморфизмом.

Гусь опустился вблизи гусыни и вразвалку заспешил к ней, вытягивая шею вперед и хрипло гогоча. Охотник взмахнул ружьем и гусь тяжело взлетел и снова стал кружить и кричать в вышине.

Иногда он так низко спускался, что видна была его отвисшая лапа: по нему уже когда-то стреляли и сломали лапу. Лапа криво срослась и отвисала: но и это не пугало гусака.

Охотник не спеша обкарнал гусыню: отрезал шею, лапы и крылья, чтобы легче было затолкать в уже набитый рюкзак. Взвалил рюкзак на спину и пошагал домой. И долго слышал еще за спиной призывные крики осиротевшего гусака.

Утром ждало охотника новое испытание: у останков гусыни бродил вчерашний гусак и кричал. И отгонял настырных ворон, хоть и с трудом успевал к ним на своей кривой лапе. Завидя охотника, вороны с карканьем разлетелись. Взлетел и гусак: покружив и покричав в вышине, он потянул на север, в догонку за перелетными косяками. И скоро призывы его утихли.

Через год, следующей весной, охотник снова сидел в своей ухоронке на гусином пролете. С гоготом в вышине тянули и тянули на север гуси: шеренгами, клиньями, вереницами. Радостно перекликались, узнавая внизу озера, болота и реки. Торопились к родным гнездовьям. Вдруг от одного перелетного косяка отделился гусь, резко пошел на снижение, шумя поджатыми крыльями, и... закружил над охотничьей ухоронкой! Не веря такой удаче, дивясь на глупого гусака, охотник выстрелил почти не целясь — и раз, и два. Матёрый гусак свесил шею, заломил крылья и гулко брякнулся о еще замерзшую землю. Охотник выскочил из шалаша, подбежал к гусаку, схватил в охапку: пахло от него пером и ветром. Радостно прикинул вес, подняв гусака за лапу. И тут заметил, что лапа-то у гусака кривая!

Это был тот самый гусь.

Не случайно и не по глупости опустился он к охотничьей ухоронке: память его привела сюда. Он помнил место гибели своей гусыни, он опустился проверить — а вдруг? И ни одна гусыня из стаи не полетела за ним: значит, новой гусыни у него не было.

Стая гусей еще гомонила вдали, но гусь уже ничего не слышал. Охотник укладывал его в рюкзак.

Охотник этот и сейчас еще охотится на гусей, хотя удачи случаются все реже и реже. Все меньше теперь на пролетах гусей, все больше охотников. И они все решают, в кого выгоднее стрелять: в первого или второго, в гусыню или гусака, в мужа или жену?

Жена и муж...

Вот-то достанется от знатоков — даже подумать страшно!

Но гусь-то, гусь — вот это гусь!

И только в одном я согласен с учеными: нельзя очеловечивать предметы неодушевленные! Спортсменов-охотников, например...

Бешеный

В полуденное пекло отара овец вповалку лежала вокруг колодца. Сухая земля, истолченная копытами в пухлую пыль, даже при легком шевелении ветра сейчас же начинала ползти горячей поземкой и завиваться воронками. Овцы толкались, тыча головы друг под друга, пряча их от солнца — сухо кашляли и чихали. Облезлые сторожевые собаки, вывалив языки, приткнулись в тени верблюда: он лежал на песке, подогнув голенастые ноги и уныло глядел с высоты своей длинной шеи в текучий степной горизонт. Там то возникали голубые озера, то, волокнисто струясь, исчезали снова. Сверху всех прижигало солнце, снизу поджаривала растрескавшаяся земля, со сторон обвевало и опаляло сухим и горячим ветром.

Черный чабан, подсунув под голову косматую шапку, лежал на стеганом ватном халате в тени и свежести длинного поильного корыта, из которого выплескивалась вода.

Жара, одышка, сонная одурь, посвистывание степного ветра, распаренная чихающая и кашляющая отара, запах овечьей мочи и помета. Затерянность и степной покой.

...И тут из-за бархана вышел волк!

Сперва над песчаным гребнем показались его стоячие уши, потом лобастая голова, толстая шея, сухие ноги. Ноги, привычные к степным просторам, неутомимые волчьи ноги, которые, как известно, волков и кормят. Волк увидел стадо и на мгновение замер. По всем правилам, разглядев чабана и собак, должен он был поджать хвост и кинуться назад сломя голову, разбрасывая лапами песок и камешки, обгоняя ветер. Но волк все стоял и смотрел. А потом прямиком, нацелив глаза, пошел на стадо, собак и чабана, стоящего у корыта.

Овцы вскочили, хлынули, очумело сбивая друг друга, топоча копытами и вздымая клубы пыли; очнувшиеся собаки остервенело заметались и залаяли, чабан закричал и замахал палкой.

Волк не повел и ухом. Он шел на них и в углах его пасти клубилась пена. Бешеный, бешеный волк!

Все было плохо. Два дня назад у волчьего логова высохла последняя колдобина с дождевой водой: глинистое дно растрескалось на квадратики и у каждого ломтика уже загнулись высыхающие края. Всем существом своим волчица ощущала, что дождей теперь долго не будет. Сухая жара изматывала от восхода и до заката. И некуда было от нее спрятаться: земля жгла лапы и брюхо, шерсть чуть не обугливалась, голова никла к земле. И ночью было не легче: волчица широко разевала пасть, чтобы поймать освежающий ветерок, а ветер был сухой и горячий и не освежал, а сушил горло. И высунутый язык свисал сухой тряпкой.

Жажда — не голод, к голоду волки привычны, несколько дней без еды для них мало что значат, но вот без воды, да еще в жару, не могут даже и волки. Волчица могла бы уйти из этих мест, силы у нее еще были, но в логове лежали

маленькие волчатки: ни одна волчица не бросит своих детей, даже рискуя жизнью. Волчата хотят сосать, а что сосать, если тело волчицы высохло?

Прошлое лето тут такой жары не было, вода в колдобинах хранилась долго, и волчица сумела увести волчат еще до того, как она высохла... А нынче весенние дожди были короткие, а лето наналилось сухое и жаркое. Древний инстинкт предупреждал волчицу об этом, она кинулась искать другое логово, поближе к воде надежной, но все родники были заняты пастухами. А тут было так уединенно и тихо. К тому же не так уж и далеко два колодца: в случае чего можно было надеяться и на них. И вот сейчас тот момент, когда нужно было бежать к ним. И немедленно: сосцы на брюхе у волчицы потрескались, волчата в логове не переставая скулили, хватали друг друга за уши, за ноги и сосали. А погодя могут начать друг друга грызть.

Волк бежит уверенной рысью или упругим галопом; волчица же бежала от логова неровно, заплетаясь, неуверенно. Километр за километром тянулся ее след то по разлинованным ветром пескам, то по пухлой пыли впадин, то по белым солончакам — болотам пустыни. На них все было мертвым, лишь похрустывала корочка соли под лапами, свет слепил, как от наста, осыпались солянки, опушенные солью, как инеем. Местами лапы продавливали корочку, как ледок, из проломов выплескивалась черная жижа, а лапы между пальцами начинало жечь.

Но волчица ничего не замечала, нутро ее ссохлось, глаза не видели, а уши слышали только скуление волчат. Не замечала она и земляных крыс-песчанок, которые стояли столбиками по сторонам у своих норок. Поселения песчанок встречали волчицу возней и свистом — это настораживало соседнее поселение: так песчанки передавали волчицу от одного поселения к другому.

Раньше бы волчица придумала, как обмануть этих хитрых крыс. Залегла бы вблизи в бурьяне и терпеливо ждала бы, когда песчанки успокоятся, забудут про нее и начнут снова высовываться из норок. Потом, осмелев, разбредутся в стороны, в поисках свежих травинок. Тогда бы она выскочила из бурьяна и успела бы придушить двух-трех зверьков — самых беспечных, убежавших далеко от нор. Но сейчас волчице добыча была не нужна — нужна была только вода, одна вода.

Ближний колодец она почуяла издалека: по сухим ноздрям мазнула влажная струйка ветра. Струйка была с тухлинкой — но что из того? Воды, какой угодно, но только воды: окунуть морду и лакать, фыркая и захлебываясь, остужать и размачивать язык, пасть и горло. Налить брюхо, чтобы отвисло, чтобы, скрипнув, раздвинулись ребра, чтобы набухли и вздулись ссохшиеся сосцы.

Только бы не было у колодца овец, пастухов и собак: они в последние годы проникли в самые далекие уголки, обрекая диких обитателей полупустынь на выселение или вымирание. Степные коты, еще уцелевшие кое-где каракалы, даже степные лисицы и корсаки, доведенные жаждой до безрассудства, пытались спуститься в колодцы по окладке из джузгуна и песчаной акации — и чаще всего срывались и гибли. От корыт с водой сторожевые собаки отгоняют тех же лисиц, котов и волков, а еще джейранов и даже птиц. Особенно достается степным журавлям-красавкам: они приводят к колодцам нелетных еще журавлят и тут их душат собаки. Полупустыни и степи становятся все безжизненней и пустынней.

У колодца никого не было. Но не было и воды: все корыта были перевернуты вверх дном. Перевернуты не нарочно, не по злому умыслу, никто не думал нанести диким обитателям вред. О них просто не думали: кому придет в голову поить диких зверей и птиц? Живут в степи — пусть живут, перестанут жить — это их забота.

Волчица обнюхала все корыта, потом подошла к темной дыре колодца и свесилась в сырую темноту. Снизу тянуло прохладой и влагой. И в глубине отсвечивала вода.

Волчица заметалась по краю, оступаясь и осыпая песок. Она то визжала, рычала, припадала на передние лапы, то вдруг начинала остервенело рыть песок, разбрасывая его в стороны, и снова свешивалась в колодец. Комья глины всплескивали внизу.

Волк очень умный зверь. Волчица поняла, что воды ей тут не достать — сколько бы она ни бесновалась. И надо, пока еще не иссякли силы, бежать ко второму колодцу, дальнему — вдруг да и повезет? Пора, пора — но нид и запах близкой воды удерживал как на цепи.

Волчица свесилась в колодец так опасно, что чуть не сорвалась. И опомнилась. Откинулась, упираясь задними лапами, встряхнулась и, заплетаясь, расслабленно потрусила к другому колодцу — самому дальнему.

По старой привычке она попыталась лизнуть свой нос: влажный нос лучше ловит все встречные запахи. Но язык был шершав и сух. Волчица бежала по памяти — участок свой волки знают на многие километры от логова. Бежала, то впадая в какое-то онемение, полусон, то, вдруг, спохватывалась, вскидывала голову и осматривалась. И снова понуро трусила, не сбиваясь в сторону: инстинкт прямехонько вел к колодцу.

Временами вялость и сонливость наваливались неодолимо, хотелось ткнуться башкой в первый же пучок высокого чия, похожего на сноп, поставленный на попа. Закрыть глаза и лежать неподвижно. Вот так замерзают у нас зимой от мороза — и так, во сне, погибают в пустыне от жары.

Так бы все и случилось, если бы в горячие ноздри не влился пока еще чуть различимый запах нагретой овечьей шерсти, мочи, собак и воды. Волчица поняла, что колодец занят. Но запах воды забивал сейчас для нее все другие запахи, даже запахи собак и пастуха. Не было больше вокруг колодцев, до которых хватило бы сил добраться. Да и что толку: на всех колодцах и родниках в степи, даже на больших дождевых ямах-каках, сидят пастухи с овцами, отпугивая все живое.

Волчица вскинула морду, поводила носом, нацелилась на струю водного запаха и пошла напрямик, осыпая лапами песок бархана, перегородившего путь.

С гребня бархана ей открылось все то, о чем уже поведал нос: колодец, корыто с водой, овцы, пастух и собаки. Но жажда была сильнее страха — и волчица пошла к корыту, переполненному водой.

Бешеный!

Овцы хлынули на чабана, сбили с ног, собаки, накидываясь и отскакивая, окружили волка — он ни на кого не обращал внимания. И он уже не шел, он бросился галопом напролом к корыту, хватая и отбрасывая овец, загородивших дорогу. Собаки накинулись сзади — он и их хватал, рвал и отбрасывал. Все смоталось в клубок: волк, собаки и овцы. Визг, блеяние, лай, крики пастуха. Клубилась пыль, летела шерсть: расползались, повизгивая, покусанные собаки, овцы, с красными пятнами на боках, катались в пыли, дрыгая ногами. А волк, клацая пастью, хватал и рвал, расшвыривал собак и овец в стороны — волк рвался к корыту. Пробился и приник к воде, жадно всасывая солоноватую воду.

Тут к нему и подскочил чабан и стал бить его тяжелой саксауловой палкой — словно выколачивал из волка пыль. Но волк уже не мог оторваться от воды; опаленное, высохшее нутро жаждало влаги. Чабан бил, а волк, дергаясь, сосал, захлебываясь, воду. Пока вода у пасти не покраснела.

Из горла вырвался хриплый клекот, волк поперхнулся, закашлялся, натужно выгнулся и рухнул рядом с корытом. Тут чабан его и добил. Собаки вцепились в глотку, в загривок, в лапы, растянули его на песке, остервенело рыча, плюясь слюной и шерстью. Но волку было уже все равно...

Чабан вытер папахой лицо, раскидал пинками собак, отволок волка за ногу от корыта и пошел собирать ошалелых овец. Руки и ноги его дрожали.

Но он уже понял, что волк был не бешеный, он просто очень хотел пить: уж чабан-то знал, что значит в такую жару очень хотеть пить.

Первым успокоился у стоянки верблюд: он снова презрительно и уныло глядел в текучую степь, где появлялись и исчезали волокнистые призрачные озера — голубые сны безводной пустыни. Где-то за этой текучей далью было и волчье логово. А в логове волчата ждали мать. Они уже перестали сосать и муслить шерсть друг на друге, они уже начинали друг друга грызть...

Слух о нападении обнаглевшего хищника быстрее степного ветра разнесется в округе. Чабаны на всех колодцах и родниках потребуют ружья с патронами. Оживятся охотники, предвкушая новую громкую борьбу с серым помещиком. Посмеиваясь над теми биологами-недоумками и слезливыми лопухами из общества защиты природы, которые посмели отстаивать волков от полного истребления. В каких героях они, бывало, ходили, когда загоняли, стреляли и травили волков, какие премии получали!

...А пока степные звери и птицы кружат и кружат вокруг недоступных им колодцев и родников. И еще на что-то надеются.

Верный способ

Охотники нашли волчье логово с маленькими волчатами. За волчат в то время платили денежные премии: так что оставалось побросать волчат в мешок, потом сдать по счету волчьи шкурки и получить премию. Но соображения бо́льшей выгоды остановили охотников. Волки, если забрать волчат, могут начать в отместку рвать скот в округе — чего они никогда не делают у логова с волчатами. А главное, почему бы не попытаться к волчатам добавить и самих волков — премия сразу бы удвоилась. И овцы были бы целы и охотники сыты!

А приманкой для волков могут стать сами волчата: стоит лишь прикопать нору, чтобы не расползлись. А вблизи устроить засаду.

Способ надежный: волки придут выручать волчат — тут их и положить. Полдюжины волчат да пара матерых — только дурак упустит такой верный случай подзаработать.

Пушистые колобки-волчатки, поскуливая и повизгивая, копошились у ног, тыкались носами в сапоги, задирали щенячьи мордочки, глядя на охотников глупыми, еще голубыми глазами. Все норовили подлезть друг под друга, спрятаться от непривычного света.

Что может быть надежней такой приманки? Волки звери битые, умные, хитрые: даже голодные они не бросаются на людей. Умело обходят капканы, засады, ловчие ямы. Ну, а против такой живой привады даже волчья натура не устоит.

Охотники затолкали волчаток в логово, присыпали сверху землей, завалили камнями, накидали коряг, чтобы волкам пришлось повозиться, откапывая волчат. Чтобы меньше они при этом принюхивались и осматривались: тогда проще будет к ним подобраться и перестрелять.

Охотники знали, что даже у норы с волчатами волки для них безопасны. Не набросятся, теряя голову, как это бывает с медведицей. А убегут и станут кружить вблизи, не показываясь на глаза. Слишком велик страх волка перед человеком, слишком долго и беспощадно преследовал он волков. До такой дошел изощренности, что и в самом деле чуть весь волчий род со света не сжил. И стрелял, и травил, и в капкан ловил. Флажками окладывал, заганивал на машинах и самолетах, раскапывал норы с волчатами. Любой способ был хорош, лишь бы уничтожить своего конкурента.

А ведь волков волками сами охотники сделали!

Это они отобрали у них законную их добычу — лесную дичь — и принудили волков нападать на домашнее стадо. Они навели волков на скот крестьян. Так что крестьянам, чтобы скот сберечь, надо бы облавы не на волков устраивать, а на охотников!

Волки очень боятся людей, но и к волчатам привязаны очень. Однажды охотник принес в мешке волчат и бросил мешок в сарай. Утром видит: под сараем подкоп, мешок разодран, ни одного волчонка нет. Волчица пришла по следам охотника, подрылась под дверь и всех волчат за ночь перетаскала в лес.

Другая волчица унесла из сарая даже мертвых своих волчат! А раз сарай с волчатами караулила собака охотника. Ночью к сараю приблизился волк: собака почуяла и залаяла. Волк прикинулся перепуганным, сгорбился, скорчился, хвост поджал и потрусил к лесу. Раззадоренная собака смело помчалась за ним. И лай ее скоро утих. И хозяин спокойно уснул: все в порядке, раз собака его молчит.

Волк заманил собаку в лес, а волчица прокопала ход и увела волчат.

Конечно, только в редких отдельных случаях так неслыханно везло волчатам. Чаще — в тысячу раз! — все кончалось совсем не так.

Не так кончилось и в этот раз.

Охотники знали, что караулить у самого волчьего логова бесполезно: как бы ты ни прятался, а волки все равно увидят или учуют. И к логову не подойдут. Потому-то охотники и забили нору: волки начнут раскапывать, а они захватят зверей врасплох и успеют выстрелить.

Осмотрев напоследок засыпанную и забросанную нору, они отряхнули руки и осмотрелись. Где-то в чаще — они твердо знали! — скрывались волки и тайно следили за ними. Они так же знали, что волки не нападут, даже когда они будут пробираться сквозь эту чащу. Звериный страх порождает человек в волках.

На рассвете охотники осторожно пробирались к логову, надеясь нагрянуть врасплох. Но волки сами застали их врасплох, неожиданно выскочив навстречу. И каждый в пасти что-то держал. Не поживу ли волчатам несут, смекнули охотники, и разом выстрелили. Волки шарахнулись в разные стороны и выронили добычу. Волчица скрылась в кустах, а волк, словно споткнувшись о валежину, перекинулся через голову и распластался в траве. Потянулся, как после сна, сладко напоследок зевнул и умер.

И то неплохо: матерый у ног и волчата в норе!

Но нора оказалась разрытой и волчат в норе не было. Тут только охотники поняли, что за добыча была у волков в зубах: они уносили последних волчат!

Охотники оползали на коленях всю траву — волчат рядом с волком не было. Получалось, что волчица — раненая! — не только унесла и спрятала своего волчонка, но успела вернуться и за вторым, хотя голоса охотников слышались близко. И страшно пахло пороховой гарью. Унесла двух волчат и спрятала там, где уже лежали четыре волчонка.

Охотники посчитали свои убытки и, поругиваясь, стали свежевать волка.

В местной газете появилась заметка — в ней прославляли охотников за находчивость и поздравляли с наградой. Охотники помалкивали: они понимали, что хитрость не удалась,— но ведь могла и удасться! Приди они чуть пораньше или забей нору покрепче — и весь волчий выводок был бы их. Так что способ их верный, им просто не повезло. Они даже логово мне показали, чтоб окончательно убедить. Мы даже слышали далекий волчий вой: возможно, это выла раненая волчица. Одной ей было совсем не просто поднять спасенных волчат.

Если кто из вас когда-нибудь слышал волчий вой, тот помнит, как мороз продирает по коже. Не от страха, конечно, волк и близко не подойдет, а от какой-то безысходной звериной тоски. Ну прямо хоть сам вой в ответ! Горечь всего волчьего племени слышится в этом вое.

О верном способе добычи волков я вам рассказал. Но фамилий охотников на всякий случай не называю. Вдруг им когда-нибудь станет стыдно.

Клок шерсти

Волчица угодила в капкан передней лапой. А ведь своим же проверенным следом шла, которым не раз уже проходила к околевшей овце, выброшенной за околицу. Она даже перетащила эту овцу подальше от жилья. И потому ничто не насторожило ее: лыжни к овце не было и человеком вблизи не пахло.

Правда, одна лыжня пересекала ее старый след, но вдалеке от падали. И волчицу она мало насторожила: мало ли вокруг деревень разных случайных лыжников.

И все-таки перед лыжней волчица помедлила: страх перед всем человеческим сидит у волков в крови. Слишком упорно и долго, изощренно и беспощадно преследовали люди волков, слишком дорого стоила волкам их доверчивость и беспечность.

Волчица подошла к лыжне напряженно, наставя уши и нацелив прищуренные глаза. Но ни уши ее, ни глаза ничего опасного не нашли. И волчица медленно подняла лапу, шагнула раз, другой — взметнулся под нею снег и железные зубы вцепились в ногу.

Опасность таилась еще на подходе к лыжне. Особой длинной и узкой лопаточкой охотник, не сходя с лыж, подкопал под старой волчьей тропой снег

и задвинул в лунку капкан, запорошив его снегом. Знал, что волчица всем своим существом нацелится на лыжню и проглядит чуть взрыхленный снег за три шага до нее.

Волчица взметнулась, словно на змею наступила! Запрыгала, затрясла лапой, но железная тварь намертво сцепила железные челюсти. Волчица покатилась по снегу, хватая зубами капкан. Не зря волчью хватку называют железной: капкан покрылся вмятинами и царапинами. Но и волчьи зубы хрустели, крошились и переламывались. Красная пена пятнала снег.

Долго волчица скакала по снегу на трех здоровых лапах, неся капкан на весу, торопясь уйти подальше от несчастного места. Петляла, продиралась сквозь заросли, отлеживалась на снегу, скрежеща по железу зубами, хватая снег кровавой пастью. Раз случайно придавила зубами пружину, и капканьи челюсти чуточку разошлись. Но истерзанная волчица не связала одно с другим, отпустила пружину, и капкан снова стиснул лапу. Раз капкан зацепился за торчок и осадил на бегу волчицу. Но она так задергалась и забилась, что чуть не содрала капкан с лапы вместе с кожей и мясом. Сучок обломился, и волчица поковыляла дальше.

Наконец она легла обессиленно и впала в тоскливое забытье. Кровавые губы примерзли к железу, но она на это уже не обращала внимания.

Охотник нагнал бы ее по следу на другой же день. Но в ночь закружила метель, до утра свистела белая круговерть, перемешивая снег, летящий с неба, со взметенным с земли. Выло, скрипело и ухало. Стучали окостенелые сучья, все живое спряталось и притихло. Снег залепил лес, замел следы, засыпал волчицу. Охотник утром еле открыл в избе дверь: ветер ворвался в сени, глаза залепило снежной пылью. Проверять капканы было бессмысленно.

Вышел охотник только на третий день. И понял, что волк угодил в капкан и унес его. Пожалел, что не привязал к капкану тяжелый потаск-бревнышко, с ним бы волк не далеко ушел. А теперь где его искать, когда вокруг нетронутый снег и белым бело?

Несколько дней кружила уже волчица по занесенному снегу, все больше слабея от голода. И снова за нею тянулся глубокий след. На него-то случайно и наткнулся охотник и сразу понял что к чему. И хоть он был без ружья — проверял капканы на горностаев,— все же поспешил по волчьему следу, боясь, как бы новая неожиданная метель не замела следы, и надеясь, что волк уже изнемог и справиться с ним будет совсем не трудно.

Они встретились у болотины: охотник, обрадованный удачей, и волчица, все надежды уже потерявшая. Но волк есть волк, и охотник подступал к нему с опаской, сжимая в руке надежную палку. Охотник и зверь смотрели в глаза друг другу, ведь по глазам все сразу видно. Победитель и побежденный.

По глазам волка охотник старался угадать, кинется зверь на него или от него. Или только предупреждающе зарычит, морща губы и показывая клыки? Тогда нужно одну палку быстро сунуть в пасть, а другой ударить по голове.

Охотник был ко всему готов, но только не к тому, что случилось. Волчица не зарычала, не оскалилась, не бросилась на него или от него. Она вдруг что-то поняла по его глазам, сразу сникла, вздыбленная грива ее опала, зеленый огонь в глазах потух. Волчица легла на брюхо, покорно прижала уши и... виновато завиляла хвостом! И поползла к ногам человека, как ползет к хозяину провинившаяся собака.

Вот так, наверное, в глубокой древности пришел к стоянке первобытного человека первый волк — и стал ему на всю жизнь верной собакой.

Но первобытный охотник хорошо знал повадки зверей, он сразу же догадался, что волк сдается ему на милость и просит пощады. Современный же охотник не пощадил. Он только на миг немножечко растерялся, но тут же пришел в себя, перехватил половчее палку и шагнул волчице навстречу.

Не стану досказывать, что было дальше: я и сам не знаю. В память об этом случае охотник дал мне клочок волчьей шерсти. А взял ли он его из капкана или с дубинки снял — не сказал. А я не выпытывал. Я видел, что даже ему вся эта история была не по сердцу. И он не хотел о ней вспоминать.

Еловая лапка

На полке с лесными сувенирами давно лежит у меня еловая лапка с уже порыжелой, почти осыпавшейся хвоей. Но я хорошо помню, почему я ее когда-то принес из леса.

Жил я в глухой деревне. Весной над домом тянули вальдшнепы, летом в огород приходил заяц и катался в пыли между грядками. Осенью я прямо с крыльца подсвистывал рябчиков: одураченный лесной петушок, недоуменно крутя хохлатой головкой и озабоченно подергивая куцым хвостиком, бродил по забору, высматривая соперника.

Иногда с крыльца удавалось слышать уханье осенних лосей, а на грязной лесной дороге за околицей постоянно находил следы медведей, приходивших на овсяное поле.

Но где водится дичь, там водятся и охотники!

Один из них жил в соседней деревне и охотился с лайкой. Хорошая зверовая лайка; она умело останавливала лосей и кабанов, загоняла на дерево рысь и смело облаивала медведя. Лайку эту не раз награждали на разных собачьих выставках: охотник очень гордился этим и всюду хвастался. А чтобы его хваленая медалистка не теряла охотничьей формы, он даже летом, когда охота была закрыта, выгонял ее на ночь в лес: пусть тренируется и набирается опыта. И лайка усердно гоняла и давила всех, кого только могла осилить, набирая форму для очередной собачьей выставки и избавляя охотника от расходов на свою еду.

Хватала на гнездах тетеревов, рябчиков, вальдшнепов, давила глупых зайчат. Находил я задушенных и брошенных ею лисят и даже лосят. И ясно было, что если и дальше так пойдет, то скоро ни вальдшнепов весной не услышишь, ни рябчиков осенью не подсвистишь. А зайцев не только на огороде, а и в лесу не встретишь.

Но доказать, что этот медалист еще и отпетый браконьер, было почти невозможно. Мало ли бездомных собак в лесу, посмеивался он при встрече. И вез свою натренированную собаку на очередную собачью выставку за очередной собачьей медалью. И ни один судья, ни одно жюри не задумалось, откуда у этой собаки такая сноровка и хватка, где и как набирается она своего опыта.

Но вот раз что случилось.

Как-то уже под утро услышал я недалеко от дома яростный собачий лай, глухие утробные взревы, а потом панический визг. Пока я вскочил, оделся и выбежал на крыльцо — за лесным оврагом все стихло.

Туман слоился над речкой, восток уже светло позеленел, куковала утренняя кукушка. Из сумрачного оврага тянуло сыростью и тишиной, утренний озноб вползал под рубаху. Направление я хорошо заметил и шел уверенно, раздвигая поникшие от росы кусты и поеживаясь от холодных капель, падающих за шиворот.

Вышел я на маленькую полянку и сразу увидел — вот тут-то все и произошло! Трава была укатана, кусты поломаны и ошарпаны. Посредине лежала собака; та самая, медалистка. А на краю полянки скукожился медвежонок — тоже мертвый.

Медведицы не было, но я всей кожей чувствовал, что она где-то близко. Что она только что убежала отсюда, заслыша мои шаги. И сейчас, притихнув, прислушивалась и принюхивалась невдалеке, пытаясь понять, что происходит на страшной поляне.

Вряд ли она сейчас посмеет вернуться, даже на глаза показаться: яростная схватка с собакой и резкий запах разгоряченного человека — это потрясение и для медведя. Но и задерживаться тут было глупо: мало ли что взбредет в косматую медвежью голову? Медведи, как и все крупные звери, очень разные по характеру: один от ребятишек удерет сломя голову, а другой коня или быка заломает.

Любопытство все же принудило меня внимательно осмотреться. Медведица, похоже, схватила сначала собаку лапами, а потом зубами порвала холку и шею. Но до этого собака уже загрызла ее медвежонка. Рядом с ним росла осина, и кора на ней снизу была исцарапана. Медвежонок пытался спастись от собаки на дереве, но не успел вскарабкаться на него: собака стянула за ногу.

Два мертвых зверя — собака и медвежонок. Собаку я уволок за ногу до ближней тропинки, чтобы потом показать охотнику. А что с медвежонком делать? Шкурка его никуда не годилась: порвана, измусолена, вся в кровяных сосульках. Придется вернуться сюда с лопатой и закопать. Угораздило дуралея в собачьи зубы! Укатил от матери далеко, и она не успела на выручку. А уже хорошо с зимы подрос, окреп, надежно уже за жизнь зацепился. И вот лежит в траве никому не нужный.

Но медведица не бросила медвежонка.

Когда я назавтра пришел с лопатой — медвежонка под осиной уже не было. А чуть в сторонке виднелся холмик лесного мусора: кто-то сгреб его, как граблями. Земля, дерн, сучки, ветки. Уж не охотник ли опередил меня и закопал медвежонка вместе с собакой? Еще и еловых лапок набросал сверху.

Я поддел сапогом край могильного холмика: собаки под дерном не было. Под дерном был медвежонок. А собака так и валялась там, где я ее оставил.

Внутри у меня тягостно защемило: это медведица сюда вернулась, чтобы зарыть своего медвежонка! Сразу вернулась, как только я ушел. Нагребла на него кучу лесного сора, надрала дерна, нагрызла еловых лапок.

Делать мне тут больше было нечего, лопата не пригодилась. Я взял с холмика еловую лапку, а взамен положил пушистую ветку березы. И выбрался на дорогу.

Вот такая история. Когда я рассказываю ее, слушатели недоверчиво хмыкают и покачивают головами. Рассказу они, конечно, верят: к чему мне обманывать их? Но объясняют по-своему: не похоронила медведица медвежонка, а просто зарыла. Повадка у медведей такая: мертвых закапывать. Они и добычу свою закапывают.

Но какая же это добыча, не соглашаюсь я. Вот если бы она собаку зарыла! А то своего же медвежонка. Нет, добыча тут ни при чем. А что «так у медведей принято», так ведь и у нас, людей, тоже так принято...

Охотник тогда собаку свою не зарыл, а спихнул с глаз в канаву. Пришлось ее мне закапывать, собака-то не виновата. Как не виновато ружье, которым убивают: не стреляй — оно и не убьет. Не учи собаку убийству — и она никого не тронет.

Да, вот такая история. Жил охотник с собакой, жила медведица с медвежонком. Однажды пути их пересеклись — и вот что из этого получилось...

А еловая лапка с холмика все еще ждет объяснений. Что это было: кладовая или могила? Во всяком случае, медвежонка никто не тронул, он так и остался там навсегда. А у меня осталась еловая лапка — недолгая память об этом случае.

Кеклик, который не умел считать

— Четыре, четыре, четыре! — квохтал в скалах кеклик — горная куропатка. Текучая звонкая осыпь, позвякивая камешками, вторила ему: — Четыре, четыре, четыре!

Я навел бинокль: кекликов было вдвое больше. Взрослая куропатка и полдюжины пуховых цыплят, похожих на одуванчики. Считать не умеет, что ли?

— Четыре, четыре, четыре! — упрямо выкрикивала куропатка. Полдюжины одуванчиков бойко катились за ней, мячиками подскакивая на камушках. Куропатка то и дело косила глазом в небо, то подставляя солнцу пухлую щечку, то озабоченно оборачиваясь к цыплятам, и негромко квохтала: «Четыре, четыре, четыре!». Куропатка явно не умела считать!

Когда она опять обернулась к цыплятам и стала их — в который раз! — старательно пересчитывать, из-за скалы, распахнув широкие крылья, взметнулся ястреб-тетеревятник. Сбил, скогтил и понес, соря на лету легким пухом и перьями. Одуванчики мышками юркнули кто куда: в лунку, за камень, под пучок травы. Вжались, обмерли, затаились. Тревожная тишина нависла над солнечным склоном. Замер склон.

Но какое у малышей терпение. Начали они возиться, переписываться, сначала робко и редко, а потом все смелее и нетерпеливей. И вот уже самые отчаянные выскочили из ухоронок и стали сходиться. Сбежались, сбились в суетливую пушистую кучку — а дальше что? Что делать, куда бежать, где ловить кузнечиков? Как отыскать родник, где на ночь от холода спрятаться? Ястреб улетел, но враг еще страшнее угрожал им сейчас — их собственная беспомощность и неумелость. От всех других врагов еще можно как-то спастись: от этого врага не убежать, не улететь, не затаиться. А мамы нет.

Да есть же, есть! Квохтанье ее ясно слышится в стороне, она уже созывает своих цыплят. Такое знакомое и привычное им — четыре, четыре, четыре! Не раздумывая покатили цыплята на зов.

Но квохтала не мама, а куропатка-соседка. Она водила свой выводок и тоже считать не умела. И потому не заметила, что выводок увеличился. «Четыре, четыре, четыре!» — пересчитывала она цыплят, а в ногах толклась уже целая дюжина. Три раза по четыре!

И этой квочке не повезло!

Она вскочила на камень и скосила глаз, высматривая в небе ястреба, а из-за соседней глыбы выскочила лисица. Всклокоченная, линючая, страшная. Можно было еще взлететь и спастись, но тогда лисица бы передушила всех цыплят. Не раздумывая куропатка кинулась ей навстречу, прямо в раскрытую пасть. Лисица от удивления стиснула зубы и, не веря такой удаче, ускакала за гребень горы. Ей было не до цыплят, да и куда они теперь от нее денутся?

Все повторилось. Переждав в ухоронке тревогу, кекличата переклинулись, переписнулись и скоро сбились в пушистую кучку. И снова не знали, что дальше делать.

Горы тоже о них заботились, оделив одежками-невидимками, под цвет горных камушков, комочков глины, сухих стеблей. Самый глазастый враг мог не заметить их. Но не спрячешься от собственной беспомощности и неумелости. И они вертели головками, вслушиваясь в голоса горы. И услышали зов куропатки!

Это уже третья куропатка вела своих кекличат и привычно их на ходу пересчитывала. «Четыре, четыре, четыре!» — повторяли ее счет звонкие скалы. И эта неумеха не заметила, что выводок ее вдруг утроился, что не полдюжины цыплят бегут за ней, а полторы. И все — как один!

Наверное, и кекличата ничего особого не заметили: была куропатка-мама и сейчас куропатка-мама. Так же созывает всех озабоченным голосом, так же куда-то всех ведет, показывает и учит. Так же греет всех под теплыми крыльями, правда, тесновато уж очень стало, да в тесноте — не в обиде. Главное, ты не один.

Всегда поражался я таким большим выводкам горных курочек. Яичек в гнезде пяток-десяток, а цыплят дюжина, а то и две. А раз встретил выводок в две с половиной дюжины! Четыре птичьих трагедии. Четыре благородных поступка: куропатка четырежды усыновляла цыплят.

Впрочем, это только мы, люди, считаем усыновление благородством. Для глупых кекликов это в порядке вещей, самое обычное дело. А как же еще иначе? Бросать несмышленышей на произвол судьбы?

Когда я слышу в скалах сбивчивый куропачий счет, сразу же достаю бинокль. И смотрю на малограмотных куропаток, пересчитывающих цыплят. «Четыре, четыре, четыре!» — бойко выкрикивают они.

А в ногах непоседливые одуванчики — дюжина-полторы! Пристроились и прижились. Хоть и тоже не умеют считать.

Выходит, чтобы делалось доброе дело, не обязательно шибко грамотным быть! Так или не так? Выходит, так...

Бело-розово-голубой

Тела диких зверей вылеплены любовью, страхом и голодом: главными ваятелями всего живого. Это страх наделил зайца большими ушами, голод изобрел клыки и когти, любовь украсила оленя рогами. А раскрасила эти живые скульптуры — земля родная.

Пустыня песчаная выкрасила детей своих в тона желто-песчаные, а пустыня снежная — в белоснежные. Белый песец, белая куропатка, белый полярный заяц. Белые на белом — как невидимки.

Ну а летом, когда тундра становится темной? Мать-природа и это предусмотрела: всех на лето перекрасит в темное. И песца, и зайца, и куропатку.

Предусмотрительный этот художник — природа! Так вылепит каждого и раскрасит, что остается тому только жить да радоваться. На удивление всем и на зависть.

Взять хотя бы того же зайца. Столько на земле любителей нежной зайчатины, что сгинуть бы давно всему длинноухому роду, если бы не благодетельница природа. Вот тебе длинные ушки — держи на макушке, вот тебе быстрые ноги — бери ноги в лапы. А вот тебе еще и шапки-невидимки на все сезоны: на зиму — белая, на лето — бурая. Живи и не тужи!

И процветает заячий род по всей земле — от северной тундры до южных гор.

Процветает...

Мы еще оценим это емкое слово!

Зима, мороз, заиндевелые кочки — белым-бело. И белые зайцы среди белых кочек — как невидимки.

Но вот багровое зимнее солнце раздвинуло слепую муть — и разрисовало все розовой и голубой акварелью. Бугры и кочки обвело розовым, а боковины и впадины залило голубым. И вот уже вся тундра розово-голубая!

...А белых зайцев и на розово-голубом не видно! Хотя теперь-то они должны бы торчать бельмом в глазу.

В руках у меня снежно-белая шкурка полярного зайца. Подарил мне ее охотник: не на шапку, а на удивление. И было чему удивиться!

Охотник расправил на коленях белую шкурку и слегка подул. Пышный мех волной прокатился по спинке, и открылся под белой остью розоватый подшерсток! Потом он подул на бока — и там проступил подшерсток голубоватый! Шкурка-то оказалась трехцветной: под любые переливы зимы, под любую игру морозного света.

Неужели и такое возможно?

Неужели природа предвидела ветер, мороз, мглу и солнце? Белый цвет полдня и цветной на закате? Днем белый зайчишка горбился среди белых кочек — невидимый никому. Но проступило вечернее солнце и тундра морозно зарозовела, заголубела. И выставила бы зайчишек всем напоказ. Но обдало их низовым ветром, заколыхались от ветра белые волоски и приоткрыли цветной подшерсток. И превратились зайцы в цветные кочки — среди полчищ таких же, что были вокруг. А когда ты, как все, то и нет тебя!

Дую на белоснежную шкурку — и она то жемчужно-розовая, то перламутрово-голубая. То под цвет снега, то под цвет розовых бликов низкого солнца, то под цвет голубых теней. Вот так бережет природа даже самого обыкновенного зайца!

Впрочем, почему же обыкновенного? Даже совершенно не обыкновенного, а бело-розово-голубого!

Запах полыни

В целлофановом пакетике у меня пучок полыни. Ему уже не один год, но стоит раскрыть пакетик — и обдаст горьким и пряным запахом сухой степи, накаленной солнцем. Заструится степная даль, засвистит в ушах степной ветер...

Ветер свистел за оконцем машины, звонкие камушки дробно стучали в днище. Машина упруго покачивалась, летя по степи наперегонки с ветром.

Сайгачье стадо мы увидели в стороне от дороги — словно россыпь желтых камешков на серой равнине. Я поднял бинокль: сайгаки мирно паслись, семеня по степи, срывая на ходу вершинки чахлой травы.

Мы подвинулись ближе, стадо сразу же всполошилось, повернув в нашу сторону нелепые толстоносые головы. И вдруг шарахнулось — как шараха-

ется от взмаха руки косяк рыбок! Слились в плотную стайку и понеслись, дробно стуча копытами и волоча за собой шлейф рыжей пыли.

Похожи они были издали на катящуюся мутную волну с отдельными всплесками желтых брызг: это свечкой взлетали в воздух сторожевые сайгаки, так проверяют они безопасность пути.

Я уже было отвел бинокль, как вдруг один из сайгаков на полном скаку обо что-то запнулся и закувыркался, мелькая белым брюхом! Сейчас же вскочил, но через несколько скачков опять оступился и брякнулся на колени. И сколько было видно, сайгак этот все оступался, спотыкался, натыкался на кустики караганы, пока стадо не растворилось в текучем мареве — как в воду кануло.

С этой загадкой мы и приехали на кордон. Егерь, еще не дослушав, закивал головой: и это стадо, и сайгака этого он знал уже больше года. Тоже жертва охоты: картечью выбили оба глаза. А добивать было хлопотно — где его ночью в степи найдешь?

— Слепой, и год живет? — не поверил я.

— Траву губами нащупывает, а спасается вместе со стадом. Стадо почует волков — всполошится и побежит. На бегу их никаким волкам не догнать. И он за всеми бежит, наставя уши на топот. Стадо пасется — и он пасется, стадо заляжет — и он лежит, стадо на водопой — и он со всеми. Не отстает, не теряется. Ноги крепкие, уши и нос чуткие. Только вот спотыкается на бегу, все бока и ноги уже побиты.

А зимой?

Я представляю сплоченное в кучу стадо: заиндевелые спины, пар из ноздрей-раструбов, оледенелая сосульками шерсть. И где-то внутри этой живой перины — слепой сайгак, согреваемый боками соседей. Случается, в метель залегшее стадо заносит снегом: вместе со всеми ждет терпелино погоды и этот калека.

А когда стадо всполошат степные волки — со всеми вскакивает и он. И мчится напрямик за удаляющимся топотом своих сородичей: оступаясь и падая, вскакивая и кидаясь вдогон. Зная, что только в этом его спасение. Что не стадо от него сейчас убегает с топотом, а сама его жизнь.

Целый год уже он ее, эту жизнь, догоняет. Изо всех своих диких сил. Натыкаясь на кусты, оступаясь в ямы, спотыкаясь о камни. Падая, кувыркаясь через голову, нелепо взбрыкивая ногами. Разбивая колени и губы, обдирая бока, обламывая рога. И даже волки не смогли его, калеку, задушить. Даже сама родная степь, всегда безжалостная к калекам, его щадит.

Но пощадят ли его охотники?..

Редкий снимок

В густых зарослях вполголоса переговаривались сороки; странно было слышать их стрекотание в таком глухом лесу. Сорокам привычней опушки и перелески — что их привлекло сюда?

Сороки, похрипывая и лопоча крыльями, перелетали по вершинам деревьев. А потом одна за другой бумажными стрелками нырнули вниз, в зеленую чащу.

В чаще оказалось не сорочье гнездо, как я сначала заподозрил, а... мертвый лосенок! Ярко-рыжий, совсем еще свежий, он лежал на правом боку, трогательно подвернув под себя передние ножки и мертво, окоченело вытянув задние с голубоватыми, словно начищенными копытцами. Длинные мягкие уши его обвисли, пригнув уже отцветающие подснежники. Курчавая шерстка на боку была местами пощипана птицами.

Так вот как все сложилось!

Прошлой осенью я видел тут пару лосей. Рогатый бык, утробно порыкивая, как привязанный бродил за лосихой; в частых мелочах плавно проплывали их грузные бурые силуэты, мелькали высокие светлые ноги.

И вот чем все это закончилось — лосенок погиб! А скорее всего, его загнали собаки бездомные, а может и гончие, которых охотники-браконьеры нарочно запускают в лес — тренироваться.

Я постоял над лосенком, сгоняя первых мух, и раз уж такой выпал случай,

насторожил у лосенка фотоловушку. Узнать, кто на поживу явится. Может, повезет браконьерских собак заснять, а то и самого браконьера.

Фотоловушка щелкала без осечек. На пленке я видел знакомых уже сорок, прилетали воро́ны, а раз прилетел даже осторожный носатый во́рон. Они не отваживались еще всерьез взяться за свое черное воронье дело и пока недоверчиво бродили вокруг, поглядывая на лосенка и перелетая все ближе и ближе.

Собаки не появлялись, не появлялся и браконьер. А вороны наглели все больше и больше.

Это были неприятные снимки, я даже не печатал их, а просто быстро просматривал очередную пленку, разворачивая ее перед глазами. Ничего нового не появлялось, ничего интересного не было: одни и те же вороны, сороки и сойки. Примелькавшаяся уже воронья компания — кадр за кадром, пленка за пленкой. Все привычно, давно знакомо: добыча и едоки. В лесу всегда найдутся голодные, и они своего не упустят.

Я снял ловушку и проявил последнюю пленку. Один кадр на ней меня потряс: самый последний кадр на самой последней пленке! На нем не было уже надоевших сорок и ворон, на нем я увидел... саму лосиху! Она стояла над мертвым лосенком, склонив к нему горбоносую голову: то ли обнюхивала его, то ли касалась его губами. И похоже, не раз уже к нему приходила, да все в неудачное время: то ночью, когда снимки не получались, то тогда, когда пленка в аппарате кончалась. И только в этот раз угадала.

Снимок этот я напечатал: лосиха, склоненная над лосенком. И кажется, что она не верит еще, что лосенок ее никогда уже не поднимется, не станет тыкаться теплым лобиком в ее набухшее вымя. Она еще чего-то ждет, она еще на что-то надеется. Хотя надеяться уже не на что...

Волна цветения

Свиристели и снегири ранней весной спешат из наших уже повеселевших лесов к себе на север. От этакой-то благодати — тепло, проталины, солнце! — туда, где еще холода и снег!

Перед отлетом любят спокойно посидеть на вершинах деревьев, тихо перекликаясь, словно прощаясь с лесом, который приютил их на зиму. Посидеть перед дальней дорогой.

И тогда хотелось подойти к ним поближе и попрощаться. Посмотреть на пернатых чудаков, меняющих весну на зиму. Они всегда настораживались, склоняли головки и недоверчиво смотрели на меня сверху вниз. А я на них снизу вверх: задержались бы, чудаки, золотое времечко на носу! Неужто зима вам не надоела, по морозам уже соскучились?

Но однажды я навел на пернатых торопыжек бинокль и тихонечко охнул! На вершинах деревьев цвели сады, парящие над головой сады!

Хохлатые свиристели важно восседали среди серебристого марева пуховок осин, осиянных солнцем, красногрудые снегири алели среди багрово-красных сережек тополя. Вытягивались на цыпочках, вышелушивая цветочные почки на позеленевшей черемухе.

А я и не подозревал, что так роскошно цветут самые обыкновенные наши деревья! Осины, тополя, елки, сосны. Что в вышине, над головой, весной такое же буйное многоцветье, как летом на лугах под ногами. Висячие лесные сады.

Цветущие луга древесных вершин! На них нужно смотреть снизу вверх, как на плывущие облака, переводя глаза с одной вершины на другую. И мне их открыли птицы.

Почти что новое чудо света! Червонные закорючки тополей, золотые пуховки ракит, серебристые одуванчики осин. А сережки из драгоценных камней и металлов: орешниковые, березовые, ольховые? Цветущее дерево, как цветущая поляна, над головой: гудят там шмели и пчелы, жуки и мухи спешат с цветка на цветок и душистый ветер разносит медовую пыльцу. Волна цветения катится по лесам!

Как морская волна, волна цветения движется все вперед и вперед — на север. Движется и увлекает за собой всех зимовавших вершинных птиц —

свиристелей и снегирей. Как влекут на север перелетных наземных и водяных первые на земле проталины и первые полыньи на озерах и реках. Вперед, вперед — на родные гнездовья!

Цветущие луга древесных вершин вместе с яркими весенними птицами двигаются на север. Нам снизу почти незаметные, незнакомые, эти благоухающие луга хорошо и давно известны птицам. Они их заманивают весной и увлекают с собой. Птицы живут среди них, птицы без них не могут. Когда волна цветения схлынет за горизонт — вместе с нею схлынут и птицы. Свиристели и снегири, такие же красочные и яркие, как мир цветущих вершин. Птицы висячих садов.

Свиристели и снегири пересвистываются перед дальней дорогой. Прощаются с нами до осени.

Последний

Когда мы проехали и прошли по полупустыням Устюрта и Мангышлака от Каспия до Арала, от Туманных гор через Сарыкамышскую впадину до белого сора Барса-Кельмес — а это площадь Австрии, Швейцарии или Бельгии! — то и до того слабенькая надежда на встречу,— а она теплилась в нас, несмотря ни на что! — совсем угасла.

Да и на что было всерьез надеяться, если во всех последних Красных книгах об этом звере писалось: «На Устюрте этот хищник, по-видимому, исчез», «начиная с 72—73 годов никаких достоверных сведений о встрече этой кошки в пределах нашей страны не было». Даже вот так — «в пределах страны»! Да и достоверны ли были сообщения о встречах до 73 года?

Какая уж тут надежда! Но она была: уж очень хотелось, чтобы этот прекрасный зверь уцелел у нас.

Для многих людей, правда, красавец гепард и вообще никогда не существовал: не так уж многих интересуют звери. А кто знал, то был уверен, что зверь этот экзотический и обитает в экзотических странах — в Африке или Индии. А он жил у нас под боком — в Бадхызе и между Каспием и Аралом.

Жил, но больше уже не живет.

Давно не встречают его чабаны, гоняющие отары овец по всей степи, участники многочисленных экспедиций, проникающие в самые глухие углы. Охотники выбили его добычу — джейранов, и гепарды исчезли сами, без выстрелов и погони. Как исчезают в степях степные орлы только потому, что степи пересекают высоковольтные линии; как исчезают орлы-могильники, потому что вытравливают песчанок и сусликов; дрофы и стрепеты — потому что распаханы степи. И даже грифы и сипы — оттого, что павший скот стали прятать в скотомогильники, а павших диких уже не хватает.

А не так уж и давно степь еще слышала мягкое постукивание его легких лап, когда он пластался в стремительном беге за джейраном или зайцем-песчаником,— самый быстрый зверь в мире. И жаркий ветер степи гнался за ним вдогонку.

Мы все глаза проглядели в бинокль и без бинокля, надеясь увидеть вдали его подтянутый силуэт, его густопятнистое золотое тело, но видели только пустое пространство, волокнистое от жары, сизые пятна полыни на рыжей потрескавшейся земле, пучки чия, похожие на расставленные снопы, темные полоски кустов боялыча и караганы вдоль пересохших русел, да голубые, то появляющиеся, то исчезающие миражи озер. Казалось, джейраны и зайцы уже забыли о нем, теперь их пугали только машины, пылящие по степи без дорог. Пылили и мы, надеясь и не надеясь.

Даже если и уцелел — ведь это же иголка в стоге сена! Вообразите стог и иголку: какая уж тут вероятность.

От сияния солнца, жары и пыли, от стрекотания щебенки в железное брюхо машины неудержимо клонило в сон. Иногда взбадривался, заслышав свежие журчащие голоса летящих в вышине больдуруков, щурился на мелькающие вдали белые зады удирающих джейранов. Или вцеплялся руками в сиденье, когда машина, урча и подвывая, осторожно сползала в промоину, по-утиному переваливаясь с боку на бок.

При одном таком переезде, когда машина раскачивалась особенно резко, из-за низких темных кустов боялыча вдруг поднялся высоконогий, поджарый, странно длинный и густо-пятнистый зверь! Вскинув круглую, какую-то курносую голову, он мгновение смотрел на нас желтыми, широко расставленными глазами — и тут же метнулся, шаркнув мелкими камушками. И понесся плавными, широкими и легкими прыжками, прогнув спину и откинув назад длинный хвост.

Сейчас же из тени тех же кустиков выметнулся второй такой же и кинулся вдогонку за первым — таким же мягким летучим скоком.

Гепарды — пара! Последняя пара на тысячи квадратных километров — иголка из стога сена!

Вот то, что нам до этого не хватало! Картина степи стала целой и завершенной: это был последний мазок художника, окончившего картину степи.

Мы потрясенно смотрели вслед: звери быстро растворились в жаркой текучей дымке. Но они были — и значит, не так уж все безнадежно, значит их можно еще спасти!

Бестолково и возбужденно мы перебивали друг друга, строя радужные проекты. Надо немедленно объявить эту территорию заповедной, на всех дорогах поставить предупредительные щиты, во всех поселках и кошарах провести беседы, чтобы потом не отговаривались, что знать не знали. Оповестить все экспедиции, работающие в округе. Через год у пары будут щенки, потом еще и еще — и гепарды снова заселят степь.

Последняя уцелевшая пара!

Но никто от нашего ошеломляющего сообщения — вымерший зверь встречен все-таки! — особо не ошеломился и не возбудился. Ну видели и видели, ну живут — и пусть себе живут. Главное — не мешают.

Мы кидались от одних к другим, к тем, кого, казалось бы, это касалось впрямую,— но все только мялись и мямлили что-то неясное. Кто возьмется охранять территорию, равную Австрии? Звери-то дикие — сегодня здесь, завтра там. И где тогда скот пасти? И как не пускать туда нефтяников, геологов, археологов? Вот только что были паразитологи — собирают клещей и блох, разносящих заразу. Серьезное и нужное дело.

Надо лететь в Москву и все объяснить. Не обязательно же превращать степь в закрытую зону!

Но и в Москву мы не улетели. На одной из заправочных станций, где мы остывали в тени и закусывали, неторопливый заправщик, похваляясь осведомленностью, сообщил: проезжие шофера говорили, что «научники» убили неизвестного зверя, страшно хищного и опасного!

— Где? — обомлели мы.

— Где-то у Ак-Булака. Говорили, клещей и блох собрали с него — так все чумные или холерные.

Вот и все. И не надо никуда спешить и лететь. Оказывается, и иголку в стоге сена можно отыскать дважды...

Но паразитологи-то, паразитологи — вот ведь паразитологи!

Потом был слух, что убили самку — уцелел самец. Последний на территории с Бельгию.

...В утренних сумерках он будет теперь подниматься на ближний пологий холм, всматриваться и вслушиваться в пустую даль, ловить ноздрями горьковатый полынный ветер. Но ни глаза, ни уши ничего уже не скажут ему, и ветер не принесет желанного запаха.

Постояв, зверь осторожно, словно на цыпочках, сойдет с холма и затеряется в просторе степи. Теперь уже навсегда.

Вот такой случай

Певчих птиц не напрасно назвали певчими — петь так уж петь! Сотни, тысячи песен успевает спеть певчая птица за длинный весенний день. Помножьте эти тысячи на всех лесных певцов, да на весь певчий сезон — полные уши песен!

Но даже тысяча воробьев не заменят нам одного соловья. Или дрозда певчего.

К дрозду у меня особое отношение. Появилось оно еще в детстве, когда я только открывал для себя лес. Днем ходишь-бродишь, глаза и уши твои в непрерывном деле, ноги спешат, руки разгребают густые ветки, и шум от тебя, и у всех ты на виду, и потому — сам мало кого видишь и слышишь. Зато уж вечером у костра!..

Тишина и сумерки заволочат лес. Вкруг огонька поднимутся темные стены до неба, а в небе — звезды. А между землей и небом, на самую маковку ели, взлетит певчий дрозд и начнет высвистывать свои рулады. Свистнет и прислушается: не отзовется ли лесное эхо? Снова свистнет и снова слушает, сам свои свисты оценивает — так или не так? Кажется, лучше не просвистишь, а он все выбирает и выбирает.

Неторопливые звонкие высвисты эти завершают твой суматошный день, настраивая на ночной покой. Сколько сейчас в этот вечерний час поет по лесам дроздов и сколько самых разных людей внимают им.

Усталым туристам слышится в песне дрозда: «Чай пить! Чай пить! С сахаром, с сахаром!».

Рыболову у тихой воды: «Чай, клюет? Чай, клюет? Вываживай, вываживай!»

А лесорубам свое: «Руби-вали! Руби-вали! Нахлыстом! Нахлыстом!».

Каждый переводит дрозда по-своему. А о чем дрозд поет, знает только он сам, да лес, который его слушает.

Ранним утром, еще темень и звезды в небе, дрозд снова взлетает на маковку елки и снова поет неторопливо, задумчиво, словно вслух размышляет. Весна, мол, пришла, я в свой лес вернулся, и вот снова на елке сижу, песни пою — как и в прошлый год.

И ты, у костра сидя и слушая свисты дрозда, свое вспоминаешь, радуешься, что зима позади, что жив-здоров, что у костра сидишь и снова дрозда слушаешь.

А дрозд свистит и свистит — до полной темноты.

А потом приходит день, и снова ты в бегах и заботах, и тебе уж не до дрозда, а ему — не до песен. Разлука до новой встречи у костерка.

Так для меня навсегда соединились ночной костер и сумеречные песни дрозда.

«Все сидишь? Все сидишь?» — вопрошает дрозд меня.

«Посиживаю, посиживаю!» — в тон отвечаю ему.

И загадываю о новой весне: какой она будет, как сложится? Удастся ли снова посидеть у костра и послушать песни дрозда?

Много-много лет я жгу уже свои костры. Слушаю певчих дроздов и загадываю о новых веснах.

А нынешней весной вот что случилось.

Все было как всегда. Сумерки заволочили лес, темные стены поднялись в небо. И такая тишина на лес опустилась, что слышно, как стучит сердце. И тогда на маковку елки взлетел с земли певчий дрозд, повозился, устраиваясь, поднял клюв прямо к звездам и запел. И первый чистый, звонкий свист его рассек похолодевший воздух.

Я привалился спиной к дереву и затих. Снизу я видел силуэтик дрозда, видел даже, как раскрывается клювик и мелькает язычок. Хорошо пел дрозд — как всегда! Вспоминались все прошлые весны.

«Как живешь? Как живешь?» — вопрошал с елки дрозд.

«Живу-поживаю, живу-поживаю!» — шептал я в ответ.

А дрозд пел и пел. А лес его слушал и слушал. И молчал.

Когда стало почти темно, песня вдруг оборвалась на полусвисте. Я вскинул глаза, но увидел только синее звездное небо и черный густой крестик еловой макушки. Дрозд падал скомканным комочком перьев, задевая кончики еловых лапок, отчего они чуть заметно вздрагивали. Дрозд упал почти к моим ногам — мертвый. Пел, пел — и умер...

...А что — неплохая смерть!

Михаил
ЯСНОВ

♦♦♦

Мое поколение сорокалетних
всходило на слухах, мужало на сплетнях,
и вышло, что стало нам главной из дат
то утро, когда был рожден самиздат.

И вот, приближаясь к внезапному полдню,
я это забытое утро припомню:
вела нас тайком, с пустыря на пустырь,
слепая машинопись — наш поводырь.

Руками схватившись за плечи друг друга,
мы медленно шли друг за другом по кругу,
как ослик, вращающий жернов,— пока
стекает на землю скупая мука.

И тот, кто отведал запретного хлеба,
искал по-иному заветного неба,
ломоть животворный, целебный, простой
порой запивая тюремной водой.

Легко ль отвязаться от этой оскомы?
Как пращуры, сгинули списки, альбомы,
иная культура у гордых внучат:
они по ночам на машинках стучат.

Бумага шуршит, как пустыня, окрасясь
неверным лучом, осветившим оазис.
Уходят следы, оживляя пейзаж,—
и прошлое тает, как зыбкий мираж.

Машина времени

Мужчины в усах, элегантные модницы в креслах; она —
с веером, он — с цепочкой, фикус — в сторонке;
фон размыт, в никуда исчезла стена,
зато навсегда отпечаталось имя фотографа на картонке.

Дети — мальчик и девочка — смотрят на нас, затаив
дыхание: там, перед ними, дядька залез под черную тряпку,
и птичка, пока их бледные лица впитывает негатив,
никак не может сорвать веревку, что держит ее за лапку.

Край оборван. На молодом человеке — фуражка; рядом с ним
кто-то стоял; заметно, как на обороте
по выцветшей фотобумаге выпукло выведено: «Дорогимъ...» —
надпись, как в зеркале, и обрывается на полуноте.

Серый квадратик. Девушка с длинной косой.
Прищуренные глаза слепит неприкрытая лампа.
Справа, внизу, там, где сердце,— пустой уголок косой
и смазанный след фиолетового штампа.

Двое в цехе. Рядом с ними — замысловатый станок.
На мужчине спецовка, женщина в косынке и фартуке.
Неизвестный на заднем плане. И в несколько строк:
«От треугольника фабрики...»

Что-то вроде поздней осени или ранней весны.
Голые деревья. Группа с автоматами возле дота.
Вечный огонь желтизны,
в котором почти растворились, пропали оставшиеся на фото.

Остроскулая женщина с седым завитком у виска.
Девочка прижимает к груди тряпичного краснофлотца.
Наискось бегло: «С любовью на фронт из Ка...» —
то ли «...зани», то ли «...раганды» — теперь уже не прочтется.

Барочный обрез. Завитушки. К ногам загорающих стариков
подбираются волны, застыв на секунду.
Старуха в шезлонге. По трафарету вдоль облаков:
«Приезжайте в Пицунду!»

Женщина с мальчиком. Ребенок на деревянной лошадке. Ученик
с книгой: «Витя Малеев в школе и дома».
Подросток. Юноша. Юноша. Юноша. Что ни миг
время стопорится, истончается, как листы альбома.

Металлическая застежка, год за годом прижав и сжав,
состыковывает переплеты, словно выглаженные огранкой.
Отблеск падает на стену: «Привет из Аф...» —
окончание пропадает под черной рамкой.

♦♦♦

Мы жили искренней и резче
и не боялись стукачей
в те дни, когда дефекты речи
определяли суть речей.

На фоне общего запоя
и обязательных побед
мы, как шахтеры из забоя,
шли что ни день на божий свет.

И чувство дружества и братства
объединяло нас верней,
чем в горних сферах казнокрадство
своих столпов и звонарей.

Куда ж теперь девалась эта
привычка локтя и плеча,
когда судачим до рассвета
и всё иначим сгоряча?

И оказалось, как несладко
дышать, отвыкнувши дышать,
и стала мелкая оглядка
нас искушать и утешать.

И все, что в прошлом единило,
вдруг, словно маска, сорвалось...
Вкзжит в окне свиное рыло
и в душу лезет на авось!

Люди и звери. Филонов

Мы сшиты из лоскутов.
По швам проступает кровь.
И наши тела скотов —
сердцам и тепло, и кров.
И наши глаза людей
навылет глядят и сквозь.
И наша слеза лютей
невидимых миру слез.

Накинута на лубок
колючая сеть морщин,
а с вышки усатый бог
нас мерит на свой аршин.

Раздробленный, скроен мир,
как вечный тришкин кафтан,
из красных и желтых дыр —
гнилых и кровавых ран.

Мы плоские, как стена,
к которой стоим впритык —
на то нам и жизнь дана,
чтоб видели: здесь — тупик.
А души — ползком, ползком
плывут над землей, как дым...
И воем, звери, ничком,
и навзничь, люди, молчим.

Юлиан
СЕМЕНОВ

НЕНАПИСАННЫЕ РОМАНЫ

1

Среди многих откликов, которые пришли после публикации первой части «Ненаписанных романов» [1], было письмо Александры Лаврентьевны Беловой, вдовы командарма первого ранга.

В своей книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург пишет: «Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали монографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Белов. Он был очень возбужден: не обращая внимания на то, что кроме Мейерхольда в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом Военной Коллегии Верховного Суда (Эренбург ошибался: Сталин *назначил* Белова, как и маршалов Блюхера, Егорова и Буденного членами Особого Присутствия.— *Ю. С.*). Белов рассказывал: „Они вот так сидели — напротив нас. Уборевич смотрел мне в глаза...“ Помню еще фразу Белова: „А завтра меня посадят на их место...“ Потом он вдруг повернулся ко мне: „Успенского знаете? Не Глеба — Николая? Вот кто правду писал!“ Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого — не помню, но очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел, закрыв глаза, и походил на подстреленную птицу. (Белова вскоре после этого арестовали)».

...Сижу в квартире Александры Лаврентьевны Беловой, вдовы легендарного командарма; фотографии Ивана Панфиловича: усы, бородка, крутой лоб, невыразимо печальные глаза, по осанке и облику потомственный аристократ.

— Он из мужиков,— замечает Александра Лаврентьевна,— из Псковской губернии, ныне эта часть отошла к Вологде... Аристократизм человека нарабатывается приобщением к знанию; Иван Панфилович был восхитительный читатель...

Сама она родилась в Питере, в семье мастера, столяра, речь ее именно петербуржская, очень много бесстрашного подтекста, постоянен юмор и горестное сострадание к людям.

Рядом с портретом командарма — уникальное фото Михаила Зощенко, родителей и сына, Виктора.

— С Зощенко мы давно дружили, это был совершенно невероятный человек, наш Мишечка... Помню, его куда-то не избрали на Первом съезде писателей; он пришел ко мне и совершенно серьезно сказал, что повесится,— пусть потом плачут... «Сначала я подумал, что произошла какая-то ошибка,— говорил он дрожащим голосом,— решил пойти в комнату, где отдыхал президиум; открыл дверь, а меня молодые люди аккуратненько под руки, и в сторону,— без специального пропуска никак нельзя. Я говорю, что, мол, я писатель Зощенко, а молодые люди отвечают, что это очень даже замечательно, и книги они мои любят, но без специального пропуска запрещено... А н успел увидеть: там жены начальственных писателей, в креслах сидят, ножку на ножку забросили, длинные папиросы курят и чирикают о чем-то веселом,— смеются все время...» Я, конечно, рассказала об этом Ивану Панфиловичу; тот — к телефону, связался с Бу-

[1] Первый цикл «Ненаписанных романов» Юлиана Семенова публиковался в «Неве» № 6 1988 года, второй — в «Неве» № 4 1989 года.

харипым: «Военный округ, красноармейцы и командиры высоко чтут талант Михаила Зощенко, он должен быть избран, товарищ Бухарин, непременно должен быть избран, иначе это будет горькая несправедливость, нельзя обижать писателя. Если он настоящий писатель, то подобен ребенку: так же раним, и утешить его трудно, ссадина на всю жизнь...»

...Бухарин был в крайне сложном положении на писательском съезде; в свое время Сталин попросил его написать статью против Есенина: «Я не имею на это права, Николай,— грузин. А ты русский, до последней капельки русский. Мы окружены с тобою мелюзгой. Только ты и я подобны Гималаям, нам и быть во всем вместе...»

Говоря это, Сталин уже знал, что Бухарина — так или иначе — уберет; Гималаи обозначают *единичность*. Логик, он не терпел двузначности. И понимал, что интеллектуалу Бухарину трудно будет отказать ему в такой просьбе, тем более, что Есенина в свое время поддерживал Троцкий, закончивший свою статью о нем словами: «Великий поэт умер. Да здравствует поэзия!»

В речи на писательском съезде Бухарин всячески поднимал Пастернака, словно бы оправдываясь за то, что клеймил Есенина «кулацким поэтом».

Сталину нужно было разбить Есенина словами Бухарина, ибо он страшился его, есенинской, вольницы и независимости. Ему была необходима *позиция* Бухарина, потому что он понимал: Бухарин выразитель и теоретик «крестьянской» концепции России. Четыре года — с тридцатого по тридцать четвертый — Сталин жил в страхе: а вдруг *мужик*, не выдержав террора, поднимется? Вдруг страна заполыхает? Красная Армия — в массе своей крестьянская — станет ли стрелять в своих?

Нет. Не поднялись. *Снесли.*

Когда Бухарина вывели из Политбюро и Серго взял его к себе в Наркомтяжпром начальником научно-технического отдела, Ягода ежедневно сообщал Сталину обо всех, кто приходил к Николаю Ивановичу: в сухих сводках наблюдения рассказывалось, как принимала друзей опального лидера «Пепочка» (так Бухарин называл своего секретаря Августу Петровну Короткову). В свое время, молоденькой девушкой, она была отправлена — постановлением Реввоенсовета за подписью Яна Берзиня — в Крым, для нелегальной работы в тылу Врангеля, потом помогала ветерану революционного движения Шелгунову, другу Левина, ослепшему в тюрьме, после этого стала секретарем заведующего отделом пропаганды Коминтерна Бела Куна, а потом уже помощник Председателя ИККИ Коминтерна Бухарина, Ефим Цейтлин, один из первых членов ЦК КИМа, пригласил ее в секретариат Николая Ивановича.

«С ним я проработала вплоть до того дня,— рассказывала она мне,— пока Сталин не посадил Бухарина под домашний арест на даче в Сходне».

Сталин не простил Бухарину телеграммы, которую тот отправил — открытым текстом — летом тридцать шестого с Памира: просил не приводить в исполнение приговор над Каменевым, Зиновьевым и Иваном Никитовичем Смирновым. Ненависть к нему после этого сделалась у Сталина давящей, постоянной, порою сладостной даже.

Ягода сообщал, что «Пепочка» или «Белочка», как ее называл поэт Мандельштам, постоянно приходивший к Бухарину (отдел, возглавлявшийся Николаем Ивановичем, размещался в особняке на улице Кирова, наискосок от нынешнего «управления торговли Мосгорисполкома»), каждую неделю готовит чай или кофе для постоянных визитеров. Академики Вернадский, Вавилов (с ним Бухарин был особенно дружен), Горбунов, Кржижановский приходили к своему коллеге академику Бухарину. Сталин попросил Ягоду повнимательнее *послушать*, о чем они говорят.

— В начале тридцатых годов,— продолжала между тем Александра Лаврентьевна,— Белова отправили в Германию, в военную миссию. А он был человеком невероятной храбрости, почитайте «Мятеж», это ведь — во многом — о нем. Очень дружил с Фрунзе и Кировым. Поэтому Сергей Миронович и пригласил его на должность начальника Ленинградского военного округа. Он никогда, ничего не держал за пазухой, говорил, что думал: «Требую, чтобы не было произвола,— телеграфировал он в девятнадцатом году, когда служил в Туркестане,— не заливайте фундамент социалистического общества кровью безвинных жертв...» Думаете, ему эти слова забыли? Сталин не умел забывать, это было против его натуры, он все помнил, все абсолютно. В Берлине Иван Панфилович переоделся в штатское, посещал собрания национал-социалистов, слушал выступления фюреров, вождей партии,— Гитлера, Штрассера, Геббельса, Рэма... Этот массовый психоз, этот черный расизм потрясли его. Он написал в Кремль, Поскребышеву, просил передать Сталину: «Я сидел в двадцати шагах от Гитлера, когда он был на трибуне. Это — страшно. Это угроза цивилизации, начало звериной всепозволенности для вождя, который имеет право на все. Я могу попасть на его следующее выступление. Прошу санкцию на уничтожение этого злодея, который сплошь и рядом оперирует нашими лозунгами: „Все права рабочим и крестьянам, долой финансовый капитал, все на борьбу за счастливое будущее германской нации, прокладывающей путь человечеству в лучезарное завтра!“»

(Сталин письмо это прочитал, пожал плечами: «Анархистские замашки», а Белова приказал отозвать в Москву. Вскоре его, Сталина, личный эмиссар начал искать контакта с Гитлером.)

— Когда Иван Панфилович начал работать с Кировым,— рассказывала дальше Александра Лаврентьевна,— они целыми днями на границе пропадали, возвращались грязные, все в глине, ставили укрепления... Жили мы с Иваном Панфиловичем в Левашове, под Питером, кое-кто из стариков и поныне это место называет «Беловской дачей». Как-то раз он говорит: «Знаешь, освободился дом рядом с Сергеем Мироновичем, приглашает нас перебраться». Я, понятно, обрадовалась, начала собирать вещи, и вдруг: «Не надо. Останемся здесь».— «Почему?» — «Не надо»,— повторил он, а лицо — серое, глаза больные, замученные. А было это, если не изменяет память, после первого задержания Николаева, когда его отпустили — с оружием...

Именно в те же дни Белов заторопился в Москву, в Наркомат обороны. К кому — не знаю. А когда возвращался в Ленинград, опоздал на поезд. Догоняя по перрону последний вагон, вспрыгнул, но заметил, как из кармана шинели выпала записная книжка. Дернул стоп-кран, книжку подобрал и — вновь в вагон. А тут паника: остановка «Красной стрелы» было ЧП. Прибежал начальник состава, накинулся на проводника: «Кто сорвал стоп-кран?!» Все молчат, растерянные.— «Под суд пойдешь! В тюрьму упрячу!» Тут Иван Панфилович и сказал: «Не надо никого в тюрьму прятать. Стоп-кран сорвал я». А назавтра Сталин сказал Ворошилову: «Этот Пугачев еще и не то когда-нибудь сделает...»

Помню, как уже в Москве (Ивана Панфиловича перевели начальником МВО) он рассказывал мне во время прогулки: «Знаешь, мне даже какую-то радость доставляет грохотать сапогами по металлическим лестницам Кремля. Сталинские охранники за пистолеты хватаются, каков поп, таков приход». А еще, помню, он долго-долго сидел над книгой «Гражданская война, 1918—1921», выпущенной ГИЗом в 1930-м году, и лицо его было скорбным, порою растерянным даже...

...Третий том этой книги вышел под редакцией А. Бубнова, бывшего главкома С. Каменева, М. Тухачевского и Р. Эйдемана. Книга эта — воистину трагический документ. Например, тщательно разобранная — с военной точки зрения — Орловская операция Красной Армии в 1919 году, перечеркивается *втиснутым* петитом сноски, в которой сообщается, что труд был сверстан, когда появилась работа К. Е. Ворошилова: «Сталин и Красная Армия», ГИЗ, 1929 год (то есть, немедленно после высылки из страны первого Председателя Реввоенсовета республики и наркома обороны Л. Троцкого), где дается «ряд *новых* данных»...

Приводится там и письмо Сталина, отправленное с юга Владимиру Ильичу. Заканчивается оно следующими словами: «Без этого моя работа на южфронте становится бессмысленной, преступной, ненужной, что дает мне право, или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к черту, только не оставаться на южфронте. Ваш Сталин».

Итак, запомним: атака на историю гражданской войны началась в 1929 году.

Но Бубнов, Каменев, Тухачевский и Эйдеман не могли и не хотели фальсифицировать историю. Ограничившись цитированием сталинского письма и отрывков из книги Ворошилова, они продолжали следовать канве правды. Более того, резко ударили Сталина — понятно, не называя его — в разборе польской кампании. Как известно, для похода на Варшаву было создано два фронта — Западный, который возглавлял Тухачевский, и Юго-Западный, во главе которого был Егоров; а членом военного совета — Сталин. Тухачевский рвался к Висленскому рубежу, а Егоров и Сталин повернули свои войска на Львов. Примечательно замечание авторов книги: «Согласно директиве (командующего Юго-Западным фронтом Егорова и Сталина.— *Ю. С.*), непосредственное содействие Западному фронту возлагалось лишь на численно слабую 12-ю армию...» В ряде книг той поры приводятся свидетельства неподчинения Егоровым, Сталиным и командиром Первой Конной Буденным плану Главкома Каменева о переброске Конницы на помощь Западному фронту.

Буденный утверждал: «Переброску Первой Конной от Львова... нужно рассматривать как предсмертную конвульсию команзапфронта (Тухачевского.— *Ю. С.*). Директива командующего Западным фронтом о переброске... запоздала... Если бы командование Запфронтом не нервировало без нужды своими директивами о переброске конной армии, то... падение Львова было бы обеспеченным...»

Как Тухачевский комментирует *нервическое* заключение своего оппонента? Он бесстрашно и открыто критикует себя: «Укажем и на те ошибки, которые следует отнести к командзапу (Тухачевскому.— *Ю. С.*). Командование Западным фронтом должно было дать еще более решительный бой в пользу своевременной подтяжки Первой Конной — даже тогда, когда Конармия еще не была ему передана. От его требовательности и настойчивости зависело безусловно очень многое. И вот этого в самый

решительный момент операции командованием Западного фронта проявлено не было»...

Александра Лаврентьевна говорит емко, красиво, при этом очень доверчиво:

— Знаете, и физически ощущала на своей спине взгляды Сталина, когда нас с Иваном Панфиловичем приглашали на приемы в Кремль. Он медленно шел по залу, окруженный своими близкими. Он шел демонстративно медленно, словно бы сдерживая тех, кто был рядом... Я обратила внимание на его глаза: желтые, тяжелые, неподвижные... Они испугали меня... Но я женщина, я чувствую больше, чем анализирую, я увидела в его глазах такое одиночество, такую затаенную тоску, что сказала Ивану Панфиловичу, когда мы вернулись домой: «Отвези меня к нему... Ну, пожалуйста... И в грешнике есть частица святого, надо только докопаться до нее... Поверь, я смогу уговорить его остановить ужас происходящего...» Иван Панфилович отмалчивался, я настаивала. Тогда он тихо ответил: «Что ж, пожалуйста... Собирайся... Только заранее простись с детьми, родителями, с друзьями, со мною, наконец,— нас всех уничтожат, Шура, всех. В одночасье...»

Я ведь только потом узнала, что Белов написал Сталину: необходимо организовать Наркомат оборонной промышленности. Он ведь не зря в Германии работал, понял доктрину немцев: «техника решит исход будущей битвы». А Сталин? Он считал, что конница Буденного и авиация гарантируют нам победу над любым врагом. Сталин прочитал записку Ивана Панфиловича, усмехнулся, посмотрел ему в глаза: «Что, готовишь себе тепленькое местечко?» Он мерил всех своими мерками, этот человек... Хотя, порою, мне не под силу называть его человеком... Я помню, как Иван Панфилович возвратился с процесса над своими товарищами во главе с Тухачевским. Он был совершенно черный тогда. Сел к столу, попросил у меня бутылку коньяку и выпил всю бутылку не закусывая. А ведь он пил редко, крестьянский сын, *блюл* себя... А потом поманил меня к себе и прошептал: «Такого ужаса в истории цивилизации еще не было. Они все сидели, как мертвые... В крахмальных рубашках и галстуках, тщательно выбритые, но совершенно безжизненные, понимаешь? Я даже усомнился — они ли это? А Ежов бегал за *кулисами;* все время подгонял: „Все и так ясно, скорее кончайте, чего тянете..." Я спросил Якира (помнишь, сестра его жены была замужем за моим помощником по разведке): „А он тоже враг народа?" Якир даже не посмотрел на меня, ответил заученно: „Да, он тоже враг народа"...»

...Судили Тухачевского два его недруга: маршал Егоров, командовавший Юго-Западным фронтом вместе со Сталиным, и Буденный; Блюхер и Белов были фигурами нейтральными, их *использовали*... Было необходимо соблюсти декорум; в этих вопросах Сталин был большим специалистом...

Впрочем, порою меня поражает то, что он вписывал или давал указания вписать в показания арестованных. Например, на процессе «Антисоветского троцкистского центра» Вышинский, допрашивая одного из руководителей Кузбасса, бывшего рабочего, любимца Серго, товарища Шестова, задал ему вопрос: «Где вы получили письмо Седова? (Лев Седов — сын Троцкого, отравлен в 1938 году в Париже.— *Ю. С.*) Шестов: «Я получил его в ресторане „Балтимор"». Вышинский: «Что же вам Седов сказал?». Шестов: «Он просто передал мне тогда не письма, а, как мы тогда условились, пару ботинок... В каждом ботинке было заделано по письму...»

Как же надо было презирать людей, какую власть над ними иметь, чтобы приводить такие «доказательства»?! Только кретин, а не конспиратор, может приносить в ресторан не письмо, которое можно передать незаметно, а ботинки!

Или, например, другой эпизод. Допрашивая подсудимого Арнольда, Вышинский спрашивает: «Может это нескромно, но я должен уточнить, где вы родились и фамилию вашего отца». Арнольд: «Я родился в Ленинграде, фамилия моего отца Ефимов, а фамилия матери Иванова». Вышинский: «Почему же вы Васильев, а не Петров?» Арнольд: «Потому что у меня крестный был Васильев... Потом товарищ отдал мне паспорт на фамилию Карл Раск... После я переменил фамилию на Айно Кюльпинен... А потом переменил фамилию на Валентин Арнольд, и поехал — из Америки уже — оказывать техническую помощь Советской России в Кемерово...» Вышинский: «А вы не были членом масонской ложи?» Арнольд: «Был, когда я жил в Америке, и подал заявление и поступил в масонскую ложу... Я вступил в партию в 1923 году». Вышинский: «И в это время вы оставались масоном?» Арнольд: «Да, но я никому об этом не говорил... Я должен был организовать терракты против Орджоникидзе, Молотова, Эйхе и Рухимовича...» (Серго, Эйхе и Рухимовича убили не троцкистские масоны, а Сталин.— *Ю. С.*).

— Вскоре после расстрела героев гражданской войны,— продолжала Александра Лаврентьевна,— Сталин вызвал Белова. В кабинете сидел Ворошилов... Сталин долго ходил по кабинету, а потом, остановившись перед Иваном Панфиловичем, спросил: «Любишь меня, Белов?». А Иван Панфилович ответил: «Вы ж не женщина...». Помолчал, нервы, видимо, сдали, и выдохнул: «Да как же вас любить, когда вы революцию погубили?» Сталин хлестанул его по щеке, обернулся к Ворошилову: «А ты его на новую должность рекомендовал... Нехорошо...»

Из сталинского кабинета Белова увезли в тюрьму. На расстрел его вели под руки, шел он как каучуковый, подскакивал, все кости были переломаны.

Ну, а потом пришла моя очередь. Настоялась в карцерах: это каменный шкаф, повторяющий, как гипсовый слепок, фигуру человека. Стоишь, стоишь, теряешь сознание, оседаешь, тебя вытащат, обольют водой и — на место... В сортир не водили — все под себя... Стакан воды и кусок хлеба на день. Стой и думай...

Детей забрали в детприемник, туда моя мама поехала, а ей говорят, что моя трехлетняя дочка Лементина умерла от голода. Мама спрашивает: «А где хоть ее могилка?» А ей в ответ: «Будем мы еще вражеских змеенышей хоронить... Иди вон в ров, там их много лежит, раскапывай, может, по костям определишь».

За меня пытались заступиться. Мишенька Зощенко пришел в НКВД, сам пришел, никто его не вызывал: «С Иваном Панфиловичем я редко встречался, а за Шурочку кладу свое честное имя, отпустите ее, пожалуйста...»

Выпустили меня после расстрела Ежова. Тогда Берия нарабатывал себе имя «правдолюбца», ведь «товарища Сталина обманывали враги народа Ягода, Ежов и иже с ними». (Точное повторение *игры* Гитлера. После того, как он угробил двух истинных создателей национал-социализма Рэма и Штрассера, прошли расстрелы ветеранов партии, которые помнили Мюнхен 1919-го, когда Гитлер еще не был фюрером. Расстреляли что-то около тысячи человек. Фюрер рыдал, Геббельс комментировал: «Адольфа обманули еврейские плутократы». Подробнее об этом — в моих книгах о Штирлице; там достаточно подробно дается анализ структуры национал-социализма, его стратегии и тактики.— *Ю. С.*).

Вышла я из внутренней тюрьмы одна-одинешенька, ни кола ни двора. Ютилась у случайных людей, узнала воочию, что такое предательство, боялась попадаться на глаза знакомым: вдруг снова заберут?! Хотелось стать крошечной, незаметной. Вот когда люди начали всерьез мечтать о чуде «человека-невидимки». Только б никто не нашел, затаиться, как это у Высоцкого? «Лечь бы в грунт...» Но — пашли. Что-что, а находить у нас, если захотят, вмиг найдут. А искал меня не кто-нибудь, а «совесть партии» Матвей Федорович Шкирятов, председатель КПК, мерзавец из мерзавцев, палач и садист. Странно, отчего про него мало пишут, он же чудовище, фашистское чудовище, иначе и не скажешь...

Пришла я в КПК. Сидит этот карлик на краешке стола, глаза-буравчики, смотрит на меня неотрывно, а потом — хлоп ладошкой по зеленому сукну и — фальцетом: «А ну, рассказывай, как ты, утеряв бдительность, спуталась с врагом народа?!» А мне терять нечего, у меня день и ночь перед глазами моя кровиночка, трехлетняя доченька, замученная палачами вроде этого. «Мы с вами на брудершафт не пили,— отвечаю,— что это вы ко мне дружбой прониклись, на „ты" перешли?» Шкирятов аж ростом стал еще меньше, скукожился, как от зубной боли, и тихо спросил: «Комиссию интересуют все о ваших связях с врагом народа Беловым». А я ему: «С Иваном Панфиловичем Беловым я спала и детей ему рожала, а вы вместе с ним работали, на заседаниях Верховного Совета вместе сидели, что ж вы-то в нем врага не распознали?!»

Понятно, исключили меня из партии. Что потом было — рассказывать трудно. Когда вспоминаю, — сердце болит..

Существует (пока что) две версии по делу наших легендарных военных.

Первая: РСХА во главе с Гейдрихом, зная болезненную подозрительность Сталина, подготовило фальшивки на Тухачевского и его соратников. Это было не трудно сделать, ибо почти все наши военачальники проходили обучение в Германии — после заключения договора в Рапалло, задолго до того, как к власти пришел Гитлер.

Документы подделывал СС штурмбанфюрер Науекс. После разгрома нацизма он дал развернутые показания об этой «работе».

Суть подделки: группа военачальников во главе с Тухачевским готовит военный путч против Сталина.

Гитлеру не была страшна военная доктрина Сталина «все решит конница и авиация». Гитлеру была страшна доктрина Тухачевского: «Только танковые и мотомеханизированные войска вкупе с авиацией могут гарантировать победу над агрессором».

Много лет, после XX съезда, считалось, что расстрел наших военных был победой службы Гейдриха. Кое-кто продолжает так считать и поныне. Дескать, «товарища Сталина обманули».

Вторая версия: по заданию Сталина *идея* о путче советских военачальников была подброшена Гейдриху из Москвы — через белогвардейского генерала Скоблина, который затем таинственно исчез из Франции. То есть, Гейдрих был лишь *статистом* в игре Сталина.

Есть и третья версия, которую большинство исследователей отвергает. Суть ее

сводится к следующему: чекисты-дзержинцы, работавшие с тридцать четвертого года в архивах царской охранки, чтобы *накапать* «компромат» на Каменева, Бухарина, Пятакова, Рыкова, нашли документы, свидетельствовавшие о неблаговидных поступках Сталина. Сообщили об этом своим единомышленникам — военным. Те начали готовить переворот, чтобы спасти страну от тирана.

...В конце пятидесятых годов Лиля Брик и Катанян снимали две комнаты на даче на Николиной Горе. Однажды, гуляя по поселку, Лиля Юрьевна сказала мне:

— Весь тридцать шестой год я прожила в Ленинграде... Я тогда была замужем за Виталием Примаковым, командиром «Червонного казачества» во время гражданской... И все это время я — чем дальше, тем больше — замечала, что по вечерам к Примакову приходили военные, запирались в его кабинете и сидели там допоздна... Может быть, они действительно хотели свалить тирана? Или тот *играл* с ними, организовав провокацию?

...За всеми участниками Особого Присутствия, сразу же после окончания кровавой трагедии, Ежов поставил слежку. Наладил прослушивание телефонных разговоров, перлюстрацию писем. О результатах Сталину докладывали ежедневно.

Доложили и о том, что Егоров сник, замкнулся в себе, сказал одному из близких: «Я оказался пешкой в грязной игре. Мне стыдно самого себя».

Смогли записать подобные же разговоры Ивана Белова.

Маршал Блюхер заметил командарму Штерну во время боев против японских армий, вторгшихся в Монголию: «Это был кровавый фарс, но я не могу понять, отчего же они во всем признавались?! Отчего их лица были белые, словно мукой обсыпанные? Почему у них были чужие, черствые глаза?!»

Егорова и Белова расстреляли после нечеловеческих пыток.

Блюхер, чтобы не выйти на процесс, выколол себе глаза в кабинете Берии и был там же убит.

Буденный одобрял исход процесса, показывал друзьям в лицах, как *кололись* Тухачевский и Якир.

Тем не менее и за ним были отправлены две машины. Берия решил, что убирать надо всех свидетелей — без исключения.

Семен Михайлович жил в Передолкине, на даче, жил, как в былые времена у себя в станице,— с охраной, конюхами, егерями.

Когда его подняли с кровати — «чекисты приехали», он,— как был, в исподнем,— бросился к окну, распахнул его и крикнул охране: «Пулеметы — товь!» И дал несколько выстрелов из маузера. Потом — к телефону, набрал номер Сталина: «За мной приехали! Буду отбиваться, это — ежовские последыши». Сталин — после долгой паузы, калькулировать не умел — понял, что Семен не сдастся так просто, как *интеллигентишки*, типа Тухачевского и Уборевича, поднимет своими пулеметами весь поселок, а там писатели живут, пойдут ненужные толки, поинтересовался: «Сколько времени продержишься?». Буденный ответил: «До конца буду отстреливаться, патронов хватит...» — «Ну, держись,— усмехнулся Сталин,— попробую помочь».

Позвонил в Серебряный Бор, на дачу Берии:

— Заберите ваших людей от Буденного, пусть останется хоть один свидетель, один — всегда пригодится, я ему верю...

...Александра Лаврентьевна Белова проводила меня до двери — маленькая, очаровательная женщина с прекрасными голубыми глазами.

Вздохнула, улыбнулась:

— Мишенька Зощенко носил золотую цепочку на левой руке. Как-то я ему сказала, что мечтаю вставить золотые зубы,— так было модно. Он снял свою цепочку, протянул ее мне: «Возьмите, Шурочка, только вам не пойдут золотые зубы, вы же такая красивая...»

Она пожала острыми плечиками:

— Слушайте, вы можете понять тех, кто и сегодня кричит, что «Сталин — отец родной»? После того как все открыли?! Хотя, какое там «все»... Что это: психоз, упрямство или обида за прожитую жизнь, в которой место бога занял человек с желтыми глазами дьявола? «Без Сталина мы бы не выиграли войну»,— с горькой усмешкой она повторила чьи-то слова.— Без него, может, и войны-то бы не было, и уж выиграли бы мы ее не сталинским «пушечным мясом», а стратегией Тухачевского, Якира, Белова... Разве нет?

2

«Наши достижения» — так называлась выставка, организованная Серго Орджоникидзе в Политехническом музее в преддверии Семнадцатого съезда партии, который был громко назван «съездом победителей».

Серго гордился этой выставкой, считал своим детищем, приезжал туда и ранним утром и ночью, помогал устроителям добрым словом и делом.

Сейчас, когда история гибели Серго открывается все явственнее, начинаешь по-новому анализировать тот глубинный смысл, который Орджоникидзе вкладывал в ее создание: это была — по его замыслу — выставка примирения в партии: несмотря на все споры и оппозиции (а может быть, в чем-то и благодаря им), достижения промышленности Страны Советов (кроме ситуации в деревне — по-прежнему трагической) стали очевидны.

Именно поэтому на съезде — по его предложению — должны выступать не только те, кто всегда шел за большинством, но и Бухарин, Каменев, Зиновьев...

(Он, Серго, не голосовал за арест и ссылку Троцкого в Алма-Ату, за его выдворение в Турцию,— на этом настояли Рыков и Ворошилов. Он, Серго, после того, как из Политбюро был изгнан Бухарин, взял его к себе в Наркомат тяжелого машиностроения, Наркомтяж; в заместители пригласил старых и верных друзей, бывших оппозиционеров Юрия Пятакова и Леонида Серебрякова.)

Эта выставка, таким образом, была определенного рода намеком Сталину, *политическим* призывом к консолидации; хватит мстить тем, кто отстаивал свою точку зрения; они разоружились, от платформы отказались, работают не щадя сил, словом, воистину, время войны и время мира.

Серго, конечно же, не мог забыть ленинскую школу в Лонжюмо, занятия с его блестящими учителями — Каменевым и Зиновьевым, завязавшуюся там, в Париже, дружбу с учениками — большинство было объявлено оппозиционерами в конце двадцатых; отношения с ними не прерывал, пытался убеждать, горячился, отстаивая свою правоту, но никогда не обижал грубым словом или пренебрежительным невниманием к доводам идейных противников...

Судя по тому, что организаторов выставки (одним из них был мой отец) награждал он, Серго,— премиями, а не ЦИК — орденами, Сталин понял этот намек и отнесся к нему по-своему: после июльских событий тридцать четвертого в Германии, когда Гитлер уничтожил своих ближайших друзей-ветеранов, начал готовить собственную операцию — убийство Кирова; лучшего повода для развязывания террора не найти, опыт фюрера свидетельствовал об этом со всей очевидностью...

Через шестнадцать дней после убийства Сергея Мироновича были арестованы Каменев, Зиновьев, тысячи бывших оппозиционеров — члены партии с начала века, ветераны.

Еще через шестнадцать месяцев многие из них, оклеветав себя и оговорив друг друга, были расстреляны.

А затем были арестованы все заместители Серго, его ближайшие соратники,— истинные авторы *«наших достижений»*.

Сталин дал Серго честное слово, что Пятаков и его товарищи не будут расстреляны, если добровольно *раскроют* платформу современного троцкизма, помогут стране в ее противостоянии фашизму; во имя Партии надо уметь жертвовать постами и привилегиями, будут работать на дачах, писать мемуары.

Пятаков согласился «поработать на партию».

Через семь часов после вынесения приговора все близкие Серго коммунисты, обвиненные в шпионаже и вредительстве, были убиты выстрелами в висок.

После этого коварства, потрясшего Серго, он начал готовить свое выступление на февральском пленуме ЦК: он теперь до конца понял, что если не сказать всей правды, то делу Ленина будет нанесен такой удар, который поставит вопрос о жизни и смерти самой идеи социализма.

Поскольку Сталин знал все обо всех, особенно о тех, кто был *самим собою*, Серго, работавший над обвинительной речью против террора, был убит по прямому указанию Сталина.

Сразу же после торжественных похорон, проникновенных речей, траура и показных слез Сталин жестоко отомстил Серго за его наивную честность и несгибаемое благородство...

Проанализируем его выступления на страшном февральско-мартовском Пленуме, открывшем полосу тотального террора.

Итак, выступление Сталина: «Вредительская и диверсионно-шпионская работа задела *все* или *почти* все наши организации как *хозяйственные*, так административные и партийные... (Обратите внимание на последовательность перечисления организаций.— *Ю. С.*) Некоторые наши *руководящие* товарищи не только не сумели разглядеть настоящее лицо вредителей и убийц, но оказались до того беспечными, благодушными и наивными, что нередко *сами* содействовали *продвижению* агентов иностранных государств на те или иные ответственные посты».

(Именно Серго *продвигал* Бухарина, Сокольникова, Тухачевского, Серебрякова, Пятакова.— *Ю. С.*)

Видимо, Сталин опасался, что Орджоникидзе заранее написал вариант письма

Пленуму и отдал его на сохранение кому-то из *своих* — для публичного оглашения. В случае, если такое случится, если кто-то из сидящих в зале решится зачитать последнее слово Орджоникидзе,— будет поздно. Поэтому Сталин заранее объяснил и про «беспечную доверчивость», и про «продвижение на ответственные посты иностранных агентов».

Сталин продолжал: «Можно ли утверждать, что не было у вас предостерегающих сигналов? Нет, нельзя этого утверждать. В „Закрытом письме ЦК" от 18 января 1935 года по поводу злодейского убийства товарища Кирова сказано: „Надо покончить с оппортунистическим благодушием... Оно является отрыжкой *правого* уклона"». (Вот, оказывается, когда Сталин начал закладывать фугас под Бухарина,— еще за два года до его ареста!— *Ю. С.*) «В своем „Закрытом письме от 29 июля 1936 года",— продолжает он,— по поводу шпионско-террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока, ЦК вновь призывал: „Неотъемлемым качеством каждого большевика в настоящих условиях должно быть умение распознавать врага партии, как бы хорошо он ни был замаскирован..."» (А это уже прямое обвинение Серго: он, Орджоникидзе, не *внял*, не отдал на заклание своих друзей Пятакова, Бухарина, Серебрякова, окружил себя врагами народа, не *желал* их распознавать, что доказал закончившийся в январе процесс над его ближайшими помощниками и друзьями.)

Сталин: «Наши партийные товарищи не заметили, что троцкизм перестал быть политическим течением в рабочем классе, каким он был 7—8 лет назад (семь-восемь лет назад Сталин говорил прямо противоположное этому.— *Ю. С.*). Троцкизм превратился в оголтелую банду шпионов и убийц... Что такое политическое течение в рабочем классе? Это такая группа или партия, которая не прячет и не может прятать своих взглядов от рабочего класса, а наоборот, пропагандирует свои взгляды открыто и честно...»

«Каменев. Товарищи, я выхожу на эту трибуну с единственной целью — найти путь примирения оппозиции с партией. (*Голоса:* «Ложь, поздно». *Движение в зале.*) Оппозиция представляет меньшинство в партии. Она, конечно, никаких условий со своей стороны ставить партии не может. *(Движение в зале.)* После жестокой, упорной, резкой борьбы за свои взгляды мы выбрали путь — целиком и полностью подчиниться партии. Стать на этот путь для нас значит подчиниться всем решениям съезда, как бы тяжелы они для нас ни были. (*Голос:* «Формально!»; «Никто не поверит».)

Но если бы к этому безусловному и полному подчинению всем решениям съезда, к полному прекращению, к полной ликвидации нами всякой фракционной борьбы во всех формах и к роспуску фракционных организаций, если бы мы к этому прибавили... (*Шум, голоса:* «Партия ликвидирует, а не вы». *Голоса:* «Вы давно это говорите!» «Скажите насчет термидора!») Если бы мы к этому прибавили отречение от взглядов — это, по нашему мнению, было бы не по-большевистски. Это требование, товарищи, отречения от взглядов никогда в нашей партии не выставлялось. Если бы с нашей стороны было отречение от взглядов, которые мы защищали неделю или две недели тому назад, то это было бы лицемерием, вы бы нам не поверили. Мы думаем, что наша критика, которую мы обязуемся проводить в строгих рамках Устава партии, она еще пригодится партии... (*Голоса:* «Опоздали!» «Теперь надо на колени стать перед партией») ...тем более, товарищи, что в ряде вопросов наши взгляды получили подтверждение в жизни, а в ряде случаев партия в той или другой мере усвоила их...

Требовать отказа, отречения от взглядов — это вещь явно невыполнимая. Я возьму еще только один пример, имеющий совершенно злободневное значение...

Финиковский. Когда ты был искренним: когда с Троцким дрался или теперь? В какой ты шкуре? Скажи это сейчас перед съездом, скажи здесь перед всеми! Стыда нет перед съездом!

Каменев. Наши единомышленники во время дискуссии всюду открыто выступали в ячейках в защиту нашей платформы. Они, товарищи, вели себя,— вы можете находить их взгляды неправильными, можете думать, что они заблуждались,— но они вели себя, как мужественные революционеры. (*Голоса:* «Позорно вели себя!» «Контрреволюционеры так поступают!» «Далеко уедете с такими революционерами!» «Революцию против партии делаете!»)

Сольц. И меньшевики защищают свои взгляды мужественно, сидели в тюрьме за них!

Голос. Защищали щеткой портрет Троцкого!

Каменев. Открыто защищали свои взгляды...

Голос. Среди спекулянтов демагогией занимались!

Каменев. И ставили эти взгляды выше своего положения, готовы были пожертвовать своим положением ради того, что вы считаете неправильным, что вы, может быть, осудите, но что они считали правильным, не считаясь с тем, что их ожидает. Зачем вам это отрицать, этого нельзя отрицать!

Голос. Это разложившиеся одиночки!

Каменев. Рабочий класс хочет примирения. Несмотря на все разногласия, несмотря на всю остроту борьбы, у нас есть с вами общий интерес — это сохранение единства партии, как основного рычага диктатуры пролетариата. *(Шум.)*

Голос. Оно сохранено!

Голос. Пролетарии сохраняют его!

Голос. Так же вы говорили на XIV съезде!

Каменев. Это можно сделать на основе того подчинения решениям съезда, которое мы вам гарантируем. *(Шум.)*

Голос. Веры нет!

Каменев. Это должно сделать во имя интересов того дела, которое начал Ленин. *(Шум.)* И я выражаю твердую уверенность, что съезд, несмотря на все, это сделает. *(Шум.)*»

А вот в каких условиях проходило выступление ветерана партии Г. Евдокимова: «Теперь рабочие, беднейшие крестьяне и середняки из тех тезисов, которые опубликованы в газетах, по крайней мере знают, о чем на самом деле в настоящее время идет спор... (*Голос:* «Они осудили эти тезисы!» *Сильный шум.*) Что же хочет на самом деле рабочий класс? Каждая из спорящих сторон (*Скрыпник:* «Какая там сторона!»), естественно, утверждает, что рабочий класс *(Сильный шум.)* хочет именно того, чего хочет данная спорящая сторона. *(Сильный шум.)* Например, здесь, на съезде, утверждают, что рабочие требуют нашего исключения из партии. (*Голоса:* «Правильно! Правильно!» *Шум, смех.*) Неправда. *(Шум.)* Немного найдется таких рабочих, которые поверят, что такие вожди партии, как Зиновьев, Каменев и Троцкий *(Смех, сильный шум. Голос:* «Именно такие вожди!»), могут являться врагами рабочего класса, партии и советской власти. (*Сильный шум. Голос:* «Плеханов тоже был вождем, да съехал!»). Товарищ Ленин учил нас смотреть действительности прямо в глаза. (*Голос:* «Не спекулируйте Лениным!») Чего же на самом деле хочет рабочий класс? (*Голос:* «Чтобы вас исключить!») Не последним вопросом, интересующим самые широкие рабочие массы, является вопрос о возможности и об опасности раскола ВКП. (*Шум, смех. Голоса:* «Слышали!») Самые широкие рабочие массы, из 100 человек 99, хотят прежде всего, чтобы было сохранено единство нашей партии. (*Сильный шум. Голоса:* «Без вас!» *Голос:* «Оно есть и останется!») Но наряду с этим рабочие, конечно, хотят, чтобы внутри партии давали говорить и большинству, и меньшинству. (*Сильный шум. Голос:* «Это меньшевистское меньшинство!») Что, скажете, неправда? Нет, правда. (*Шум, голоса:* «Ложь!» *Голос:* «Меньшевистской свободы слова не дадим!») Рабочие хотят слушать не только одну сторону, а обе стороны. (*Голос:* «Кроме партии, не может быть других сторон!») Из 100 человек 99 хотят этого. (*Шум. Голос:* «Разве это ленинская постановка?»)»

Вот честно и открыто ленинцы с дореволюционным стажем, герои Революции отстаивали свои взгляды в 1927 году. В 1936-м их бросили за решетку.

А теперь вернемся к выступлению Сталина на февральско-мартовском Пленуме: «На судебном процессе в 1936 году Каменев и Зиновьев решительно отрицали наличие у них какой-либо политической платформы... На судебном процессе в 1937 году Пятаков, Радек и Сокольников признали наличие у них политической платформы. Но они развернули ее не для того, чтобы призвать народ к поддержке троцкистской платформы, а для того, чтобы проклясть ее»

...Будучи выдающимся конструктором кровавых *игр*, Сталин умел закладывать потаенный смысл не только в текст, но и в сами названия отдельных подглавок его выступлений. Одну из таких *подглавок* он и обратил прямо против Орджоникидзе, обозначив ее: «Теневые стороны хозяйственных успехов».

Сталин: «Наши партийные товарищи за последние годы (то есть, когда Серго перевели из аппарата ЦК и ЦКК в Наркомтяж.— *Ю. С.*) были до крайности увлечены хозяйственными успехами — и забыли обо всем остальном... Будучи увлечены хозяйственными успехами, они стали видеть в этом начало и конец всего... И как следствие — появляется слепота».

...У любого непредубежденного читателя должны возникнуть, по крайней мере, два вопроса по прочтении этого сталинского пассажа.

Первое: как можно было достичь хозяйственных успехов — а они, по словам Сталина, «действительно огромны»,— если всей хозяйственной работой страны руководили шпионы, вредители и диверсанты?

Либо успехов не было, либо народным хозяйством руководили настоящие большевики-ленинцы, а никакие не «троцкистские диверсанты».

Второе: можно ли упрекать руководителей народного хозяйства в том, что для них успехи дела «были началом и концом всего?» Ведь именно успех дела и определяет истинного ленинца, а не трибунная болтовня.

В этом же выступлении на Пленуме Сталин говорил о том, что «успех за успехом, достижение за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением порождают настроения беспечности и самодовольства». Опытный интриган, взвешивающий каждое свое слово, тут он, что кажется мне весьма странным, подставился: не привел ни одного примера о вредительстве. Почему же не сделал этого? Почему не назвал суммы ущерба, причиненного народному хозяйству «диверсантами» с дореволюционным партийным стажем, прошедшими тюрьмы, каторги, ссылки?

Фактов не было.

Сталин нагнетал истерию подозрительности, без которой невозможен Большой Террор.

Впрочем, он аккуратно страховался, обязывая соответствующие службы «принять необходимые меры, чтобы наши товарищи имели возможность знакомиться с целями и задачами, с практикой и техникой вредительско-диверсионной работы...»

А ну бы самому — дать хоть один пример! В предыдущих выступлениях Сталин был горазд на примеры, подтверждающие правильность его слов... Нет, он знал правду, он — тогда еще — допускал, что кто-либо из ветеранов мог обвинить его в подтасовке и лжи, поэтому *«факты»* требовал от соответствующих «служб». Чтобы в случае, если его ложь будет раскрыта, на них же и свалить вину.

Я убежден: настало время напечатать стенограмму этого Пленума ЦК. Иначе попросту невозможно понять происходившее. Что это — массовый психоз, объявление войны логике, памяти, настоящим человеческим чувствам, наконец?! Что там происходило? Отчего логическому безумию не был противопоставлен здравый смысл?!

Как можно было генеральному секретарю всерьез утверждать, что «под шумок болтовни о стахановском движении» *некто* отводит «удар от вредителей»?! Кто именно? Серго? Кто *болтал* о стахановцах? Как можно было столь пренебрежительно, по-барски говорить о качественно новом почине, у истоков которого стоял именно Орджоникидзе?!

При чтении стенограммы Пленума меня не оставляло ощущение, что с речью выступал тяжелобольной человек. Судите сами: Сталин, например, утверждал, что «необходимо разбить и отбросить гнилую теорию, что у троцкистских вредителей нет будто бы больше резервов, что они добирают будто бы свои последние кадры. Это неверно, товарищи. Такую теорию могли выдумать только наивные люди».

Кто эти «наивные люди»? Серго?

Читаем дальше: «У троцкистских вредителей есть свои резервы. Они состоят, прежде всего, из остатков разбитых эксплуататорских классов в СССР».

Стоит только обратиться к работам Троцкого (а его надо б издать — объективности ради), чтобы стало ясно: никто из «эксплуататоров», тем более разбитых, за ним не пошел! Как они могли пойти за автором «перманентной революции» и военно-бюрократического, «приказного» социализма?!

Словно бы забыв о том, что он только что говорил в докладе, Сталин, в своем заключительном слове, утверждает прямо противоположное: «Вспомните последнюю дискуссию в нашей партии в 1927 году... Из 854 тысяч членов партии голосовало 730 тысяч... Из них за большевиков голосовало 724 тысячи членов партии, за троцкистов — 4 тысячи членов партии, то есть около полпроцента... Вот вам вся сила господ троцкистов. Добавьте к этому то, что многие из этого числа разочаровались в троцкизме и отошли от него, и вы получите представление о ничтожности троцкистских сил...»

Посидев над текстом сталинской речи и заключительного слова еще и еще раз, я понял: все сказанное им на Пленуме жестко подчинено одному — «генеральной» линии генсека-диктатора на уничтожение любого инакомыслящего в партии, физического истребления одних своих «соратников» руками других. Как и в конце двадцатых, когда Сталин натравливал Зиновьева на Бухарина, так и в тридцать седьмом он спускает на Николая Ивановича троцкистов. Вот как он это делает: «Надо ли бить не только действительных троцкистов, но и тех, кто когда-то колебался в сторону троцкизма? — спрашивает Сталин собравшихся.— Тех, которые когда-то имели случай пройти по той улице, по которой когда-то проходил тот или иной троцкист? По крайней мере, такие голоса раздавались здесь на пленуме... Нельзя всех стричь под одну гребенку... Среди наших ответственных товарищей имеется некоторое количество бывших троцкистов, которые давно уже отошли от троцкизма и ведут борьбу с троцкизмом не хуже, а лучше некоторых наших уважаемых товарищей, не имевших случая колебаться в сторону троцкизма»...

А затем Сталин раскрывает карты — против кого обращены все его туманные намеки, когда речь идет о «хозяйственниках», об их «достижениях».

— Мы, члены ЦК, обсуждали вопрос о положении в Донбассе. Проект мероприятий, представленный Наркомтяжем (читай, Орджоникидзе.— *Ю. С.*), был явно неудовлетворительный. Трижды возвращали проект в Наркомтяж. Трижды получали от Наркомтяжа все разные проекты. И все же нельзя было признать их удовлетворительными. Наконец, мы решили вызвать из Донбасса несколько рабочих и рядовых хозяйственников... И все мы, члены ЦК, были вынуждены признать, что только они, эти маленькие люди, сумели подсказать нам правильное решение...

Дальше следует пропагандистский залп о «демократии», свободе выборов, тайном голосовании, отчетности перед народом.

Все взвешено и скалькулировано.

Готовя тотальное уничтожение ленинской гвардии, Сталин высказал на этом зловещем Пленуме следующие директивные указания.

Первое: «Необходимо предложить нашим партработникам, от секретарей ячеек до секретарей областных и республиканских организаций, подобрать себе по два партработника, способных быть их действительными заместителями».

(Таким образом, по его модели, организованный террор должен срезать три слоя *Памяти.— Ю. С.*)

Второе: «Для партобучения секретарей ячеек необходимо создать в каждом областном центре четырехмесячные «партийные курсы».

Третье: «Для идеологической переподготовки секретарей горкомов необходимо создать при ЦК шестимесячные курсы по „Истории и политике партии"».

Четвертое: «Необходимо создать при ЦК шестимесячное „Совещание по вопросам внутренней и международной политики". Сюда надо направлять первых секретарей областных и краевых организаций и ЦК национальных коммунистических партий. Эти товарищи должны дать не одну, а несколько смен, *могущих заменить руководителей* Центрального Комитета нашей партии. Это необходимо и это должно быть сделано»

Члены Пленума ЦК, таким образом, слушали план, по которому все они должны быть уничтожены.

Неужели никто не понял этого?!

А если поняли — отчего бездействовали? Паралич воли? Страх? Авось, пройдет мимо меня? Не прошло. Почти все участники этого Пленума были затем расстреляны.

Все те, кто прошел эти «курсы» и «переподготовку» (и после этого остался в живых), дружно аплодировали появлению фильма «Ленин в Октябре», который следовало бы назвать «Сталин в Октябре».

Ни Орджоникидзе, ни Свердлов — не говоря уже о Бухарине, Троцком, Антонове-Овсеенко, Подвойском, Раскольникове, Бубнове — в фильме не были упомянуты. Термидор стал свершившимся фактом — партию за эти месяцы успели *переучить*.

В феврале 1937 года Сталин торопился. Он должен был получить к двадцатилетию Революции новую версию Истории, которая бы отныне сделалась «Катехизисом» для народа.

Что ж, судя по тому, как много людей и поныне вздыхают о «Хозяине», он преуспел и в этом.

Трагедия еще не кончена. Она продолжается.

В наши сердца должен постоянно стучать пепел тех, кто пал жертвой антиленинского переворота. Если нет — прощения нам не будет, и детям нашим. Новые любители «острых блюд» уготовят трагедию пострашнее тридцать седьмого — кулинары кровавых пиршеств ждут своего часа...

В Баку летом шестнадцатого года в клубе молодых литераторов встретились и подружились четыре юноши: Мирджафар Багиров, Всеволод Меркулов, Евгений Думбадзе и Лаврентий Берия.

Спустя сорок лет, когда бывшего первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Багирова конвоиры ввели в битком набитый зал суда, где заседала выездная сессия, председательствующий, заняв свое место за зеленосуконным столом, коротко бросил:

— Прошу садиться.

Зал стоял, замерев; взоры собравшихся — скорбные, дружелюбные, понимающие — были обращены на того, кого посмели назвать «обвиняемым».

Председательствующий посмотрел в зал и увидел в глазах людей ненависть, обращенную против него, приехавшего судить легендарного Мирджафара, гордость Республики, верного ученика товарища Сталина, оклеветанного безграмотным и завистливым мужиком Никитой Хрущевым.

— Садитесь,— повторил он чуть громче.

Зал продолжал стоять.

Молча стояли и десятки тысяч бакинцев возле тех радиоприемников, которые были установлены в городе, чтобы транслировать судебное заседание,— ко всеобщему сведению.

— Прошу садиться,— в третий раз произнес судья, и снова зал не шелохнулся.

И тогда Багиров — в своей обычной «сталинке», чуть осунувшийся, но улыбчивый — поднял руки и сказал по-азербайджански:

— Отр...

Это значит — садитесь.

И зал, словно бы протянувшись к нему влюбленными глазами, выполнил его *просьбу*.

Первый день процесса был проигран прокурором; Багиров безучастно слушал слова обвинительного заключения, кому-то из сидевших в зале дружески кивал, кого-то, чуть хмурясь, старался вспомнить; все происходившее, казалось, не имело к нему никакого отношения.

Лишь на второй день, когда стали вызывать свидетелей обвинения — в основном женщин, подвергавшихся пыткам и насилиям, чтобы сломать их мужей, ветеранов ленинской партии,— когда эти несчастные, потерявшие себя давно уже, глухо рассказывали о том ужасе, что им пришлось пережить, настроение сломалось, в зале начались истерики.

Багиров скукожился, хрустел пальцами, иусал губы; в последнем слове, когда увидел, что в глазах тех, кто еще три дня назад продолжал боготворить его, загорелась ненависть, прошептал:

— Меня не расстреливать надо, а — четвертовать...

В камере, накануне расстрела, сказал прокурору:

— Самое страшное заключается в том, что я совершенно не помнил тех эпизодов, что рассказывали несчастные... Я *забыл*, понимаете? Как забывают дело, выполненное после получения приказа, который, как известно, обсуждению не подлежит... Поверьте, я не помню ни одну из этих женщин, ни одну... Нет мне прощенья, какое счастье, что ухожу из жизни, спасибо вам...

...Меркулова расстреляли в один день с Берией; интеллектуал, он вместе со своим соавтором (тоже ныне покойным) написал в июле сорок первого года пьесу «Инженер Сергеев»; ставили в филиале Малого, гнали день и ночь; «товарищ Всеволод Рокк» — таков был его псевдоним — приезжал на репетиции вымотанный до крайности: надо было *«закрывать»* дело командармов Алксниса, Мерецкова, дважды Героя Советского Союза Смушкевича, Рычагова, Штерна; здесь, в театре, отдыхал, расслаблялся, получал «зарядку» творчеством замечательных мастеров русской сцены; героем его пьесы был беспартийный патриот, старый русский интеллигент, начавший борьбу против нацистов; актерам понравился образ, работали самозабвенно.

Мягкий и тактичный, Меркулов советы давал ненавязчиво, интересовался, какие реплики неудобны актерам, здесь же, в зале, вносил правки золотым пером тяжелого «монблана».

После возвращения в кабинет чувствовал себя помолодевшим: с арестованными, которые пытались отрицать вину, работалось легче; вид пыток он не переносил; когда начинали работу *специалисты*, уходил из камеры; легче всего ему давалась эмоциональная часть, заключительная, когда изувеченного человека надо было приободрить, вдохнуть в него веру, доказать, что признание вины — долг коммуниста, патриота Родины, ведущей борьбу с кровавым агрессором...

...Евгения Думбадзе, когда он эмигрировал, поняв, что такое Берия, убили по приказу давнего «друга и брата» в Париже; а ведь сидели на одной парте в бакинском «техникуме» — так тогда называли Высшую школу Механики и Конструкций,— вместе читали Маркса и Ленина; запрещенную литературу приносил Всеволод Меркулов: «Надо учиться владеть толпой; теория даст нам силу, чтобы повести за собою сирых и слабых, нуждающихся в мессии»...

...Лаврентий Берия, присланный на учебу в Баку сухумским меценатом Еркомишвили, держал запрещенную литературу в своей комнате, благо, денег хватало на то, чтобы жить отдельно, благодетель помогал щедро. Один из старших товарищей Берии — безымянный и незаметный — постоянно засиживался за полночь, читал Ленина, Маркса, Жордания, Троцкого; дядя Авель Енукидзе, подвижник Революции, давал Берии самые интересные брошюры на грузинском языке.

Старший товарищ Берии был сотрудником охранки; через него жандармы знали все, что происходит в «техникуме».

Порою «товарищ» подбрасывал юноше деньги: «Лаврентий, запомни — революция против пуританства, ее спутники — поэзия и любовь,— потом отдашь червонец, не думай об этом, пустяки, станешь архитектором — озолотишься...»

После февральской революции, не став сдавать выпускные экзамены, видимо, опасаясь, что разоблачение «старшего товарища» (дурак не поймет, что дружил с осведомителем) может ударить и по нему, Берия сообщает друзьям, что добровольно уходит в армию: вести «пропаганду среди солдат». Он доехал до Ясс, но вернулся в Баку вскоре после победы Октября, когда меньшевики в Грузии провозгласили Республику, а во главе ее стал приятель Сталина — Чхеидзе.

— Я должен внедриться в их партию,— сказал Берия Серго Орджоникидзе, прибывшему тогда в Баку.— Я знаю, как бороться с врагами *изнутри*.

И он получил санкцию на вступление в меньшевистскую партию.

...В Тбилиси он расчетливо *подставился* — намеренно засветил себя, выдавая за агитатора. И был посажен в тюрьму как *большевик*.

Это снимало с него все подозрения, которые могли возникнуть в Баку, если бы кто-то всерьез занялся материалами охранки, ее завялись...

За его освобождение боролись — «юноша рискует жизнью»; был депортирован из Грузии, в Баку встретили как героя.

Именно в то время к нему примкнули новые друзья — Гоглидзе, братья Кобуловы, Деканозов. С ними он прошел жизнь, с ними его вели на расстрел, который наблюдал Конев: маршал получил эту привилегию потому, что именно в кабинете Берии был убит его учитель — Блюхер.

Когда в Баку вступили англичане, Меркулова, Багирова в Гоглидзе посадили — были достаточно активны в своей революционной позиции; перестукивались в камерах Баиловской тюрьмы, искали, где «лидер», Лаврентий.

А Лаврентий спокойно пришел в техникум и приступил к сдаче экзаменов на звание архитектора; оккупанты его не тронули, потому что *списки* на аресты составляли бывшие офицеры охранки...

Перед тем, как в Баку вошла Красная Армия во главе с Кировым и Орджоникидзе, *архивы* запалили; в тот же день Берия сформировал первое Бюро комсомола Азербайджана: Багиров, Думбадзе, старший Кобулов и Деканозов.

(Именно Деканозов был послом Сталина в Берлине; имел встречи с фюрером, Розенбергом, Герингом, Риббентропом и Гессом; всячески крепил «дружество» между «двумя великими народами и идеологиями»; был первым, кто сообщил Гессу, что на партконференции ВКП(б) из состава ЦК выведены Жемчужина и Литвинов — «мы сближаемся и в национальном вопросе; дайте время, у нас не будет принципиальных разногласий».

Когда его вели на расстрел, плакал и терял сознание, молил о пощаде.

Генерал Павел Мешик, которого казнили вместе с ним, плюнул себе под ноги:

— Говно, не позорься!

И запел «Интернационал». Не все враги — тряпки, умереть достойно — не легкая штука.)

Как только Советская власть пришла в Грузию, туда срочно прибыл Сталин, отправился в депо, к рабочим, которые, он был убежден, поддержат его; обратился по-русски; рабочие закричали:

— Говори на нашем языке, ты ж грузин!

— Я говорю на языке русской революции! — отрезал Сталин.

Дружеского собеседования не получилось; Сталин был раздосадован; ночью шестого июля двадцать первого года в ЦК был организован банкет; Буду Мдивани, как герой борьбы против меньшевиков, предложил, чтобы Сталин стал тамадой. Первым зааплодировал Берия, сопровождавший его повсюду.

Сталин словно бы не заметил этого, однако вскоре прислал шифровку из Москвы, предлагая назначить Лаврентия Берию председателем ЧК Грузии.

Серго ответил:

— Рано еще... Пусть поработает в Азербайджане.

Поначалу его назначили шефом отдела безопасности; Берия бросился к Алеше Сванидзе, родственнику Сталина, брату его первой жены...

(Перед расстрелом люди Берии предложили Сванидзе: «Признайся во вредительстве, в этом случае товарищ Сталин обещал помиловать тебя». Сванидзе молча покачал головой. Его расстреляли; выслушав эту историю, Сталин усмехнулся: «Какой гордый, а?»)

Сванидзе позвонил Буду Мдивани и Махарадзе; после их *нажима* Берия прибыл в Баку не только заместителем председателя ЧК, но и начальником отдела секретных операций; все архивы теперь были в его руках...

Сделав то, что следовало, собрав наиболее *уникальные* документы — не только о себе самом, понятно,— он был командирован в Грузию, расстрелял своего благодетеля Еркомишвили,— «не мог буржуй помогать революционеру»; провел массовые расстрелы грузинских социал-демократов, стоявших когда-то на меньшевистских позициях, доложил об этом лично Сталину, был назначен начальником Грузинского ЧК и — по представлению Иосифа Виссарионовича — награжден орденом Красного Знамени.

А совершенно необходимым Сталину он сделался в тот день, когда в Сухуми

приехал больной Троцкий — зима двадцать четвертого. Каждый шаг предреввоенсовета и члена Политбюро немедленно сообщался Сталину; от него и была получена санкция на «прощупывающие» (читай — провокационные) разговоры с «человеком номер два».

Именно Лаврентию Берии и поручил Сталин в двадцать девятом негласно наблюдать за выдворением Троцкого в Турцию.

Именно ему Сталин поручил уничтожить старого большевика Алексея Гегечкори,— тот отзывался о диктаторе без должного пиетета, в воспоминаниях ничего не написал о «выдающейся роли Кобы»; сфабриковали дело о растрате; Берия приехал к «старшему другу», предложил: суд или самоубийство — с последующими торжественными похоронами.

Гегечкори был первой жертвой Берии — из числа большевиков-ленинцев.

Следующим был уничтожен Котэ Цинцадзе — последний из оставшихся в живых друзей Камо, работавший с ним до революции; Берия отправил в Кремль рукопись воспоминаний Котэ о Камо, а в них про Сталина не говорилось ни слова.

Сталин послал Котэ телеграмму: «Жду в Кремле, подготовил для тебя новую работу. Сердечный привет. Коба».

Котэ выехал в Москву, оттуда был отправлен в ссылку, где и умер.

Это было в 1932 году.

В благодарность за верную службу Сталин назначил своего молодого друга Берию первым секретарем ЦК Компартии Грузии.

Получив от Сталина приказ установить тотальную слежку за народным комиссаром внешней торговли Розенгольцем, которого исподволь готовили на процесс вместе с Бухариным и Рыковым, Берия делает это по-своему: он насилует — при помощи двух своих охранников — восемнадцатилетнюю дочь наркома, Лену. Девушка кончила жизнь самоубийством; ее тело выбросили на шоссе и по нему прокатил «линколын» — несчастный случай.

У Розенгольца остался сын, маленький еще мальчик. На этом потом и играли, сломить было не трудно, трагедия с дочерью постоянно рвала сердце...

В ночь, когда застрелили Серго, Берия лично приехал за его старшим братом — Папули Орджоникидзе. Старого большевика пытали в кабинете Берии, здесь же и застрелили; перед смертью Папули выхаркнул кровь на роскошный том «К истории большевистских организаций Закавказья» — «шедевр» Берии как литератора и историографа...

...И тем не менее тучи над его головой сгущались. После того, как Сталин вписал в показания героя гражданской войны Серебрякова признание о подготовке террористического акта против выдающегося ленинца товарища Берии, народный комиссар внутренних дел, «совесть партии» Николай Иванович Ежов понял: вот он, конкурент!

И — отдал приказ на арест Берии.

Будучи от природы человеком узкого кругозора, истинный выдвиженец Сталина в партию вступил после Октября, опыта борьбы не имел,— пытки ленинцев в подвалах не в счет, садистское развлечение, а не опыт,— Ежов отправил ордер на арест наркому внутренних дел Грузии Гоглидзе.

В тот же час Берия, меняя маршруты своего поезда, составленного из четырех «пульманов», выехал в Баку, оттуда — потаенными ветками — рванул к Москве: зеленый свет дал Каганович, не мог простить Ежову убийства братьев, боялся за себя, понимая, что на очереди все те, кто знал Сталина до революции.

(Об одном из героев моего романа «Бриллианты для диктатуры пролетариата» — Савельеве-Шелехесе — Лазарь Моисеевич заметил, странно усмехнувшись: «Чистый был человек, тоже попал в *нашу мясорубку*, мог бы работать и работать, настоящий большевик».

Сказав про «мясорубку», Каганович показал своими большими руками, как вертелись эти жернова, в которых хрустко перерезались шейные позвонки братьев, жен, ближайших друзей, героев страны, подвижников революции; сказав так, он, вздохнув, *усмехнулся*, хотел что-то добавить, но — внезапно замкнулся.)

В Москву Берия приехал в час ночи, подгадал, что Сталин еще в Кремле,— текущую работу закончил, готовится к завтрашнему дню; Берия запомнил, как в Тбилиси, в двадцатых, в день их первой встречи, проводив его в особняк, поинтересовался, когда делать завтрак и что приготовить для работы, Сталин усмехнулся: «Бог даст день, Бог даст пищу... Тут не работать надо, а пахать... Всю Грузию надо — после меньшевиков с их паршивой независимостью — перепахивать: с потом и кровью... Ишь, почему я не говорю с ними по-грузински?! — вдруг обратился он к какому-то невидимому собеседнику.— Пусть сами учат русский! Не захотят — заставим; насилие — а определенных ситуациях — тоже путь к счастью...»

Из Москвы Берия практически не уезжал; был назначен заместителем Ежова, постепенно перевел сюда свою гвардию — Меркулова, Деканозова, Гоглидзе, братьев Кобуловых — с ними как за каменной стеной; расстрел Ежова провел спокойно: *малыш* метался по камере, молил о встрече с «дорогим Иосифом Виссарионовичем», был быстр, как зверь, пули, казалось, не брали его, хотя «сталинка» сделалась бурой и *ощутимо* теплой от крови...

Провел несколько показательных процессов ежовцев, расстрелял «врагов народа, нарушавших социалистическую законность, поднимавших руку на лучших ленинцев», выпустил из тюрем около семи тысяч человек; в стране пошли разговоры: «Что значит, пришел человек Сталина! С ужасом тридцать седьмого покончено раз и навсегда, правда восторжествовала!»

Никто, правда, не знал, что накануне его назначения наркомом расстрельщики работали днем и ночью, *подчищали* камеры, уничтожая тех, кто не станет молчать, когда выпустят...

Затем Берия перенес свою деятельность за рубеж: организовал убийство Троцкого, вызвал из Германии всех советских разведчиков и расстрелял их в подвале — даже не допросив: надо было крепить дружество с Гитлером не словом, по *делом*; запретил Шандору Радо все контакты с его друзьями-антифашистами в Европе.

(Шандор Радо, руководитель советской разведывательной группы в Швейцарии, передававший в Москву, Берии, сообщения о том, что говорил Гитлер на совещаниях в Ставке, через час после того, как Кейтель объявлял заседание закрытым. Был вызван в Москву и арестован на аэродроме.

— Я ведь в «шарашке» сидел,— рассказывал мне Радо,— но ее Солженицын не совсем верно описал, его же среди нас не было, в «шарашке» держали только членов партии, ученых с мировыми именами. Берия к нам приезжал довольно часто, кое с кем из зэков здоровался за руку, интересовался работой, особенно *слушающей* техникой, так что наивные предосторожности ваших свободолюбцев, пускавших на всю мощь радио, чтоб их не *записали*, уже тогда было фикцией: мы научились отделять шепот говоривших крамолу от музыки или голосов дикторов... Берия высоко оценил нашу работу,— прибавил питание, приказал продавать нам не только маргарин, но и сливочное масло.)

Берия отправил послом к Риббентропу своего старого и верного друга Деканозова; немедленно сажал тех, кто осмеливался говорить о возможном нападении нацистов: «Я не разрешу травмировать хозяина паникерскими разговорами маловеров!»

Именно он в ночь на двадцать третье июня арестовал тех военных, которые должны быть объявлены виновниками нашего отступления — ими оказались как раз те, кто бил тревогу по поводу неминуемости агрессии: Рычагов, Смушкевич, Штерн, Мерецков...

Именно он — в пятидесятых уже,— чувствуя, что Сталин *отодвигает* его от *органов,* наладил свою личную слежку за каждым шагом Хозяина. Саша Накашидзе, работавшая в доме генералиссимуса, сообщала ему о том, когда, кто и сколько раз звонил Хозяину, о чем с ним говорил, кого он приглашал, сколько времени проводил за столом с гостями, как на кого глядел, кого чем угощал.

Поняв, что с ним может произойти то же, что случилось с Вознесенским и Кузнецовым, что готовилось против Молотова, Ворошилова (английский шпион) и Микояна, внес в «дело врачей» свой *поворот:* его агенты в Кремлевской больнице *отменили* все те лекарства, к которым привык организм генералиссимуса за тридцать лет. Маленького, одинокого, рябого старика, полного новых замыслов — процессы в России, продолжение чисток в Праге, Варшаве, Софии, Будапеште, Берлине, Бухаресте, Тиране, начало *нового* курса в Пекине, устранение Тито,— начали продуманно и методично убивать лучшей фармакологией, привезенной из-за рубежа — «для укрепления здоровья самого великого человека нашей эры».

(В свободное от работы время Берия отправлял своего порученца, полковника Саркисова, на «вольный поиск»: тот привозил ему девушек с улиц или же сановных матрон; Берия был галантен, девицам дарил облигации, которые должны были выиграть пять тысяч рублей; с актрисами «расплачивался» Сталинскими премиями.

Главный хирург Советской Армии Александр Александрович Вишневский рассказывал мне, что в камере, на шестой день после ареста, Берия начал онанировать, на замечание охраны ответил:

— Это потребность организма, я ничего не могу с собой поделать... Насколько я помню, правилами внутреннего распорядка в наших тюрьмах это не запрещается...)

Когда Берии позвонили с «Ближней дачи», что Сталин не откликается на звонки, он приехал туда, сострадающе посмотрел на растерянных Молотова, Кагановича и Булганина, обернулся к охранникам:

— Ломайте дверь!

И в первых же его словах, когда он увидел старика, лежавшего на ковре, было ликование:

— Тиран пал!

...После ареста Берия был объявлен английским и югославским шпионом. Смешно, конечно, со сталинизмом бороться сталинскими методами: через два года

Хрущев, Булганин и Микоян отправились в Белград к товарищу Тито — извиняться за произвол генералиссимуса; о «шпионе» Берии не вспоминали, полагая, что об этом уже все забыли.

Народ все помнит, только говорит редко, отучили его говорить, зато предметно объяснили, как следует таиться...

О чем же говорит судьба Берии?

Во-первых, о том, что принцип подбора кадров «под себя» неминуемо кончается трагедией. *Гарантия* тому — капризная секретность выбора, да и *самодержавность* самого посыла.

Во-вторых. Если по-прежнему и наших учреждениях останутся отделы кадров, возможен приход новых берий и абакумовых, ибо в задачу нынешних кадровиков не вменено искать по стране *Личностей*, но лишь проверять надежность *анкет* тех, кто им *спущен* сверху: естественный отбор талантов подменяется искусственным созданием покорной номенклатуры.

Традиция показушной «личной преданности», столь характерная для нашей истории, обходится в дискуссиях о будущем стыдливым молчанием: видимо, по сю пору не хотят *задевать* традиции, а они ведь разные, традиции-то...

В-третьих. Если мы не научимся участвовать в *открытой* конкуренции политиков, выраженной платформой, встречами с избирателями,— не для бурных оваций, а для деловых дискуссий, следствием которых будет не арест, но корректировка *общей* линии,— традиция посмертных реабилитаций станет нашей самой устойчивой внутриполитической традицией.

В-четвертых. Если новые общественные организации — а они неминуемо родятся! — не обретут конституционных форм и гарантий, прав на выдвижение собственных кандидатов в депутаты, прав на издание своих бюллетеней, дискуссионных листков, а еще лучше — газет, программ на ТВ и радио, боюсь, что новые *процессы* типа «каменевского» или «бухаринского» — неминуемы.

В-пятых. До тех пор, пока живут культивировавшаяся Сталиным зависть к Личности, ставка на мнение безликой, неперсонифицированной *массы*, заранее спланированное и проработанное *наверху* право на подсматривание в замочную скважину, целый институт доносов,— трудно надеяться на стабильность.

В-шестых. Ленин однажды обмолвился, что нэп — есть одна из форм борьбы с советской бюрократией. Вне кооперации нэп немыслим; много лет «нэп» считался ругательством; вот она — подмена понятий!

Диктатуре личности страшны сытые люди с чувством собственного достоинства — их не так просто обратить в рабство.

Нынешние попытки душить кооперативное движение (то есть, раскрепощение человека) угодны той бюрократии, которая не умеет жить без Берии, «верного ученика и соратника» Сталина, без управителя с хлыстом в руке.

Требуя «железного порядка», сталинисты — в силу своей ограниченности — не понимают, что по логике их же кумира именно их первыми бросят в подвал, а после процесса, где они признаются в участии в любом заговоре,— расстреляют.

Шахматы тренируют ум; перестановка офицеров сулит выигрыш позиции, правильная дислокация туры обеспечивает безопасность короля на поле.

Тем не менее проекция шахмат на политику — трагична и рискованна: не только каждый солдат, но и любой офицер сам мечтает стать королем.

Побеждает тот лидер, который имеет право свободного выбора среди Звезд — компетентности, достоинства, мужества.

Его друг тот, кто возражает; его враг тот, кто молчит. Значит, он ждет.

Чего же?!

«Нева» дружит с общественно-литературным журналом «Иродалми семле» («Литературное обозрение»), выходящим в Братиславе на венгерском языке и являющимся главной литературной трибуной венгерского национального меньшинства в ЧССР.

По случаю тридцатилетия «Иродалми семле» «Нева» предоставляет свои страницы главному редактору журнала-побратима, поэтессе и публицисту Эржебет Варге, а также другим венгероязычным поэтам Чехословакии, авторам «Иродалми семле».

У НАС В ГОСТЯХ —



МАСТЕРСКАЯ СЛОВА

Тридцать лет для журнала национального меньшинства — срок почтенный, особенно если учесть, что в годы первой Чехословацкой республики (1918—1938) ни один из журналов подобного рода не продержался и десяти лет; пятилетнее существование, точнее, прозябание (например, литературного журнала «Мадьяр ираш» — «Венгерская письменность»,— выходявшего в 1932—1937 годах и считающегося предтечей «Иродалми семле», и то означало большой успех. Именно поэтому наш писатель, литературный критик и теоретик, эссеист поистине европейского значения и масштаба, заслуженный деятель искусств Золтан Фабри (до самой своей кончины в 1970 году он являлся ведущим сотрудником «Иродалми семле») имел все основания в передовице первого номера первого года издания (1958) написать: «До сих пор в Словакии венгерского литературного журнала в точном смысле этого понятия не было».

Появление «Иродалми семле» знаменовало собой начало нового этапа в развитии литературы венгерского национального меньшинства в ЧССР.

Основное свое назначение «Иродалми семле» видит в том, чтобы способствовать дальнейшему развитию венгерской национальной литературы в Чехословакии. После возникновения журнала ни одно поколение писателей венгерского национального меньшинства не вступило в литературу, не получив слова на страницах «Иродалми семле». Открывать, воспитывать, поощрять молодые таланты — вот что всегда было важной составной частью редакционной работы. Нынешние члены редакционного коллектива (самому старшему из них тридцать девять лет) как прозаики и поэты тоже сформировались в «мастерской», именуемой «Иродалми семле». Их пестовали такие признанные писатели, бывшие редакторы, как, например, Тибор Баби, Арпад Тьежер, Ласло Кончол, Жигмонд Залабаи, Дюла Дуба,— пестовали в атмосфере требовательности и ответственности за дальнейшее развитие литературы, уважения к подлинным литературным ценностям. О требовательности, проявляемой при отборе произведений для публикация в журнале, свидетельствует, помимо прочего, тот факт, что большинство этих публикаций выходит впоследствии отдельными книгами и, как правило, встречает положительный отклик и за пределами нашей родины, прежде всего в Венгерской Народной Республике, куда наши книжные новинки поступают благодаря практикуемому ЧССР и ВНР совместному изданию книг.

Систематически печатаются и пропагандируются в «Иродалми семле» также русские, советские писатели, ученые-литературоведы; довольно большое внимание и место уделяется истории и современному состоянию наших культурных, литературных взаимосвязей, общим прогрессивным традициям, всему, что связывает наши народы. В последнее время наша редакция установила тесный контакт не только со словацкой и чешской литературами, но и с литературой украинского национального меньшинства в Чехословакии, прежде всего с редакцией украинского журнала «Дукла», издающегося в Прешове (Восточная Словакия).

То обстоятельство, что «Иродалми семле» начал выходить лишь в 1958 году, то есть довольно поздно (ведь после победоносного февраля 1948 года, когда на венгерское национальное меньшинство перестали смотреть как на «коллективного виновника», коллективного союзника фашизма и оно было восстановлено в своих гражданских и национальных правах, прошло целых десять лет), было для журнала... вроде бы странно употреблять в этой связи такое слово, но более точного

для выражения своей мысли я не нахожу — «счастьем», поскольку к тому времени наша литература уже миновала, преодолела полосу схематизма, хотя его проявления имели место и в последующие годы, а в отдельных случаях дают себя знать и по сей день. Публикационные возможности и эстетические критерии журнала определялись уже новой общественной реальностью, возникшей после XX съезда КПСС.

О нынешнем периоде существования «Иродалми семле» мне говорить трудно, поскольку с начала восьмидесятых годов я и сама принимаю участие в редактировании журнала, и мне не хотелось бы изображать дело так, будто бы все мои намерения и замыслы уже осуществились. Могу сказать лишь о тенденциях, характеризующих и определяющих нашу редакционную работу в настоящее время. Это прежде всего — стремление публиковать высокохудожественные литературные произведения о сложной, полной противоречий эпохе, в которую мы живем. Это означает, что мы хотим сплавить гражданские и эстетические ценности предшествующих лет и достигнуть нового, эстетически выразительного качества в литературе.

При этом мы сознаем, что сделать в литературе, в искусстве вообще шаг вперед невозможно без поисков нового, без смелого экспериментирования, без открытия неведомых до сих пор литературе сфер действительности. Поэтому мы поддерживаем стремление к эксперименту, свойственное отнюдь не только молодым авторам, для которых мы в 1987 году начали издавать литературное приложение к нашему журналу.

Эржебет ВАРГА,
шеф-редактор «Иродалми семле»

Элемер ТОТ

(1940)

Наши с тобой заботы

Ты ведь прекрасно знаешь: и для того и создан,
чтобы оберегать тебя.
...Земля кружится!
Но и ты
спроси меня хоть разок,
если дождик идет,
если погода хорошая,
если вообще ничего —
спроси, что мне боль причиняет
и почему?

Мозаика

На ветру,
когда у тебя такое чувство,
что ты мог бы взлететь,
звук жалейки,
сопровождаемый плачем овец,
скатывается с горы
и, за ольху зацепившись,
повисает над вымоиной,
простонав еще раз, другой,
третий...

Из кустов
наползают сумерки,
заволакивают округу.
Стадо
посеребренными стежками к дому бредет.

В теле жалейки,
уложенной пастухом в котомку,
завтрашняя нарождается
песня.

Дьердь ДЕНЕШ

(1923)

Печеная картошка

Осень, вечер, глиняная плошка,
мамой испеченная картошка.
Словно в церкви пахнет за столом,—
неизбывна память о былом.

Мамина картошка все не стынет
и ладони греет мне доныне.
Ощущаю вкус ее во рту
сызмала... Всем яствам предпочту!

Керосиновая лампа светит.
Глиняная миска, запах снеди.
Благодать такая, что порой
кажется,— и не было такой.

Мать уже в земле сырой лежит
возле той, картофельной, межи.
Лишь во сне привидится, бывает,
как печет картошку. Мать... Живая...

Арпад ОСВАЛЬД

(1932)

Радуга

Лишь мне известна тайна радуги.
Гроза пройдет, затихнет монотонный
мотив дождя, густого, проливного,—
и на прояснившем челе небес
я семицветье радуги рисую.
Клонясь над взгорьями, приникнув к родникам
разбойничьим, она до дна их выпивает.

По крайней мере, знаю, что когда
над нами радуга взметнется,
гордыня ярых молний сникнет
и даже самая тщедушная былинка
поднимет голову.

Шандор ГАЛ

(1937)

Обезглавленные изваяния

В огромных залах сидят мудрецы,
на вопросы всего человечества отвечают,
отвечают на всех языках Земли,
каждый хлеб, и любовь, и свободу сулит.

Из года в год конференции, съезды
тщатся решить уравнение мира. Всякий раз —
окончательно и повсеместно.
А тем временем атомной бомбою небо марают,
а тем временем мертвые боги друг другу — под дых,
а тем временем рушатся изваяния здравствующих святых,
а тем временем вновь у волков в человечьем обличье
сверкают глаза,
а тем временем — хаки солдат
с автоматами, танками и ракетами,
а тем временем
обезглавленные изваяния
шеренгами по тридцати шести —
вперед!

◆◆◆

Все со временем обнажится. Стены стихотворения, замкнувшегося в себе,
опадут, как легчайшая кисея. Время бурлит наподобие тайны подземных ключей.
Никаких вкусовых ощущений, да и запахов никаких.
Мир утопает во мгле...
Но незнакомые берега кажутся все же знакомыми.
Возможно, еще уцелеет крутой косогор,
лошадиное ржанье, грива, развевающаяся игриво,
память о пляске, пляска огня.
А еще — ледники, громыхающие одичало,
завывание сиверка под небесами зимы,
греза женщины, вставшей с постели,
и, быть может, дорога, которая вдруг откроется перед оставшимися в живых...

Кафедральный собор зимы

Белый
хрустальный мир.
Тишина.
Неподвижность.
Лишь Время время от времени
делает шаг-другой.

Эржебет ВАРГА

Воскресенье, красные кони...

Воскресенье, красные дикие кони...
Неподкованные и с такими красивыми гривами кони
прямо в окошко врываются, ластятся,
и на спинах красных коней,
как на спинах красных воспоминаний,—
детство мое в разодранном платьице...

После стирки слепящие белизной
простыни на былом ветерке отплясывают.
Мама кормит проголодавшихся уток,
а братишка ревет — спрыгнув с дерева, совершил полет,
старый зонтик раскрыв парашютом.

И меня, одержимую тоже мечтой Икара,
сеновалы, деревья, стога высотой одарили.

Перышки собираю, воск уже есть —
сокровища,
из которых получатся крылья!

Раздвигается зелень ветвей, золотые ворота — настежь,
наша корова домой возвратилась, бредет вперевалку.
Следом — дед, это он ее пас.
У деда большая кривая палка
и только один глаз.

Мой дедушка Йожеф Баллаи, гордый король ругательств,
видя, не видит даже средь бела дня.
Вот он палку на гвоздь повесил, косу,
и на красного сел коня.

Неподкованные, с такими красивыми гривами кони
приносят, уносят видения и немилосердно,
сладостно топчут, пока воскресенье длится,
топчут
мое сердце...

◆◆◆

Одинокая птица меня зазывает
на птичью стезю
в голубой беспредельности.

Перья у птицы — золото,
птичьи глаза — огонь.
Ах,
до чего одинока прекрасная птица!
Но нет, не взлечу,
не решусь...

Я еще сметь не смею,
а бояться уже боюсь.

Перевел с венгерского
И. ИНОВ

Гелия ПЕТРОВА



Старое зеркало

Узор оправы темно-красной,—
Какой беспечный завиток! —
Но в глубь туманную пристрастно
Вглядись — увидишь между строк:
Да, постарела... Близок вечер.
Но «вечер» — миг в стране теней:

Со дна стекла плывет навстречу
Лицо прабабушки моей.
И день придет, он недалече —
Лишь миг! — и сквозь зеркальный дым
Мое лицо всплывет навстречу
Грядущим правнукам моим.

Жилье

Очарованье дома малого —
Резной наличник, дым печной;
Дыхание коня усталого
В конюшне над рекой ночной.

А в доме теплая, блаженная
Стоит под утро тишина,
И дети спят. И только женщина
Не спит, заботами полна:

Кого несут дороги снежные?
На стук открыть помедли дверь,—
Перевелись скитальцы прежние.
В ночной дороге — кто теперь?

Мы недоверием пропитаны.
Тревожит теплая зима,
И многим кажутся защитою
Многоквартирные дома:

Пусть за стеной соседи-вороги,
Но крик — не заглушит стена.
Мы изуродованы городом,
Шкала достоинств — смещена,

И безопасность муравейника,
Единство улья — нам милы.
...И, зарастая мелким ельником,
Пустеют дальние углы.

◆◆◆

Е. Д.

Читала ли ты на ночь Винни-Пуха
В первоисточнике?
И если не читала,
То знай,— лишь в этом
Грустная причина
Твоих обид, сомнений и ошибок:
Ведь, не читая на ночь Винни-Пуха,

Природный ты утрачиваешь юмор,
Его улыбкой не возобновляя...
А без него так трудно разобраться,
Что в самом деле бедствие,
Что — мелочь.
Читала ли ты на ночь Винни-Пуха,
Евгения?

ВЛАДИМИР СУДАКОВ

мастер акварели и эстампа



Ленинград в праздничные дни. Автолитография

Известный ленинградскому зрителю художник Владимир Михайлович Судаков — выдающийся мастер живописи, рисунка и публикуемых здесь автолитографий — по праву считается любимым учеником прославленного К. И. Рудакова. Военная пора и суровая жизнь в тисках блокады спаяла дружбу этих замечательных патриотов — людей искусства. Уроженец Устюжны, В. М. Судаков обрел в Ленинграде вторую свою родину.



Петергофский парк. Автолитография



Листы из цикла «Блокада». На Неве. Гуашь



Устюжна. Автолитография



Ночная тревога. Гуашь



На Байкале. Автолитография



Озеро Селигер. «Долгие Бороды». Автолитография

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Николай
КРЫЩУК

«РУССКИЙ ВОПРОС», или ДВЕСТИ ЛЕТ СПУСТЯ

Историко-психологические заметки

Прошло тридцать лет — и мы снова на площадях. Не такой уж большой срок по российским меркам.

Вчера, кажется, скидывали с пьедесталов памятники усатому кумиру, сегодня приступаем к сооружению мемориала жертвам его репрессий. Правда, нет уже того распахнутого восторга в глазах, другая окраска, другой тон — строгость и требовательность, прорисованные грустными морщинами. Диву даешься, из каких разночинных недр вновь возникли на общественной арене эти государственно мыслящие бородачи.

Качнулась страна, заскрежетала от нечеловеческих усилий проржавевшая повозка. Планов, как всегда, громадье. Шума, конечно, тоже. Голос у нынешней демократии хриплый. Берем ее в который раз с боем, даром, что в который раз приходит сверху. Впрочем, может быть, у нашей свободы вообще такой голос? От новгородского вече еще идет, от Пугачева и Разина, от рабочих митингов, от царевой водки и удавки.

Демократия наша никогда не доживала до седин, а поэтому и возрождалась всегда молодой. Будь то декабристы или «русские мальчики» Достоевского, народовольцы или юные командармы, «лобастые мальчики» жертвенных сороковых или студенческие ватаги шестидесятых.

Сегодня в ходу термин — «митинговый социализм». Ругательный термин. Между тем митинговость — закономерный спутник всякой нарождающейся демократии, ее д е л о. Повторю: мы с вами снова, в который раз молоды и неопытны. Глоток свободы клокочет в горле и заставляет отчаянно жестикулировать.

В один прекрасный день все почувствовали себя политиками и у каждого за душой оказалась минимум одна идея, способная потрясти мир. Благо время подумать было. Домашние философы быстро поняли, что настал их час, политика вошла в моду, стала подобием азартной игры и формой досуга.

Но не будем спешить с шаржем. В этом гораздо больше серьезного и человечески важного.

Десятилетиями отлучаемые от политики, мы в ней дилетанты поневоле. Может быть, поэтому наше искреннее, почти интимное отношение ко всему, что составляет предмет общих вопросов, традиция столь же стойкая, как и факт отлученности от них. Занявшись политикой, дилетант и в это дело вносит момент личной страсти с присущими ей максимализмом и нетерпеливостью. Он стремительно обживает новые представления, перекраивает быт, с легкостью путешественника обретает единомышленников, не замечая, каким образом то, что вчера еще приманчиво мелькало за оградой, сегодня стало его жизнью и судьбой.

В политику он пришел с нажитым скарбом тоски, раздраженного недоумения и одиноких прозрений. Он обреченно сроднился с этим, как с капающим по ночам краном. Теперь его личная тоска вдруг получила государственный смысл и масштаб, и потому своей вечной мучительнице под знаком всеобщности он уже готов отдаться со счастьем, забыв на время, что у него конкретно ноет и где болит. Виноват ли он, что дух корректности и цивилизованной деловитости менее понятен ему, чем вольный дух демократии?

Возможные опасные осложнения этого процесса очевидны, и нам, к сожалению, за примерами не придется ходить далеко. Столь же, впрочем, очевидны и приобретения. Опыт весенних выборов показал, что мы уже сегодня способны реально влиять на политику, что народ обладает бóльшим чутьем и зрелостью, чем можно было ожидать, и выдвигает из своей среды новых лидеров и организаторов.

Но я не для того взялся за перо, чтобы расставлять акценты. Меня заботит другое. Та безоглядная вера в результативность демократических и социальных преобразований, которая завладела частью общества, уверенность и поспешность, с которой делаются все новые и новые ставки. Многим сегодня демократия представляется единственной и великой целью. Лишить их этой уверенности — значит не просто отобрать дорогую игрушку, но посягнуть на новообретенный смысл жизни. Этого не прощают.

Между тем нам совершенно необходимо понять, что демократия не цель, а средство, условие, при котором свое пред-

назначение человек сможет осуществлять без надсады и робости, привыкнув к свободе не как к осознанной необходимости, а как к законному праву и естественной потребности. Дадим себе отчет: до этого еще далеко, очень далеко. Но помнить об этом мы должны даже в самые драматические моменты истории.

Устремленность к скорым радикальным переменам не только таит в себе душевную опустошенность, но почти неизбежно приведет к новой волне разочарования и озлобления. Сам успех демократии в этом случае вызывает сомнение. Сверхстремительные потоки политических ситуаций не должны полностью отвлекать нас как от исторической сосредоточенности на главном, так и от глубинных процессов интимного бытия. Между прочим, только в этом случае сможем мы удержаться, оказавшись на политической быстрине.

Человек должен помнить, откуда он пришел, чтобы ясно видеть, где находится и куда может идти дальше. Только это в некоторой мере способно оградить его от жестоких капризов случая. То же нужно сказать и про общество.

В этом смысле бросается в глаза загадочная неизменность многих параметров российской действительности и общественной психологии, их верность себе. Социальные и политические вопросы на нашей почве неизменно прорастают проблемами духовными, горячие, злободневные темы являются своего рода темами вечными. Не то что роман — публицистика сто-, двухсотлетней давности кажется созданной вчера. Одними решительными действиями, не подкрепленными медленными раздумиями, мы с этим отечественным парадоксом не справимся. Нам не выбраться из исторического котлована, пока мы не поймем себя. Себя как общности, которая складывалась не одно и не два поколения.

В печати уже появились работы, в которых общественная ситуация анализируется на фоне широкого исторического контекста. Внимание, с каким эти публикации встречены, обнадеживает и дает основание думать, что мои заметки будут восприняты как реплика в уже начавшемся разговоре.

Исторические сказки

В эпоху, когда поощрялось отречение от родителей, а жены членов Политбюро чинили в лагерях мужские кальсоны, в обществе происходили события для большей части населения незаметные, но именно в силу своей незаметности они имели последствия долгосрочные и по масштабу своему гомерические. Кроме несомненных «заслуг» в области военной стратегии и языкознания, Сталин был еще и величайшим сочинителем. При его вдохновенном руководстве совершался один из самых чудовищных подлогов в истории человечества: для целых народов сочинялась новая родословная.

С прежней историей поступили так же радикально, как с предыдущей общественно-экономической формацией — она была отменена. Новая политизированная история, прежде всего, рассортировала события по принципу «революционно — реакционно», что потребовало, разумеется, некоторого пластического вмешательства с целью придания им (событиям) идеально-сущностного выражения. Кое-какие детали были переплавлены или ушли в отбраковку. То тут то там стали проступать белые пятна, которые вернее было бы назвать черными дырами. Одних героев убрали, других назначили и привели к присяге. Поскольку о них тут же начали создавать фильмы, книги и песни, которые пел народ, то получилось, что их как бы и выбрали снизу. Соответствующую стадию согласования и утверждения прошли и кандидатуры врагов. Им было придано то же (только негативно) сущностное выражение лиц, что и у героев. С такими рвущимися в бой командами можно было уже затевать сказку о борьбе добра со злом, к чему и приступили. Писали с конца, поскольку финал был известен. При этом нас старались убедить, что все мы вышли из этой сказки.

Революционную и послереволюционную историю переписывали спешно уже в рабочем порядке, на глазах у очевидцев, которых иногда, руководствуясь высшими соображениями, изымали как деятелей не только из строки прошлого, но и из текущей жизни. Замысел грандиозного сочинительства распространился на современность. По логике творца за настоящим оставалось только право соответствовать чаяньям лучших людей дореволюционной и революционной России. Круг замкнулся. Люди с придуманной исторической памятью привыкли узнавать из газет, что они сегодня думают, каковы их успехи и планы на будущее.

В силу почти церковной тяги к формализации, стоящей на страже красоты и незыблемости общего плана, история общества и его культуры все больше превращалась в номенклатурное произведение и в конце концов обезлюдела. Как после многократных просмотров учебного диафильма, в памяти остались стоящий в плотницкой рубахе и прогрессивно раздувающий ноздри Петр, честные, но далекие от народа глаза декабристов, несколько характерных поз Ленина, анфас — железный Феликс, плачущий от избытка гуманизма Горький — маски, жесты, бутафория, грим. Идиоты-цари, развратные дворяне, обжорливые буржуи, характерно-бородые троцкисты, кулацкие прихвостни, «лающие из подворотни», инженеры-диверсанты, пахнущие «Шипром» космополиты... У Воланда не хватило бы фантазии на такой маскарад.

Ни быта, ни психологии. История встала на котурны. Фильм, где Ленин в нижней рубашке подходит к умывальнику, быстро исчез с экрана, а на сильный польский акцент Дзержинского Шатров решился только в пору революционной перестройки.

Для самой читающей публики миллионными тиражами переиздавался Пушкин, утверждавший, «что „История государства Российского" есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека», однако читатель долгие десятилетия был принужден скучать в школе над «Бедной Лизой» и учить определение сентиментализма. Потом, кажется, и это исчезло из школьных программ, и Карамзина не стало. Мы знали, что Чаадаев — друг Пушкина, Белый — друг Блока, Л. Андреев — друг Горького, но никто не спешил нас с этими друзьями познакомить. «Тихий Дон» Шолохова как бы и существовал, но в школе проходили «Поднятую целину», а «Несвоевременные мысли» «великого пролетарского писателя» оставались таковыми полвека.

Сталинская версия истории принципиально обходится без человека, повторю еще раз — она безлюдна. Народ в ней либо страдает от темноты и унижения, либо борется с внешним врагом, либо поднимает обреченные на подавление бунты. Все его чувства и поступки имеют строгие социальные функции. Если он тоскует, то лишь от непосильной крестьянской доли и солдатчины, если бросается в разгул, то от той же бесперспективности крепостного существования, если возмущается, то помещиком и фабрикантом, если радуется, то хорошему урожаю. В остальное время он не мыслит, не чувствует, не знает семейного счастья, не наставляет детей, не задумывается о человеческом предназначении, но лишь о справедливом разделе земли и сокращении рабочего дня. Духовная жизнь народа, представленная в виде наивных апелляций к богу и веры в загробный мир, должна вызывать в нас лишь просвещенное сожаление.

Наша история не слишком богата традициями, которые для цивилизованного общества составляют плоть и кровь его быта и бытия, регламентируют общественное поведение, определяют нрав и достоинство народа. Стабильный, окультуренный быт предполагает определенный уровень развития и определенную протяженность жизни на этом уровне, чего Россия не знала. Все это неизбежно наложило свой отпечаток на наш образ жизни и характер.

«Мы все имеем вид путешественников,— писал Чаадаев.— Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию и любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. ...Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. ...Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена?»

Пушкин, как известно, возражал Чаадаеву, особенно настаивая на богатстве отечественной истории («А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!»), но и он признавал, что российская «общественная жизнь — грустная вещь».

Однако мысль Чаадаева о том, что «истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа», который пребывает «в неустойчивых условиях первобытной эпохи»,— печальнее и глубже, нежели его исторический пессимизм. В сущности, это была трезвая фиксация состояния, в котором находилась Россия. Общественная жизнь в безграмотной стране — понятие цеховое, социально локализованное. Между борьбой за существование, которую вел народ, и демократическим устройством общества, просвещением — расстояние в эпоху. Эту бездну мы попытались перескочить в несколько дней, чтобы снова на десятилетия продлить борьбу за выживание, еще более суровую, чем прежде.

К этому надо прибавить, что, когда грамотность стала приближаться к всеобщей, история уже была благополучно переписана, вредные книги надолго ушли в архив, а большая часть носителей старой культуры пребывала за границей или планомерно уничтожалась. Так, в Датском королевстве порвалась связь времен. Впрочем, народу в который раз было не до того.

Тем более нелепым и лживым было внедряемое в сознание представление о

том, что на ворота Зимнего забирались новые, готовые люди, отмывшиеся в буре революции от корысти прошлого, разве что с оставшимися кое-где родимыми пятнами.

По Сталину, мы не выросли из прошлого, а родились заново. Это не только лишало нашу историю каких-никаких преданий, воспоминаний и чувства наследования, без которых никакая положительная жизнь осуществиться не может, но и не давало возможности извлечь уроки из опыта отрицательного, который тем вернее, с сорняковой живучестью высеивал свои семена рядом с ростками нового сознания и в конце концов привел к обильному урожаю сталинщины. С тех пор наша безродность превратилась в своеобразный родовой признак. Не удивительно, что еще и сегодня историки не могут понять, что за социальный организм появился в то время на свет, «в котором причудливо смешались элементы общества, переходящего от капитализма к социализму, азиатской деспотии, государственно-монополистического капитализма, а может быть, и каких-то иных типов общества» (Т. Заславская).

Мы смотрелись в историю и не узнавали себя, не видели себя, смутно сознавая пропажу. Как сказал на встрече с ленинградцами Ю. Н. Афанасьев, произошла «утрата обществом его коллективной идентичности». Этот по аналогии перенесенный с личности на общество диагноз — должно быть, компетенция психиатра.

Жизнедеятельность развитой личности предполагает наличие поведенческих готовностей, направляющих ее деятельность. В результате повторяемых ситуаций, в которых человек так или иначе реализует свою потребность, происходит фиксация и закрепление готовности, или иначе — установки личности. Способность руководствоваться по преимуществу собственной программой есть психологический признак личности самобытной.

Но это же верно и для общества. Нужна осознанная повторяемость, фиксация, выработка установок. Только так народ может сам себя понять, определить свой характер. Однако опыт, который для человека определяется годами, для общества составляет десятилетия и века. Без исторической рефлексии мы не можем рассчитывать на полноценное переживание настоящего и на самостоятельный путь в будущем.

Преемственность рабства

За четыре года перестройки в нашу культуру вернулось небывалое число имен и произведений. У каждого своя история, свой трагический сюжет. Но судьба одного из них, даже на этом фоне, выглядит уникальной. Я имею в виду Петра Яковлевича Чаадаева. Участник войны 1812 года, своеобразнейший русский философ, которого за «критич. отношение к рус. истории, в т. ч. к православию, самодержавию, крепостничеству» (СЭС) русский царь объявил сумасшедшим, он ни разу за семьдесят лет, если не считать редких фрагментарных публикаций, не издавался в советских издательствах. Недавно изданная книга вышла тиражом двадцать тысяч экземпляров. Говорят, потому, что не было заказов от книготорга. Кому, мол, кроме специалистов, интересны сочинения друга Пушкина. Возможно, это очередная легенда, не знаю. Но и удивляться ей не приходится. От Чаадаева в массовом сознании осталось в лучшем случае имя, покрытое мохнатой школьной пылью.

В истории литературы не много примеров столь долгого возвратного пути к читателю. В чем же дело?

Раздумывать над загадкой может только человек, не знакомый с психологией нашего издателя, одним из признаков квалификации которого долгие годы служило умение видеть иля изыскивать в тексте так называемые «незапланированные ассоциации». Еще один превосходнейший термин минувшей эпохи (эпох).

Эта охота за аллюзиями открывала, конечно, колоссальный простор для самодурства, специфического скудоумия и комических несообразностей. Но надо признаться, многие из этих запретов и опасений были и впрямь небезосновательны. Чем больше было запретных тем в литературе (а число их возрастало с каждым годом), тем больше писатели изощрялись в эзоповом языке, тем с большим усердием читатель, наперегонки с цензором, настраивал ум на иносказание, выискивание подтекстов и исторических параллелей. И конца этим гонкам не было. Случалось, в жертву приносились писатели, не только не дожившие до семнадцатого года, но и не дотянувшие до порога нашего века. Для самовластия, как мы уже знаем, чрезмерных жертв не бывает.

Но и здесь дело не в тупости, а в сатанинской проницательности цензуры. Чаадаев и через полтора столетия был опасен. Объясняется это не столько свойством гения, мысль которого послана далеко, сколько той самой удивительной преемственностью российской действительности, о которой мы ведем речь.

Привыкнув все рассматривать через призму исторического детерминизма, приняв как аксиому превосходство нашей философии и социальной системы, мы с классовым высокомерием победителей всякую особенность прошлого сводили к исторической ограниченности, рассуждали о политиках, не сумевших подняться над эпохой, и гениях, впадавших то в одну, то в другую ошибку. Однако все это было вроде игры, условность которой в равной мере ощущали верхи и низы. Любая искренняя, убежденная интонация, любое неординарное суждение делали эту условность до неприличия очевидной. Цензура держалась цепко, но и она не всесильна.

Одной из самых пронзительных мыслей Чаадаева является мысль об особенностях российского рабства: «...взгляните только на свободного человека в России — и вы не усмотрите никакой заметной разницы между ним и рабом. Я бы даже сказал, что в преклоняющейся перед судьбою наружности последнего есть нечто более достойное, более устойчивое, чем в колеблющихся, опасливых взглядах первого. Дело в том, что по своему происхождению и по своим отличительным чертам русское рабство представляет собой единственный пример в истории: в современном состоянии человеческого общества оно не знает ничего подобного. Если бы в России рабство было таким же учреждением, каким оно было у народов древнего мира или каково оно сейчас в Североамериканских соединенных штатах, оно бы несло за собой только те последствия, которые естественно вытекают из этого отвратительного института: бедствие для раба, испорченность для рабовладельца; последствия рабства в России неизмеримо шире. Мы уже заметили, что, будучи рабом во всей силе этого понятия, русский крепостной вместе с тем не носит отпечатка рабства на своей личности, он не выделяется из других классов общества ни по своим нравам, ни в общественном мнении, ни по племенным отличиям; в доме своего господина он разделяет повседневные заботы свободного человека, в деревнях — он живет вперемежку с крестьянами свободных общин; повсюду он смешивается со свободными подданными без всякого видимого знака отличия. И вот в этом-то странном смешении самых противоположных черт человеческой природы и заключается, по нашему мнению, источник всеобщего развращения (dégradition) русского народа, вот поэтому-то все в России и носит на себе печать рабства — нравы, стремления, образование и вплоть до самой свободы,— поскольку о ней может идти речь в этой стране».

Не сомневаюсь, что специфику российского (не только русского) рабства можно объяснить, опираясь на сугубо научный анализ. Не удивительно также, что, перенесясь из феодальной, по существу, эпохи к диктатуре пролетариата, не имея сколько-нибудь долгого и стабильного опыта демократических свобод, мы органически унаследовали, прежде всего, рабскую психологию. Какой же иной опыт стоял за плечами наших дедов и прадедов, когда они упорно повторяли как магическое заклинание: «Мы — не рабы, рабы — не мы!».

Не знаю уж, организованы были требования поместить тело Ленина в мавзолей или нет. Вполне возможно, что машина создания общественного мнения к тому времени еще не была отработана и требования были искренними. Такое сооружение и впрямь было неизбежной психологической компенсацией за утерю царя и Бога. С испугу вырвавшееся у Есенина: «Конечно, нам и Ленин — не икона!», притом, что слова эти были произнесены с почти религиозной дрожью в голосе, вынуждавшей, в сущности, читать их с двойным усилением обратного смысла, до последнего времени все-таки боязно было и произнести вслух. Даже присущий личности Ленина демократизм не помешал поэтам уже при его жизни лепить в сознании масс образ полубога, властного не только над людьми, но и над природными стихиями. Впоследствии это стало чем-то вроде обязательной молитвы, и из гигантского вороха нашей поэтической Ленинианы мы едва ли отберем два-три десятка не то что талантливых, а просто осмысленных произведений. Но вначале-то шло действительно от сердца, в котором благодарное уважение и удивление не знало другой, кроме раболепного поклонения и обожествления, формы.

Сегодня мы как будто стесняемся признаться, что прежде культа Сталина у нас уже был культ Ленина, только его мы по наивности считали (да и считаем) не только безвредным, но плодотворным и естественным. Я не говорю уже о том, что вреден всякий, даже самый «хороший» культ, но ведь не может быть сомнения, что культ Сталина зарождался уже тогда, в скорбных очередях к Мавзолею Ленина.

Начиная с ультралевых заявлений о создании нового языка, нового искусства и новой государственности, мы обнаружили при этом удивительную преемственность, которая опиралась не столько на прогрессивность сознания, сколько на консерватизм чувств и унаследованный стереотип представлений.

Всех представителей партийной и советской власти в один миг окрестили «слугами народа». Возможно, вначале это воспринималось всего лишь как метафора (вроде сегодняшних «прорабов перестройки»). Однако в этом языковом перевертыше несомненно сказалось своеобразие нашего революционного мышления. Кто был ничем, тот станет всем, сначала я гнул спину — теперь ты мне послужи, умерь свое достоинство и важность, особливо если образованный. Подобная революционность уходила корнями в психологию раба и рано или поздно должна была снова привести к рабству. Право вчерашнего униженного встать над другим — вот как понимает равноправие победивший

раб. Отсюда это абсурдное и вполне утопичное представление о власти в услужении (пусть даже у народа).

Ненависть к дворцам и мундирам, фракам и пенсне, а потом к белым воротничкам, шляпам, отдельным кабинетам и служебным машинам разжигалась изнутри желанием иметь независимое благосостояние и «чистую» работу. Не удивительно, что в глазах еще вчера темного народа власть и привилегии идентифицировались с образованностью. Поэтому, а отнюдь не только от святого стремления к знаниям, родители наши, переламываясь на тяжелой работе, во что бы то ни стало стремились дать детям высшее образование, «вывести в люди». Обязательной принадлежностью костюма интеллигента стал гордо привинченный к лацкану вузовский ромбик. Вчерашний «выходец» считал необходимым подчеркнуть, что он перешел в другое качество, испытывая гордость за свое социальное происхождение только при заполнении анкеты.

Российские расстояния, как известно, огромны. Между благими тезисами и истинными мотивами в том числе. Провозглашенное социальное превосходство рабочего класса и крестьянства само собой, а стремление выбиться в начальство само собой. Ненависть к начальству была у нас всегда скрытой формой зависти и неутоленного стремления — благодатнейшая почва для безлимитного пополнения бюрократии. О глубине и органичности этого состояния свидетельствует, между прочим, Анатолий Стреляный в «Последнем романтике»: «Хрущев был более народен, чем хотелось бы думать некоторым его друзьям и недругам. Плоть от плоти, без всякой натяжки. Для него, например, само собой разумелось, что выбиться в люди — значит порвать со средой, в которой родился и рос, получить важную профессию, занять место, на котором не требовалось бы работать руками, стать начальником — чем большим, тем лучше. О жизненном успехе человека он судит не по его, скажем, доходам, как в странах с развитым товарным хозяйством, а по тому, какую профессию освоил и какое общественное положение занял. ...Чем выше стоишь, тем больше сто́ишь — он и мысли не допускает, что тут не вся, так сказать, правда и даже вовсе никакой правды, никакого социализма нет». Удивительно ли, что мы с таким запозданием стали бить тревогу по поводу миграции сельского населения и непопулярности рабочих профессий.

Новый начальник очень скоро забывал, что он вышел из народа, как скоро забывал об этом и сам народ. Выработанный веками стереотип власти оказывался сильнее. Человек, повторяющий еще по инерции слова о «слугах народа», уже инстинктивно, как некогда его отец и дед, мял в приемной шапку и заранее переходил на просительный шепот. А если забывался несколько и начинал что-то требовать по праву принадлежности к движущей силе революции, то тут же бывал привычно поставлен на место.

Между прочим, эта возрожденная иерархия помогала и новоиспеченному начальнику не забывать о своем прежнем положении и о зыбкости нынешнего. Гонор его имел только один вектор — сверху вниз, как и подобает истинному рабу. Он подобно грибоедовскому Максиму Петровичу пусть и «не то на серебре — на золоте едал» (читай, пользовался «определенными льготами»), пусть к его «услугам» были не то что «сто человек» — тысячи, а и над ним был кабинетик, в котором он готов был для услаждения чувств более высокопоставленного раба невзначай споткнуться о порог и подобострастно растянуться. Способность к этой гимнастике вошла в гены. Стоит признать, что в обществе есть хоть одна только богопочитаемая личность, чтобы подобные упражнения выглядели логичными и ничуть не позорными.

Рабская зависимость имеет начало, но предела не имеет. Если не считать таковым единственную личность, воздвигнутую на острие пирамиды. При этом рабская психология обладает не только вирусной способностью к распространению, но и совершенно уникальной способностью самовоспроизводства. Во всяком случае, если предположить, что в основе ее некогда был страх (прежде всего, страх за собственную жизнь), то впоследствии она стала реагировать с той же силой на неадекватно малые источники раздражения. Ведь не за жизнь же свою боялись те, от кого мы впервые услышали произнесенное с придыханием: «Дорогой Никита Сергеевич!». Ну ладно, тут еще можно усмотреть просто шкурные интересы. А А. Н. Косыгин, который, судя по «Запрещенной главе» Даниила Гранина, считал невозможным выступить с собственными воспоминаниями о войне, чтобы, не дай бог, не быть заподозренным в том, что он хотя бы один луч славы хочет отнять у автора «Малой земли»! Не страх это, а особое иерархическое мышление. Ведь скорее всего этот уважаемый в народе государственный деятель считал подобное выступление просто неприличным.

Надо признаться, что никаких гарантий против возрождения культа у нас нет. Даже после создания правового государства потребуется время и время, чтобы почувствовать себя действительно гарантированными от возврата прошлого. Потому что в создании нового культа человек наш редкостно бескорыстен. Не думаю, чтобы кто-нибудь мог упрекнуть в нечистом помысле любимого всеми артиста М. А. Ульянова, но его предложение

поставить в особые условия нынешнего Генерального секретаря вызвало у многих озноб: ведь с такого энтузиастического вскрика когда-то все и начинается. Из сторонников политики М. С. Горбачева мы легко можем превратиться снова в бездумных и восторженных песнопевцев. Сами не заметим, как это произойдет. И молодежь, с портретами генсека на куртках, нам, пожалуй, еще и поможет — уж она-то и вовсе не может жить без кумира.

Анализируя веками сложившиеся поведенческие готовности российского общества, мы должны особо помнить о его готовности к созданию культа. Личные качества лидера тут играют отнюдь не решающую роль, культ может сложиться и вопреки им. Я уже говорил о бескорыстной стороне этого явления, в котором уважение и почитание принимает традиционно раболепные формы. Но нельзя упускать из виду и возможность намеренного возрождения культовой эйфории. Противники перестройки спят и видят это в своих снах.

В прессе уже происходит некоторое смещение акцентов, но мы с легкомыслием человека, не желающего верить в грозную болезнь, стараемся не придавать этим симптомам особого значения. Если в первые годы перестройки, как говорят, по личной просьбе Горбачева, публицисты и разного ранга руководители ссылались в основном на решения того или иного форума, а не на мнение личности, то теперь снова входят в моду ссылки на Генерального секретаря и Председателя Президиума Верховного Совета. Смешно было бы Горбачеву или редакторам изданий уговаривать авторов этого не делать, тем более, что многие из них искренни и вовсе не помышляют о новом культе. Но дело, как мне представляется, вообще не во внутренних мотивах пишущего или выступающего, дело в мощной инерции, накопленной обществом, в соблазне привычного.

Сейчас уже не многие помнят, как началось обсуждение доклада на XIX партийной конференции. Вот какой настрой делегатам пытался дать первый секретарь Кемеровского обкома КПСС В. В. Бакатин: «Наша кузбасская делегация... много и долго думала над тем, как все 75 тысяч предложений от коммунистов и беспартийных Кузбасса донести до вашего сведения. ...А получилось так, что в общем-то доклад снял все вопросы, ответил на все сомнения, и вроде бы можно, как говорится, на этом выступление и закончить. (Аплодисменты)». К счастью, делегаты не поняли этого хорошо организованного намека, но есть ли гарантии, что не поймут со второго или с третьего раза?

Когда известный публицист Мэлор Стуруа называет свою статью о выступлении М. С. Горбачева в ООН «Новая философия мира» — это его право. Писатели — народ эмоциональный, склонный к образным обобщениям. Но вот через несколько дней телевизионная передача, посвященная тому же выступлению, выходит так же под названием «Новая философия мира» — уже без всяких кавычек, без скидок на эмоциональность публициста. Звучит это объективно-обезличенно, как констатация факта появления нового философа и новой философии. Нет сомнения, что ученые уже отточили перья, чтобы сообщить о вкладе в науку. Оценить по достоинству своевременный, дальновидный, потребовавший определенного мужества шаг политика им кажется недостаточным. Первый человек в государстве у нас непременно оказывается то первым философом и лингвистом, то первым агрономом, то первым писателем. К этому прибавим, что критика в адрес высшего руководства (и уж, конечно, лидера партии и государства) у нас по-прежнему невозможна. И отказываются от нее не просто из страха, боже упаси, и не из боязни нарушить традицию, а по соображениям политическим и гуманным. У Горбачева, говорят, и так много противников, критиковать его — значит лить воду на их мельницу.

Похоже, и Генеральный секретарь почувствовал в атмосфере признаки исторического рецидива и точно оценил его социально-психологическую подоплеку. «Необходимо избавлять общественное сознание,— сказал он на встрече с руководителями средств массовой информации, идеологических учреждений и творческих союзов,— от такого вреднейшего комплекса, как вера в „доброго царя", всемогущий центр, в то, что кто-то сверху наведет порядок, организует перестройку. Это худший вид социального иждивенчества. Многие отвыкли действовать самостоятельно, не умеют, как надо, работать. Это факт». Но очевидно, что одними внушениями дела не поправить, тем более, что и самому руководителю не так-то легко отказаться от навязанной ему роли. Несколькими абзацами выше в том же выступлении Горбачев замечает: «Мы видим, что некоторые проблемы сейчас не решишь, пока не вмешаешься по-старому, как раньше. А куда деваться? Такова реальная жизнь». Печальное признание. Ведь по-старому — это значит снова в роли доброго или строгого царя. Меньше всего хочу ловить выступающего на противоречии: действительно, такова жизнь, таковы условия «переходного периода», в котором старые и новые методы неизбежно сосуществуют. Но нельзя при этом не заметить, что мы, по существу, всегда жили в переходное время, это тоже постоянное свойство российской неустой-

чиаой действительности. С нашими историческими дорогами попасть в старую колею легче легкого. Да и застрять там снова надолго. Петр I заставлял крестьян сажать картошку, Хрущев заставлял сажать ее квадратно-гнездовым способом. Прогресс, конечно, налицо, но и верность способу его внедрения поразительна.

Отрицательная оппозиция: причины и следствия

Сейчас как будто самое время вспомнить окуджавское:

А все-таки жаль, что кумиры нам снятся
по-прежнему,
И мы до сих пор все холопами числим себя.

Но я хочу обратиться к другой неизменной стороне нашего бытия, которая, как рабская психология Чаадаевым, с такой же убедительностью была вычислена и объяснена в свое время Александром Ивановичем Герценом. Потому что в том, о чем писал Чаадаев, все, конечно, правда, но это еще не вся правда.

Работа Герцена «Русский народ и социализм» явилась ответом на одну из статей французского историка Мишле, в которой тот производил уничижительный разбор русского характера. Со всей своей «скифской горячностью» Герцен решил вступиться. Разумеется, он и в этой роли адвоката не помышляет о лести своему народу, но лишь предлагает взглянуть на вещи более диалектично.

Русский — раб по природе, утверждает Мишле. Да, мы рабы, соглашается Герцен, но лишь в том смысле, что мы подчиняемся грубой силе и не имеем возможности освободиться, но при этом мы ничего не принимаем от своих врагов. Поэтому упрекать русских в том, что им недостает нравственного чутья, что они не видят смысла в понятиях истины и правды, — значит бессознательно или намеренно путать русский народ с той Россией, которая «начинается с императора и идет от жандарма до жандарма, от чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом отдаленном закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы приобретает, как в дантовских bolgi [1], новую силу зла, новую степень разврата и жестокости. Это живая пирамида из преступлений, злоупотреблений, подкупов, полицейских, негодяев, немецких бездушных администраторов, вечно голодных; невежсудей, вечно пьяных; аристократов, вечно подлых: все это связано сообществом грабительства и добычи и опирается на шестьсот тысяч органических машин со штыками.

Крестьянин никогда не марается об этот мир правительственного цинизма; он терпит его существование — в этом его единственнан вина».

Конечно, XX век и здесь внес свои коррективы. И если мы согласимся с Герценом в том, что всегда в России находится «горстка людей, на все готовых» в борьбе против жандармов и чиновников и что место их, несмотря на суровые правительственные меры, не долго остается пустым, то с утверждением о незамаранности народа о мир правительственного цинизма не много сегодня найдется охотников согласиться. Редко в какой публикации о сталинских репрессиях не прочтешь простую, как арифметика, догадку о том, что на каждую жертву был ведь свой доносчик, свой следователь и судья, свой истязатель. Бездну, которая зияет в этом откровении, можно ли вообще осознать?

Думаю, однако, что подобный ход мысли приводит нас к созданию нового мифа, который далек от реальности. Были, конечно, и доносители и палачи по шкурным и по идейным соображениям. Но они были всегда, и нет оснований утаерждать, что во времена сталинщины их стало намного больше. По предложенной арифметической логике их должно быть в два-три раза больше, чем жертв — так нам, может, и всего населения не хватить. Между тем правда состоит в том, что даже многолетний, всепроникающий и жестокий террор не сумел полностью вытравить человеческое в человеке. Хотя уникальность ситуации состояла не только в масштабах репрессий против собственного народа, но и в степени обманутости этого народа.

Конечно, немало при этом было и таких, кто ничуть не обольщался новой ситуацией, но был уверен, что власть всегда такова, и ждать от нее другого нельзя, и сопротивляться ей все раано, что пытаться поудобней сесть на кол. Эту индифферентность, кстати, отмечал в народе и Герцен, видя в ней отчасти тоже способ сохранения нравственности [1]. Но большинство не просто подчинялось грубой и заведомо враждебной силе, а власти, в которую искренне и опрометчиво уверовало, которая представлялась осуще-

[1] ямах ада *(итал.)*.

[1] Примечательно, что в этом слое людей, находящихся по отношению к власти в традиционной оппозиции, существовала традиционная же надежда на новых спасителей. Характерный в этом смысле эпизод приводит в «Крутом маршруте» Евгения Гинзбург. Тридцать седьмой год. Тюремная медсестра, тайно протягивая заключенной кусок бинта вместо отобранного пояса с резинками, шепчет:

— А что, может, правда, мой отец говорил, будто вы все идейно пошли за бедный народ, за колхозников, то есть, чтобы им облегчение?

Увы, самой политической узнице это предположение показалось тогда лишь абсурдным объяснением абсурдной ситуации.

ствлением многовековой мечты. От этой магии даже наиболее проницательные и чуткие освободились не сразу, что же говорить об основной массе, ловившей каждое слово нового, долгожданного да еще и из ее недр и как бы по ее воле явленного благодетеля. А какой же благодетель без меча карающего.

Но мы не можем не замечать и того, что с каждым годом в стране росло массовое, пусть чаще всего и пассивное, сопротивление, которое никак не согласуется с представлением о всеобщем нравственном перерождении и деградации. Не говорю уже о брежневских временах, но мне приходилось много раз слышать от людей старше меня, что 50—60-е годы не были для них потрясением — они так же думали и чувствовали задолго до XX съезда. Сегодня становится известно, что в сталинские времена существовали оппозиционно настроенные по отношению к режиму самодеятельные организации. Эта страница истории еще ждет своей расшифровки. А на годы замолчавшие литераторы — разве это не пассивное сопротивление? А Федор Раскольников, Михаил Булгаков, Евгений Замятин, Осип Мандельштам, Андрей Платонов, Анна Ахматова, Александр Солженицын, Лидия Чуковская — притом, что в те годы были «речи на десять шагов не слышны», разве делили свое мироощущение лишь с кучкой близких друзей? Нет, за ними стояли огромные слои общества, и они это понимали, иначе просто не смогли бы написать того, что написали. Наконец, миллионы убитых и посаженных в лагеря — не просто следствие маниакальной подозрительности и самодурства Сталина, дурной случайности и пристрастия НКВД к валовым показателям. Рассказанный анекдот или стихотворение, не поднятая на собрании рука или откровенность с другом, просто не сознающие своей вины талантливость и честность — цену этому назначил сам режим, и была она столь высока, что все это, независимо от формы и степени проявления, мы можем тоже причислить к сопротивлению. Грусть, скептицизм и ирония, о которых писал Герцен, не столько природные свойства, сколько реакция на деспотизм и отчужденность власти, инстинктивное стремление не замараться о нее. Как знакомо это нам по совсем недавнему опыту.

Проницательность Герцена рано списывать в архив — нам многое в ней может пригодиться.

Мишле говорит, что русский постоянно лжет и крадет и делает это совершенно невинно, поскольку это в его природе. С этими пороками и мы, как говорится, знакомы не понаслышке. Неужто и правда — в природе? Послушаем, что отвечает Герцен, задавая в свою очередь простой вопрос: кого обманывает и кого обкрадывает русский человек? «Кого, как не помещика, не чиновника, не управляющего, не полицейского, одним словом заклятых врагов крестьянина, которых он считает за басурманов, за отступников, за полунемцев? Лишенный всякой возможности защиты, он хитрит с своими мучителями, он их обманывает и в этом совершенно прав. Хитрость, милостивый государь, по словам великого мыслителя, — ирония грубой власти» [1].

О природе возникновения антагонизма между народом и властью уже на нашей, советской почве я писал выше. Мы лицемерно продолжали толковать о «слугах народа», самой демократичной в мире конституции, провозглашать народ хозяином страны — официальная печать ворожила и шаманила, а болезнь уходила вглубь. Социальные механизмы этого сегодня описываются довольно подробно, я же, как и в других случаях, говорю лишь о психологических предпосылках и следствиях.

Ложь и воровство, как сто лет назад, стали закономерными следствиями бесправия. Мы должны ясно осознать это. Конечно, бороться, например, с воровством на государственных предприятиях надо и с помощью эффективного контроля и с помощью публичного осуждения. Но ни одна из этих форм — не панацея. Первая, потому что контроль неизбежно выборочен и всех за руку не схватишь, вторая, потому что... не стыдно.

Но ведь у себя же воруете, товарищи, у соседа своего! Не стыдно. У себя и дурак не будет воровать, у соседа — неловко, а у государства... Оно же у нас ворует. Потому что по опыту известно: как горб ни надрывай, зарплату не прибавят, продуктов больше не будет, цены либо «в целях выравнивания», либо «по многочисленным просьбам трудящихся» поднимут, а жилье только что по названию жилье. Да ведь потому и живем так плохо, что все поголовно воруют! Врешь, не потому.

Вера в социальную справедливость подорвана, а значит, у государства воровать можно и даже хорошо, даром, что «государство — это мы». Никакими, даже самыми кардинальными мерами это дело быстро не поправить. Задний ход, пусть он объективно прогрессивен и правилен, дается с трудом. Чисто психологически. Мы можем сейчас снизить цены на водку хоть до прежних трех рублей, а самогонщик подумает: моя все равно дешевле, да и производство уже налажено — жалко. Только действительные успехи гласности, демократии и реальной экономики могут исправить положение.

Не по природе своей человек наш лжет

[1] Гегель, в посмертных сочинениях *(Прим. А. И. Герцена)*.

и крадет, не будем на него грешить. Он объелся уже призывами быть нравственным в условиях безнравственной системы, что равно почти героизму или глупости. Можно ли требовать сознательности от беззащитного и обманутого?

Сами эти требования и призывы в условиях самовластия являют собой пропагандистский метод дополнительного оглупления и унижения масс, попытку сделать их соучастниками царящих в обществе несправедливостей и лжи. Вот на это-то народ в большинстве своем и не идет, своеобразно оберегая от власти суверенность своих нравственных представлений. Потому что, как показывает Герцен, подчиняясь злу «с страдательной покорностию», он в то же время держит «глухую, отрицательную оппозицию против существующего порядка вещей»: «Отверженный всеми, он понял инстинктивно, что все управление устроено не в его пользу, а ему в ущерб, и что задача правительства и помещиков состоит в том, как бы вымучить из него побольше труда, побольше рекрут, побольше денег. Понявши это и одаренный сметливым и гибким умом, он обманывает их везде и во всем. Иначе и быть не может: если б он говорил правду, он тем самым признавал бы над собою их власть...».

Не доверяет он и судьям, которые говорят с ним «новым бюрократическим языком, уродливым и едва понятным,— они наполняют целые in-folio грамматическими необразностями». Надо сказать, что и наши суды в смысле грамматических необразностей и бюрократизма проявили чудо преемственности по отношению к своим дореволюционным предшественникам. Юридический язык так далек от литературного и разговорного, что, подобно иностранному, нуждается в специальном изучения.

Но это еще не вся беда, а только полбеды. Кастовая замкнутость юридического языка потенциально содержит в себе опасность произвола и нарушения социальных гарантий только в том случае, если этот язык не знаком массам. Потому что ведь и иностранный язык можно изучить. Но в том-то и дело, что все мы, от колхозника до ученого, ничуть не уступаем в юридической безграмотности крестьянину прошлого века. Мало того, что в школе не знакомят с основами юриспруденции, но ведь и уголовный кодекс, как известно, не достать даже на «черном рынке».

Масштабы произвола, предвзятости и коррумпированности нашего судопроизводства никому не известны. Газеты рисуют картины ужасающие, представители судебной власти настаивают на отдельных случаях. Пусть так, пусть всего лишь «кто-то кое-где у нас порой». Однако не от особой мнительности бытует в народе мнение, что если у человека «есть деньги, то он будет прав, если нет — виноват» и что решение суда является «делом произвола или случайности» (А. И. Герцен).

Терпеливый наш народ знает (наследственная мудрость), что с судом лучше не связываться, туда лучше не попадать. Как и в больницу. Таким образом, когда его призывают в свидетели, он упорно отказывается неведением, даже против самой неопровержимой очевидности.

Я намеренно не взял последнее предложение в кавычки. Потому что это тоже Герцен. Но как узнаваемо и типично, не правда ли?

Значит ли это, что народ отвечал только пассивным сопротивлением, что у нас не было людей, которые бы со всем своим умом, энергией и гражданской самоотверженностью вставали на сторону здравого смысла и человеколюбия? Нет, не значит. Я приводил слова Герцена о том, что в обществе всегда есть «горстка людей, на все готовых», и мы уже по собственному опыту знаем, что это воистину так и что горстка эта была не столь уж мала.

Кроме прямых б о р ц о в, которые восставали против того, что мы сейчас называем государственным или бюрократическим социализмом, были еще и просто талантливые, толковые р а б о т н и к и. Они тоже есть всегда. И когда Федор Раскольников в своем письме производил сокрушительный анализ сталинской политики, и когда Александр Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ», были люди, которые, не посягая на основы, работали и вдохновляли людей на работу, и старались устроить жизнь к человеческому благу. Одни из них объективно укрепляли систему, выявляя в ней практически несуществующую гибкость, другие вступали с ней в неизбежное противоречие, то есть переходили из разряда работников в разряд борцов и, как правило, бывали системой отвергнуты или уничтожены.

Но общество не может состоять сплошь из такого рода работников и борцов. Упрекать его в том, что это так, неразумно. В массе своей оно спасается все же по Герцену — отрицательною оппозицией.

Однако значит ли это, что механизм отрицательной оппозиции надежно защитил нас от нравственной деформации и тревога нынешних публицистов напрасна? Опять же нет, не значит. Пассивная оппозиция рождала то двоемыслие, которое, будучи вначале функциональным (во спасение), с годами превращалось в органическое свойство натуры, то есть в конце концов становилось не только выражением внешней необходимости, но и внутренней потребностью. Это, конечно, наша беда, но... но и вина тоже.

Непосредственный, раскованный, порядочный, прямодушный человек — вот кого нынче с фонарем надо искать. Ведь нацеленные лишь на спасение к поддержание жизни, а не на ее полное переживание, мы привыкли держать такого человека за чудака. Эстетика нашего поведения ориентирована на умышленность, мы все живем в корыстном подтексте, кратчайший путь от чувства к слову, а от слова к действию для большинства смертелен. Даже любовь, не имеющая простора для социальной реализации, либо погибала в зародыше, либо оказывалась на подозрении.

Выработавший осторожную повадку не способен заплакать над гробом, дисциплинированный холуй не может быть самоотверженным любовником, микроскопического чувства достоинства не хватает для передачи по наследству, когда героизмом считается неявка на собрание по причине мнимой болезни. Неисчислимы наши потери, ибо болезнь поразила самые интимные ткани личности. Да и возможно ли выпрямление души при согнутой спине?

Сознание того, что мы живем в осуществленной утопии, чрезвычайно ослабило нравственное сопротивление. Фанатиками победоносно осуществляемой идеи многие уходили из подвалов НКВД на расстрел. Сказано же: рай, о котором мечтало человечество, если и не наступил в отдельно взятой стране, то вот-вот наступит. И потому личное нетерпение — постыдно, а нежелание устелить своими жизнями путь в этот рай — преступный саботаж. Бунт в объявленном раю — мыслимо ли? Ведь ни одного покушения на жизнь кремлевского тирана, сколько я знаю, не известно. Поразительный факт.

Признаться в том, что это гарантированное всеобщее счастье («За детство счастливое наше...» и так далее) уже порядком опостылело, трудно было даже себе, во всяком случае идеологически. От нашей самой читающей публики все, что могло посеять зерна сомнения, тщательно скрывалось, да и не приохочены мы были в большинстве своем к такому чтению. Без такого интеллектуального навыка народу можно было преподнести даже самые чудовищные факты перевязанными розовой подарочной лентой.

Еще совсем недавно все мы были свидетелями высочайшего окрика: мол, многие договариваются до того, что мы не тот социализм построили. И ведь испугались в который раз! Тот, тот, конечно, с отдельными, правда, недоделками.

И все же самобичевание — не лучший способ преодолеть прошлое. Это тоже, в некотором роде, следствие потерянного достоинства. Во всяком случае, так себе достоинство не вернуть. К тому же, сама потребность выпрямления, которую мы наблюдаем сегодня, говорит о том, что нравственность не умерла. И все мы, призывающие к покаянию, тем самым ведь говорим, что внутри, по крайней мере, нас жива та сила, на которую мы можем опереться, что в нас не истреблено чувство справедливости и жажда обновления. Если это так, то можем ли мы, пишущие, отказывать в этом другим. Все мы одним временем леплены, поэтому, говоря о всеобщей деградации, мы тем самым как бы отрицаем себя, а это не в природе человека. Остается предположить, что автор, сокрушающийся о невозвратном падении народа, сохранился в некотором смысле лучше, чем среднестатистический народ, но хочется верить, что никто так всерьез не думает.

Лики мессианства

Итак, уникальное, не знакомое цивилизованному миру рабство, отсутствие стойких демократических традиций, способных служить иммунитетом против нового деспотизма, напротив — традиция подчинения грубой силе, состояние пассивной оппозиции, столь уже привычное, что взросшие в нем поколения выработали свои представления о норме, правде и справедливости и дорожат этими представлениями как неким завоеванием, несущим особый национальный отпечаток и превосходящим в своем максимуме все, что ему может предложить старая Европа.

На последнем надо остановиться особо, здесь начало многих наших драм и трагедий.

Российскому сознанию, что проявилось и в литературе, и в философии, и в социальных преобразованиях, всегда был свойствен нравственный максимализм. Мы привыкли гордиться этим, не задумываясь над простым соображением, что чем уродливее реальность, тем выше отлетает от нее мысль, что именно на болотистой, не приспособленной для жизни почве пышнее всего расцветают утопические мечты. Не странно ли, что человек, привыкший к воровству и лжи, считает себя чуть ли не монополистом высочайших духовных ценностей? Не странно, если рассуждать логически, и все же очень, очень странно. «Мы развели в литературе и общественных науках безграничную любовь к морализму, которую иначе, чем гиперморализмом, не назовешь,— сказал на дискуссии по проблемам изучения истории русской философии и культуры В. В. Ерофеев.— Разрыв между теоретическим гиперморализмом и практическим аморализмом является главной нравственной драмой нашего общества».

Наша «всемирная отзывчивость» стала вроде знака качества, и это позволяет нам сохранять чувство собственного превосходства, когда по множеству параметров

мы сильно уступаем мировым стандартам. Да и «отзывчивость», если посмотреть непредвзято, при недостатке самостоятельности больше походит на женскую восприимчивость. Была Россия немецкой, потом французской, теперь производим крестные знамения, чтобы не поддаться англоязычному влиянию, но, похоже, уже поздно. Удивительный феномен, сочетающий комплекс неполноценности с манией величия.

Поддерживая руками спадающие штаны, мы одновременно озираемся по сторонам и мечтаем утереть кому-нибудь нос, хотя здравый смысл подсказывает, что в подобном положении это вряд ли удастся. Просто накормить страну — это и гнилой запад может, мы же должны непременно обогнать Америку. «У советских — собственная гордость...» Что бы, интересно, стали делать с излишками, реализуйся каким-нибудь чудом этот очередной утопический проект. Однако, когда речь идет о политике, мы излишков не считаем.

Сегодня мы, конечно, учимся быть скромнее, особенно когда дело касается передовой технологии или развития социальной сферы. Здесь мы готовы не только конкурировать, но сотрудничать, признавать лучшее лучшим и перенимать опыт. Это отрадно. Но и сегодня, похоже, мы не собираемся отказываться от нравственного превосходства, которое давно уже стало непременной составной нашей политики и идеологии.

Получается, что, несмотря на жалкое состояние экономики, при которой мы, как подобает слаборазвитой стране, торгуем в основном сырьем, несмотря на мафию, проникшую в высшие партийно-государственные слои и находившуюся в шаге от захвата политической власти, несмотря на многолетнюю пародию на демократию в условиях тоталитарного режима и фантастическую детскую смертность, мы снова в некотором роде впереди, снова не желаем кепчонку сдернуть с виска. Не важно, что интерес и благо человека давно заложены в экономические расчеты лучших западных фирм, что «нулевой вариант», на который мы благоразумно пошли, был задолго до этого предложен американцами и отвергнут администрацией Брежнева, что ошельмованные нами художники ныне признаны всем миром, ибо это мы в основном и настаивали на классовом подходе в ущерб общечеловеческим ценностям, унизив прекрасное слово гуманизм кличкой «абстрактный». Стремление быть первыми и лучшими — неискоренимо. Валерий Выжутович пошутил в «Огоньке»: «Мы опять впереди: советский налог — самый прогрессивный в мире».

Но вообще говоря, не до шуток нам. И я бы предупредил поспешного читателя от желания валить все шишки на новое руководство, обвинять его в этакой государственной амбициозности. Думаю, что за ответом на вечно актуальный для нас вопрос «Кто виноват?» на этот раз придется идти очень далеко.

Когда в споре с французским оппонентом речь заходит о наиважнейшей для Герцена проблеме, голос его начинает звучать на предельной высоте, текст рвется от восклицательных знаков и вопросов: «Вы говорите, что „основание жизни русского народа есть *коммунизм*“, вы утверждаете, что „его сила лежит в аграрном законе, в постоянном дележе земли“.

Какое страшное *мане-текел*[1] вылетело из ваших уст!.. Коммунизм в основании! Сила, основанная на разделе земель! И вы не испугались ваших собственных слов?

Не следовало ли тут остановиться, подумать, углубиться в вопрос, оставить его не прежде, чем убедившись, мечта это или истина?».

Герцен убежден, что Россия еще не дошла до общественных форм, хоть в малой степени соответствующих ее желаниям, что она — «недоконченное здание, где все еще пахнет свежей известью, где все работает и вырабатывается, где ничто еще не достигло цели, где все изменяется», и основным началом, движущей силой этих процессов является коммунизм. С какой неподражаемой страстью и гордостью отвергает он западный путь развития, называя либерализм «экзотическим цветком», который «не может укорениться на русской почве», утверждая, что «мыслящий русский — самый независимый человек на свете» и что «прошлое западных народов служит нам научением, и только; мы нисколько не считаем себя душеприказчиками их исторических завещаний», а поэтому: «какое это счастие для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации». Конечно, Россия не обладает тем уровнем демократии, которого достиг Запад, но не только потому, что «недоучилась», а потому, что притязания ее более высоки, и она не хочет довольствоваться его «изношенной нравственностью» и «римско-варварской законностью»:

«Россия никогда не будет juste-milieu[2].

Мы, может быть, требуем слишком много и ничего не достигнем. Может быть, так, но мы все-таки не отчаиваемся...».

---

[1] ...mane, fares, tacel деспотизма...— По библейскому преданию, слова, начертанные огненной рукой на стене во время Валтасарова пира и предвещавшие гибель Валтасару и его державе — Вавилону.

[2] золотой серединой *(фр.)*.

Взгляды Герцена на «крестьянский коммунизм» общеизвестны. Известна и оценка, которую дал им В. И. Ленин. «Духовная драма Герцена,— писал он,— была порождением и отражением той всемирноисторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии *уже* умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата *еще не* созрела». Отсюда учение Герцена о «русском» социализме, в котором, по словам Ленина, «*нет ни грана* социализма».

Сегодня философы и историки относят зарождение мысли об особом историческом пути России к 30—50-м годам прошлого века, что в целом совпадает с ленинской характеристикой. Однако в дальнейшем мысли этой не только не суждено было погибнуть, напротив, она росла и обогащалась. Это была уже не просто мысль о «русском» варианте экономического и социального устройства, но о духовном избранничестве и мессианском историческом предназначении. Именно в этом оценочном варианте она оформилась в своеобразную философско-психологическую мифологему, оказывающую по сей день сильное влияние не только на мыслителей, политиков и художников, но и на все массовое сознание.

Романтическая по существу своему, она жизненно нуждалась в злом искусителе и духовном поработителе, каковым для нее всегда являлся Запад. В этом смысле можно сказать, что именно Западу мы в некотором роде обязаны своим самосознанием.

«Уже полтораста лет мы состоим под безусловным авторитетом Западной Европы,— с горечью писал К. С. Аксаков.— ...Мода царствует у нас, ибо полное покорствование без вопросов и критики явлениям, вне нас возникающим, есть мода. Мода в одежде, в языке, в литературе, в науке, в самых негодованиях, в наших восторгах. Многим весьма по сердцу такая деятельность. ...Нам *надобно* напомнить о народности: нам *надобно* дохнуть ее крепким, здоровым воздухом, надобно исцелить в себе крайнюю расслабленность и избалованность духа, привыкшего ходить на помочах, надобно стать в самобытное положение всякого нормального народа, и именно даже тех, кому мы подражаем...»

Итак, первопричина всего — зависимость. В одежде, в языке, в самом способе чувствования. Суть ее не в более высоком уровне развития западной цивилизации, а лишь в расслабленности собственного духа. Поэтому и этический императив распространяется исключительно на сферу духа, который надо укреплять.

Повинны в избалованности духа люди образованные, как бы мы теперь сказали — интеллигенты. Следовательно, призыв обращен к ним. Они слабое звено.

Где же им черпать силы? В народности. В ней, не затронутой развращающим влиянием западной цивилизации (вспомним Герцена), гарант духовной самобытности и самостоятельности. Однако при этом вопрос о том, в чем состоит народное воззрение, Аксаков считает «вопросом преждевременным». Его еще предстоит синтезировать из материала действительности: «труды, подвиги, мысли и издания умственные и жизненные народа». Таким образом, должное является не столько сущим, сколько желаемым.

К насчитанной Аксаковым полуторавековой зависимости мы прибавили еще почти полтораста лет, а проблема противостояния ничуть не померкла, напротив, пополнилась кампаниями против «низкопоклонства» и «космополитизма». И аргументация осталась прежней. Снова неоспоримым достижениям цивилизации противопоставляют не равные достижения, а духовное превосходство, призывают крепить дух, черпать силы в народных преданиях, «чуждые влияния» пытаются победить с помощью «сознательности». Разве что нынешние борцы за самобытность еще более радикальны и нетерпимы: во всем, что исходит от Запада, они видят «духовный СПИД», то есть прямую угрозу, а потому надо уже «искоренять» и «выкорчевывать». Еще бы лучше, опустить снова «железный занавес», но слова эти вслух не произносят из-за их очевидной непопулярности. Наиболее неустойчивы, как и прежде, интеллигенция и молодежь.

Иррациональная по происхождению, мифологема и внутренне направлена против всякого рацио, материального достижения, практического расчета, а в самой консервативной форме — против науки и просвещения. Противопоставление носит нравственно-оценочный характер: там индивидуализм — здесь коллективизм, там жестокость — здесь добросердечие, там узость — здесь широта, там личный успех — здесь общее благо, там закон — здесь совесть. Степень упрощения соответствует мышлению, оперирующему оппозициями. «Чуть-чуть не весь нынешний мир,— писал Достоевский,— полагает свободу в денежном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обеспечение: „Есть деньги, стало быть, могу делать все, что угодно; есть деньги — стало быть, не погибну...“ А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки рабство, рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода — не копить и не обеспечивать себя деньгами, а „разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить“. Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени — то он ли после того не свободен?»

В сущности, мы имеем дело с христиан-

ской проповедью, под которой вполне может подписаться англичанин, француз или американец. Но только в России она превратилась в род государственного мышления с идеологически жестким противопоставлением «своего» и «чужого». Русское православие срослось в этой точке с «коммунизмом», который, по Герцену и Мишле, является «основанием жизни русского народа». С этих пор речь идет уже не столько о том, чтобы поднять действительное до уровня желаемого, но само желаемое подается как сугубо российская (или сугубо советская) реальность, на христианскую или идеологическую непорочность которой покушается западный дьявол.

Реальность эта не то что совершеннейший вымысел, но и не практика. Ведь и современный Достоевскому крестьянин уже и лгал, и воровал, и твердо усвоил, что без денег в суд лучше не соваться. Это он втайне точит нож, который скоро направит не только на жестокого помещика, но и на ищущего в нем нравственного спасения «народопоклонника», а потом с той же «святой злобой» пойдет против старой интеллигенции, видя в ней скрытого классового врага.

Можно, конечно, сказать, что изначально он другой, что это не вина, а беда его, что во всем виноват произвол власти и судов, но тогда надо признать, что система произвола у нас, по крайней мере, незаемная, сугубо российская и, стало быть, не только сладкий плод западной цивилизации подточен червяком порока. Однако вполне иррациональный, как ему и положено, «комплекс полноценности» в нас неистребим.

Аргументы при этом хорошо известны; к ним одинаково успешно могли прибегать Чаадаев и его оппонент Пушкин, революционный демократ Чернышевский и мистик Вл. Соловьев. Это еще раз говорит о том, что идея российского мессианизма родилась не в какой-то узкой среде, что она жива не усилиями отдельных идеологов, а имеет объективные предпосылки. И все же, когда на протяжении ста, двухсот лет мы говорим об одних и тех же реалиях и приводим по этому поводу одни и те же аргументы — это отдает мистикой.

Какие это аргументы? Во-первых, ссылки на молодость России, во-вторых, историческая несомненность того, что Россия много усилий потратила на создание единого государства и всегда являлась щитом Европы, в-третьих, незыблемая вера в российскую будущность.

«Никто из здравых умом не станет укорять и стыдить тринадцатилетнего,— писал Достоевский,— за то, что ему не двадцать пять лет. „Европа, дескать, дельнее и остроумнее пассивных русских, оттого и изобрела науку, а они нет“. Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, проявляли не менее изумляющую деятельность: они создавали царство и сознательно создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу. ...Ну, а взамен того в Европе, при других обстоятельствах политических и географических, возросла наука. Но зато, вместе с ростом и укреплением ее, расшаталось нравственное и политическое состояние Европы почти повсеместно. Стало быть, у всякого свое, и еще неизвестно, кому придется завидовать. Мы-то науку во всяком случае приобретем...»

Через сорок с лишним лет, в другом веке, в иной политической ситуации и при иной власти Александр Блок подхватит этот мотив:

Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!

И то же вдохновенно декларируемое превосходство молодости (через несколько лет, когда не станет Блока, на этом уже будет специализироваться Маяковский: «Иным странам по сто. История — пастью гроба. А моя страна — подросток...»), та же, неуловимо переходящая в самовосхваление, русская всемирная отзывчивость:

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Поразительнее всего, что акцент в этих случаях делается не собственно на богатстве и многообразии мировой культуры, не на уважении к ее потрясающим достижениям, а на особом удовлетворении от того, что все это нам доступно и нами освоено («Мы любим все», «Мы помним все», «Нам внятно все»), что в этом для нас уже нет загадки и как бы одним фактом приятия другой культуры мы делим с ней ее успех. В то же время мы больше любой из этих культур, поскольку не закрыты для восприятия прочих, то есть больше не по уровню достигнутого, а на сумму воспринятого. Способность потреблять (отзываться) одним махом вывела нас на мировой уровень, теперь мы будем обгонять [1]. Что-то вроде отношения к побежденному учителю победившего учени-

[1] Умница Бухарин на Первом съезде писателей призывал догнать и перегнать Запад по мастерству.

ка, к тому же не желающего скрывать свои чувства. Ваш путь завершен — наш только начинается, и что нам еще предстоит свершить, никому не ведомо — «Россия — Сфинкс». Ваше мы уже усвоили, зато вы не умеете любить, как мы. Так вместо естественного чувства преклонения и благодарности возникает, напротив, чувство превосходства, юношеской жестокости и нетерпимости, а призыв к «мирным объятьям» сопровождается угрозой:

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

То есть мы, конечно, готовы побрататься, но... но на наших условиях. «А если нет,— нам нечего терять...»

Затаенная мысль о мессианском предназначении России, так волновавшая многие замечательные умы, органично влилась в форму советского патриотизма, который со временем превратился в род государственной самовлюбленности и приобрел комические масштабы («Россия — родина слонов»). Конечно, повторю еще раз, наивно и вульгарно винить в нашей трагикомической ситуации Герцена и Достоевского, Аксакова и Владимира Соловьева, Блока и Вячеслава Иванова с его мыслями о «соборности» или Андрея Белого с его мечтой о «коммуне братских отношений». Они вряд ли и друг с другом могли бы договориться. Но именно поэтому было бы непростительным упрощением искать истоки непримиримости в деятельности, а еще более в полемических фразах Ленина, объяснять эпоху кровавого террора параноидальностью Сталина, сводить процессы шестидесятых к безграмотности и темпераменту Хрущева, а «застой» к артериальному склерозу Суслова и Брежнева. Такой же частностью представляются и счеты с дореволюционными монархами.

Если когда и может пригодиться наше тяготение к универсальным построениям, то не в этом ли случае. Потому что некий фатализм происшедшего и происходящего, если и позволяет говорить о вине, то о вине всеобщей, что отнюдь не нивелирует и не облегчает вину каждого. Особенно в предчувствии будущего. Сама мысль о сведении счетов в поисках «беса», групповые амбиции, стихийно радикалистские или вальяжно-официозные толкования просчетов и «мертвых петель» прошлого представляются легкомысленными на фоне российской истории и почти не подверженных изменениям доминант российского сознания.

Серьезной догадкой поделился доктор философских наук И. Мочалов: «Мир велик и история его невообразимо сложна; но в нашей, „домашней“ истории в глаза бросается одно обстоятельство: начиная по крайней мере с эпохи петровских реформ, если не ранее, и до наших дней при всех больших или малых, прямых или косвенных, удачных или неудачных, глубинных или верхушечных, мирных или насильственных социальных преобразований просматривается общая закономерность — ни одно из этих преобразований не смогло не то что разрушить, но даже сколь-нибудь основательно расшатать некую социальную сверхструктуру, некую авторитарную, элитарно-бюрократическую по своей природе суперсистему, словно гигантским обручем стягивающую общество. ...Проникающая во все поры общества, эта суперсистема играла и играет роль своего рода инварианта российской истории — словно сказочная птица феникс, она вновь и вновь рождалась в новых одеяниях и „доспехах“. Устойчивость ее, сопротивляемость внешним воздействиям оказались просто поразительны; терпели поражения классы, партии, государства, армии, личности — она одна оставалась и до сего времени остается непобежденной».

Здесь взят тот масштаб, при ощущении которого озабоченные судьбой страны люди непременно спрячут воинственно поблескивающие мечи в ножны и задумаются. То есть займутся делом, наименее нам свойственным. Потому что если и есть тайна, взывающая к разгадке и не позволяющая с безоглядным энтузиазмом броситься в новый виток социальных преобразований, то это различаемый невооруженным глазом инвариант российской истории или в контексте нашего разговора — российского самосознания. Новый наш лидер уже тем хорош, что заговорил о перестройке сознания, включая сюда и собственную личность. Глубина и плодотворность этих процессов зависит от каждого из нас. Этот психологический прорыв не сулит нам особых радостей, зато обещает некоторые надежды.

От «третьего Рима» — к третьему Интернационалу

Казалось бы, Октябрьская революция, пользуясь терминологией того времени, должна была смести с лица земли вместе со старым идеологическим хламом и этот миф о богоизбранности России. Но случилось обратное — она придала ему новые силы и новый пафос. Справедливо писал А. Фадин: «Сказать, что наш этноцентризм — лишь вариант имперской идеологии московских (а затем петербургских) царей — было бы непростительным упрощением. Мессианская идея пронизывала в той или иной мере практически все части политико-идеологического спектра, что, по замечанию Н. Бердяева,

обозначилось линией «от «третьего Рима» — к третьему Интернационалу», от мессианизма державного — к мессианизму революционному, обрекающему Россию на освобождение человечества от рабства денег, от диктата товарного производства, от унизительных страданий неравенства».

Вот только мысль об обреченности в данном случае не совсем точна. Сколько в этой «обреченности» было вдохновения, искренности, благородных устремлений. Народ, слыхом не слыхивавший о Герцене и Достоевском, как будто только и ждал призыва облагодетельствовать человечество, спасти мир. С подачи Блока строки о «мировом пожаре» со скоростью огня распространились в массах. Идея мировой революции оказалась для российского человека столь притягательной, что уже спустя десятилетие, когда политики образумились, герой Светлова пошел скакать с «испанской грустью» в глазах, восхищая слушателей.

Сама уникальность нашей революции служила нрчайшим подтверждением давних пророчеств. А за плечами был уже «золотой век» русской литературы. А молодая сила послереволюционного искусства. Сбывается, сбывается! Похоже, что даже экономическая изолнция, при которой мы вынуждены были изобретать велосипеды, воспринималась многими лишь как условие азартной, совершенно в русском духе игры. Потягаться в силе и смекалке мы всегда были не прочь. Не забудем, что впереди маячил уже 41-й год, и, значит, опнть Россия — щит, и снова роль спасителя Европы. На долгие десятилетия хватит нам той победы для оправдания катастрофического отставания в науке и экономике. Самое время вспомнить Достоевского: «русские, в то время как там изобретали науку... мы-то науку во всяком случае приобретем...». Когда же история почему-либо задерживалась подкинуть полешко в наш мифологический костер, мы и сами для себя могли постараться. Не получилось обогнать с молоком и мясом, зато первыми забросили спутник (газеты не уставали повторять, что слово это вошло во все языки мира), а потом и человека в космос послали.

Конечно, первенство в космосе, во всяком случае поначалу, было акцией политической, направленной на поддержание исторического оптимизма. Но вообще роль верхов в вопросе, о котором идет речь, переоценивать нельзя. Доктор философских наук В. Ф. Пустарников, например, считает особо необходимым понять в этом вопросе эволюцию Сталина. В тридцатые годы Сталин, по его словам, еще призывал не отрывать историю СССР от общеевропейской и мировой истории, подчеркивал, что русские революционеры считали себя последователями буржуазно-революционной и марксистской мысли на Западе. Поворот произошел в середине сороковых, точнее в майской речи 1945 года, где Сталин впервые высказался о русском народе как о наиболее выдающейся из всех, входящих в состав Советского Союза, наций и даже как о «руководящем народе». Таким образом, выясняется, что не случайно, а в силу происшедшей с ним эволюции, Сталин стал «вдохновителем известной кампании второй половины 40-х — начала 50-х годов против так называемых низкопоклонства, раболепия перед Западом, перед иностранцами, против космополитизма, в ходе которой наблюдались самые уродливые формы ксенофобии» («Вопросы философии», 1988, № 9).

Вероятно, философ прав, и для отечественной историографии эти повороты сталинского сознания сыграли решающую роль. Однако нельзя при этом не видеть стихийной преемственности мессианского сознания, которая не имела обрывов ни в двадцатые, ни в тридцатые годы. Можно согласиться и с доктором исторических наук В. А. Твардовской, которая, анализируя деятельность журнала «Молодая гвардия», утверждает, что «неудовлетворенность общественной жизнью на рубеже 1960—1970-х годов с ее духовной и политической застойностью способствовала идеализации прошлого». Конечно, способствовала. В той же степени, в какой время гласности и перестройки разнуздало деятелей общества «Память». Но вот только делают ли нас все эти частные аргументы более проницательными и мудрыми, приближаемся ли мы с их помощью к истине? И главное — разве все это лишь свойство экстремистских форм русофильского сознания и широта образованин и пристрастий гарантирует нам полную незаражаемость?

Было бы неверно говорить, что тот или иной порок лежит в природе народного характера. В сущности, это отдавало бы такой же мистикой, как и аргументация «мессианистов», с той только разницей, что плюс заменен на минус. Но некая таинственная однородность российской действительности, в которой сатира Щедрина и через сто лет вызывает приступ смеха и болевой шок, сформировала-таки по своему подобию наше сознание, в котором ни один психоаналитик не сумеет с ходу отличить благоприобретенное, ситуативное и присущее генетически.

Из всех цивилизованных стран только у нас поэт мог раздваиваться в своем сочувствии к самодержцу и униженному им гражданину. Страдая веками от авторитарно-бюрократического режима, мы уже и в уме не держим, что интересы личности, ее достоинство и свобода в цивилизованном обществе являются приоритетными и несомненными. В каком-то психологическом пределе каждый не только в силу обстоятельств, но и по собственному разумению и чувству готов умалиться перед священными интересами государства, этим призраком тоталитарной системы.

Однако тоталитаризм — явление всемирное, тут уж мы никак не можем претендовать на уникальность. Собственно российский парадокс заключаетсн в том, что чем больше каждый из нас унижен и несвободен, тем более склонны мы гордиться величием страны, чем меньше в нас личного самоуважения, тем больше уверенности, что как общность мы представляем собой не виданный миром образец, урок, плохо выучиваемый нерадивыми народами.

Роевое начало российского самосознания явилось благодатнейшей почвой для коллективистской этики социализма. Это собственно наше, интимное. В нашем коллективном самовосхвалении, при органичном неприятии личного эгоизма и самовыставления, есть даже что-то трогательное, детское. «Слава трудящимся Выборгского района!» — вывешивают полуметровые буквы трудящиесн Выборгского района, и если брежневское время приучило их относитьсн к подобным уличным здравицам равнодушно, то ведь при этом все же никто и не усмехнется. Также кричим сами себе «ура!» на демонстрации, неся на плечах детей.

Мы охотно клнпем несуразность нашей жизни, но не променяем ее на лучшую, если для этого надо расстаться хотн бы с одним, для западного наблюдателн вовсе несущественным достоинством. Тема преимуществ западного образа жизни занимает, я думаю, половину наших разговоров, но отнюдь не только под влиянием официальной пропаганды большинство не мыслит себе жизни т а м. И суть здесь не просто в свойственном нам консерватизме, но в том немногом, которое для нас составлнет все. С пониманием, не нуждающимся в обънснении, мы отмечаем эпизоды и мелочи той жизни, которые нам не столько не по карману, сколько не по нутру.

Мы терпеливы, готовы к самоотвержению, сострадательны и добросердечны — эти качества истинно присущи нашему народу. Даже наперекор распространенности торгово-трамвайно-уличной раздражительности и злобе н утверждаю, что это так. Но при всем добросердечии, мы готовы плюнуть в лицо любому, кто усомнится, что это свойство имеет неповторимый национальный отпечаток или что мы в нем недостаточно последовательны. С пониманием или долей созерцательного благодушия относясь к экзотическим традициям, ревностно и нетерпимо реагируем на западный образ жизни.

Отсутствие традиции по праздничным дням собирать в доме друзей и знакомых представляется нам чуть ли не нравственным изъяном, даром, что речь идет о целых народах. Ностальгию родителей по коммунальным квартирам невозможно понять, если не иметь в виду нашу исконную тягу к соборности, публичности, стремлению решать вопросы всем миром. Конечно, никто не хочет вернуться обратно в коммуналку, но мы продолжаем лелеять эту соборность как мечту, сбиваемся вечерами на кухню, ритуально собираем большие застолья. И с долей мстительной радости узнаем, что заветнан мечта какого-нибудь эмигранта — оказаться вновь на Пяти углах и посидеть в квартире друзей за бесконечным ночным разговором, в который раз обнаружив, что предрассветная беседа вертится вокруг несчастных обстоятельств интимной жизни Пушкина. Это наше, этого у нас не отнимешь. Колбаса отдает крахмалом, в стенах щели, но юмор зато удивительный и неподражаемый. Собрать бы наши анекдоты под одну обложку — вот книга, которан может потрясти мир.

Уродливость нашего жизненного устройства, от которой все мы страдаем, проросла прекрасными цветами идеальных представлений, которыми мы гордимся и любуемся. Этот феномен мало кем осознан.

Наш дикий быт... Но ведь революция и взошла на отрицании быта, который у нас до того не успел отстояться (вспомним Чаадаева). После революции он стал синонимом мещанства и бездуховности, а слово «обыватель» приобрело на российской почве исключительно отрицательный смысл. Сколько яростно-уничижительных строк посвнтил этому Маяковский. Быть выше быта — в этой точке парадоксальным образом совпали этика богемы и революции. Защемленные бытом, мы посылаем гневные упреки в адрес различных ведомств и самой советской власти, но при этом не позволим и камешка бросить в наш духовный революционизм.

С каким оживлением и страстью люди, даже далекие от спорта, обсуждали эпизод чемпионата мира, когда Марадона забил мнч рукой. Интервьюирующий его советский журналист, забыв о правилах вежливости, сказал, что долгом честного человека было признаться судье в совершенной ошибке. Ответом на это столь понятное нам соображение было искреннее удивление спортсмена: на каком основании футболист в поле будет вмешиваться в действия судьи? Каждый должен заниматься своим делом: игрок играть, судья судить.

Длн правового сознания это элементарно. Но, воспитанные в бесправии, мы-то привыкли судить по совести, а не по

закону, которому интуитивно не доверяем. Этот исключительно нравственный подход к жизни заменил у нас и экономику и право, создав в конечном итоге уникально безнравственную атмосферу. На чей счет отнесем эти грехи? А главное, кто сумеет отделить здесь достоинства от недостатков?

О недостатках как оборотной стороне достоинств очень точно сказал применительно к русской философской мысли Э. Ю. Соловьев: «Было бы благодушием не видеть... острого д е ф и ц и т а п р а в о с о з н а н и я, который в сфере самих моральных отношений выражал себя прежде всего как отсутствие уважения к индивидуальной нравственной самостоятельности (автономии) и как упорное сопротивление идее примата справедливости над состраданием. Высокая нравственная притязательность слишком часто перерастала у нас в моралистическую нетерпимость. Ее постоянными спутниками были бестактное доброхотство, общинное инквизиторство и стремление к принудительному осчастливливанию людей по расхожей уравнительной мерке. ...Развитое право по происхождению своему антидеспотично, по конечной тенденции — антитоталитарно. Оно есть самоограничение государства в пользу гражданина,— самоограничение, к которому государство принуждено долгой борьбой за веротерпимость, за политическую и хозяйственную независимость,— за признанную н е п о д о п е ч н о с т ь каждого подданного».

Проанализировав с этой точки зрения русскую философию, автор приходит к выводу, что философия права в нашем культурном наследии попросту отсутствует. А. И. Герцен в российской правовой неустроенности склонен усматривать некую высшую моральную правду. Последовательно развивая его мысль, «политический индифферентизм русского простолюдина, его целомудренная отчужденность от практики управления должны расцениваться как парадоксальная приуготовленность к будущему», в котором будет царить общинно-нравственный порядок. Лев Толстой высшую добродетель русского народа видит в страдании, утверждая, что тот «всегда предпочитал подчинение насилию борьбе с ним или участию в нем». Владимир Соловьев высказывает еще более удивительную максиму: «Высший образ раба, в котором находится русский человек, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего».

Вот какие глубокие корни имеет наше сегодняшнее обыденное сознание. Трудную работу предстоит всем нам проделать. «Я отваживаюсь утверждать,— пишет Э. Ю. Соловьев,— что русская философия — сомнительный и ненадежный союзник в нашей сегодняшней борьбе за право и правовую культуру. Полный критический расчет с беззакониями сталинского времени не обойдется без раскаяния в куда более отдаленном прошлом».

Монополия на истину

К нравственному максимализму на советской почве был привит максимализм идеологический с присущей им обоим нетерпимостью. Психологически мы были к этому готовы. Сталинская политика чрезвычайных мер никогда бы не прошла, не будь в народе этой готовности. Уважения к праву у нас никогда не было, а подменить нравственный максимум идеологическим — это уже дело техники. На январском Пленуме ЦК 1933 года Каганович требовал выполнять постановления партии и правительства, а не законы. Возражений не последовало.

Гласность и демократизация упираются сегодня в ту же традиционную монополию на истину, в ту же, обставляемую на современный манер оговорками, нетерпимость. Человек с незашоренным умом не может не понимать, что тезис «социалистического плюрализма» ничуть не менее абсурден, чем недавно сошедший в небытие — «экономика должна быть экономной». Никакого теоретического зерна в нем нет, это обыкновенный охранительный догмат, способный в очередной раз превратить всякую свободу слова в миф.

Мало кто сомневается, что в наши дни теория и история социализма нуждаются в качественно новом осмыслении. В этом вопросе так много запутано и извращено, что даже у школьников нынче отменили экзамены по истории и обществоведению. Так какой социализм мы ставим пределом свободомыслию? Ведь не сталинский же! Может быть, хрущевский или брежневский? Ответ: ленинский. Но он ведь тоже не догма. К тому же историческая ситуация сейчас совсем другая. Не мог Ленин при всей прозорливости предвидеть наши проблемы.

Скажут: есть основополагающие принципы. Есть. Например, запрет на эксплуатацию человека человеком. Но неужели идея эксплуатации столь притягательна, что для нее требуется специальная оговорка? А главное, разве мы не подвергаемся десятилетиями эксплуатации под вывеской социализма?

Общественная собственность на средства производства и землю. Верно. Только собственность у нас не общественная, а государственная, хотя мы и продолжаем именовать это социализмом. Мы знаем, что после того, как земля была отдана крестьянам, они рубили в садах яблони, потому что, для того, чтобы выплатить налог, яблоки должны были расти золотые. Ну а как в смысле чистоты теории быть сегодня с крестьянином, который покупает в личное пользование трактор?

Критики справа уже и кооперативное движение считают отступлением от социализма. Этим дается высочайший отпор — как-никак линия партии. Но раздаются доводы и в пользу многоукладной экономики, в том числе с возрождением частной собственности, которая должна находиться под контролем государства, как это и происходит во многих социалистических странах. И заметим, это говорится не только «Демократическим союзом», но и многими колхозниками, и Верховным Советом Эстонской ССР, и академиком Н. Амосовым, например. По отношению к этому непримиримость абсолютная, призывы «пресекать». Букву социализма нарушили. Хочется спросить: «А вы уверены, что правы? Что через 10—20 лет и эта догма не отпадет и вам на заслуженной пенсии придется прятаться от любопытных журналистов?».

Не будем лукавить: речь идет не о фундаментальной теории, а о социальной практике. И, кроме монополии на единственно правильное понимание событий, других резонов тут нет. Кто будет определять, что идет на пользу социализма, а что нет? Какими критериями он будет руководствоваться? Очень вероятно, что этот тезис послужит почвой для нового начальственного окрика и новой кампании наклеивания ярлыков. Ведь то, что вчера еще имело клеймо антисоветчины, сегодня входит в партийные документы. С другой стороны, множество преступлений было совершено именно во имя социализма. В краску для лозунгов мы слишком часто примешивали кровь. Не пора ли одуматься?

Реалистический взгляд дается трудно. Большинство из нас до сих пор — в плену мифологического сознания. Это относится и к нашему знанию о государстве, которое все еще находится в руках самого государства и по сути равно его представлению о себе. Не буду говорить о политических и экономических аспектах проблемы, о том, что такие замкнутые на себя структуры являются непременным условием существования тоталитарного режима, не изжитого у нас окончательно. Посмотрим на проблему в плане психологическом.

Идея русского мессианства получила свое развитие и продолжение в революционном пафосе страны Советов как исторического первопроходца. Притом, что дело мировой революции не удалось, а реальность социализма оказалась непредсказуемо противоречивой, авторитет первопроходцев, право учительства, чем дальше, тем больше надо было подкреплять не столько реальными достижениями, сколько декларациями их, не столько научным анализом происходящего, сколько искусной пропагандой. Задача пропаганды — доказать идеальное соответствие практики незыблемым теоретическим постулатам. То есть государство заказывало не информацию о действительном положении вещей, а паукообразное подтверждение, что действительность именно такова, какой ей надлежит быть, что государство именно таково, каким оно хочет себя видеть. В результате социализм превратился из категории научной в категорию оценочную, и критический взгляд на него отныне подпадал под статью уголовного кодекса.

Преодолеть это очень не просто, ибо, повторяю, не в одних лишь головах политиков родилась эта мифологема и не их только усилиями мы ее сможем разрушить. Поэтому, когда сегодня некоторые, имея в виду все тот же проклятый Запад, говорят: мы не пойдем у них на поводу — я их понимаю. Но при этом мне хочется, чтобы и они поняли, из каких глубоких глубин к ним это опасение пришло. А когда мы все поймем, откуда мы и где находимся, нам будет легче договориться о том, куда и как двигаться дальше.

Для людей, стоящих у власти, этот процесс в психологическом плане представляет особую сложность. Причем я имею в виду не сатирически расхожий тип аппаратного бюрократа, который, конечно, тоже есть, а человека, искренне заинтересованного в успехе дела. Не так-то легко ему разобраться, где кончаются разумные ограничения, препятствующие дестабилизации общества, а где начинает говорить страх идеолога-монополиста.

Возьмем ту же свободу митингов и собраний... Элементарное демократическое право. И хотя почти каждая новая реформа мощным ударом выбивает одну за другой прогнившие сваи, именно в свободе собраний кое-кто усмотрел угрозу для государственной безопасности. Следствие — жесткая регламентация. Теперь то, чем люди в большинстве стран пользуются беспрепятственно, у нас исполнительная власть может легко запретить. Причем в устной форме. Причем обжаловать это решение в суде вы не имеете права. Таким образом, вновь аппарат власти, вместо охраны общественного порядка и создания условий для свободного волеизъявления, берет на себя роль идеологического цензора, определяет границы допустимой свободы слова.

Хотя свобода эта имеет лишь одно разумное ограничение: призыв к свержению существующего режима неконститу-

ционным путем[1]. Всякая власть имеет право на свою защиту. Но тогда нужно ли (не спрашиваю, логично ли) выпускать Закон, запрещающий некое правовое деяние только на основании того, что оно имеет тенденцию (по мнению кого-то из должностных лиц) перерасти в деяние противоправное и тем самым подпасть под действие другого Закона?

Ответ один: на подозрении сама свобода слова, крамола видится в плюрализме мнений, как таковом. Отсюда лишь одна задача: заткнуть рот, скомпрометировать. «Вот значит как! — восклицает в интервью «Литературной газете» первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Г. В. Колбин.— По их мнению, строить жилье, растить хлеб, возвращать к жизни вымершие деревни, проявлять милосердие к сиротам и больным — это не политика. А вести салонные разговоры о демократии, свободе слова — политика?! Я отвечу просто и резко: болтунов у нас и так хватает!»

Хватает — это точно. Любовь к разговорам — тоже собственно наше, российское. И имитаторов деятельности сколько угодно, своих шумных репетиловых, своих обиженных и озлобленных и просто неприкаянных. Нельзя не замечать при этом, что приемы демагогии, лозунговое мышление, категоричность они взяли на вооружение из партийного арсенала предшествующих десятилетий.

Но ведь не такие люди определяют сегодня погоду в общественном движении, и делать вид, что линия непримиримости проходит здесь — плохая игра. Будто те же люди, которые ведут «салонные (?) разговоры о демократии, свободе слова», не сеют хлеб и не строят жилье? Будто по инициативе партии, а не движением снизу возникли общества «Милосердие» и «Мемориал»? Еще героя Андрея Платонова, рабочего, пытались одернуть: нечего во время трудового дня задумываться о социализме, для этого есть другие головы, а твое дело план перевыполнять. Так получается и по логике партийного секретаря: если вы переоборудуете подвалы в спортивные залы (не прибегая при этом к помощи властей), если сами добываете цемент на строительство МЖК,— то вы здоровые силы общества, а если бьете тревогу по поводу экологической катастрофы, требуете реабилитации жертв послесталинских репрессий, предлагаете альтернативный проект Закона или, тем более, задумываетесь над общим планом реорганизации общества — то нездоровые. Тем самым вы проявляете «мелкобуржуазное, потребительское отношение к социализму», вопреки «подавляющему большинству рабочих коллективов Кузбасса», которые «измеряют перестройку не степенью свободы самовыражения личности вне связи со степенью ответственности за дело, а непосредственно делом, одним делом и только делом» (В. В. Бакатин).

Очень знакомые слова. Скромно и добросовестно делать дело нас призывали весь период «застоя». И, как мы знаем, безуспешно. Ничего из этих призывов (плохо закамуфлированной уздечки на демократии) не выйдет и сейчас. Заставить работать могут лишь экономические методы, подвигнуть к работе может глубокая правовая, политическая и демократическая реформа общества. В этот процесс и хотят внести свою лепту большинство из тех, кого руководители разных рангов окрестили «безответственными болтунами»,— наиболее совестливые, грамотные, по-граждански озабоченные люди. Сейчас, как никогда, успех дела зависит от правильного слова, которое может найти лишь коллективный разум. Гуманитарный же смысл дела напрямую связан с общественным контролем над всеми сферами жизни. Этого-то и боятся, в очередной раз пытаясь ввести в заблуждение народ: вы работайте каждый на своем месте, и все будет хорошо. Не будет.

Против монополии ведомств и производителей выступаем гневно, но не желаем видеть, что она родное дитя монополии политической, и действительно забалтываем, забалтываем перестройку. А корни

[1] Очевидным шагом вперед представляется в этом смысле новый Указ, по которому идеологическая деятельность не считается больше уголовно наказуемой. Но и здесь у создателей Указа, похоже, не хватило решимости быть последовательными до конца. Так, по статье 11[1] наказуемой является дискредитация государственных и общественных организаций, а также должностных лиц. Велик удельный вес слова, тем более, если оно стоит в таком документе, как Указ Президиума Верховного Совета. Слово «дискредитация» в данном случае действительно дает большую свободу, но только одной стороне, способной защитить себя репрессивными методами. И одновременно оно делает невозможной всякую серьезную критику, которая в своем пределе может быть выражением недоверия какому-либо органу или лицу, то есть дискредитировать их. Как тут быть? Возможен ли при этом действенный демократический контроль, или монополизм в любой сфере снова окажется под надежной защитой? Ведь тут что ни скажешь — все может боком выйти. Полтораста лет назад цензура вымарала из «Записок сумасшедшего» Гоголи такое размышление собачки Меджи: «„Куда ж,— подумала я сама в себе,— если сравнить камер-юнкера с Трезором!“ Небо! какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница!». Не возьмется ли теперь, подумал я, и наша цензура за дело, оберегая наших камер-юнкеров от неприятных для них сравнений?

все в том же мессианском мышлении и идеологической нетерпимости.

Сегодня мы исправляем ошибки, совершенные десятилетия назад, в том числе ошибки, на которые в свое время была получена санкция высших партийных форумов. Народ заплатил за это невероятно высокую цену. Надо открыто сказать, что путь партии и общества не является неуклонным путем к вершине. Партия и в будущем не застрахована от ошибок. Хотя бы потому, что нет безгрешных людей и нет безукоризненных решений. Хотя бы потому, что жизнь, и общественная жизнь в том числе, сама человеческая мысль все время находятся в движении.

Реализм и гуманность несовместимы с фанатичным и догматическим утопизмом, ставящим мечту и план выше живой жизни. Допускаю, что Сталин не просто боролся за личную власть и с наслаждением садиста обрекал на смерть заведомо невинных людей. Вполне возможно, что он был мечтателем или считал себя мечтателем и правоверным марксистом и последовательно строил общество согласно букве замысленного плана, наслаждаясь стройностью его реализации, гармоничным претворением словесных формул в новые формы жизни. «Мир реального социализма,— пишет социолог С. Кордонский,— принципиально отличается от исторически сложившихся обществ тем, что его социальная структура (в своих явных и контролируемых характеристиках) искусственна и выделана под высокую цель социальной справедливости, понятой как гарантированный государством объем и уровень потребления». Вполне возможно, Сталин с умилением взирал на ликующие демонстрации и был уверен, что народ, ради которого он не спит ночами и занимается грязной работой уничтожения врагов, воистину счастлив. Такой Сталин для меня страшнее, чем циничный деспот и кровожадный параноик. Он тоже, надо полагать, не особенно возражал бы против народной самодеятельности и творчества, заключающихся в разучивании гопака и переоборудовании подвалов в спортивные залы. Этого ли мы добиваемся сегодня?

Мы по-прежнему ограничены в свободе высказывания, по-прежнему обречены на безгласность сразу после того, как решение принято. Даже по такому не самому кардинальному вопросу внутренней жизни, как формы и методы борьбы с пьянством, после выхода известного постановления мы почти на три года прекратили конструктивные дискуссии. Дискуссии, естественно не самые квалифицированные, велись только в петлеобразных очередях. А ведь эта командно-административная мера с самого начала вызывала сомнение у многих ученых и социологов.

Совесть не должна быть на подозрении. У мысли не может быть перерывов от одного постановления до другого. Подчиняясь решению большинства, меньшинство должно иметь право на продолжение интеллектуального поиска. Более того, такое положение надо поощрять. Может быть, тогда прозрения не будут приходить к нам только сверху и только как реакция на уже запущенную болезнь.

Я писал об этом, отвечая в последние перед партконференцией дни на экспресс-анкету «Правды». Несколько часов уточняли мы каждую формулировку с собственным корреспондентом газеты в Ленинграде Н. Волынским. Каково же было мое потрясение, когда я прочитал за своей подписью следующий текст: «Плохо, если решение принимается узким кругом лиц да еще за закрытыми дверями. Но и другая крайность не на пользу делу — имею в виду бесконечные дебаты, когда в словесном половодье тонет, размывается суть дела. Коллективность руководства — это, как я понимаю, не коллективные разговоры, а коллективная работа. Упорная, дружная».

Не говорю уже, что в этих строчках нет ни одного моего слова. Но нет и намека на мою мысль, напротив — желание моими же устами дискредитировать не дошедшее до читателя соображение. Слава богу, гонорар за чужое творчество мне не прислали.

После того, как я сообщил, что намереваюсь подать на газету в суд, передо мной, сутки подумав, извинились по телефону. Сообщили, что все это самодеятельность одного из редакторов, который будет наказан. Обещали найти возможность довести утерянную мысль до читателей «Правды». Через несколько дней действительно в интервью с одним из делегатов конференции снова мелькнула моя фамилия и несколько мною составленных слов о творческом поиске, с которыми делегат охотно согласился.

Не буду сосредоточиваться на своей обиде. Вскоре мне сказали, что подобные операции «Правда» проделала не только со мной, но и с одним из делегатов конференции — известным писателем, с одним из членов ЦК. И не на том я даже хочу акцентировать внимание, что усеченная гласность делает нас участниками очередного фарса. Но как мало надо ценить достоинство человека, слово, мысль и право на них, каким цинизмом надо было пропитаться, чтобы находить удовольствие в этом ремесле.

Претензия на абсолютную истину чревата и еще одной бедой. Она продолжает нас держать в плену вымышленных целей и мотивов. Мы, как дети, чрезвычайно подвержены суевериям и страхам, то есть легко управляемы. Привычка видеть в За-

паде дьявола-искусителя послужила прекрасной психологической основой для планомерно создаваемого образа врага. В связи с этим мы то бросаемся по первому зову или без оного спасать своих друзей в Чехословакии или Афганистане, то сплачиваем ряды в предчуствии некоего всеобщего заговора. Именно высокая идейность делает нас почему-то особенно уязвимыми для западной пропаганды.

И сегодня газеты по инерции сообщают то об одном, то о другом заговоре на Западе, целью которых является ведение психологической войны против нас. Нашу молодежь пытаются идейно разложить с помощью литературы и видеокассет ущербного содержания. Западные агенты делают особую ставку на распространение провокационных измышлений о росте сопротивления перестройке и вызревании крупных социальных конфликтов. Поэтому все мы должны быть начеку.

Удивительно трогательная предупредительность. Если вам вдруг покажется, что в стране существует сопротивление перестройке, а события в Нагорном Карабахе, например, чреваты крупным социальным конфликтом, знайте, что это вы не сами подумали, а во сне нашептал вам западный агент. Произнося подобное вслух, вы рискуете оказаться его пособником. До чего все мы, оказывается, неустойчивы и падки на провокации!

* * *

Давайте задумаемся. Мы родились не в Октябре семнадцатого года, а гораздо раньше. Многое из того, что сегодня представляется ошибкой, произволом отдельных людей, игрой случая, злостным умыслом и прочее, и прочее, имеет глубокие корни. Даже и безвинно виноватые, все мы делим ответственность за происходящее. Мы не были ничем к моменту совершения революции, мы несем в себе наследственные привычки, идеалы, стереотипы, только не знаем или забыли об этом. Перестройка требует революции сознания. Я не думаю, что она завершится завтра, но начаться должна сегодня.

Г. ГОРЕЛИК

ДВА ПОРТРЕТА



М. П. Бронштейн в 30-е годы

Бронштейн Матв. Петр. (1906—1938), сов. физик, доктор физ.-мат. наук. Основные труды по физике полупроводников, теории гравитации, ядерной физике и астрофизике. Автор ряда научно-популярных книг.

(Советский энциклопедический словарь. М., 1986, с. 171).

Владимир Евгеньевич Львов, работает в основном в жанре научно-художественной прозы и публицистики. Статьи Вл. Львова, посвященные философским вопросам естествознания, а также международным вопросам, печатались с 1932 года, главным образом в журналах «Новый мир» и «Звезда»

(Львов В. Е. Жизнь Альберта Эйнштейна. М., 1959, с. 252).

Когда в истории физики я делал еще только первые шаги, мне довелось беседовать с одним маститым историком. Он с сожалением говорил о написанной им биографии великого ученого,— книга, на его взгляд, не удалась. «Я был равнодушен к своему герою»,— объяснил он. То есть вполне понимал значение гениального основоположника, но теплых чувств к нему не испытывал. «Не беритесь за биографию человека, Вам безразличного. Только любовь помогает собирать тонны сведений, в которых прячутся граммы живых фактов. Только любовь помогает разглядеть эти факты и понять их». Сказано это было безо всякого назидания и с той умудренностью, которая, говорят, появляется лишь к концу жизни. Слова эти я запомнил, хотя и не преминул мысленно отметить, что любовь иногда слепа.

Впрочем, совет многоопытного коллеги был мне тогда ни к чему: склонности к биографическому жанру я в себе не ощущал. Занимали меня только биографии идей — их зарождение, развитие, смерть и — нередко — новая жизнь. В разговорах о науке бытует выражение «драма идей». Бывают и трагедии, бывают и комедии. Во всех подобных «спектаклях», разумеется, действуют ученые люди. Так что же, замкнуться лишь на одном из них? И выяснить, каким по счету ребенком он был в семье и чем болел в детстве? Нет уж, увольте!

Но крутые повороты, как обнаружилось, случаются не только в судьбах великих физиков. Занимаюсь я, стало быть, историей идей, отвечаю на вопросы, вырастающие один из другого. Отвечаю себе, отвечаю... и вдруг оказываюсь перед мыслью: неужели придется стать биографом? Да притом — биографом человека, прожившего всего тридцать лет?!

Я решился. Потому что не видел никого, более подготовленного к интервью с этим физиком. Дело тут вовсе не в моей скромности, просто стечение обстоятельств (но о них в другой раз).

Еще только начиная знакомиться с жизнью Матвея Петровича Бронштейна, я вспомнил совет историка. И послушно влюбился. Почти с первого взгляда.

С тех пор у меня личный счет к прошлому. Почему, когда учился в университете, я не слушал лекций Матвея Петровича? Почему не был на его семинарах, не задавал ему вопросов? Не могу этого простить... прошлому.

Мой герой — физик-теоретик. Поработать он успел всего лет семь-восемь. Примерно столько же я изучаю его труды. От этого соотношения мне порой неуютно, но зато теперь я могу оценить его главную работу. Кажется, могу.

За работу эту он взялся не потому, что тема была модной, или, выражаясь прилично,— актуальной. Он понял, что физике — рано или поздно — этой темы не избежать, и принялся за дело. Работа его сохранила значение до наших дней и звучит пророчески для нынешней физики. Пророчество пока не осуществилось, но самые отважные теоретики ищут его воплощения. Во всяком случае, сегодня есть уверенность, что путь, начало которому положил в 30-е годы мой герой, приведет к теоретическому фундаменту для физики Вселенной и физики микромира и к их единству. Однако, чтобы объяснить смысл главной работы Бронштейна, пришлось бы говорить о гравитации, квантовании, измеримости... А слова эти, боюсь, не годятся даже для огоньковских кроссвордов.

Матвей Петрович сделал не одну только пророческую работу. Он занимался полупроводниками и звездами, ядерной физикой и космологией. Но и об этих его исследованиях в двух словах не расскажешь. Кроме прочего, научные достижения, в отличие от художественных, неотвратимо и быстро стареют. Даже величайшие открытия со временем бледнеют, растворяясь в последующих теориях и экспериментах. Иначе прогресс был бы невозможен. Но историку от этого не легче рассказывать о драмах на сцене науки, и он не без зависти посматривает на историю искусств...

Чтобы познакомиться с М. П. Бронштейном, взглянем на него глазами знавших его людей. Игорь Евгеньевич Тамм, рассказывая о первом поколении физиков, получивших образование в советское время, назвал талант Бронштейна исключительно ярким и многообещавшим. Академик Тамм имел основания для подобной оценки, поскольку оппонировал докторской диссертации Бронштейна. Сама защита, впрочем, была делом довольно формальным: «докторский» потенциал Матвея Петровича не вызывал у коллег сомнения. И поведение Бронштейна на защите было не очень-то диссертабельным. Второй его оппонент, крупнейший советский теоретик Владимир Александрович Фок, высоко оценив работу (гу самую, пророческую), высказал некое методическое соображение. Диссертант с этим соображением не согласился и возражал оппоненту так напористо, что стало уже непонятно, кто здесь, собственно, защищается.

Однако это все наука. А историки обычно не влюбляются в научную статью или в ее автора, как такового. Влюбляются в человеческую личность. О Матвее Петровиче мне рассказывали многие. Из разнородных и подчас противоречивых воспоминаний постепенно вырисовывался портрет человека, щедро одаренного разумом и душой. Вот что писал Корней Иванович Чуковский: «За свою долгую жизнь я близко знал многих знаменитых людей: Репина, Горького, Маяковского, Валерия Брюсова, Леонида Андреева, Станиславского, и потому мне часто случалось испытывать чувство восхищения человеческой личностью. Такое же чувство я испытывал всякий раз, когда мне доводилось встречаться с молодым физиком М. П. Бронштейном. Достаточно было провести в его обществе полчаса, чтобы почувствовать, что это человек необыкновенный. Он был блистательный собеседник, эрудиция его казалась необъятной. Английскую, древнегреческую, французскую литературу он знал так же хорошо, как и русскую. В нем было что-то от пушкинского Моцарта — кипучий, жизнерадостный, чарующий ум».

Удивительно, что письмо, отрывок из которого приведен, адресовано в высочайшие инстанции и заканчивается распространенной в конце 30-х годов просьбой «пересмотреть дело». Быть может, Чуковский опасался, что если напишет не своим, «официальным» языком, то письму могут не поверить. А всего вероятней, несвоим языком он писать просто не умел.

Чтобы ощутить потенциал личности Матвея Петровича, не обязательно принимать на веру свидетельства его друзей и близких,— достаточно раскрыть какую-нибудь из его книжек: «Солнечное вещество», «Лучи Икс», «Изобретатели радиотелеграфа». Кто бы поверил, что их автор пишет еще и научные статьи, полные сложных формул и ученых терминов?! Ведь в книжках этих, предназначенных детям, очень простые слова расставлены единственно возможным способом,— таким, что мысли, чувства и звуки сливаются, становясь, как говорится, большой литературой. Независимо от размера книжек и возраста их читателей.

Откуда взялся этот физик-теоретик, детский писатель и хороший человек?

Родился он в семье, наглядно подтверждающей истину, что таланты даются не за какие-то заслуги, они даруются. Впрочем, у его родителей заслуги были: добрая любовь к детям и большое уважение к образованию. Подобные семейные обстоятельства весьма благоприятны для развития таланта. Хотя в силу других обстоятельств — времени и места — мой герой получил среднее образование не в школе, а по книгам, поступать в Ленинградский университет он приехал уже автором научных публикаций.

В университете тогда гремел «Джаз-банд», образовавшийся из самых способных и самых веселых студентов-физиков (их импровизации не касались только музыки). В центре Джаз-банда были Г. Гамов, Д. Иваненко и Л. Ландау — «три мушкетера». Впоследствии их разделили огромные человеческие и географические расстояния, но в 20-е годы параллель с героями Дюма была вполне уместна. А если российской Гасконью признать Киев, то в роли Д'Артаньяна выступил М. Бронштейн. Мушкетеры, как им и положено, веселились от души и преданно служили королеве — Физике.

В университетские годы Бронштейн считался своим и среди студентов-астрономов. Особенно он сблизился с В. А. Амбарцумяном и Н. А. Козыревым. Именно у астрономов родилось его прозвище Аббат, вначале — аббат Куаньяр. Только необыкновенную ученость этого персонажа Анатоля Франса друзья могли сравнить с необъятной образованностью Бронштейна.

Так начинался путь М. П. Бронштейна в науке. Путь оказался очень коротким, хотя и вместил в себя три десятка научных работ, десятки популярных статей, семь книг. Если учесть еще физиков, с восхищением и благодарностью вспоминающих его лекции и его самого, становится ясно: за короткую жизнь он успел сделать немало. И все же тем, кто знал Матвея Петровича или знаком с его работами, не менее ясно, сколького сделать он не успел...

Изучая физику, с которой имел дело Бронштейн, просматривая стопки старых журналов, я постепенно узнавал многие десятки главных и неглавных героев того времени. С фамилиями соединялись высказывания, поступки, позиции. Не все разделяли мое отношение к Матвею Петровичу. А некоторые и вовсе не видели причин радоваться, что в советской физике появился еще один вольнодумец — из тех, кто говорит, не спрашивая разрешения у блюстителей философского порядка. В рядах блюстителей состоял и некий В. Е. Львов — журналист с физико-математическим уклоном. Писал он довольно бойко, щедро раздавая поощрения и, главное, выговоры от имени диалектического материализма и его основоположников. Я бы не выделил этого «писателя» из числа других, ему подобных, если бы он не нападал особенно ожесточенно на тех молодых теоретиков, которыми я интересовался. Брызжа слюной, он негодовал, что Ландау тянет естествознание на сотни лет назад, Бронштейн навязывает советским массам чуждые и отвлекающие взгляды, Амбарцумян поддерживает поповскую идею расширения Вселенной, Иваненко выпустил вредную книгу по теории относительности и так далее и тому подобное.

Как же я удивился, когда узнал, что Львов учился вместе со своими идеологическими врагами на физическом факультете университета! Без особого труда удалось установить, что писательский талант Львова в 30-е годы не исчерпался. В 50—70-е годы он даже опубликовал полдюжины книг. Он по-прежнему писал о науке, но уже почтительно упоминал «замечательного советского физика Льва Давидовича Ландау» и «важную работу ленинградского теоретика М. П. Бронштейна».

И я подумал, а почему бы не побеседовать и с *таким* очевидцем? До сих пор я собирал сведения только, так сказать, у свидетелей защиты. А вдруг взгляд, не затуманенный добрым расположением к моему герою, заметил что-то важное и неожиданное? Противно, конечно, пожимать руку такому. Но история науки тоже требует жертв.

Не стану рассказывать о военных хитростях, с помощью которых я, как принято выражаться, вышел на Львова. Вышел, конечно, изо всех сил «заголубив» свой глаз.

И вот я в Ленинграде. Первый телефонный разговор:

— ...Но чем, собственно, я могу быть Вам полезен?! — голос бодрый и даже напористый.

— Вы знали многих физи...

— Понимаю, понимаю. Я для Вас — эдакий динозавр!

— Ну почему же...

— Да нет, я понимаю! Ощущать себя динозавром не очень-то приятно, однако помочь я Вам готов. Тем более, что и мне интересно посмотреть на Вас, на представителя племени младого, незнакомого...

И предложил встретиться в Публичке, где он проводит семь дней в неделю.

Привел он меня в иностранный каталог, чтобы нас не беспокоили. Речь его текла обильно: осенняя погода, памятник Екатерине, ее любовники, современная космология, ее титаны и роковые тайны, физика тридцать первого века и прочее и прочее. Говорил он, точно не давая опомниться ни мне, ни себе. Память моя не справилась с мощным потоком его речи, и воспроизвести беседу полностью я не могу. Но кое-что запомнил:

— В университет я поступил в двадцать первом году, окончил в двадцать шестом. Сейчас, наверно, в это трудно

поверить, но я сидел на одной парте...— многозначительное поднятие бровей,— с Гамовым! Он приехал из Одессы и был очень грязным! От него ужасно дурно пахло! По нему ползали насекомые! — мыться было негде. Это потом уже, побывав в Европе и прославившись альфа-распадом, он приобрел респектабельность. А вы знаете, как он сбежал?

И без какой-либо моей просьбы посыпались сверхточные, но перевранные подробности того, как свежеиспеченный член-корреспондент сделался невозвращенцем. Пока я не сказал, что читал автобиографию Гамова и все знаю. Он удивился, записал название книги и перешел к следующему:

— Знакомство с Бронштейном у меня было шапочным. Помню, помню его. У вас в книге фотография, и там такой чистенький аккуратненький мальчик... Но фактически он был довольно некрасив: маленького роста, с очень, даже чересчур типичной ближневосточной физиономией, вертлявый, со склонностью не столько к юмору, сколько к цинизму. Конечно, был он блестящий теоретик, своего рода вундеркинд...

— ...и, поверьте, негуманность сталинского времени очень сильно преувеличивается. Вот, скажем, Капица. В тридцать пятом он не хотел остаться в Союзе, жаждал вернуться в Англию. С советским паспортом в кармане! И что?! Расстреляли его? Посадили? Ничего подобного! Построили специально для него институт, закупали на валюту оборудование. На! Работай! А он?! В сороковых годах еще и отказался участвовать в урановом проекте. Он, видите ли, пацифист! и тому подобное. И что? Посадили? Расстреляли? От директорства отстранили, и только! Сидел себе спокойненько на даче, при академическом окладе! Так что...

— ...люди умирали и просто так. От аппендицита, например! И были ведь пострадавшие не только в тридцать седьмом, но и в конце сороковых. Вы знаете?



Справа налево: М. П. Бронштейн, Н. Н. Канегиссер, ?, В. А. Амбарцумян, Е. Н. Канегиссер и Л. Д. Ландау (не удержавшийся от гримасы в торжественный момент фотосъемки); конец 20-х годов

Эту фотографию, вместе с удивительно живым рассказом о Бронштейне, автор получил из Оксфорда от леди Пайерлс. До 1931 года ее звали Женей Канегиссер и была она штатным поэтом-летописцем Джаз-банда. Новой фамилией и дворянским титулом она обязана мужу — немецкому физику Рудольфу Пайерлсу, с которым познакомилась на физическом съезде в Одессе и который в Англии был возведен в дворянское звание за научные достижения. Но своими успехами сэр Пайерлс был, хотя бы отчасти, обязан своей жене,— это ясно каждому, кому довелось ощутить очарование ее личности.

— Космополиты?

— Да, по еврейской линии. И дело врачей. Вы еврей?.. А я, кстати, не еврей.

— Бывает.

— Нет, я действительно не еврей! Некоторые почему-то думают, что я — еврей, но скрываю это.

— Неужели?!

— Я сам слышал, как эту глупость повторяли...

А еще он говорил о материи и энергии, о космологии, по поводу которой когда-то заблуждался, и еще о многом другом. Прервав себя, он вдруг сказал: «Почему-то я очень волнуюсь, разговаривая с Вами?!»

Затем взглянул на часы:

— Для первого раза, может быть, достаточно?

Он посмотрел на меня как-то эдак, и глаза его засуетились:

— Хочу Вам сказать э-э... еще одну вещь... Молодым физикам, вроде Вас, мое имя ничего не говорит... Но... учтите, для физиков старшего поколения я — фигура одиозная.

Изображая наивысшее удивление, я поднял брови до отказа.

— О-ди-označнейшая,— повторил он уже спокойнее.

— Но почему?!

— Видите ли, в тридцатые и сороковые годы в идейной борьбе против физического идеализма я защищал точку зрения Эйнштейна и де Бройля против копенгагенцев. И писал очень хлесткие, злобные статьи. О-чень злобные. В сорок девятом году в «Звезде» опубликовал большую статью против идеализма в физике, а в «Литературной газете» — статью «Трубадур физического идеализма». Это о Френкеле. Говорили, что из-за меня он, якобы, получил инфаркт (Львов не удержал довольной улыбки). Сущая ерунда! Мы как-то встретились с ним на Невском и — вполне светски поздоровались. «Как поживаете, Яков Ильич?» — спрашиваю. «Ничего, помаленьку». И вообще он умер чуть ли не через три года после моей статьи! Так что... А в сорок девятом готовилось большое — всесоюзное — совещание по поводу физического идеализма, и мои статьи были первым залпом. Но Сталин отменил совещание, когда Курчатов сказал ему, что это плохо скажется на физиках, делающих атомную бомбу.

— И все-таки — что значит злобные? Ведь Эйнштейн, не соглашаясь с Бором и Борном, оставался в добрых личных отношениях с ними?

— Вашему поколению очень трудно представить себе происходившее в те годы...

Тут он поднялся, и мы пошли к выходу:

— В Москве сейчас я бываю редко, но, возможно, когда-нибудь встретимся и в Москве. Конечно,— спохватился он,— в моем возрасте говорить «когда-нибудь» — большое нахальство...

И вдруг, понизив голос, почему-то открылся:

— Знаете, я очень боюсь смерти. Ужасно боюсь! Чувствую себя как приговоренный, ожидающий утверждения приговора. Как Сакко и Ванцетти. Как герой «Американской трагедии» Драйзера. Вам этого пока не понять... Люди придумывают всякие утешения, но скажу Вам с высоты моего возраста, что все это — чушь собачья. Там просто черная яма... Бр-р...

Погребальной темой наша встреча и закончилась.

Но через несколько часов я вновь услышал его голос: Львов позвонил мне в гостиницу. Он обнаружил в своих записях, что «насчет Ивана Ивановича, который покинул Россию», он и вправду подзабыл. Прочитанное им когда-то в «Сатэрдэй ревью» полностью совпадает с моей версией.

Воспитанный гуманностью сталинских времен, он предпочитает имя Гамова не произносить вслух даже теперь, когда оно имеется в советских энциклопедиях.

Беседуя со Львовым, я старался не перегружать его вопросами, чтобы как-нибудь нечаянно не проявить осведомленность. Понадеялся на переписку. Но и в письмах о знакомстве моего героя с антигероем я узнал немногое:

«С Матвеем Павловичем (или Петровичем?) Бронштейном я был знаком. Он моложе меня года на два. Умер Выбыл он в 1937—38 годах (он был, если не ошибаюсь, репрессирован; я написал сначала «умер», но, может быть, он умер позже; во всяком случае он более не появлялся)... С Бронштейном я был довольно близок в конце 20-х — начале 30-х годов. Но потом идейная борьба в физике страшно накалилась. Я резко нападал на копенгагенскую школу и ее внутрисоветских представителей, и отношения прервались».

Вот и все. Но больше, кажется, и не надо.

В последнем письме Львову я сообщил, что наконец-то добрался до главных его статей образца 37-го года. Затем процитировал несколько избранных мест. А избирать было из чего:

«Великие успехи социализма... Бывшие вредители раскаиваются... Реакционные антимарксистские группировки в науке, в искусстве, в литературе распадаются и влачат... Разбиты, но не добиты... переходят к двурушничеству... Что вместо музыки и балета получается сумбур и фальшь. То, что с большевистской ясностью было вскрыто „Правдой" на участке музыки, то относится и к теоретической физике. ...В Ленинграде существует тесно сплоченная группка физиков... Политика отвлечения внимания, полити-

ка дезорганизации и разрушения материалистической физики. ...Нетрудно понять, чьими рабами (или сознательными проводниками?) являются сторонники... чтобы революционная теория рабочего класса сидела сложа руки, предоставив им в порядке „домашнего" и „внутреннего" дела тащить физику в поповское болото. Но они этого не дождутся, эти господа... Суперарбитром здесь, как и всюду, выступает марксистско-ленинское учение о самых общих... Выполнение вреднейших инспираций, исходящих от окружающей Бронштейна реакционной среды... Тесное организационное и идейное сращивание научной и идеологической агентуры фашистской буржуазии с ее церковным агитпропом... Бесславный финал бронштейниады...»

Тремя знаками вопроса я выразил свое бескрайнее недоумение.

Вопреки моим ожиданиям Львов ответил:

«Я отчасти даже доволен, что „Новый мир" 30-х годов произвел на Вас действие, похожее, видимо, на электрошок. Пора Вам сбросить с себя интеллектуальные пеленки. Вы напомнили мне милого, пушистого птенчика, вылупившегося из яйца и широко раскрытыми глазами смотрящего на мир. История началась не с 1955 года (таков приблизительно год Вашего рождения). До 55-го года была страшная война (в которой пишущий эти строки принимал самое активное участие), были 30-е годы — годы политической и идеологической борьбы, беспощадной и непримиримой, была индустриализация и коллективизация. Была суровая, тяжелая, величественная и с т о р и я нашей страны, Европы, земного шара.

Конечно, гениальные физики — Ландау, Бронштейны, Гамовы (Гамов, как Вы знаете, бе пытался бежать за границу — сначала в шлюпке из Крыма в Турцию, потом из Карелии в Финляндию, а потом, обманув Советское правительство, в частности В. М. Молотова, попросту на казенные деньги махнул сперва в Брюссель, затем в Париж и затем в Америку) — гениальные, говорю я, физики пищали что-то такое, что понять сразу было трудно.

И, конечно, Ваше предположение, что кто-то „спасал свою жизнь" и так далее,— это предположение не только абсурдно, но и оскорбительно. Но это чепуха.

Ваше письмо, таким образом, мне очень понравилось. Вас, моего уважаемого птенчика, побудил окунуться в суровую историю нашей с Вами родной, великой страны. И это познавательно очень нужно, очень полезно для Вас. Тем более, что Вы — историк. Историк физики, к тому же.

Надеюсь, что Вы будете держать меня в курсе Ваших занятий. А в Москве мы еще повидаемся, если не возражаете.

Владимир Львов

P. S. *Завтра, 1 декабря — 50 лет со дня убийства С. М. Кирова. Тоже важная, трагическая страница и с т о р и и».*

Н-да, Владимир Евгеньевич, даже с Вашим литературным опытом не удалось Вам... Избран лихой атакующий стиль, но... Я понимаю — что придумаешь?! На что же был расчет? На то, что уважаемый птенчик начнет в гениальных физиках подозревать потенциальных предателей и расхитителей казенных денег? Вначале Вы просто хотели упомянуть, что Гамов бежал, но решили, что надо поубедительнее, зачеркнули «бе» и описали все три гамовские попытки расстаться с «нашей родной, великой страной». Чтобы птенчик с пониманием отнесся к Вашему лихому языку и другим лиходействам в страшной войне и великой борьбе. Ну чего там! Ну, не понял, о чем эти гениальные физики пищат, ну, назвал их врагами народа. Ну и что? С кем не бывает?! Тем более, что при каждом удобном случае эти физики бегут за границу. А мы, а мы с вами, материалисты-диалектики, остаемся тут, на нашей великой родине. И работаем на ее благо. И на ее суровую историю.

Н-да... Жидковато.

На этом можно было бы и поставить точку. Портреты в общих чертах готовы. Портрет Бронштейна и портрет, вернее даже сказать — автопортрет, его однокашника Львова. Конечно, лишь наброски.

Сам же я имею возможность разглядывать гораздо более проработанные портреты. Висят они у меня в разных помещениях. Но иногда, чтобы легче было размышлять, я вывешиваю их на одной незримой стене, называемой «историн советской науки». И пытаюсь — в который уже раз — ответить на вопрос «почему?». Почему этот молодой человек с одухотворенным лицом, человек, созданный для яркой насыщенной жизни, почему этот молодой человек мертв? А этот старик с хищным взглядом...

Впрочем, «жив», «мертв» — это лишь слова, за которыми столько всего... Для меня, во всяком случае, Матвей Петрович жив. Иначе я разве думал бы о нем так много? Гораздо больше, чем о многих, существующих медицински и юридически. Однажды так увлекся мысленным разговором с ним, что ужасно разозлился — почему он не отвечает на мой вопрос?! Я спрашиваю, а он молчит! Чувствую, что может ответить, а молчит. В чем дело, черт побери?! И только потом спохватился: ах, да! Его же убили. За десять лет до моего рождения...

А Львов... Что Львов? Напрасно он так боится смерти.

Некий многоопытный журналист, пишущий о науке, сказал мне, что нельзя рисовать портрет Львова одной черной краской, он, мол, делал и полезное: достижения науки превращал в достояние общей культуры. Позволю себе усомниться.

Тот самый журналист вообще не советовал мне заниматься таким скользким вопросом: кто, дескать, в те времена не пачкался? А сейчас Львов — старый, одинокий человек. Его давным-давно никто не печатает. Живет в нищете, сдает, говорят, бутылки.

Увы, не одни лишь пустые бутылки наполняют его жизнь. Не так уж давно «Ленинградская правда», например, поместила статью Львова «Свет против тьмы». Название лейтмотивное для всего его творчества. Всю жизнь он сражается с тьмой и мракобесием разного рода. Только бы подсказали вовремя, что сегодня — мракобесие, а он уж... Статья его начинается фразой: «Природа так устроена, что существа, чувствующие себя привольно во мраке ночи и во тьме пещер, плохо переносят солнечный свет. Это относится и к общественной жизни». Хорошо бы...

Но меня заботит не желание воздать Львову по заслугам, беспокоит меня общественное производство подобных человекообразных устройств. Раз Львова печатают, а печатают его и поныне, значит, устройства эти с производства не сняты.

P. S. В статье, вопреки ее названию, не поместился второй фотопортрет. Но это не беда. В. Е. Львов о себе и о потомках позаботился сам, снабдив одну из своих книг собственной фотографией. Так что интересующихся отсылаем в библиотеку. Быть может, после данной публикации читать книги Львова станет интересней.

В. АКИМОВ

НАШ СОВРЕМЕННИК ВОРОНСКИЙ

Штрихи к портрету

В конце 1929 года, закончив роман «Чевенгур», Андрей Платонов обратился к Горькому — никто не печатает роман, не к кому пойти. Горький ответил: «Среди современных редакторов я не вижу никого, кто мог бы оценить ваш роман по его достоинствам. Это мог бы сделать А. К. Воронский, но, как вы знаете, он „не у дел“».

Таким редактором был или мог быть Александр Константинович Воронский для многих. Находясь «у дел», руководя в 1921—1927 гг. знаменитым (и захиревшим после его ухода) журналом «Красная новь», созданным им вместе с В. И. Лениным, Н. К. Крупской и А. М. Горьким, он сделал как критик и редактор для советской литературы 20-х годов больше, чем кто-либо.

Сергей Есенин посвятил ему свою «Анну Снегину», а когда в 1924 году над Воронским первый раз нависли мрачные напостовские тучи и ему грозил уход из «Красной нови», Есенин заявил об отказе печататься в этом журнале. Точно таким же образом поступил тогда и Горький. Михаил Пришвин писал о нем: Воронский «во время литературного пожара выносил мне подобных на своих плечах из огня».

«Звездные» годы Воронского — с 1921-го по 1927-й. Поразительно, как точно совпадает это время с нашим послереволюционным Ренессансом, временем свершений и надежд.

...А в апреле 1927 года рапповцы добились-таки своего — Воронский был лишен возможности работать в «Красной нови». В 29-м, в «год великого перелома», Сталин вообще передал рапповцам все полномочия по командованию в литературе: вам и только вам, писал он, быть хозяевами литературы, потому что вы — Российская ассоциация пролетарских писателей.

Хозяйничали они в литературе головотяпски, разрушительно. Об этом можно много сказать, об этом многое еще будет сказано. А пока вернемся к Воронскому.

Он был репрессирован трижды: в 27 году, когда его отлучили от созданной им «Красной нови»; в 29 году, когда его арестовали и лишь вмешательство Орджоникидзе и Рыкова спасло от «срока» — дело ограничилось сравнительно недолгой высылкой в Липецк; и — уже без дна и покрышки — во всеобщем 37-м!

После реабилитации его первая критическая книга была издана в 1963 году — скупым тиражом, осторожным составом. Потом еще несколько изданий — более всего мемуарная проза: «За живой и мертвой водой», «Бурса» (он — сын священника, учился в бурсе, а затем в Тамбовской семинарии). Недавно книга его «Избранной прозы» разошлась стотысячным тиражом.

Это — хорошая, оригинальная проза, но прозаиков в те годы было и не хуже его, и получше — немало. А вот критиков и редакторов такого класса было не в пример меньше. Тут нужно начинать именно с Воронского.

КОЕ-ЧТО О ЛИТЕРАТУРЕ 20-х ГОДОВ

Опыт литературы 20-х годов долгие годы был одновременно страшно обеднен, упрощен, можно сказать, ограблен и — оболган, фальсифицирован. Факты — извращены, издания — книги, периодика — «закрыты», архивы — либо уничтожены, либо тоже закрыты.

Вот как *принято* было говорить о литераторах и литературе 20-х годов. В. И. Иванов: «контрреволюционная троцкистская группа „Перевал“, организованная Воронским»; «троцкистские молодчики проповедовали полный разрыв искусства с действительностью»; «Замятин, этот идеологический агент и прихлебатель буржуазии»; «Б. Пильняк, яростно ненавидевший революцию и народ» и тому подобное. Л. А. Плоткин: «революцию Замятин встретил как злобствующий обыватель»; «Мы» — «убогий клеветнический роман»; «на знамени „Серапионовых братьев“ была написана идея социального нейтралитета, принцип „беспартийности“»; «чуждые настроения, неприятие нашей революционной современности пронизывали собой и программные документы „Перевала“...»

Такие слова нельзя простить никогда.

И, конечно, не случайно в те годы было утаено и оклеветано в первую очередь все, что противостояло бюрократическому и догматическому насилию над искусством: Замятин, Булгаков, Платонов, «Серапионовы братья», «Перевал»... В особенности — Воронский и те, кто стоял рядом с ним.

Сегодня мы во многом и очень существенном возвращаемся к опыту культуры 20-х годов (и не только культуры): он должен быть осмыслен в своей творческой и конструктивной ценности.

...Поводом для моих заметок стало очередное издание критических работ А. К. Воронского — сборник «Искусство видеть мир» [1]. Так же называлась и последняя прижизненная теоретическая книга Воронского (вышла в 1928 году).

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — ЭТО СИНТЕЗ

Начну разговор со статей о литературном процессе, с теоретических работ.

Именно этому материалу, так тесно связанному с давней литературной «эмпирикой», вчерашним днем, в первую очередь грозила опасность износа, морального старения. Живые впечатления, портреты, разборы конкретных книг стареют меньше.

Но продуманное более полувека назад ничуть не устарело! Более того, сегодняшний день позволил увидеть в обзорах Воронского, в его эстетических идеях (которые тогда воспринимались его противниками со скрежетом зубовным, а позднейшими их наследниками с прокурорским пафосом) много принципиально значимого, скажу даже — пророческого.

Сегодня советскую литературу первого десятилетия нужно изучать *по Воронскому*. Более того, как теоретик он в те годы открыл устойчивые общие закономерности, простирающиеся на весь обозримый ход литературного процесса.

Посмотрим дальше — на его «персоналии», составившие первый раздел книги. С точки зрения неизжитой рапповщины — какой странный, недопустимо либеральный и эклектический ряд! А на самом деле — свобода от дурной групповщины, от слепой, пристрастной вульгарно-социологической тенденциозности.

Что же такое для него *советская* литература? (Кстати, само это выражение: советская литература — тоже детище Воронского, его теоретическое и практическое открытие. Об этом можно написать самостоятельное исследование.)

Это — М. Горький, С. Есенин, В. Маяковский. Это Б. Пильняк, И. Бабель, М. Зощенко, Н. Тихонов, Б. Пастернак, С. Клычков, В. Вересаев, В. Иванов — все те, кого тогда называли «попутчиками» и на кого косились весьма недоверчиво. Это — А. Толстой, А. Белый, Е. Замятин, кого напостовцы и рапповцы клеймили как «буржуазных» писателей и требовали безжалостных санкций против них (чего нередко добивались!). Это Д. Бедный, Ю. Либединский, А. Фадеев, М. Светлов, Лариса Рейснер, А. Аросев, значившиеся в напостовской табели о рангах действительными пролетарскими писателями. Вспомним еще неустаревшие разборы книг Марселя Пруста, Кнута Гамсуна; живую заинтересованность в судьбах литературных эмигрантов — Бунина, Куприна, Цветаевой...

Воронский был одним из очень немногих, кто в те годы публично, в печати признавал высокую культуру Михаила Булгакова, кто мог оценить по достоинству прозу А. Платонова, кто, несмотря на те или иные резкие оценки, высоко ценил творчество Е. Замятина...

Его называли собирателем, Иваном Калитой советской литературы. И это не «количественное», а «качественное» определение. Он стремился к литературному *синтезу* в своих теоретических воззрениях; настоящая литература сама была для него таким синтезом, *собиранием* мира, его *открытием*. Но — об этом дальше.

Для него советская литература началась с «бытописания», то есть с жизненной реальности, а не с деклараций и лозунгов, не с иллюстраций и «пропаганды», как этого требовала от нее левоэкстремистская критика напостовцев; сектантские установки вступили в конфликт с реальной эстетикой, с реальной критикой. Так бытописатели-художники — Замятин, Бабель, Леонов, Клычков, Никитин, Зощенко — сразу же оказались под огнем сектантской критики. Их с ходу окрестили «клеветниками».

Возник прецедент: с тех пор клеймо «клеветников» не раз ставилось на писателей, идущих от наблюдений и впечатлений жизни. Им никогда не удавалось угодить на приспособленцев, догматиков, сектантов.

Видимо, и сегодня мы переживаем «эмпирический» период, когда обманувшие декларации и общие идеи, ставшие пустыми штампами, защищающими застойную демагогию, отметаются жаждой «расследования» действительности, «опознания» ее во всей неприкрашенной правде, во всей трудной истине. И сегодня эта литература прямого слова еще вызывает испуг у хранителей скомпрометировавших себя сталинских догматов...

Но — ближе к Воронскому.

Лишь на самых первых порах он видел достоинство в революционном «бытописании» самом по себе. Уже вскоре критик говорит о недостаточности, уязвимости «отчетливого уклона к непосредственному».

Литература мертва вне идеального начала. Молодые литераторы должны быть захвачены «любовью к жизни неисковерканной, свободной и развязывающей могучие инстинкты, как вечные, питающие ее живительные родники».

Великий живительный поток синтеза идет из вечных глубин жизни. Весь во-

[1] А. Воронский. Искусство видеть мир. Портреты. Статьи. Составители Г. А. Воронская и И. С. Исаев. М.: Советский писатель, 1987.

прос в том, *как* впитать его революционному искусству.

«Теперь и читатель, и писатель сыты от деталей... читатель сыт от того неупорядоченного, бессистемного, беспланового бытописания... он начинает искать не фактов, а факта, не событий, а события, не типов, а типа, не героев, а героя, не сюжетов, а сюжет. Словом, он тоскует по широкому синтезу».

ПРОТИВ НАПОСТОВСКОГО СЕКТАНТСТВА

Статья «Из современных литературных настроений», откуда выписаны эти слова, впервые была напечатана в «Правде» 28 июня 1922 года. Тут уже можно слышать подлинный голос Воронского, зазвучала его главная тема: большой революции, великим идеалам нужна великая литература.

Там же он пророчески писал: «Мы вступаем в полосу гражданских битв в области идеологической».

И они не замедлили грянуть.

«Юные литераторы и коммунисты», которых Ленин предостерегал насчет того, что «в вопросах культуры торопливость и размашистость вреднее всего», непримиримо встали «на посту» против «ересей» Воронского. «„Воронщина" должна быть ликвидирована!» — постоянный «напостовский» клич.

Им отвечает Воронский в знаменитой статье «Искусство как познание жизни и современность» (1923).

Не знаю другой статьи, которая в те годы так много значила бы для размежевания живой марксистской эстетики и самосозерцающей лжи эстетического сектантства. Для напостовцев литература всегда была послушной служанкой идеологии и политики, их продолжением иными средствами, в иной *форме*.

Вот откуда долгие годы раздавались трубные призывы, обращенные в категорической форме к литературе: «воспеть», «прославить», «создать полноценный положительный образ» по заданной рецептуре, и — наоборот: «разоблачить», «заклеймить» и тому подобное. Но никогда не говорилось: «понять», «исследовать», «познать», «открыть»...

Для эстетики Воронского искусство есть, прежде всего, собственное *познание* жизни, ее *открытие* особыми, только ему присущими способами.

Художник «всезрящими очами своего чувства», пишет Воронский, открывает художественную истину: «так создается в воображении жизнь конденсированная, очищенная, просеянная,— жизнь лучшая, чем она есть, и более похожая на правду, чем реальнейшая реальность».

В напостовской теории искусства первична «установка», «идея», «назначение». Напостовцы лишь *«используют»* действительность в своих пропагандистских целях. Для Воронского художник начинается с самобытности: «у художника должны быть свои глаза... что называется — индивидуальностью художника»; *первична* у такого художника жизнь, действительность, а смысл его работы — «с познанием жизни соединить высокое поучение».

В статье был сделан необыкновенно важный в принципиальном плане вывод об эстетическом своеобразии нового искусства: «диалектический материализм в искусстве ведет к реализму как основной форме, т. е. к познанию жизни, к объективному и точному изображению». Воронский пишет о «соединении художественной правды с идеалами коммунизма». Через головы напостовцев он спорит с «позитивной эстетикой» А. Богданова и А. Луначарского: и для них «поучение» всегда было выше «познания».

Перед нами первое определение того феномена, который был впоследствии назван социалистическим реализмом. Как и многие благие идеи, эта была не раз извращена и подменена догматиками. Сейчас идут острые споры о соцреализме. Посмотрим на «предмет» глазами Воронского.

ЕСТЬ СОЦРЕАЛИЗМ И «СОЦРЕАЛИЗМ»

Один «принадлежит» художникам Горькому, Шолохову, Платонову, он открыт творчеством советских писателей, говоря словами Воронского, в «результате работы над объектом», то есть в ходе познания жизни, в результате взаимосвязей — по особым *эстетическим* закономерностям — внутреннего мира художника с миром действительности.

Другой — сталинско-ждановский директивный «соцреализм», который, опять же говоря словами Воронского, является всего лишь «передачей субъективных настроений, мыслей, чувств» человека, *«использующего»* действительность в той мере, в какой это ему нужно для иллюстрирования внешних идей и достижения заданных целей.

Реальность, жизнь в этом случае — послушное *средство*. Сама по себе она такого художника не интересует.

У напостовцев, пишет Воронский, «субъективизм людей, превративших теорию классовой борьбы в метафизическую, абсолютную категорию... Из тонкого оружия марксистской критики в таком понимании теория превращается в обух, которым гвоздят направо и налево без всякого толку и без разбору».

Напостовцы с первых своих шагов непреклонно «отождествили художество с агиткой».

Они были невежественны и примитивны — это так, но в качестве инструмента административного регламентирования искусства они были просто находкой, как нельзя более своевременной. «Радикальная» уравнительная мелкобуржуазная стихия, поднявшаяся со дна в годы революции, воплотилась у напостовцев в воинственных лозунгах, упрощенных и поэтому легких для усвоения и распространения.

Губительные для искусства, их догмы пошли в ход на долгие годы.

Воронский еще в 1923 году начал с ними тяжелый бой, победа в котором оказалась отсроченной на многие десятилетия. Но значение его статей далеко не только полемическое.

Он, как говорилось, выдвигает идею советской литературы как синтеза, *продолжающего* и *развивающего опыт классики*, а не «принципиально новый и особый» путь, как твердили вначале напостовцы и рапповцы, а потом и их наследники, отлучавшие от своего сектантского «соцреализма» и Платонова, и Пришвина, и Зощенко, и многих, многих других.

Зато в объятия казенного, официального «соцреализма» были приняты сонмы приспособленцев и демагогов, лжецов и подхалимов, преуспевающих в выполнении бюрократического «социального заказа».

Для Воронского не было и не могло быть принципиальной *эстетической* разницы между методом классической литературы и методом советской литературы. И это отнюдь не исключало различий идеологических, политических, мировоззренческих, нередко крупнейших, вообще признания всех изменений, обусловленных новым духовным опытом человечества, революционного отечественного опыта.

Разумеется, сказано это на тот случай, если мы хотим видеть в соцреализме синтез духовной, художественной правды. Или — продолжая напостовско-рапповско-ждановские традиции — можно увидеть в нем всего лишь концепцию, сектантски противопоставленную всему мировому художественному опыту, искусство, обслуживающее текущие потребности «административной системы».

Подлинная история соцреализма посвоему «моделирует» историю нашей культуры, историю нашего общества, всей народной жизни в XX веке.

А «комчванское» противопоставление соцреализма всем другим методам и направлениям ведет к «отделу кадров», «анкете», «ярлыку», а там и много дальше...

Марксизм входит в соцреализм, то есть в *синтез* — в той мере, в какой он — не догматически, реально! — входит в духовный прогресс в нашем великом и трагическом веке. Входит нередко совсем не теми путями, которые так удобно наблюдать с точки зрения эстетики иллюстративизма.

Мы ведь помним, что даже «Жизнь Клима Самгина», даже «Тихий Дон», весь Есенин, многое у Маяковского с этой точки зрения долгие годы оставалось за пределами ортодоксии!

Так от чего мы откажемся — от ортодоксии или от «Тихого Дона»?!

Но есть и другая сторона дела.

И если, скажем, у Булгакова, Замятина, Ахматовой, Олеши, Пастернака и тому подобное (Платонова, например) нет привычных для схоластического мышления «признаков» марксизма, то это еще никоим образом не значит, что выдающиеся писатели прошли мимо опыта марксизма, что их духовный мир никак не взаимодействовал с тем, что происходило в духовном мире общества.

Анна Ахматова писала, что она была со своим народом там, где ее народ «к несчастью был». И литература наша — к счастью! — была *там*, с *народом!*

ПУТЬ К ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЕ ИЛИ ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР

Статью «Искусство как познание жизни и современность» Воронский заканчивает словами, в которых слышен подлинный гимн великой литературе прошлого и острая тревога за судьбу новой литературы, немыслимой вне продолжения и развития традиций: «„На посту" не чувствует, не понимает, что нам передано изумительное литературное наследие, что на нас, коммунистах, лежит тягчайшая ответственность за то, какую литературу даст Новая Россия после Пушкина, Гоголя, Толстого. Оттого они так безапелляционны, так легко творят суд и расправу, так решительно выбрасывают за борт все, за исключением „Октября", так заняты взаимным прокламированием.

Их дело. Уверены, что партия на этот путь не станет».

Значит ли сказанное Воронским о классической литературе, что он был, как писали напостовцы, «Стародумом», который «в благоговейной позе, без достаточной критической оценки застыл пред гранитным монументом старой, буржуазно-дворянской литературы»?

Нет и нет — сто раз он говорил о великом значении притока в классическое *вечное* русло свежей энергии революционного времени — энергии духовной, социальной, личной.

Но сегодня все же важнее подчеркнуть в его работах, прежде всего, пафос «единого литературного потока».

«Единого» в том смысле, что для него советская литература продолжает гуманистическую, освободительную миссию русской классики.

«Левые» теоретики укоряли старую литературу в «пассивности». «Если бы,— отвечает им Воронский,— старое искусство было пассивным, то оно не заставляло бы людей действовать, бороться. Но достаточно вспомнить почетную, благодетельную, благородную роль, которую сыграло старое русское искусство (в целом) в деле борьбы с царской деспотией, с русской растеряевщиной и окуровщиной, чтобы утверждения подобного рода повисли в воздухе».

Он спорит с иными «новейшими и якобы революционными теориями» не потому, что они «революционные» и «новейшие», а потому, что они — антикультурны, потому, что они «зовут писателя к освобождению от лучших идеалов и чувств нашего века».

Воронский был в высшей степени «сейсмочувствителен», чуток к голосам из глубины; всем своим существом воспринимал он «сигналы» большого времени, большой жизни, которой не нужно и стихийное мелководье, и сухая утилитарная программность.

Как же художнику вступить в контакты с этим большим миром? Для этого необходима культура творческого поведения, нужно углублять и развивать *дух творческой свободы*. Тем более необходима эта работа в условиях резко переменившейся жизни, в революционные эпохи, когда все перевернулось и никак не может улечься.

Вот почему главный узел, который развязывает Воронский, связан *с исследованием природы творческого процесса.*

Для его оппонентов тут не было никаких проблем. Идейный каркас задан; он — результат установки, указания, директивы. Нужно овладеть умением обтягивать его плотью «художественной» конкретности. Это умение — ремесленное по своей сути — можно и нужно, говорили рапповцы, заимствовать в лучших образцах у классиков. К этому и сводился их лозунг «учебы у классиков».

Иллюстративистской эстетике, искусству «копирования», воспроизведения внешних впечатлений сквозь призму «заказа» Воронский противопоставляет эстетику «снятия покровов». Здесь он ссылается на опыт Л. Толстого: «великая рука сдергивала завесу, и перед читателем открывалась жизнь, которую он видел тысячи раз и видел впервые».

Такое же умение, пишет Воронский, «„снимать покровы“ в области социально-политической борьбы было у Ленина».

Красноречивое сопоставление!

ОБ ИНТУИЦИИ

Лишь теперь мы можем по праву оценить упорство, с каким Воронский разрабатывал концепцию народности — притом порою с совершенно неожиданной стороны,— он шел к ней и через психологию творчества, осмысливая такой глубинный социальный исток творческой способности, как *интуиция.*

Да, да, интуиция у Воронского ведет к этим корням и истокам!

«...Ведь интуиция есть не что иное, как истины, открытые когда-то с помощью опыта рассудка предшествовавшими поколениями и перешедшие в сферу подсознательного» («Об искусстве»). И дальше: «У великих художников „ныла душа“ не бесхребетной, нудной бездейственной тоской, а той, что преображает жизнь. Именно здесь следует искать основной стержень, истоки, побудительные мотивы, тайны, незримые пружины их творчества. То, что называлось вдохновением, творческим осенением и интуицией, нужно искать прежде всего в этих больших человеческих чувствах, которыми был *„заражен“* писатель, напоен до краев до того, что он не мог молчать, и чем „заражал“ он читателя» («Искусство как познание жизни...»).

В этом для него главная суть вопроса об интуиции: ее социальная, народная, «почвенная» природа. Осознание и включение в творчество «механизма» интуиции делает художника обладателем знания, которое заложено в глубины его психики безмерно богатым прошлым опытом — опытом поколений, опытом народным, опытом всечеловеческим. Интуиция помогает художнику привести в действие огромный потенциал его личности.

В таком понимании интуиция отрицает все узко личное, одномоментное, становится преградой индивидуального или группового субъективизма. Пробуждается мощь «родового» сознания, вливаясь в сознание личное.

Интуиция дает художнику возможность в переходное, «сдвинутое» время сохранить чувство «корней» и связей. Она не позволяет ему исходить лишь «из себя» или внешнего «заказа», поддаваться впечатлениям «одного дня».

Вот почему конъюнктурной догматической и иллюстративистской эстетике — и в рапповские и в послерапповские времена — размышления Воронского об интуиции казались смертельно опасными! Можно ли удивляться тому, что вульгарно-социологическая критика, весь пафос которой состоял в идее «разрыва», раскола поколений, общественных групп и их взаимном натравливании, в обострении классовой борьбы, не могла простить Воронскому его «интуитивизма»?

ПРОТИВ «ГОРЯЧЕЙ РУКИ»

Споря с пропагандистской концепцией в искусстве, Воронский говорил: надо избегать «явной тенденциозности».

Плохо, пишет он, когда автор по своему произволу вмешивается в картину жизни, вскажая ее,— «видно, как он волнуется, торопится, как не дописывает, перескакивает, не хочет подумать... Слово не дозрело, на нем свежие отпечатки „горячей руки“. Необходимо, чтобы „оценивающее творческое око“ удерживало слишком „горячую руку“» («О мудрой точке» — 1925).

Что же стоит за этим — неужто призыв к холодному, бесстрастному искусству? Нет, речь прежде всего идет о том, чтобы художник наиболее полно реализовал свою *главную задачу* — познание художественной правды. В самом деле,— разве так уж это хорошо, когда художник нервно, болезненно чутко реагирует на происходящее, доверяется суете, однодневной стороне жизни?

Выступая против примитивной тенденциозности, Воронский остается здесь настоящим политиком-коммунистом, а не политиканом-приспособленцем. И в политике, и в литературе его влекло глубинное и главное, *«тайнопись бытия»*.

За этими строками — предостережение от короткого дыхания, от жизни и работы «на потребу дня», мысли об *антиконъюнктурности художника как закономерности* его творческой работы.

Сегодня эти мысли Воронского снова актуальны.

НЕПРОЧИТАННАЯ СТАТЬЯ ВОРОНСКОГО

Мне кажется, в чрезвычайно остром контексте прочитывается сегодня и статья «История мидян темна и непонятна...» (1925). Она с тех пор не издавалась.

Речь в ней идет об изображении большевиков в литературе.

С какой стороны подходит к этому вопросу Воронский?

«Художественный метод,— пишет он,— с помощью которого современные писатели, пролетарские и непролетарские, создают свои произведения о большевиках, является обычно ограниченным, узким, недостаточным, неполным и потому неправильным».

Почему?

«Ему недостает историзма».

Что имеет в виду критик?

Вот что: большевиков изображают как «замкнутую героическую касту, почти ничем не связанную с окружающим», как «новую породу, невиданную доселе в деревянной толстозадой России». «В них не примечают ничего первозданного, природного, естественного, родного».

«Нет подлинной большевистской атмосферы»,— пишет Воронский.

Припоминая написанное о Ленине, он считает, что «живого, жизненного Ленина аа очень редкими исключениями... нет».

Как все это понять?

Думается, что в этих размышлениях схвачена грозная опасность, вставшая тогда перед литературой (и далеко не только перед литературой!). Вспомним, как Луначарский предостерегал рапповцев от участи «завоевателей в собственной стране». Не о том ли и Воронский?!

Сталинская «система» с ее мифологией и магией самовозвышения была заинтересована в создании легенды о «надчеловеческих», «наднародных» свойствах большевиков. Эта психология внушалась и самим большевикам, особенно партийной молодежи, чтобы превратить их в послушных исполнителей «священной воли».

Постепенно пропагандировалось представление о большевиках как о «людях особого склада», «скроенных из особого материала», «чуждых народной жизни, «своего рода ордене меченосцев» (Сталин).

Требование историзма состоит в том, чтобы вернуть большевиков народу и родине, родной истории и родной природе. Нельзя допускать, пишет Воронский, чтобы «в современных художественных произведениях большевики выглядели иностранцами, варягами XX века». Сказано так, что яснее некуда!

А ведь психология «варягов» очень пригодилась через несколько лет и сыграла самую роковую роль в событиях «великого перелома» и многих других, сопутствующих и последующих.

Воронский выступает против истолкования внутреннего мира человека партии как «тесного и узкого круга переживаний героических одиночек».

Сегодня особенно остро ощущается в статье смелый политический подтекст, полемика с тревожными тенденциями — и в жизни, и в литературе.

Это был спор с превращением большевиков в функционеров, оторванных от корней, в «пришельцев», вершащих чуждое народу дело, равнодушных к тому, что происходит в недрах жизни, ее вековых глубинах.

Увы, Воронский был во многом прав: в целом ряде произведений 20-х годов и в дальнейшем (подчас в крупных произведениях) большевики были изображены в большей или меньшей мере по аскетической и кастовой схеме. В «Неделе» Ю. Либединского, в «Голом годе» Б. Пильняка, в «Партизанах» В. Иванова, в «Разгроме» А. Фадеева, в «Чапаеве» Д. Фурманова, в «Поднятой целине» М. Шолохова... И тут еще исследователям предстоит разобраться — где результат внушенной героям необходимости «забыть себя», отказаться от родословной и воспринять свой родной народ как неродной, а где мелкобуржуазная «левацкая» гордыня, позволяющая смотреть на народ свысока, лишь как на «материал

истории», «вонючее тесто», из которого самозваными пекарями будет слеплен «сладкий пирог» (А. Платонов. «Чевенгур»).

В условиях так называемого «ленинского» (а на самом деле — сталинского) призыва в партию, когда сотни тысяч новых, не имеющих опыта и знаний, революционной закалки людей растворили в своей массе ленинский «кадр» партии, Воронский призывает к созданию мемуарной литературы о партии, ее истории, революционном подполье. Вероятно, именно в это время складывается у него, старого большевика, профессионального революционера, замысел мемуарной книги «За живой и мертвой водой».

Не исключено предположение, что эта статья связана с письмом В. И. Ленина, в котором Владимир Ильич с беспокойством предостерегал о непредсказуемых последствиях, к которым может привести изменение структуры партии, особенно если будет удовлетворен массовый «соблазн вступления в правящую партию». «Если не закрывать себе глаза на действительность,— писал Ленин,— то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него»[1] (написано 26 марта 1922 года, впервые опубликовано 23 декабря 1925 г.).

Так что можно сказать: Воронский один из первых почувствовал опасность перерождения большевика, растворения «старой партийной гвардии» в массе мелкобуржуазных карьеристов, готовых превратить человека партии в «солдата партии», в бездушного и одновременно преисполненного служебного энтузиазма бюрократического робота, в котором убито все живое, истинное, человеческое (пример того мы видим и в целом ряде новых книг — достаточно вспомнить «Новое назначение» А. Бека, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Мужики и бабы» Б. Можаева).

Еще одна полемическая реплика.

Известно, что Воронский довольно холодно отнесся к поэме В. Маяковского о Ленине (отметив, однако, что сцена похорон — это лучшее, что есть в литературе о Ленине).

Последующие «маяковеды» не упускали случая уязвить Воронского, приписывая ему то непонимание, а то и клевету!

Заметим, впрочем, что Воронский в таком отношении к поэме был не одинок. Старые большевики и литераторы, знавшие Ленина близко, тоже без особого восторга отнеслись к его портрету в поэме.

Годы спустя, после известной сталинской оценки, поэма была канонизирована. И вряд ли это пошло на пользу ее действительно глубокому прочтению.

Лично я, ничуть не колеблясь, назову портрет, созданный Маяковским, замечательным, но... к живому, конкретному Ленину имеющим достаточно далекое отношение. Маяковский здесь решал *свои* задачи, далекие от портретирования. Он воспринимал героя поэмы — не Ульянова, а Ленина — и в контексте своей лирической мифологии, и в духе лефовской теории «деиндивидуализации» исторического процесса.

Вряд ли эта концепция могла быть принята Воронским, давно и близко знавшим В. И. Ленина, пользовавшимся его большим доверием.

НАШИ ПРОБЛЕМЫ

В последние годы своей критической работы — 1925—1928 — Воронский особенно сосредоточен на исследовании фундаментальных проблем творческого процесса. Притом равно — на материале текущей литературы и на материале классики.

Оглядываясь в прошлое, он смотрел далеко вперед.

Поразительно современно (то есть как *наша* проблема!) воспринимаются, например, его размышления об условиях созревания творческой личности Толстого в его лучшие годы: «Самое важное в жизни в те годы была жена, дети, разведение скота, благополучие. Нам, поколению иного социального происхождения, выросшему в накаленной революцией общественной среде, теперь трудно, даже почти невозможно представить яснополянскую жизнь того времени — до такой степени общественное подчинило, заслонило собой личное, семейное, да и семья у нас совсем другая».

Можно представить, какими «несвоевременными» были для рапповцев эти мысли Воронского! Каким они были вызовом неистовым ортодоксам, с их суетой непрерывных переоценок, кампаний самокритики, смены лозунгов и директив, совсем задергавших литературу.

Критик пишет — и подчеркивает это снова и снова: важнейший механизм творчества — *перевоплощение*. Чтобы перевоплотиться, нужно все знать до мелочей, видеть все до дна, исчерпывающе владеть материалом. «Творческий акт есть акт, в котором принимает участие и художник и модель его произведения».

Иначе говоря, жизнь нельзя безнаказанно придумать, подменить, фальсифицировать. Между художником и материалом его творчества есть глубокая внутренняя связь. Нарушить ее легко, и это приведет к гибели и художника, и его творение.

Выражение «социальный заказ» так освящено бюрократической «общественной» практикой, так неприкосновенно, что мы со страхом и пиететом смотрим в ту сторону. А ведь там — одна из главных причин множества творческих поражений. Этот «молох» должен быть развенчан. В творчестве необходима глубочайшая личная духовная потребность. Во второй половине 20-х годов об этом остро спорили.

Самыми энергичными противниками лозунга «социального заказа» были А. В. Луначарский, В. П. Полонский, против выступали Л. Леонов, Ф. Гладков и многие другие.

Луначарский, например, писал: «Понятие социального заказа, при допускаемой полной пассивности самого художника, который только делает то, что ему поручают, приводит к выводу, что те же художники были бы послушными исполнителями и при господстве буржуазии».

К таким суждениям стоит сегодня снова прислушаться и вспомнить: а что, собственно, было написано «нетленного» в порядке выполнения «социального заказа»? А не придем ли мы, наоборот, к выводу, что все наиболее значительное в советской литературе написано было по глубокой личной потребности художника и *вопреки* этому заказному «творческому» методу?

Но рапповско-бюрократическая теория искусства охотно взяла его на вооружение, поощряя «штамп» и «фабрикацию», насилуя художника своими «заказами», разрывая связи между ним и реальной действительностью.

Эстетика «штампа» и социология «заказа» широко проявляются в массовой культуре, в производстве «чтива». Тут наилучшим образом обнажается внутреннее родство бюрократии и мещанства.

Чтобы вступить с жизнью в подлинный контакт, необходимо отказаться от внешнего подхода, нужно выработать особое, «творческое самочувствие».

Чтобы войти в «творческое самочувствие», вспоминает критик Пушкина, нужно пренебречь «заботами суетного света», отрешиться от «забав мира».

С бесстрашной полемической прямотой и мужеством Воронский говорил мудрые и нисколько не устаревшие вещи: искусство — это преодоление рутинного, стершегося взгляда на мир, открытие «образов мира»; «в этом главный смысл искусства и его назначение».

Воронский писал о том, что «истинное искусство начинается там, где явления, люди живут своей независимой от художника жизнью, являются прекрасными безотносительно к тому, как он к ним относится».

Здесь — определение идеальной цели искусства и высшего его цветения. Поразительно, что это было написано едва ли не в самом пекле времени — идет 1927 год! Великие, грозные «кануны»!

Как это современно звучит сегодня! Открыть человеку прекрасный мир, существующий в своей неповторимой самоценности — разве это не великая общественная и человеческая миссия искусства в то время, когда для всех нас еще не миновала угроза атомного апокалипсиса?! Восприятие и познание мира полно практического смысла — и это отлично видит Воронский. Но — в стремлении к пользе нужно уметь вовремя остановиться. «Есть „день седьмой", когда мы хотим взглянуть на мир иными глазами... когда мы *бескорыстно* хотим любоваться и природой и людьми».

Сегодня это бескорыстие наполняется для нас, для всего человечества новым, самым последним смыслом, самой высокой корыстью: мы хотим *выжить* на нашей земле, «хотим любоваться природой и людьми». А для этого нужно уметь отказаться от собственной эгоистической «выгоды», от повседневного самоубийственного утилитаризма.

Это и есть, пишет Воронский, «состояние, которое мы называем эстетическим». Так что — поистине «красота спасет мир», ибо она совпадает с самой сутью жизни и если погибнет, то вместе с миром и жизнью. Красота и есть высшая польза, перед которой отступает все личное, мелкое, групповое, классовое, сословное. В таком толковании красоты подчеркивается приоритет общечеловеческих ценностей. Такое творчество «возвращает мир себе, делает его прекрасным независимо от нас».

«Административная система» была жизненно заинтересована в искажении реальной картины мира. Подлинно прогрессивный класс, пишет Воронский, «выражает в той или иной мере интересы и потребности огромного большинства общества, и в общей концепции мира этого класса отражаются нужды этого общества и всего культурного человечества, потребности дальнейшего развития».

Эту последнюю мысль нужно включить и в полемику с концепцией «второй природы», культуры, якобы *противопоставленной* природе, концепцией, может быть, и имевшей при своем возникновении благородный гуманистический смысл, но впоследствии также подчиненной волюнтаристскому пафосу насилия над миром, обществом, человеком и природой. «Вторую природу», пишет Воронский, нужно «творить... сообразуясь с реально данным

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание соч., т. 45, с. 20.

нам миром», иначе человек «возведет лишь одну вавилонскую башню».

Создание «второй природы» *вопреки* первой — опасный, гибельный шаг. XX век представил бесконечно много свидетельств пагубности прагматического, некомпетентного волевого вмешательства человека в природный порядок; разрушение гармонии, созданной природными процессами в течение миллиардов лет, отзывается — и еще не раз отзовется! — хаосом: и природными взрывами разрушительной силы, и медленной экологической коррозией.

В размышлениях Воронского — своеобразное «экологическое» провидчество; они соединяют экологию и эстетику, предостерегают против беззаботного напора на природу агрессивных человеческих «идеальных» вожделений.

Духовно-эстетический пиетет перед природой, признание и познание ее законов — вот чему нужно, по мысли Воронского, научиться человечеству.

Обо всех этих вещах нужно было говорить прямо, особенно после смерти В. И. Ленина, когда «левое» бесовство вырвалось на волю и начало поспешно создавать свой оборонительно-разрушительный бюрократический механизм.

Статья, заключающая его последний прижизненный теоретический сборник, называется «Об индустриализации и искусстве».

Острая, ответственная тема!

Как совместить духовные ценности и индустриализацию?

«Тихое, мирное „житие", почесывание, родная косность, обломовщина, окуровщина, распущенность — прямые и непосредственные враги индустриализации,— пишет Воронский и знаменательно продолжает,— не в меньшей степени, чем бумажная волокита, комчванство. Одно связано с другим, одно питает другое».

В этой среде возник и начинает усиленно плодиться тип «механических людей».

Это «не наш тип, его усиленно навязывают нам наши враги и мещане всех рангов. В нашей крестьянской среде этот тип особенно не нужен». (Знал бы тогда Воронский, как этот «механический человек» развернется в близком времени на бескрайних просторах крестьянской России! А может быть, и знал, догадывался, предостерегал?!)

Зерно статьи в том, что в эпоху великих перемен высшей ценностью должен остаться *человек*, «широкая русская натура». Не называя Бухарина, критик явно спорит с его «Злыми заметками».

«Нам часто предлагают объявить этой „натуре" беспощадную борьбу. Против такого подхода ничего нельзя возразить, если под широкой натурой понимать хулиганство, пьянство, бесцельное озорство, безделье, пренебрежение к организованному труду, к культуре. Но „широкую натуру" можно понимать и иначе».

И далее следует подлинный гимн человеку, созданному историей и народом.

«Широкая русская натура — это огромный запас свежих, неистраченных сил и мощных жизненных инстинктов, цветущее здоровье, богатство и разнообразие эмоций и мыслей, отзывчивость, способность молодо и жадно воспринимать разнообразные впечатления и отвечать на них, неудовлетворенность достигнутыми результатами, размах в работе, в постановке задачи, правдоискательство, самоотверженность, отсутствие мелочности, педантизма, высокомерия и самодовольства...»

Таков и большевик: «У профессионального революционера под кожаной курткой девятнадцатого года билось сердце „широкой натуры"».

...Вот с чем подошел наш народ к сверхнапряжению индустриализации, к драмам и трагедиям коллективизации, вот с чем он вступил в 30-е годы, какой — и тысячелетний, и обогащенный революционным взрывом — духовный капитал был вложен целиком народом нашим в создание нового общества — и как зачастую безжалостно тратился он «механическими людьми» всех степеней...

В канун индустриализации Воронский снова и снова напоминает: лишь соединение «перестройки» с «натурой» человека, с его исторической и социальной, с его духовной памятью даст благие результаты. *Насилие* над «натурой», жизнью, природой, пренебрежение ею, недооценка ее могут *погубить* все дело.

В этой выношенной, безмерной любви к своему народу, к человеку, созданному Отечеством для большой исторической судьбы — весь Воронский!

А его слова о «широкой русской натуре» — это не только портрет, но в немалой степени и автопортрет.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

Письма наших читателей
М. П. Анохина и А. М. Чехета
обсуждают
В. В. Кавторин и В. В. Чубинский

В прошлом году (№ 3 и 10) «Нева» опубликовала два «диалога в письмах» писателя Владимира Кавторина и историка Вадима Чубинского, которые вызвали обширную и весьма разноречивую почту, продолжавшую поступать еще и в начале нынешнего года. Читатели соглашались с нашими авторами, спорили с ними, поддерживали, негодовали на них... Каждое из этих писем (а немалая часть их — многостраничные трактаты) по-своему интересно, но опубликовать их все у нас нет никакой возможности. Поэтому мы выбрали два, показавшихся нам наиболее важными по характеру затрагиваемых проблем, и попросили Кавторина и Чубинского коротко их прокомментировать, ответить на поставленные в них вопросы.

Письма публикуются с некоторыми сокращениями, не затрагивающими сути заявленных в них позиций и согласованными с авторами.

* * *

Уважаемые товарищи В. Чубинский и В. Кавторин, я не уверен, сумею ли написать Вам так, как это не раз «прокручивал» мысленно еще после прочтения № 3 «Невы», но нынче уже невмоготу, нужно высказаться, хотя бы для себя.

И тут не обойтись без того, чтобы не рассказать и о себе. Ведь то, что говорит Н. Шмелев или Д. Лихачев, не требует автобиографической справки — люди известные. Ну, а наш брат, субъект политических и прочих воздействий? С нас, помимо «гласа», требуется еще и личная справка — кто, что?

Так вот, родился я в 1944 году, то есть помню и смерть Сталина, и выкалывание глаз на портретах Берии, и все такое, вплоть до известного тогда стишка: «Берия, Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Как видно, понятие справедливости в то время дальше пинков распространиться не могло.

Жили мы в Горно-Шорской автономной области, по сути вотчине ГУЛага, да и сам поселок Калары больше чем наполовину состоял из ссыльных немцев Поволжья и украинцев. Какая-то часть была и коренного населения — шорцев, окончательно доразвращенных советской властью. Сейчас о самобытной культуре этой народности говорить не приходится, она ушла, уплыла по Томи и другим рекам; вместе с лесом исчезла среда обитания, ушли звери, ушел безвозвратно опыт природных охотников и кузнецов; обличие осталось, но обличие не есть народ.

Ночами частенько слышался у нас лай овчарок и грохот сапог в дверь — ловили зэков, искали их под кроватями, лезли на печку, грубо расталкивая детей. Да, были времена!

Обязательно нужно упомянуть об отце и деде, поскольку последний научил меня читать еще до школы. Естественно, читал я Библию и Евангелие... Но что даст еще один факт о разгромленной хлебопашеской деревне, о вырванных с корнем людях, несущихся, подобно перекати-полю, по далям и весям Отчизны и ждущих часа, когда некая безжалостная рука бросит их в топку классовой борьбы? О том, что душа неисповедимыми путями тоскует, протягивается к отчей земле, к крестам ее и пашням? Что тоскует она по лошадям, по живой душе, издревле сопровождавшей ваш род,— отец мой до сей поры поименно знает всех лошадей единоличной поры, но — увы! — все навыки, все крестьянские знания безвозвратно растеряны, и только душа, что незримо связует поколения, болит своей особой болью; а ведь эта боль куда опаснее физической...

Когда я читаю о сталинских временах, я плачу. Здоровенный мужик, а не могу сдержать слез. Нет, никто в нашем роду «не расстреливал несчастных по темницам». Не гонители были, не судьи, а гонимые. Но ведь никто и не испил муки смертной в застенках? Кто напишет обо всем этом? «Вечный зов» — не то, там полуправда, а «Кануны» Белова — это не Сибирь...

Как я понимаю, уважаемые товарищи, Вы считаете исходным пунктом становления сталинизма приблизительно 23 год? А мне кажется, все началось раньше, если ве с «Бесов», то с эсеровского мятежа и с ответа на «белый» террор «красным» террором — вот это и есть начало восхождения Сталина на престол власти.

Почему? Ответ, по-моему, очевиден, поскольку для осуществления репрессий, для расстрелов и прочих экзекуций требовались люди определенного склада. Немыслимо представить себе Ленина, расстреливающего самого отъявленного врага? В борьбе, в перестрелке — да, но поверженного — нет! Да и Троцкий, со всем его экстремизмом, вряд ли способен был лично убить человека. Тут нужны люди определенного склада, с опытом убийства, и они, как всегда, нашлись. Убить человека — это не просто, тут такой барьер, что преодолеть его и остаться неизменным еще никому не удавалось.

Вот такие люди и создали базу для прихода к власти Сталина. Нравственное оправдание палача в том, что он выполняет волю власти, общественных сил, стоит на страже интересов общества. Если только он уже не психический больной, поскольку палачество настолько противоестественно, что быть палачом и оставаться нормальным человеком — невозможно! Это был мощный энергетический источник, подпитывающий Сталина, и Сталин неимоверно расши-

рял его, вытаскивая из глубины масс наиболее беспощадных и фанатичных. Прийти к власти (а он жаждал этой власти, и все последующее только подтверждает это) на иной базе Сталин бы не мог, не хватило бы ни эрудиции, ни авторитета. Они нужны были друг другу: он для их нравственного оправдания, они — для удержания его власти!

Забвение основополагающего принципа человечности «Не убий!» могло ли привести к иному результату? Религия была укором остаткам совести — она отражала природу человека без искажений; потому она и преследовалась с такой неукротимой яростью.

Революция была шагом назад в нравственном становлении человека. Нельзя сделать шаг, не имея опоры, а что бы там ни говорили, опора человека в традиции народа, в его культуре, а культуре, традициям народа досталось в первую очередь. Последующая гражданская война дала наглядный урок, подтвердивший тезис Достоевского, что на слезах не создать справедливого общества. И именно потому, что Достоевский ставил примат средств над целями, Луначарский, несмотря на то, что был на голову человечнее многих власть имущих, говорил о Достоевском в 1931 году, что он «мещанин», «конквистадор и садист», а вот Нечаев — образец для подражания.

Можно только предполагать, какие бури терзали в нем гуманистическое начало, но, будучи соучастником рождения сталинской власти, он не мог не искать оправданий, только молитва «Научи мя оправданиям твоим» была обращена не к извечному богу — общечеловеческим ценностям, а к преходящим, классовым, и они оправдывали и прощали, но не было глубины покаяния, поскольку и тут, в вопросе классовых интересов, что-то смещалось... Впрочем — это можно отнести в той или иной степени не только на его счет.

Мы все твердим, что цель не оправдывает средств, казалось бы, сказано об этом не раз и сказано убедительно; но всмотритесь как в практику государственного строительства, так и в жизнь каждого человека, много ли в этом от принципа?

Так вот, мне порой кажется, что самый полезный на Земле человек — тунеядец, если, конечно, он не ворует и не претендует на что-то более того, что дают ему добровольно. Жизнь как-то свела меня с такой личностью, более того — с философствующей личностью. Это было около двадцати лет тому назад в Красногорском районе Алтайского края. Поселок, где пришлось мне прожить и проработать месяц, был наполовину заселен тунеядцами. Председатель сельсовета поселил меня к «Грише-философу».

Меня поразила его йогическая отрешенность от самого насущного и углубленная созерцательность. Он обращал мое внимание на такие явления, мимо которых бы я пробежал рысью в суете повседневности. Слитность с природой, сведение к минимуму своих притязаний на вещный мир — все это так глубоко потрясло меня, что я был вынужден искать опору своей бурной рабочей деятельности в самом труде как преодолении самого себя, скажем, своей природной лености.

К чему я это все? А к тому—человек всегда ищет своим поступкам оправдание, некую внешнюю опору, и лучше, куда как спокойнее, если нравственную ответственность за твои дела взял кто-то. Бури матушку-землю, рви ее экскаваторами, заворачивай реки, шей-пори и пытай-допрашивай — не твое дело, сполняй! Нас не только что не приучили, нас кнутом и кровью отучали от личной ответственности, опутав по рукам и ногам инструкциями и указами. Люди с исполнительской психологией тоже база сталинизма, тоже подпитывающая ее собственной кровью субстанция.

Вы много внимания уделили роли личности в истории, вопрос не праздный! И трудно с вами не согласиться, но стоит, пожалуй, добавить, что при абсолютной власти роль личности, владеющей этой властью, абсолютна.

Для вас непонятна тяга разного калибра вождей к увековечению собственного имени? А что здесь-то непонятного? Все объясняется рабской психологией, раб и унизится, и — при случае — возвеличит себя! Раб жесток, нахален и труслив и всю жизнь примеряет костюм хозяина. Только рабы могли удержаться в центре власти, и повсеместно рабы пришли к власти, оттеснили людей совестливых, людей интеллигентных. Взяли горлом, фразой, наглостью, коварством — всем арсеналом развращенных рабством людей.

Отец у меня 1908 года рождения, жив и по сей день, и по сей день не приемлет Советской власти, упорно твердит, что она кончилась в 29 году. Он рассказывал, как в деревне к власти приходили самые что ни на есть отбросы общества: лодыри, пьяницы, горлопаны.

Вы кругами ходите вокруг вопроса: что за общество построено Сталиным? Я не думаю, чтобы вы не имели на этот счет ясного ответа, но дело в том, что ответ на этот вопрос болезнен, как ничто иное. Я вас понимаю — нельзя сказать вам — мне можно, все-таки рабочий, уровень политграмоты ничтожен, что с меня взять? Так вот, сколь ни ищу принципиальных различий между фашизмом и обществом, построенным Сталиным, я их не нахожу.

Во времена Пол Пота о Кампучии писали — геноцид, но поскольку фразеология там была социалистическая, а Пол Пот был прекрасным учеником Сталина, то я нигде не встречал упоминание о фашизме. С Пиночетом проще — раз вешает и расстреливает коммунистов, значит, фашист.

Примитивность такого подхода очевидна. Не мало ли этого для социализма — только обобществление средств производства? При государственном капитализме средства производства тоже не в частных руках.

С разгромом нэпа и социализм кончился: как это ни горько, не получилось у нас «строя цивилизованных кооператоров». Вы скажете — мои рассуждения не доказательны? Конечно, с точки зрения науки об обществе все мои рассуждения ниже критики, но я не думаю, что знания рождаются в результате логических рассуждений. Знания рождаются целиком, сразу во всей своей полноте и самодостаточности, а вот доказательства этих знаний, да! — тут без логики в ее первородном понимании не обойтись, а иначе как передашь знание другому?

Чувство — высшая форма субъективных знаний, поскольку оно определяет поведение человека в каждый конкретный отрезок времени — это, если хотите, подлинная натура человека — логос, компромисс между чувствами и внешним миром.

Самое трагичное в этом, что чувство в большей степени совокупный продукт масс, отсюда «...влиять на социальную психику — значит

влиять на исторические события». Что и делают пресса и весь аппарат пропаганды. И уже с трудом различаешь, где подлинный *я*, а где навязанный извне.

Помните события на острове Даманском? Меньше недели потребовалось средствам массовой пропаганды, чтобы разжечь ненависть к китайцам. Вот и говори после этого о личности, о независимости суждений... Не знаю, как это звучит по-латыни, но мы в большей своей части уже давно сменили определение «человек разумный» на «человек управляемый». Сталинизм и последующие годы только усилили эту «управляемость» в человеке. Прессинг спровоцированного общественного мнения, психическая аура общества, и пошло, поехало! Сегодня друг — завтра враг. Сегодня целовался с ним — завтра плюю ему в глаза.

Вот и я спрашиваю — был ли матерьял для сопротивления Сталину в массах? Если и был, то сошел на нет к средине тридцатых годов, да и как он мог быть, если средства информации были в сталинских руках, если мы до 86 года смотрели на мир одним глазом и слушали его — одним ухом? Интеллектуальные юноши типа А. Жигулина не могли реально ничего сделать.

В нынешнее время, еще в большей степени, чем раньше, справедливо: в чьих руках информация, в тех и власть. Это понимают многие. И ныне, когда лицо журнала, газеты все в большей и большей степени определяется личностью редактора, приверженцы авторитарной власти с яростью обрушились на нее на XIX партконференции. И знаменательно — критика шла со стороны партийных работников, то есть тех, кто держит, вернее, держал в своих руках 99 процентов прессы.

Не значит ли это, что перестройке хозяйственного механизма должна предшествовать коренная реорганизация в партии? Разве нынче уже не «верх позора и безобразия: партия у власти защищает „своих“ мерзавцев!!» (В. И. Ленин). Приходится отвечать на вопрос: «почему не вступаешь в партию?» — одним: не вижу у партийных отличительной добродетели, да и в себе этого не нахожу. Еще бы! Люди как следует не накормлены, не одеты, живут в лачугах, а партийных функционеров заботят оклады (см. их выступления на XIX партконференции).

Это великое счастье, что есть такие не похожие друг на друга журналы, как «Огонек» и «Наш современник», это отлично, что «Советская Россия» опубликовала письмо Н. Андреевой. И вот что я скажу: враг, открыто говорящий тебе в лицо, при всем прочем, заслуживает уважения. Дать возможность сказать каждому — вот единственное средство вернуться к собственному *я*, разрушить мощнейшее психологическое поле стадности.

В заключение: ваши рассуждения сами по себе ценны, зачем же заниматься игрой в дискуссию? У вас есть действительные оппоненты, так стоит ли вести «показательный бой»? Похоже, вы это сами замечаете.

С пожеланием самого доброго

Михаил Петрович АНОХИН,
рабочий Прокопьевского ДСК

* * *

Уважаемые Владимир Васильевич и Вадим Васильевич!

Со все возрастающим интересом и вниманием следил за вашим диалогом. Вместе с тем мне показалось, что вы уходите от ответа на один важный вопрос. И прежде чем говорить о литературе, отразившей трагические 20-е—40-е годы в истории нашей страны, нужно попытаться избавиться от синдрома «голого короля».

Отмечая, что, «придя к власти, Сталин лишь проявил и усилил некие черты и тенденции окружающей действительности, в них же найдя для своей власти опору», вы, по-моему, чрезмерное внимание уделяете разбору его личных качеств. Сталин — безусловно, сознательный уголовный преступник, и двух мнений тут быть не может. Но как удивительно точно он занял место, как будто специально для него приуготовленное Историей!

Совершенно справедливо останавливаясь на сомнениях В. И. Ленина, вы цитируете его «Письмо к съезду» от 25.12.22. Однако, Платон мне друг, но... Почему вы «забыли», что через несколько дней (04.01.23) Владимир Ильич уточняет, что именно представляется ему нетерпимым в должности генсека: «Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом (подчеркнуто мною.— *А. Ч.*), именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.» (т. 45, с. 346).

Если же учесть, что часть членов ЦК, во всяком случае — его старые члены, прекрасно знали, что и Владимир Ильич не всегда бывал терпимым, лояльным и вежливым, то отсутствие «внимательности к товарищам» и «капризность», конечно, никак не могли повлиять на результаты их выбора.

К сожалению, ни этот, ни предшествующий периоды истории у нас совершенно не освещены, поэтому я считаю, что необходимо издать Л. Троцкого («Моя жизнь», «Сталинская школа фальсификаций»), А. Авторханова («Технология власти», Мюнхен, 1959). Последняя книга — достаточно объективна, хотя вывод автора, что «именно Сталин создал „машину“, а потом машина создала Сталина», мне представляется неверным. В этом плане, по-моему, ближе к истине Троцкий: «Сталин достиг власти не в силу своих личных качеств, а при помощи безличной машины. Не он создал машину, а машина создала его».

В полном соответствии с изложенным я и ставлю основной вопрос: не «как мог Сталин прийти к власти», а была ли альтернатива «вождизму»?

Долгие годы подполья, «уроки московского восстания» и февральская революция сделали большевистскую партию боеспособной, а лозунги «мир народам», «земля крестьянам» обеспечили ей народную поддержку — Октябрьская революция победила.

Я, разумеется, не ставлю себе цели дать полное освещение политической обстановки того времени. Но на нескольких моментах считаю необходимым остановиться.

Февральская революция для большевиков оказалась в значительной степени неожиданной. Весть о победе восстания дошла до В. И. Ленина в Швейцарию в начале марта.

В Апрельских тезисах были намечены первые шаги будущего «государственного капитализма»: национализация банков, контроль над общественным производством и потреблением, национализация земли. Отсутствие четкой экономической программы, желание «железной метлой» загнать середняка в социализм привели к «военному коммунизму». Затем — продналог, нэп...

С. Коэн в своей книге «Бухарин» (Нью-Йорк, 1979) пишет, что «большевики захватили власть без продуманной (и тем более единодушной) программы того, что они считали своей существенной задачей и предпосылкой социализма — индустриализации и модернизации отсталой и крестьянской России... Большевики хотели преобразовать общество, „построить социализм“. Однако это были желания и надежды, а не реальные планы или экономическая программа».

Такое положение в основном объясняется эйфорическим ожиданием «мировой революции», следствием которой неминуемо должна была стать «товарищеская экономика».

Даже в вопросе о пролетарском государстве до февраля — марта 1917 года у большевиков единого мнения не было. Лишь в мае Н. К. Крупская передала Бухарину: «Владимир Ильич просил Вам передать, что в вопросе о государстве у него теперь нет разногласий с Вами». Окончательное решение этого вопроса нашло свое завершение позднее в работе «Государство и революция».

Жестокая борьба с 1918 года по 1921 год, которую возглавляли большевики, привела к милитаризации и бюрократизации советской политической жизни, а одержанная победа предопределила modus operandi на долгие годы.

Диктатура пролетариата естественно подразумевала диктатуру ее передового отряда — партии, диктатуру вождя. Об этом совершенно недвусмысленно говорил В. И. Ленин: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» (т. 41, с. 383). И чтобы поставить все точки над «i» Владимир Ильич поясняет: «Одна уже постановка вопроса: „⟨...⟩ диктатура (партии) вождей *или* диктатура (партия) масс?“ — свидетельствует о самой невероятной ⟨...⟩ путанице мысли ⟨...⟩ Договориться ⟨...⟩ до противоположения вообще диктатуры масс диктатуре вождей есть смехотворная нелепость и глупость» (там же, с. 24, 26).

Право на долгие годы было заменено «революционным законом». При этом можно было даже сослаться на К. Маркса, который в «Критике Готской программы» писал, что право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие; или на его высказывание о рабочем классе, задача которого не состоит в том, чтобы осуществлять какие-либо идеалы (Маркс, Энгельс. Соч., т. 17, с. 347).

Руководствуясь «революционным чутьем», пятаковская «тройка» расстреляла сдавшихся в Крыму офицеров. Походя были расстреляны Н. Гумилев, Б. М. Думенко...

В 1922 году произошло еще более тяжелое по своим последствиям преступление — насильственно пресекли русскую философскую мысль: выслали за границу С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и многих других. Оставшимся (П. А. Флоренскому, А. Ф. Лосеву...) заниматься философией запретили. Плюс к этому — Россия почти лишилась своей интеллигенции.

Все это произошло еще до того, как Сталин сосредоточил в своих руках власть, во механизм создания «культа личности», «волюнтаризма», «застоя» был заложен.

В заключение темы, которой я посвятил эту часть письма, хочу процитировать Ю. Полякова (ЛГ № 43 от 26.10.88): «Конечно, проще и легче списать все наши послереволюционные неприятности на ужасный характер генералиссимуса, но, поверьте, „задумчивые внуки“, восстанавливая старательно порванную нами связь времен, однажды полюбопытствуют: а нет ли какой-нибудь связи между героическим матросом, заботящимся об уставшем карауле, и генсеком, прицеливающимся в делегатов XVII партсъезда из подаренной винтовочки?».

Я хочу быть правильно понятым — ни в коей мере не умаляю зловещую роль Сталина в нашей истории, но считаю, что *он должен* занять в ней лишь «достойное» место. Кроме того, не следует забывать, что изучение прошлого (в том числе и отображение его в литературе) — не самоцель. Поэтому не следует ждать, пока опочиет нынешнее руководство, чтобы затем, «не взирая на лица», ополчиться на допущенные им ошибки.

К сожалению (и *это* упрек Вам, Вадим Васильевич), мы совершенно не знаем своей истории. Ряд публицистов (конечно, из самых лучших побуждений) пытается разделить ее на историю «до 1924 г.» и «после». Даже если при этом приходится поступаться истиной. Так, Л. Почивалову («Литературная газета», № 52, 28.12.88) «кажется», что депортация «неугодных» за границу «началась с ненавистного Сталину Троцкого», т. е. в 1929 году, а не в 1921—1922 годы, как это было в действительности. Есть и другие примеры «вольного» обращения с датами и событиями. А много ли мы знаем о мятеже левых эсеров в 1918 году? О кронштадтском мятеже? О событиях последних десятилетий и даже лет (если не месяцев)?

И вот на фоне нашей полной исторической беспомощности появляются художественные произведения, авторы которых пытаются нам объяснить, «как и почему вызрело в нашем обществе то, что весьма неточно именуется „культом личности И. В. Сталина“». Да полноте, художественные ли это произведения? Может ли жить искусство публицистическими категориями? Достаточно ли полнокровны герои М. Шатрова, А. Рыбакова, В. Дудинцева, чтобы пережить свою актуальность? Не уверен. А можно ли говорить об историчности этих произведений или их героев (даже с учетом права автора на домысел)? Киров в изображении А. Рыбакова совершенно не соответствует реальному Кирову — вернейшему апологету «вождя всех народов», разгромившему ленинградскую оппозицию...

Я вообще считаю действия (вернее, *бездействие*) Рыкова, Бухарина, Зиновьева, Каменева, Кирова... каким-то преступным «заговором равнодушных». И как тут не вспомнить эпиграф к известному роману Б. Ясенского:

«Не бойся врагов — в худшем случае они могут только убить.

Не бойся друзей — в худшем случае они могут только предать.

Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство.

(Р. Эберхард. «Царь Питекантроп Последний»)».

А если произведение искусства антиисторично, то оно непременно будет и антихудожественным. Яркий пример тому (уже из нашего прошлого) — кинофильм Эйзенштейна «Александр Невский». Не помогли ни переработка сценария талантливым кинорежиссером в соответствии с критикой его академиком М. Н. Тихомировым, ни участие в фильме талантливых актеров...

С «Белыми одеждами» В. Дудинцева мне вообще ничего не понятно. Почему эта неважная повесть названа романом? Рассматриваемые вами, Владимир Васильевич и Вадим Васильевич, произведения М. Шатрова и А. Рыбакова, несомненно, тоньше. Литературнее, что ли. Но, замахнувшись на решение глобальных проблем, с задачей они, по-моему, не справились. Причины явления («сталинизма», пользуясь привычной терминологией) не исследованы и не вскрыты. Совершенно не ощущается преемственность с русскими писателями от Радищева и до Достоевского, которые ненавидели царский режим, но предсказывали трагедию, море крови в черный год взрыва (Лермонтов). И М. Волошин в 1920 году писал:

Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек.
. . . .
В этом ветре гнет веков свинцовых:
Русь Малют, Иванов, Годуновых,
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса,
Чертогона, вихря, свистопляса:
Быль царей и явь большевиков.

(«Северо-восток»)

В этом же году В. Короленко предостерегал с болью, что насильственное навязывание народу новых форм бытия поставит Россию «у порога таких бедствий, перед которыми померкнет все то, что мы испытываем теперь». В этом же, 1920, Е. Замятин пишет свой провидческий роман «Мы».

Лучшие умы России криком кричали: «Будьте тысячу раз осторожны!». Но «Мы» не вняли. Мы пели «осанну» бесам и в кошмарном единодушии вопили: «Распни его!!». Это был путь на Голгофу. И в основании ее лежал год 1918, а вершиной, лобным местом был 1937-й.

Ни Михаил Шатров, ни Анатолий Рыбаков не ответили на вопрос, почему мы должны были пройти этот скорбный и постыдный путь и как нам жить дальше.

Уже чем-то обыденным веет от когда-то горького утверждения, что «у нас нет критики». И я позволю себе закончить словами Вадима Кожинова («Литературная газета», № 1, 04.01.89), с которыми я совершенно согласен: «...Критика сейчас во многом превратилась в идеологическую или даже политическую публицистику (это относится и к ряду моих собственных статей). ...Нам сейчас абсолютно необходима критика... собственно художественная (а также философская, историософская, этическая)».

С уважением

А. М. ЧЕХЕТ

ЕСЛИ НЕ СТРЕМИТЬСЯ К ОДНОЗНАЧНОСТИ...

Прежде всего должен сказать, что счастлив был получать подобные письма! Ибо именно читательское желание поспорить, обсудить с писателем самые важные, самые сложные, мучительные вопросы представляется мне единственно желанной наградой для литератора.

А потому, от души поблагодарив и авторов публикуемых выше писем, и всех тех, кому мы с Вадимом Васильевичем Чубинским ответили лично, спешу перейти к главному — к спору.

Хотя... Странный, согласитесь, характер приобретают подчас наши споры! Вот литературный критик В. Кожинов считает, что «сейчас абсолютно необходима критика... собственно художественная», но сам, тем не менее, пишет в основном «политическую публицистику». И читатель А. М. Чехет, упрекая критиков «Невы», что они, мол, занялись не своим делом, полностью солидаризируется с мнением В. Кожинова и тоже... пишет политическую публицистику! (Надеюсь, что вторую часть своего письма, содержащую вполне голословные упреки нескольким популярным ныне произведениям, он по разряду «собственно художественной критики» все же не числит?) Так не лучше ли все подобные разногласия попросту опустить, смиренно признав, что побудительная причина, заставляющая нас действовать, всегда «старше» тех, которые заставляют лишь попрекать друг друга и декларировать нечто возвышенное? А действовать, размышлять, писать заставляет всех нас общая потребность разобраться в собственном прошлом, в причинах и истоках кровавой трагедии сталинщины.

Но и ограничив таким образом область спора, мы к сути его должны еще пробиться через некий, я бы сказал, шум спора. Ну, например: никак не могу взять в толк, почему А. М. Чехет в поучение нам цитирует литгазетовскую статью Ю. Полякова? Статья хороша, но ведь по сути в ней сказано то же самое, что полугодом ранее сказано было в «Неве» и что сам Чехет

цитирует чуть выше, во втором абзаце своего письма...

Так в чем же, по-моему, подлинная суть спора? «Как я понимаю, уважаемые товарищи,— пишет М. П. Анохин,— вы считаете исходным пунктом становления сталинизма приблизительно 23 год? А мне кажется, все началось раньше, если не с „Бесов", то с эсеровского мятежа и с ответа на „белый" террор „красным" террором...». О том же по сути говорит и А. М. Чехет, утверждая, что «механизм создания „культа личности", „волюнтаризма", „застоя" был заложен» «еще до того, как Сталин сосредоточил в своих руках власть».

Вопрос — из числа коренных, важнейших, и я не считаю себя вправе уйти от ответа. Вот только не могу обещать ответ однозначный. И не потому, что, как думает М. П. Анохин, опасаюсь произнести нечто сакральное, нет! Родная наша русская жажда во всем непременно дойти до самых последних вопросов и дать на них самые последние, простые и однозначные ответы — жажда эта, конечно, прекрасна, но иногда, по-моему, и опасна, ибо способна не только вести к истине, но и проводить мимо! Ведь истина-то далеко не всегда так проста и однозначна, как нам хотелось бы, а даты, с которой «все началось», по-моему, просто не существует.

Если говорить об идейных и социально-психологических корнях сталинизма, то надо признать, что уходят они в историю российского освободительного движения достаточно глубоко. Не только «красный террор», но и «Бесы» (т. е. нечаевщина) здесь не исток, а лишь одна из вех длительного пути. Исток видится мне в утопических, казарменно-уравнительных представлениях об идеальном обществе будущего, о равном дележе благ как о высшей справедливости и о порядке как о подчиненности всех некой единой воле. Представления эти утопичны прежде всего потому, что не отвечают природе человека, навязываются ей; и всякая попытка их воплощения (даже сугубо теоретическая) тут же рождает идею насилия, идею принуждения человека, подгонки его под заранее приготовленное для него счастье.

Но существуя всегда как одна из тенденций освободительного движения, эти казарменно-уравнительные представления о будущем никогда не были его ведущей тенденцией, никогда не определяли его лица. Гражданская война (а еще раньше — война империалистическая) безмерно усилили, однако, именно эту тенденцию, взрыхлив для нее обширную и обильно плодоносящую почву.

Почему именно эту? Да потому, что если казарменный идеал рождает для своего воплощения идею насилия, то обстановка войны и разрухи идею эту, так сказать, раскрепощает, снимает с нравственных тормозов и предохранителей. «Разумеется,— писал А. М. Горький еще 26 (13) марта 1918 года,— убить проще, чем убедить, и это простое средство, как видно, очень понятно людям, воспитанным убийствами и грабежами». И еще раньше: «Народ изболел, исстрадал, измучен неописуемо, полон чувства мести, злобы, ненависти, и эти чувства все растут, соответственно силе своей организуя волю народа.

Считают ли себя г.г. народные комиссары призванными выражать разрушительные стремления этой больной воли? Или они считают себя в состоянии оздоровить и организовать эту волю? Достаточно ли сильны и свободны они для выполнения второй, настоятельно необходимой работы?» («Новая жизнь», 19 января ⟨1 февраля⟩ 1918 г.).

Мы, увы, очень хорошо знаем, что для решения этой второй задачи нравственной свободы и силы хватало большевикам далеко не всегда. Вольно или невольно, но частенько многие из них становились не только выразителями, но и детонаторами того, что Горький именовал «больной волей». Примеры приведены А. М. Чехетом, повторяться и множить их ни к чему. Всего опаснее, по-моему, что это и самих носителей власти вело к глубокой нравственной деградации, о сути которой прекрасно, по-моему, сказано в письме М. П. Анохина.

Однако же усиление той или иной тенденции вовсе не означает еще ее победы. Наоборот: оно часто порождает и усиление тенденции противоположной... Нэп был поворотом не только к здоровой экономике и сытости, он был, по сути, отказом и от насильственного «переделывания человека», поворотом от диктатуры к демократии.

Таким образом, 1923 год «исходным пунктом становления сталинизма», конечно же, не является. Впрочем, ни я, ни В. В. Чубинский и не утверждали ничего подобного — М. П. Анохин тут нас несколько упрощенно понял. Речь шла о том, что в 1923 году Сталин сумел подчинить себе партаппарат. Но история движется сложными, противоречивыми путями, и подчинение партаппарата Сталину тогда еще не означало победы сталинизма в партии и тем более — в обществе! Наоборот, как раз в это время казарменные тенденции и идеалы в общественном сознании стремительно отступают, теряют одну позицию за другой!.. И совсем не случайно Сталину приходится долго маневрировать и мимикрировать, прикрываясь бухаринскими идеями.

К исходу двадцатых годов сталинизм побеждает в партийной верхушке, но опять-таки — еще не в партийной массе! Поворот в реальной политике, разгром крестьянства как общественной и экономической силы удаются Сталину не потому, что его идеи получают поддержку партийной массы (ускоренную коллективизацию он начинает фактически вопреки решению съезда!), но потому, что диктатура пролетариата, благодаря бюрократизации госаппарата, окончательно вырождается к этому времени в диктатуру вождей.

А. М Чехет считает, правда, что диктатура класса и диктатура вождей есть совершенно одно и то же. Приведя соответствующую ленинскую цитату, он, в полном соответствии с духом недавних времен, считает свой тезис доказанным. Я уверен, однако, что никакое преклонение перед основателем партии и государства не должно и не может заслонить от нас той очевидной, доказанной всем последующим ходом событий истины, что диктатура вождей на деле привела их к измене рабочему классу, к предательству его интересов! Насильственная коллективизация и ликвидация нэпа не только никоим образом не выражали интересы рабочих, но и прямо им противоречили.

Победу сталинизма в партийной массе можно отнести, вероятно, лишь к 1937 году. И для этой победы Сталину пришлось (путем многократных чисток, массовой вербовки новых членов и все нарастающих «волн» репрессий) фактически полностью уничтожить ленинскую партию, создав на ее развалинах свою, сталинскую партию послушных и безжалостных «рычагов»... Это, кстати, очень убедительно показано в книге А. Авторханова «Технология власти», издание которой в нашей стране я также считаю делом весьма полезным.

Так вот. Перебирая в памяти все эти даты, повороты и перевороты, я, признаться, никак не могу отыскать ту единую точку, тот сакральный рубеж, с которого «все началось». Более того: я уверен, что такого рубежа не было, что в каждый из этих моментов история сохраняла возможность разных путей, различных иных поворотов, что выбор ее диктовался бесчисленными (в том числе и случайными) обстоятельствами. Вера же в то, что «механизм создания „культа личности", „волюнтаризма", „застоя" был заложен» раз и навсегда когда-то давно, еще «до того, как Сталин сосредоточил в своих руках власть»,— есть, по-моему, именно вера, которая с подлинным историческим знанием имеет мало общего, но для нас весьма соблазнительна хотя бы тем, что по сути освобождает от всякой ответственности за свое прошлое едва ли не всех ныне живущих. Мы допустили длительный рецидив «тихого сталинизма»? Мы терпели мерзости «застоя»? Да что ж мы могли поделать, коль скоро «механизм» всего этого был заложен задолго до нашего появленья на свет?! Как утешительно, а?..

Но история, я убежден, никакой не механизм, а драма; загнать живую жизнь в рамки «механизма» никакой системою власти еще, слава Богу, не удавалось. Да и отдельного человека оказалось гораздо легче стереть в лагерную пыль, чем действительно превратить в послушный винтик!

Ответственность за прошлое — штука тяжелая и неприятная, но ни самому от нее освобождаться, ни освобождать кого бы то ни было у меня нет ни малейшего желания. Ибо она, эта ответственность, и составляет, по-моему, основу человеческой нравственности.

Однозначный ответ невозможен, по-моему, и на другой капитальный вопрос: какое же общество у нас получилось?. И тут я не могу не оспорить некоторые утверждения М. П. Анохина, письмо которого в целом произвело на меня большое впечатление как исповедь цельного, самостоятельно думающего человека. Однако же и его подводит порой общая наша тяга к конечным и однозначным выводам. Он пишет: «сколь ни ищу принципиальных различий между фашизмом и обществом, построенным Сталиным, я их не нахожу». Нет, это, дорогой Михаил Петрович, все-таки заблуждение!

Мы долго, в упор, что называется, не желали тут замечать черты сходства, подобия, рожденные тем, что политические системы, прокламирующие противоположные социальные цели, практиковали — увы! — сходные методы их достижения: тотальное давление на личность и массовое насилие. Реальный же облик той или иной системы определяют не столько цели, сколько средства, методы, выбираемые для их достижения. Это так! И теперь мы это сходство наконец-то увидели, признали. Замечательно! Но значит ли это, что мы должны закрыть глаза на все громаднейшие различия?

Ну вот, например: существовала ли у нас как фактор массового сознания идея покорения, порабощения иных народов? Или, скажем, идея построения собственной счастливой жизни за счет этого порабощения? Или... Впрочем, этот список можно продолжать сколь угодно, и я уверен, что в конечном счете окажется он не менее весом и значителен, чем перечень сходств. Хотя, повторяю, и сходство видеть нам совершенно необходимо! Необходимо, чтоб никогда более не позабыть: гуманное и демократическое общество может быть построено только средствами гуманными и демократическими.

И это — главное из того, что нам ни в коем случае не следует забывать!

В. КАВТОРИН

ИЗУЧАТЬ И ВЫЯСНЯТЬ

Полностью присоединяясь к добрым словам В. В. Кавторина о письмах, которыми нас почтили читатели «диалогов», и соглашаясь со многими их соображениями, сразу же перейду ради экономии времени и места к вопросам спорным.

Обсуждение проблем нашей недавней истории становится все более глубоким и основательным — это бесспорно. Период, когда публицисты (а таковыми на время стали и историки, и философы, и экономисты, и критики) главным образом поражали себя и читателей все новыми и новыми ошеломляющими фактами, кажется, заканчивается. Хотя нам всем долго еще предстоит открывать или вырывать из забвения многие исторические факты, но уже определилось всеобщее стремление добиться адекватного понимания их, понимания причин и следствий, нахождения истоков пережитого народом.

Усиление аналитического начала в исторических публикациях — дело хорошее, попросту необходимое. Но внимательный взгляд открывает и ставшие типичными для части публикаций дурные тенденции.

Об одной из них — небрежном обращении с фактическим материалом, обилии ошибок и неточностей — я уже писал на страницах «Невы». Каждый день продолжает приносить кричащие образчики такой небрежности. Ну зачем, в самом деле, нужно Ф. Бурлацкому при воспоминании о печально знаменитой книге Л. Фейхтвангера «Москва 1937» путать Пятакова с Бухариным («Новый мир», 1988, № 10, с. 155), а Д. Волкогонову — превращать журналиста времен Великой французской революции Э. Лустало в... газету и заодно приписывать его призыв «Поднимемся!» Марксу («Октябрь», 1988, № 12, с. 56)?! Побойтесь бога, братья-ученые! И вспомните мудрые слова: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?».

Письма, на которые мы отвечаем, дают основание и повод поговорить по крайней мере еще о двух четко обозначившихся в публицистике пороках. Пороки эти, правда, очень стары и привычны для нас. Первый из них — размашистость в выводах, не подкрепленных убедительными доказательствами. Второй, тесно связанный с первым,— неумение подходить к оценке прошлого конкретно-исторически. К сожалению, и наши читатели-оппоненты, честно ищущие, как и мы, истины и выявления причин постигшей страну беды, не избежали общей болезни.

А. М. Чехет бросает В. В. Кавторину упрек в том, что тот «забыл» содержание претензий Ленина к Сталину, и резюмирует: «Если... учесть, что часть членов ЦК, во всяком случае — его старые члены, прекрасно знали, что и Владимир Ильич не всегда бывал терпимым, лояльным и вежливым, то отсутствие „внимательности к товарищам“ и „капризность“, конечно, никак не могли повлиять на результаты их выбора». Позволю себе вернуть читателю упрек в «забывчивости». Ведь Ленин прямо пишет, что свойственная Сталину грубость вполне терпима в общении между членами партии, но становится нетерпимой в должности генсека. В должности генсека — в этом суть дела! Нетрудно догадаться, почему. Потому что генсек распоряжается кадрами, смещает, перемещает, назначает, и здесь его грубость, нелояльность, нетерпимость, капризность могут сыграть самую отрицательную роль (что и случилось). Ну, а Ленин? Простое чувство справедливости должно заставить нас признать, что хотя он бывал порой крайне резок, до грубости резок в полемике (допуская, впрочем, ответную резкость и по отношению к себе), то как руководитель государства, как признанный лидер партии проявлял, напротив, высшую степень терпимости и лояльности, дружно работая рука об руку с теми, с кем только что яростно спорил. Разве это не так?

А вот еще пример из рассуждений А. М. Чехета — трактовка приводимой им цитаты из «Детской болезни „левизны“ в коммунизме» касательно «противоположения... диктатуры масс диктатуре вождей». А. М. Чехет видит в этом «недвусмысленное» подтверждение своего замечания, что диктатура пролетариата подразумевает «диктатуру вождя». Не следовало бы так произвольно истолковывать слова Ленина. Ведь у него речь идет совсем о другом. Он урезонивал некоторых увлекавшихся безудержными нападками на «вождей» зарубежных коммунистов, напоминая им, что борьба классов в политической жизни проявляется через борьбу партий, а партии управляются «более или менее устойчивыми группами... лиц, называемых вождями». Слово «вожди» в те времена было абсолютно точным синонимом употребляемого ныне слова «руководители». Оно не имело того специфического оттенка, который приобрело позднее, после появления «вождя народов». А уж на единоличную «диктатуру вождя» в этих ленинских рассуждениях нет и намека.

Не буду касаться других приводимых А. М. Чехетом цитат, хотя по поводу них тоже можно было бы кое-что сказать...

Я бесконечно далек от намерения уличать нашего уважаемого оппонента в сознательной фальсификации ленинских высказываний. Дело в другом. Десятилетиями из нас воспитывали цитатчиков.

Привыкнув доказывать свои мысли цитатами, мы удивительным образом сочетали почтение к ним с весьма вольным обращением. Если в цитате обнаруживалось сходство с защищаемым утверждениями, то не считалось зазорным вырывать ее из контекста, абстрагироваться от конкретной обстановки и повода, вызвавших ее появление на свет, и даже урезывать ее — все равно, в начале, в конце или в середине. С течением времени все это стало проделываться непроизвольно, по привычке.

Во избежание недоразумений: «мы» — это все мы, историки, философы и пр. Кто без греха? Таковых не знаю. Вся наша официальная наука держалась на этом.

Привычка — вторая натура. И в нашей сегодняшней научной публицистике можно найти немало примеров застарелой скверной привычки. Но ведь когда-то надо от нее избавляться. Понятно, что А. М. Чехету очень хочется доказать правильность той мысли, которую он положил в основу своего письма. Но позволительно ли делать это старыми методами? Ведь и сам он против вольного обращения с историей.

Мысль же его (ее разделяет в общем и М. П. Анохин) сводится к тому, что наш «путь на Голгофу» начался в 1918 году, 1937-й же стал его «вершиной, лобным местом». Вот тут-то мне и хотелось бы напомнить о конкретно-историческом подходе.

Сразу оговорюсь: я нисколько не отрицаю, что сталинщина имела глубокие и разветвленные корни — и в нашей истории, и в экономике, и в социальных отношениях, и в психологии — индивидуальной и социальной, и в укладе жизни, и в особенностях развития партии, и в том характере, который принял ход революционного процесса в стране. Об этом уже писали и пишут многие авторы, писали и мы с В. В. Кавториным. Споры, как правило, начинаются не с констатации этого, а с вопроса — была ли альтернатива сталинизму и была ли неизбежной его победа. Но, прослеживая корни, надо проявлять определенную научную осмотрительность.

А. М. Чехет и М. П. Анохин говорят: все началось с красного террора, сталинский террор — лишь его продолжение. Читая подобные вещи, я не могу не испытывать удивления. Как можно игнорировать тот непреложный факт, что красный террор — один из элементов гражданской войны, охватившей всю страну? Что в этой войне действительно шла борьба не на жизнь, а на смерть. Что красный террор был средством самозащиты, ответом на террор белый, и оба они противостояли друг другу до конца. Что речь шла о самом существовании Советской республики и что порой, наконец, вопрос стоял до предела элементарно: либо мы их, либо они нас. Такова ведь историческая правда.

Слов нет, в красном терроре, как и в любом терроре вообще, привлекательного мало. Массовые аресты по «классовому признаку», расстрелы заложников, широкое применение смертной казни и наделение внесудебных органов правом осуждать на смерть — что во всем этом хорошего? А если вспомнить о низком культурном и тем более правовом уровне многих из тех, кто решал судьбы людей, если вспомнить о доктринерском фанатизме и об ожесточении, подчинившем себе человеческие души... Гражданские войны всегда были самыми жестокими. А террор, как это показала еще Великая французская революция, вообще имеет тенденцию выходить за пределы рационального и создавать особый психологический настрой. Как мера вынужденная, чрезвычайная и крайняя, он должен быть своевременно и решительно остановлен и пресечен. Недаром Ленин после окончания гражданской войны так заботился о повсеместном утверждении законности.

Конечно же, в эпоху красного террора совершалась масса ошибок, подчас, если хотите, ошибок преступных и даже прямых преступлений. Конечно же, умонастроение этой эпохи давало рецидивы и позднее. Гибель Н. Гумилева — тому наглядный пример и, вероятно, не единственный. Это не надо скрывать, об этом надо говорить честно, открыто, с сожалением и горечью, а может быть, и с негодованием. Но ни на минуту не упускать из внимания, что медаль имеет оборотную сторону.

Среди забытых писателей, о которых начали вспоминать, был и Б. Савинков, известный эсер-террорист, непримиримый враг Советской власти. В повести «Конь вороной» он живописует трагедию белогвардейского офицера, волею судьбы фактически превращающегося из идейного борца против большевиков в карателя-бандита. Савинков отнюдь не щадит ЧК и методы ее работы. Но он столь же беспощаден и в изображении белого терроризма, становящегося все более свирепым по мере осознания им своей обреченности. Савинков знал и не скрывал реальное положение вещей. А вот некоторые современные авторы напрочь о нем забыли и словно ослепли на один глаз. Искусственно отсекая красный террор от породившей его обстановки, отказываясь от исторического объяснения его причин и сути, они очень легко и очень легкомысленно отождествляют его с действительно преступным, бессмысленным в своей безбрежной жестокости и лживости, невиданным по размаху и ничем не оправдываемым (если только не считать оправданием патологическое стремление Сталина ут-

вердить и закрепить свою личную диктатуру) сталинским террором, который превратил произвол и беззаконие в норму жизни советских людей в мирное (!) время на протяжении десятков лет.

Как хотите, но с такой логикой согласиться невозможно.

Кстати, логика эта совсем не нова и не оригинальна. Здесь наши авторы идут по чужим следам. В какой все-таки нелепой ситуации мы находимся! Открываем для себя произведения, прочитанные во всем мире много лет назад, да еще иногда и спорим, стоит ли их открывать, не лучше ли по-прежнему пребывать в блаженном неведении. Приходим в ажиотаж из-за многочисленных повторных изобретений велосипеда в популярной публицистике! Лихо презентуем в качестве своих открытий Америки идеи, давным-давно изложенные и обоснованные в солидных трудах целого сонма зарубежных исследователей.

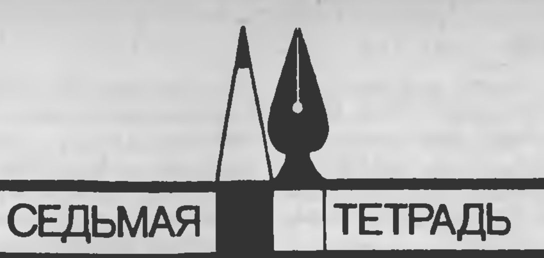
Виноваты тут, конечно, не мы. Виновата многолетняя изоляция от мировой общественной мысли. Только покончив с изоляцией, можно выйти на мировой уровень знания. Выход на этот уровень сделал бы нас, между прочим, гораздо более взыскательными и критичными по отношению к некоторым вновь изобретаемым ныне велосипедам, чьи первообразы были непригодными изначально.

Два возражения М. П. Анохиву.

Фашизм — не кличка, не ярлык, не ругательство, а вполне определенное общественное явление и, соответственно, научное понятие. Его роднят со сталинизмом тоталитарно-репрессивные методы управления. Социально-экономическая же основа у них различна. Их можно сравнивать, но нельзя отождествлять.

Объясняя послереволюционное преследование религии, наш читатель, на мой взгляд, отрывается от грешной земли. «Ярость» объяснялась вовсе не абстрактными причинами, которые он называет, а тем, что религия и в особенности церковь воспринимались поднявшимися на революцию массами как неотъемлемая часть и опора ненавистного старого режима. Так бывало во многих революциях, не только в нашей. Не буду вдаваться в рассуждения, в какой мере такое отношение было правильным или неправильным. Свобода совести — дело великое, она должна быть не формальной, а подлинной. Прямолинейное богоборчество со всеми сопутствующими ему эксцессами вроде разрушения церквей — нелепо, вредно, антигуманно и враждебно культуре. Сейчас это понятно. Но к оценке прошлого, повторяю, надо подходить конкретно-исторически. Как сказал один умный человек: «Не выдумывать, а изучать и выяснять».

В. ЧУБИНСКИЙ



Э. С. ОРЛОВСКИЙ, К. В. ЯНКОВ

РЫБИНСК — ЩЕРБАКОВ — АНДРОПОВ — РЫБИНСК...

Из истории переименований

Где, когда, кем и, главное, зачем в нашей стране производились переименования? И что переименовывали?

Города и улицы с площадями — это само собой. Но еще — железнодорожные станции и поселки, острова и моря, реки и горные вершины, административные единицы и целые республики. Пожалуй, только горные системы не переименовывали. По крайней мере, авторам такие случаи неизвестны.

Переименования как акт государственной или местной власти нужно отличать от стихийной смены названий. Если, к примеру, какой-нибудь Чистый ручей местные жители с ухудшением экологической обстановки станут называть Грязным — это и будет стихийная смена. Такие случаи бывают и с «номенклатурными» объектами, а иногда дело кончается тем, что стихийно возникшее (или стихийно восстановленное) название узаконивается: так, «остров Трудящихся» и «парк Челюскинцев» ленинградцы попрежнему именуют «Каменным островом», «Удельнинским парком», и ныне принято решение о восстановлении первого из них.

В 1918—1923 годах нередко использовались названия «Санкт-Петербург», «Петербург» (вместо «Петроград»), так обозначено место издания на многих вышедших в то время книгах. После переименования Петрограда в Ленинград стали нередко говорить и даже писать «Ленинградская сторона», «Ленинградская набережная» (вместо «Петроградская», а до 1914 года «Петербургская»), но эти названия не привились. А вот Красное Село сохранилось, несмотря на официальное его переименование в 20-е годы в город Красный (официального акта о восстановлении названия Красное Село, повидимому, не было).

Причина этих метаморфоз ясна: еще во времена Екатерины II прозвучала мысль о том, чтобы, переименовав, вычеркнуть из народной памяти неприятные для престола события; так река Яик превратилась в Урал и Яицкий городок в Уральск. Память о Пугачеве, впрочем, устранить все равно не удалось, зато остался в отечественной истории единственный пример переименования судоходной реки. В 1917 году была предпринята попытка восстановить отмененные Екатериной II названия, но прежние так и не привились.

Особо нужно отметить переименования на присоединенных к России землях с целью устранения иноязычных топонимов; этот мотив не угаснет до XX века: при Екатерине Гезлев стал Евпаторией, Ак-Мечеть — Симферополем, в 1804 году Гянджа — Елизаветполем (ныне Кировабад), в 1840 году Кумайри — Александрополем (ныне Ленинакан).

В честь самой Екатерины получил названия ряд новых городов. Взаимная неприязнь императрицы и ее сына отразилась на одном из них — Екатеринославе: по воцарении Павла I город стал называться Новороссийском; вскоре после его убийства Новороссийск снова стал Екатеринославом (ныне это Днепропетровск). Вообще же в первой половине наступившего XIX века переименования городов были редки. Даже именами царствующих особ называли, как правило, города новые, а мысль «перекрещивать» города в честь или в память других людей в то время еще не возникала.

До половины прошлого века принято было военачальникам жаловать титулы в честь покоренных ими областей. Так Потемкин стал князем Таврическим, а Суворов — графом Рымникским и князем Италийским. В 1853 году впервые произошло обратное: город Ак-Мечеть, вскоре после того как им овладело предводительствуемое генералом В. А. Перовским войско, стал Перовском (ныне Кзыл-Орда). Случай этот уникален. Новый Маргелан (теперешняя Фергана) тоже был, правда, переименован в Скобелев, но лишь двадцать восемь лет спустя после смерти генерала М. Д. Скобелева.

Во второй половине XIX века стала зарождаться традиция увековечивать в топонимах замечательных людей России. Этим занимались и городские думы. При-

ходилось, правда, следить, остается ли в фаворе тот, чье имя увековечено. Имя С. Ю. Витте, например, присвоенное в 1899 году Дворянской улице, продержалось на карте Одессы ровно десять лет, после чего эта улица получила имя Петра Великого.

Страсть переделывать неславянские названия на русский лад пережила два небольших подъема. В царствование Александра III, в 1893 году, прошлись по немецким названиям в Прибалтике: Динамюнде переименовали в Усть-Двинск (ныне Даугавгрива), Динабург — в Двинск (ныне Даугавпилс), Дерпт — в Юрьев (ныне Тарту). Цели ликвидировать все немецкие названия при этом не было; многие (Феллин, Везенберг, Гольдинген и другие) дожили до 1917—1918 годов, когда были, вместе с недолговечными русскоязычными, заменены национальными (соответственно — Вильянди, Раквере и Кулдига). В 1910-е годы станция Межвиды в Латвии стала называться Кульнево, а название Кара-Су в Азербайджане просто перевели на русский язык: получился Черноводск...

Посмотрим теперь, какие названия считали необходимым устранить в послереволюционные годы. Прежде всего, конечно, напоминавшие о свергнутой монархии. Еще в апреле 1917 года новопостроенный порт Романов-на-Мурмане стал просто Мурманском. В 1918 году Царское Село стало Детским Селом (ныне Пушкин), в 1919-м Царевококшайск превратился в Краснококшайск (с 1927 года — Йошкар-Ола). Царицын сделался Сталинградом в 1925-м. Аж до 1974 года сохраняла свое название станция Цареконстантиновка (ныне Камыш-Заря), а станция Царицыно в Москве существует до сих пор. Можно вспомнить город с совсем уж «нехорошим» названием — Белоцарск, но он был переименован в Хем-Белдыр в независимой тогда Туве (ныне это — столица Тувинской АССР Кызыл). Заметим, что некоторые из них этимологически имели к слову «царь» весьма косвенное отношение (например, Царицын назван по реке Царице) или вовсе не имели никакого отношения (Царское Село происходит от финского слова «саари», что значит «возвышенность»).

Названия, образованные от личных имен царей и прочих членов династии, устраняли менее ретиво. До наших дней уцелели Петрозаводск и Петровск (Саратовская область), Петровская набережная в Ленинграде и уже упоминавшаяся нами улица Петра Великого в Одессе (в Ленинграде, кроме сохранившейся доныне Петровской набережной, были проспект Петра Великого и мост Петра Великого. Мост этот ныне Большеохтинский, а проспект стал сперва проспектом Ленина, а с 1944 года — Пискаревским). Остались Павловск (в 1918—1944 годах — Слуцк), Павлоград и Павлодар, Николаев и Николаевск-на-Амуре, Александровск-Сахалинский и Мариинск. «Борьба имен» Павла I и Екатерины II на карте России, начавшаяся переименованием Екатеринослава в Новороссийск, разрешилась не в пользу матери: ни один город, названный ее именем, свое название не сохранил. Екатеринослав ныне Днепропетровск, Екатериненштадт — Маркс, Екатеринофельд — Болниси. Не повезло и другим императрицам, Екатерине I и Елизавете: Екатеринбург стал Свердловском, Елизаветград — Зиновьевском (ныне Кировоград), Елизаветполю древнее название Гянджа возвратили еще мусаватисты в 1918-м.

Вот еще несколько «царских» городов, чьи старые названия мало кто помнит: Николаевск (с 1918-го — Пугачев), Александрополь (с 1924-го — Ленинакан), Александровск (с 1921-го — Запорожье), Александровск-Грушевский (с 1920-го — Шахты).

К курьезам можно отнести переименование Керенска в Вадинск. Этот уездный городок в Пензенской губернии, возникший у слияния рек Керенки и Вада, носил свое имя с 1658 года, но был «наказан» за сходство с фамилией последнего доктябрьского премьера (возможно, неслучайное: фамилия А. Ф. Керенского может происходить от названия города) и, к тому же, в 20-е годы из города «разжалован» в село.

Названия религиозного происхождения устранялись достаточно вяло: Иваново-Вознесенск, например, лишился второй части своего имени в 1932 году, Святой Крест переименован в Прикумск в 1920-м (ныне Буденновск), город Игумен в Белоруссии в 1924 году получил название Червень. В Московской области кампания по устранению религиозных названий прошла в 1930 году: Сергиев стал Загорском (в память М. В. Загорского), Богородск — Ногинском (в память В. П. Ногина), а Воскресенск — Истрой. Однако значительный пласт названий религиозного происхождения уцелел до сих пор: Архангельск, два Петропавловска, два Благовещенска (на Амуре и в Башкирии), два Троицка (в Челябинской области и под Москвой) и некоторые другие.

Посмотрим теперь, какие имена давали городам и улицам в первые послереволюционные годы. Многие из них несут на себе безошибочно угадываемую печать отрочества и юности революционной власти: мост Равенства (ныне Кировский, Ленинград), переулок Тружеников (Москва), Красношкольная набережная (Харьков), станция Новый Быт (под Волховом). Город Романово-Борисоглебск назван в 1918-м Тутаевом — в память жителя близлежащего села, красноармейца, ставшего первой жертвой Ярославского мятежа. В Москве назвали переулок именем участника октябрьских боев А. А. Померанцева, считая, что он в этом переулке погиб; в действительности он был лишь тяжело ранен и дожил до 1970-х годов. Называли улицы и такими именами, от которых затем сочли необходимым избавиться. Был, например, тогда в Ленинграде проспект Фридриха Адлера, названный именем австрийского социал-демократа, убившего в 1916 году председателя австрийского правительства К. Штюрка. Позднее он стал одним из лидеров «Двухсполовинного», а затем Второго Интернационала, и проспект вплоть до 1944 года назывался проспектом Пролетарской Победы, а затем было восстановлено дореволюционное название — Большой проспект (Васильевского острова). Улица Фридриха Адлера была и в Москве, ныне — улица Красина. А вот другой пример, показывающий эволюцию идеологии: именем умершего в 1864 году Фердинанда Лассаля назвали Дерибасовскую в Одессе и Михайловскую площадь в Ленинграде (ныне площадь Искусств). Но уже к началу 1940-х годов имя Лассаля сняли и с площади, и с ведущей к ней улицы (ныне — улица Бродского, в память о художнике И. И. Бродском). Одновременно был убран и памятник ему. Любопытны некоторые послевоенные «уточнения» данных в первые послереволюционные годы наименований. Так, ленинградские улица и площадь Диктатуры (близ Смольного) стали улицей и площадью Пролетарской Диктатуры, а улица и мост Стеньки Разина — улицей и мостом Степана Разина. Идеологическими мотивами объясняется и переименование улицы Пролеткульта в июне 1949 года в Малую Садовую (с 70-х годов XIX века называлась Екатерининской по расположению напротив нее скверу с памятником Екатерине II).

Целая плеяда новых названий появилась в 1919 году в Москве: улицы Коммунаров (с 1922-го — Б. Коммунистическая), Марксистская, Советская (с 1922-го — Таганская), Школьная, Володарского, Рабочая, Библиотечная, Вековая, Пролетарская, Трудовая; переулки Товарищеский и Факельный; площади Октябрьская (с 1922-го — Таганская), Крестьянская и Прямикова, Абельмановская застава и шоссе Энтузиастов (в 1922 году в Москве проводилось упорядочение названий с устранением одноименных). В том же 1919 году появляется имя В. И. Ленина: площадь Ильича, застава Ильича, Ульяновская и Тулинская (по одному из псевдонимов В. И. Ленина) улицы.

Однако, если б городам присуждали призы за выдумку и неординарность при переименованиях, пальму первенства заслужили бы те, кто придумывал новые названия в Харькове. Только там стали «соседями» Байрон и Шекспир, Дарвин и Пастер, Фейербах и Лафарг. Только в Харькове утверждают новую идеологию улицы Материалистическая и Плановая, а новую власть — Губкомовская и Совнаркомовская. Встречаются и такие экзотические для русского (и украинского) языка названия, как Свет Шахтера и Новый Быт. Баварская улица названа так, вероятно, в знак симпатии к Баварской Советской Республике. А вот почему получила свое имя Трансваальская?.. Вопрос к харьковским краеведам.

Города в первые послереволюционные годы переименовывали редко и в основном по местной инициативе: Николаевск — в Пугачев, Орлов — в Халтурин. Не забывали и тех, кто пал жертвой контрреволюции: Пошехонье стало Пошехонье-Володарском, Ямбург — Кингисеппом. Но именами живых города тогда еще не называли. Впрочем, поселкам и волостям присваивали имена живущих политических деятелей уже и в первые послереволюционные годы: к концу 1922 года в Петроградской губернии существовали Ленинская и Луначарская волости. В 30-е годы этих названий уже не было.

Ситуация стала меняться, когда В. И. Ленин из-за болезни отошел от руководства страной. Длинную серию «прижизненных увековечений» в названиях городов открыл в конце 1922 года Троцк — так стала называться Гатчина. Затем, в 1924-м, получили «свои» города Сталин (Юзовка — Сталино), Зиновьев (Елизаветград — Зиновьевск) и Рыков (Енакиево — Рыково). По понятным причинам имена Троцкого, Зиновьева и Рыкова к середине 30-х годов с карты исчезли, а имени Сталина становилось все больше: 1925-й — Сталинград (Царицын), 1929-й — Сталинабад (Душанбе), 1932-й — Сталинск (Новокузнецк), 1933-й — Сталиногорск (Бобрики; ныне Новомосковск Тульской области), 1934-й — Сталинири (Цхинвали).

Почему-то в числе первых, наряду с руководителями партии и государства, «собственного» города был удостоен поэт Демьян Бедный: в 1925 году Спасск стал Беднодемьяновском. Никто другой из литераторов, исключая М. Горького, этого при жизни не заслужил.

Чтобы о переименованиях довоенных лет не сложилось негативное представление, вспомним о другой, весьма благородной традиции того времени: заменять русскоязычные названия в автономных республиках и областях национальными. В Казахстане Верный стал Алма-Атой (1921-й, в переводе с казахского «отец яблок»), Перовск — Кзыл-Ордой (1925-й, в переводе «красная столица», тогда Кзыл-Орда была столицей Казахстана).

В 1930-м Усть-Сысольск получил имя Сыктывкар (в переводе с языка коми «город на Сысоле»), в 1933-м Обдорск — Салехард (в переводе с ненецкого «поселение на мысу»), в 1934-м Верхнеудинск — Улан-Удэ (в переводе с бурятского «Красная Уда»).

Вторая половина тридцатых годов отмечена беспрецедентной чехардой в названиях городов, станций, улиц. Тот, чье имя вчера красовалось на почтовом штемпеле или уличной табличке, сегодня мог оказаться лютейшим врагом народа. Еще в конце 1920-х годов исчезли названия, данные в честь Л. Д. Троцкого. Город Троцк стал Красногвардейском, а, например, улица Троцкого в Таганроге — улицей Фрунзе. Город Зиновьевск после убийства С. М. Кирова переименовали в Кирово (ныне Кировоград). Названия в честь Н. И. Бухарина (так, например, называлась нынешняя Волочаевская улица в Рогожско-Симоновском районе Москвы) и А. И. Рыкова продержались до 1937 года.

Когда оказывалось, что в каком-то названии присутствует имя врага народа, его спешили заменить другим — обычно в честь верного ученика и соратника; но многие ученики и соратники год-другой спустя сами оказывались врагами. Станцию Бухаринская в 1937-м переименовали в Косиор, но в 1939-м арестовали и С. В. Косиора; станция получила нейтральное имя Путейская. Недальновидными оказались и те, кто дал станции Бобринская в 1936-м имя П. П. Постышева, и те, кто после ареста Постышева окрестил ее именем Н. И. Ежова; лишь в 1940 году станция получила, наконец, стабильное название — «Им. Т. Шевченко». А вот еще один случай замены имени жертвы именем палача: в июле 1937 года город Сулимов (до 1936-го — Баталпашинск) стал Ежово-Черкесском (ныне — Черкесск).

Могла ли существовать обратная связь между названием города и судьбой того, в чью честь он был назван? Тут можно вспомнить необычную судьбу Г. И. Петровского. Оба его сына были репрессированы, один из них реабилитирован лишь в 1988 году. Лишенный всех партийно-государственных постов и не упоминаемый с 1937 года нигде, кроме списка большевистских депутатов Государственной думы, Г. И. Петровский тем не менее не был репрессирован. Не сыграло ли тут свою роль то обстоятельство, что его именем был в 1926 году назван один из крупнейших городов страны — Днепропетровск? Ведь все другие города, переименованные в связи с «разоблачениями врагов народа», были значительно менее заметны...

Многие города получили в те годы имя Кирова: Вятка, Зиновьевск (Кирово, ныне Кировоград), Хибиногорск (все — 1934 год); Гянджа (Кировабад), Караклис (Кировакан), Калата (Кировград) в Свердловской области (все — 1935 год); Песочная в Калужской области (Киров) в 1936 году. Еще два Кировска (под Ленинградом и на Луганщине) получили названия уже после войны. А вот все три города Куйбышева родились разом, в 1935-м: в них были переименованы Самара, Спасск-Татарский и Каинск. Названия городов в честь Г. К. Орджоникидзе были ликвидированы в 1944 году, но затем частично восстановлены в 1954-м. Почему все четыре города (два Орджоникидзе, один Орджоникидзеград и один Серго) переименованы именно в 1944-м? И почему имя Орджоникидзе было сохранено за маркой паровоза «СО» и за многими заводами, районами, поселками? Вопрос к историкам...

Был еще Орджоникидзевский край с центром (за исключением первых нескольких месяцев его существования) не в Орджоникидзе, а в... Ворошиловске! (С 1943 года это Ставропольский край.) Впрочем, названия, данные в честь К. Е. Ворошилова, также были затем ликвидированы (Ворошиловску вернули имя Ставрополь в 1943 году, а другие просуществовали до 1958-го).

В 30-е годы название, как таковое, потеряло собственную, что ли, ценность. Менять названия привыкли, как изношенную одежду, и представление о том, что отказ от старого имени — всегда какая-то потеря, не закрепилось в массовом сознании, а особенно в сознании тех, от кого переименования зависели. Вот характерный пример: в 1962 году решили увековечить тех, кто осваивал целину, и назвали Целиноградом старый город Акмолинск. В том же году в тех же целинных краях возник новый город — почему б его не назвать именем Целиноград? Нет, назвали по-другому: появился в стране четвертый (!) город Красноармейск...

Но вернемся к истории.

В 1944 году обратили внимание на немецкие названия в ленинградских пригородах: Петергоф стал Петродворцом, Шлиссельбург — Петрокрепостью. Однако в том же году двум другим городам Ленинградской области старые названия, наоборот, вернули: Красногвардейск стал Гатчиной, а Слуцк — Павловском. Вернули — редчайший случай! — и около двадцати старых названий в черте города: Невский проспект (с 20-х годов — проспект 25 Октября), Литейный (Володарского), Дворцовая площадь (Урицкого), Измайловский проспект (Красных Командиров), Адмиралтейские набережная и проспект (Рошаля). Владимирские проспект и площадь (Нахимсона), Большой проспект Петроградской стороны (Карла Либкнехта), Введенская улица (Роза Люксембург; это «церковное», по снесенной церкви, название было вскоре вновь отменено, и ныне это — улица Олега Кошевого) и другие. Были отменены и некоторые произведенные перед самой войной переименования: проспект Железнякова снова стал Малым, проспект Мусоргского — Средним. Несомненно, что одним из мотивов этой серии переименований было желание устранить с плана города имена лиц, которые хотя и не были объявлены «врагами», но «чрезмерное» прославление которых было признано нежелательным, а также желание устранить имена немцев, хотя бы и коммунистов (тогда же было снято, например, имя Макса Гельца с завода, получившего название «Линотип»; ныне — завод «Ленполиграфмаш»).

Широкое поле деятельности для переименователей открылось в результате массовых переселений народов по приказу Сталина. Такие переселения начались еще в 30-е годы (корейцы с Дальнего Востока, немцы с юга европейской части СССР). Тогда же были ликвидированы сотни национальных районов и тысячи национальных сельсоветов (немецких, польских, еврейских). В августе 1941 года впервые была упразднена автономная республика — АССР Немцев Поволжья, немцы были выселены на восток. В 1943—1949 годах та же участь постигла многие другие народы — калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, крымских татар, греков, месхов. Эти меры обычно сопровождались повальным устранением национальных названий, хотя иногда такое переименование растягивалось на несколько лет. Еще до войны Еленендорф в Азербайджане стал, например, Ханларом. После выселения немцев из районов Поволжья город Марксштадт стал Марксом, Бальцер — Красноармейском, райцентры Гнадендорф, Мариенталь стали называться Первомайское, Советское. Лишь в середине 1942 года устранены названия немецких сельсоветов в Кабардино-Балкарии (например, к бесчисленным Красноармейским сельсоветам добавился еще один, бывший Гоффнунгсфельдский), хотя можно полагать, что немцы отсюда были выселены значительно раньше. Столица Калмыкии Элиста получила название Степной (с 1957-го — вновь Элиста), центр Карачаевской автономной области Микоян-Шахар стал Клухори (с 1957 года, после возвращения этой территории в состав РСФСР, носит название Карачаевск). В Крыму Карасубазар был переименован в Белогорск; впрочем, Бахчисарай переименовывать не стали, в чем, по-видимому, «заслуга» А. С. Пушкина. С мелкими названиями не спешили: татарские названия железнодорожных станций в том же Крыму заменили русскими лишь в 1952 году.

На Сахалине японские, а в Калининградской области немецкие названия заменили русскими одним махом — в 1947 году, причем крайне неудачно. В Западной Украине ряд названий явно польского (Жолква, Радзивилов), венгерского (Севлюш) и румынского (Иджешты) происхождения меняли на украинские постепенно, начав в 1940 году и закончив только к 1964-му. В Армении в 1950 году ряд тюркоязычных названий заменили армянскими. В Абхазии в 1951 году абхазские и русские названия черноморского побережья были грузинизированы: Бзипи вместо Бзыбь, Тхеми вместо Гребешок, Шавцкала вместо Звандрипш; впрочем, в 1967 году большинство старых названий вернули. Финские названия на Карельском перешейке заменяли русскими постепенно. На той части перешейка, что вошла в РСФСР сразу после советско-финской войны, названия были заменены в 1946 году, а на той, что вначале вошла в Карело-Финскую ССР и передана в РСФСР позднее,— лишь в 1949—1951 годах. Наконец, в 1945 году были заменены русскими эстонские и латышские названия на территориях, отошедших к РСФСР в 1944—1945 годах: Печоры вместо Петсери, Пыталово вместо Абрене. (Кстати, указы о передаче этих территорий и о переименованиях частично опубликованы лишь после 1956 года, а некоторые не опубликованы до сих пор, хотя, например, указ от 24 ноября 1944 года, которым часть территории Эстонии передавалась в состав Ленинградской области, упоминался в печати.)

11 сентября 1957 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей административно-территориальным единицам, населенным пунктам, предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам». Этот Указ, установив, что увековечение кого-либо может быть только посмертным, дал формальный повод устранить названия в честь Молотова, Ворошилова и Кагановича — политических противников Н. С. Хрущева. Попутно задели и тех, кто к этой группе не принадлежал: город Буденновск, например, вновь стал Прикумском (с 1974 года, после смерти Буденного — опять Буденновск. Этот город — рекордсмен по части переименований: за годы Советской власти он переименовывался четырежды).

Тогда же были пересмотрены некоторые переименования прошлых лет; вернули старые названия, например, Рыбинску (с 1946 года — Щербаков; в 1984—1989 годах — Андропов) и Оренбургу (с 1938 года — Чкалов), а в 1958 году было возвращено старое название Бердянску (Осипенко). Причина этих переименова-

ний неясна. Печать все время отзывалась об этих лицах уважительно. Сочли, что для летчика «свой» город — это слишком? Но до сих пор сохраняется город Серов (в 1935—1938 годах — Кабаковск, а до 1935-го и в 1938—1939 — Надеждинск), хотя летчик А. К. Серов менее известен, чем Валерий Чкалов и Полина Осипенко.

С этого времени интенсивность переименований значительно снижается, они почти всегда носят единичный характер. В конце 50-х — начале 60-х годов прошли лишь две волны переименований. Первая — возвращение национальных названий на территориях, где были восстановлены автономии народов, выселенных в конце войны. И вторая — снятие имени И. В. Сталина после XXII съезда КПСС. Недолго просуществовали и в Ленинграде названия Сталинский район (Выборгский), проспект Сталина (ранее — Международный, а до революции — Забалканский; ныне — Московский), а также Сталинградский (ранее — Лиговская улица, теперь — Лиговский проспект).

До начала 80-х годов переименовательное движение переживало подлинную «эпоху застоя». Единственная кампания прошла в 1973 году в Приморском крае и ударила по сохранявшимся там китайским и прочим «сомнительным» названиям, придававшим краю своеобразный колорит. Исчезли Иман (Дальнереченск), Сучан (Партизанск), Тетюхе (Дальнегорск), Лифудзин (Рудный), Сантахеза (Новосельское) и другие. Видимо, это объясняется скверными отношениями с Китаем.

Историю переименований самых последних лет читатель, надо полагать, знает. Пожалуй, переименования — единственная область, где не стоит радоваться концу застоя. За единственным, быть может, исключением: вернуть, наконец, старые названия бездумно и неоправданно переименованным объектам. Каким именно — это предмет для общественной дискуссии, идущей последнее время на страницах печати. А потом — да здравствует застой в переименованиях!

Память

Виктор КУЗНЕЦОВ

НАРОДОВОЛЬЦЫ

В камере сыро. Тяжелый сводчатый потолок навис, как крышка массивного гроба. Осколок серого ленинградского неба застыл вверху зарешеченного окна. Тридцать гулких шажков по диагонали. Взад-вперед, взад-вперед... Сажусь на голую железную, утопленную в цементный пол кровать. Могильная тишина... Вздрагиваю от стука в тяжелую, будто бронированную дверь. Кто-то подсматривает в глазок-«иуду». Мелькнул стеклянный холодный глаз. «Ирод»! Да-да, тот самый Матвей Соколов, смотритель Петропавловской крепости. А может, лекарь Вильмс? Равнодушный Харон, пришедший зафиксировать кончину очередной жертвы? Примерещится же...

По некоторым данным, в этой камере сидел Александр Дмитриевич Михайлов, член грозного Исполнительного комитета «Народной воли», неутомимый страж партии. Ему не было и тридцати, когда в 1884-м из каменной клетки донеслись его последние слова: «Завещаю вам, братья...» — и далее программа и нравственный кодекс революционера, стойко, как и сотни его товарищей, встретившего смерть.

При свете тусклой электрической лампочки, замурованной в стене (когда здесь были заточены народовольцы, горела семилинейная лампа), достаю из портфеля страничку текста, обращенного к нему, Михайлову, за три года до его гибели: послание Анны Павловны Корба. Судьба была к ней милостивее, хотя она тоже перенесла многое, томилась в той же Петропавловской крепости, потом изведала сибирскую ссылку... Пережила своего друга более чем на полвека... И вот, спустя сто с лишним лет, оно пришло к «нему»:

«Дорогой Саша, дорогой друг мой и лучший человек, которого я встречала в жизни. Я пишу тебе с Кавказа, где нахожусь четвертый месяц по делам.

Когда пишу тебе, столько сильных и глубоких чувств волнуют меня, что слова замирают, не будучи в состоянии передать истинное настроение моего духа. Как ты переносишь все муки одиночного заключения? Каждый раз, когда я думаю об этом, у меня сердце обливается кровью.

Из дознаний и следствий ты знаешь все наши несчастия: длинная вереница лиц, попавшихся после 1 марта. И каких дорогих лиц! Но то, что правительство, вероятно, скрыло от вас, это успехи революционного движения. Оно растет бурным

потоком. Молодежь пристает к нам не единицами, а массами, и еще живы „старики", которые поведут их в бой.

Первое марта потрясло всю Россию, отозвалось во всем крестьянстве, в югозападных губерниях возбудило крестьянские движения [...] пробудило в народе луч надежды.

Александр III — невиданный трус и тупоголовый тиран, который мог только выдумать застенки для членов партии, а народу не дал ничего [...]

Дорогие! Как вы терпите этот тайный суд? Дорогие! Знайте, что сотни людей готовы отомстить за вас, если снова враги осмелятся пролить кровь лучших людей России. Пусть в эти тяжкие дни вас поддерживает мысль, что революционное движение, которому вы положили краеугольные камни, приобретает более и более массовый характер и служит предвестником близкого народного освобождения.

Милый, если насильственная смерть прервет лучезарную жизнь твою, я буду завидовать твоей судьбе. В дико-безумном русском государстве избранные люди, народные богатыри, венчаются смертью. Прижимаю тебя к груди своей и покрываю горячими поцелуями. Передай нашим товарищам братский поцелуй и низкий, низкий поклон от меня.

10 ноября. Твоя Анна.

Напиши мне хоть несколько строк, твои письма...».

Конец записки оборван. То ли жандармы не смогли расшифровать, то ли ее пытался уничтожить схваченный революционер-«почтальон»...

Душно. Шумит в висках. Ржаво скрипнула кровать. Медленно бреду по первому этажу Трубецкого бастиона. С фотографий на стенах смотрят лица героев «Народной воли». Снимков мало, а ведь только на 3 октября 1883-го в Петропавловке было заключено тысяча четыреста пять арестантов. На многих камерах лишь номера, кто в них страдал — неизвестно. Михайлов, Грачевский, Желябов, Перовская, Лопатин, Халтурин, Морозов, Фигнер... И это — все?! Точит сознание анонимности и несправедливости сегодняшней нашей истории по отношению к героям «Земли и воли» и «Народной воли». Вспоминаю статью в одной из центральных газет. Автор ее отвечал американскому профессору-историку Ричарду Пайпсу на обвинения русских революционеров-народников в терроризме как чуть ли не единственном средстве борьбы с царским режимом. Заокеанский ученый видел истоки современного терроризма (итальянские «красные бригады», турецкие «серые волки» и другие) в русском революционном движении. Советский журналист показал себя в той статье невежественным историком и открещивался от «Народной воли», характеризуя героический период нашего великого революционного прошлого как переходный, малозначительный и бесплодный. Кощунство!

Дух вандализма, жестокости и политического недомыслия был абсолютно чужд русским народовольцам. Неужели газетчик не знает о протесте Исполнительного комитета «Народной воли» в октябре 1881 года против убийства президента США Д. Гарфилда анархистом Ш. Гито? В условиях демократии народовольцы категорически отрицали кинжал, револьвер и бомбу, предпочитая открытое слово пропаганды. Ричарду Пайпсу можно было бы напомнить о том, что А. Линкольн погиб от руки убийцы почти за два десятка лет до первомартовского события в России. Известны подобные примеры и в других странах. Александр II пал от метательного снаряда Игнатия Гриневицкого, когда он уже давно перестал скреплять своим росчерком реформы, а чаще — решения о казнях и каторге. Кто хорошо знает историю, никогда не сможет упрекнуть лучших сынов и дочерей России 1870—1880 годов в безвинно пролитой крови. Самозащита, святая месть за погибших на виселицах, в казематах и ссылках, расправа с предателями и шпионами (Горинович, Рейнштейн, Прейм и прочие), абсолютная невозможность свободной пропаганды социалистических идей — вот что заставляло Желябова и Перовскую браться за оружие. Разумеется, были среди участников революционного подполья и лихие максималисты, но не они определяли лицо того грозового движения. Покушение на жизнь человека — даже самого подлого — всегда было для ревнителей «Народной воли» мерой чрезвычайной и вынужденной. «Террор — ужасная вещь,— заявлял один из храбрейших народовольцев С. М. Степняк-Кравчинский,— есть только одна вещь хуже террора: это безропотно сносить насилия».

Характеризуя русское правительство, Фридрих Энгельс писал в марте 1879 года: «Против таких кровожадных зверей нужно защищаться как только возможно, с помощью пороха и пуль. Политическое убийство в России — единственное средство, которым располагают *умные, смелые и уважающие себя люди* для защиты против агентов неслыханно деспотического режима...». Карл Маркс говорил, что по поводу способа действия народовольцев «так же мало следует морализировать — за или против, как по поводу землетрясения на Хиосе».

Кто же сделал нашу историческую память такой безжалостной и куцей? Почему забыты многие страницы и имена той драматической эпохи? Почему школьный курс истории СССР ограничивается не-

сколькими сухими абзацами, а вузовская программа затушевывает и спрямляет великие примеры беззаветного служения народу (все больше об «ошибках», о том, что «не поднялись», «не понимали»)? Внеисторизм вйдения минувшего, конъюнктурные соображения больно ранят наше национальное достоинство, оскорбляют революционные алтари. Ранят еще и тем, что ловкие комбинации цитат из работ В. И. Ленина, восхищавшегося, несмотря на критические замечания, чистыми порывами народных заступников, представляются как научные исследования. Такие «трактаты» наносят огромный моральный урон отечественной памяти, подтасовывают историческую правду, по сути оскверняют биографии сотен и сотен борцов, отдавших свои жизни за счастье трудящихся...

Вновь прохожу мимо тюремных каменных мешков. У входа в «одиночки» — фотографии Софьи Бардиной, Ипполита Мышкина. Их страстное слово в защиту революционных идеалов услышала вся Россия. Кто томился в первых пяти камерах — неведомо доныне (в секретных жандармских бумагах ссыльно-каторжных именовали по номерам и лишь в единичных случаях расшифровывали фамилию), в 6-й в 1897 году сожгла себя, не выдержав мучений, Мария Ветрова, в 7-й провел свои последние дни Андрей Желябов, в 9-й начиналось многолетнее заточение Николая Морозова.

8-я камера безымянна. Но я знаю из архивных дел: здесь в декабре 1883 года умер от чахотки Петр Теллалов (это он, когда еще находился на свободе, должен был передать через подкупленного охранника письмо Анны Корба Александру Михайлову). Недавно я побывал на его родине, в Севастополе, листал полицейские донесения о нем в Симферополе, где он учился в гимназии, а позже находился под неусыпным надзором. Следы его смелых и опасных предприятий есть в архивах Харькова, Москвы, Ленинграда. Друзья (среди них Софья Перовская и Андрей Желябов) почтительно называли его «Старостой» — за мудрость и наставнический талант, высокопоставленные чины прокуратуры и полиции признавали в нем выдающегося революционера. Блестящий оратор и агитатор, деятельный организатор, член Исполкома «Народной воли», он на «процессе 17-ти» произнес гордую речь в защиту партии и своих товарищей.

У меня хранятся копии страшных в своей иезуитской откровенности документов, телеграфно-жандармским языком рассказывающих, как он умирал в этой 8-й камере. Тяжело, мучительно, стойко. Главный цербер Петропавловки генерал И. С. Ганецкий лично докладывал о смерти Теллалова Александру III (не исключено, что монарх в тот день с облегчением взглянул на портрет своего врага в специально для него сделанном фотоальбоме — мне доводилось его видеть — и удовлетворенно поставил на одной из страниц крестик). А директор департамента полиции В. К. Плеве — аккуратнейший служака! — распорядился, чтобы вещи умершего Теллалова, оставшиеся после него 11 рублей 50 копеек и «глухие серебряные часы» были — не пропадать же добру — доставлены в его ведомство...

Михаил Федорович Грачевский, рабочий, помощник машиниста, человек легендарной революционной отваги. Несколько раз его судили, ссылали в медвежьи сибирские углы, несколько раз он бежал и вновь становился в строй: организовывал подпольные типографии, распространял выходившие из них народовольческие газеты, оборудовал динамитную мастерскую. Сгорел в Петропавловской крепости. В буквальном смысле. Облил себя в камере керосином из лампы и превратился в факел...

В руках у меня подлинные письма еще одного героя «Народной воли», члена ее Исполнительного комитета после первомартовских событий — врача Сергея Васильевича Мартынова. Он также познал русскую Бастилию, сибирские тракты и другие тяжкие испытания. В письмах раскрывается личность незаурядная: знал несколько языков, был автором научных работ, делал сложнейшие операции, имел необыкновенный дар рассказчика-фантазера (об этом вспоминала Вера Фигнер). Кроме Петра Кропоткина, Николая Морозова, Николая Кибальчича, Дмитрия Клеменца, Александра Ульянова, сегодня весьма редко называют других революционеров из этой плеяды, обладавших яркими талантами ученых. А их было, конечно, значительно больше — тех, кто всецело отдал свои знания делу народного освобождения. Забыли...

С этим щемящим чувством поднимаюсь во второй этаж Трубецкого бастиона. И тут профили: Михаил Фроленко, Петр Якубович, Николай Бауман... Камера номер 43. Здесь начинала свою тюремную одиссею Вера Фигнер. А вот помнят ли ее подруг и соратниц из гвардии непокоренных? Гесю Гельфман, приговоренную к виселице вместе с Софьей Перовской, но скончавшуюся в каземате. Марию Ошанину-Оловеникову, трудно умиравшую на чужбине. Татьяну Лебедеву, разделившую трагическую судьбу друзей на каторге. Анну Якимову, до конца прошедшую сознательно выбранную Голгофу. Анну Федотову, замученную в Петропавловке. Женщин-декабристок, последовавших за мужьями в их каторжные дали, могут назвать по именам, а тех, кто шел по их следам и вступал в неравное единоборство с царизмом,— сомневаюсь...

Почему так произошло? Кто и когда отшиб нам память?.. В музее «Петропавловская крепость» я не нашел ответа. Разочаровала и дежурная фотоэкспозиция, где представлены всего лишь несколько примелькавшихся знакомых портретов и ксерокопий документов. На фоне залов, интересных и внушительных, маленькая проходная комнатка, посвященная народовольцам, выглядит както сиротливо. Казенная дань историческому эпизоду — не более. Нет даже путеводителя. Почему?..

С этим вопросом я обратился к профессору МГУ М. Г. Седову, десятки лет занимающемуся изучением проблем народнического движения, написавшему несколько книг и множество статей на эту тему.

— Восстановить во всей многогранности правду о «Земле и воле» и «Народной воле» — дело чести советской исторической науки и наш общий моральный долг,— говорит Михаил Герасимович и продолжает: — Мрачную тень на память о революционерах-разночинцах бросил Сталин. По его указанию в 1935 году было разогнано Всесоюзное общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, бережно заботившееся о сохранении действительной картины героического времени, издававшее книги и журналы, проводившее большую историко-патриотическую и просветительскую работу. Многое было уничтожено. Подверглись репрессиям непосредственные участники революционного движения 70—80 годов прошлого века. Сталин и его «помощники», болезненно-подозрительно относившиеся к народовольцам, «закрыли» историю...

Профессор Седов рассказывает о людях, не побоявшихся в трудные годы сберегать «вредные» книги от неумеренно исполнительных «голеньких человечков» (выражение А. В. Луначарского). Одна его знакомая работница библиотеки спасла почти исчезнувший, очень редко встречающийся ныне словарь (девять выпусков) «Деятели революционного движения в России», оборвавшийся в 1934 году на букве «И». Из рассказа Михаила Герасимовича стала понятней странная в своей загадочности судьба архива Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, бесприютство многих личных документальных собраний, драматическая участь не разысканного до сих пор бесценного архива «Народной воли», хранившегося когда-то у литератора В. Зотова.

— В одной из своих работ Ленин говорил,— продолжает Седов,— что социал-демократам стыдно не знать историю русского революционного движения. Эта мысль не утратила своей актуальности и сегодня, когда советским историкам открывается новое широкое поле исследований и реставрации наиболее значительных страниц прошлого нашей Родины. В этом я вижу,— заключает ученый,— возвращение народу огромного духовного богатства, поучительного опыта как достижений, так и ошибок, на которых также полезно воспитывать молодое поколение. С истории надо снять накопившийся липкий слой делячества и вненаучных соображений.

Листая в который раз в библиотеке словарь «Деятели революционного движения в России», я вспомнил сетование Михаила Герасимовича на то, что у нас он так и не был переиздан, а вот, к примеру, в ФРГ его сочли нужным выпустить. Не пора ли нам хотя бы факсимильным способом переиздать этот словарь-памятник, и непременно — с необходимыми дополнениями и комментариями? За пределами СССР проявляют живой интерес к волнующей нас сейчас революционной эпохе. С вопросом о зарубежном восприятии народническо-народовольческой проблемы я обращаюсь к ученику М. Г. Седова историку М. Д. Карпачеву, специалисту по зарубежной историографии российского освободительного движения.

— Мы не имеем нравственного права,— говорит Михаил Дмитриевич,— пассивно наблюдать, как нашу отечественную историю толкуют (часто субъективно) иностранные коллеги. Разумеется, в науке истина одна, и она может отыскиваться где угодно, но в данном случае — вопрос особый, связанный с нашими национальными традициями, спецификой этого непростого дела и даже с тонким пониманием психологии. Мы сами разберемся в своем прошлом. Вместе с тем надо поблагодарить тех зарубежных ученых, кто стремится добросовестно внести свой вклад в восстановление объективной картины русского революционного процесса. Нельзя не отметить капитальный трехтомный труд итальянца Франко Вентури «Русское народничество», подобного которому по масштабам и объему, к сожалению, нет в нашей стране. Приложили значительные усилия к изучению той же темы американские исследователи Э. Кренкшоу («Под тенью Зимнего дворца»), А. Улам («Во имя народа»); следует упомянуть книги западных историков Ф. Помпера о революционном движении русской интеллигенции, Т. Самуэли («Русская традиция»); активно издается архив М. А. Бакунина во Франции; выходили в разных странах мемуары П. А. Кропоткина, С. М. Степняка-Кравчинского, В. Н. Фигнер. Разумеется, они оставляют место для дискуссий, но нужно все же отдать должное их пристальному вниманию к «русскому вопросу». Затянувшееся молчание нашей науки и литературы не пошло на пользу. Не способствовало углубленному изучению темы

и отсутствие совместных усилий советских ученых разных специальностей (историков, философов, правоведов). На Западе смелее ставят вопросы российского революционного прошлого, хотя есть и откровенно тенденциозные труды.

Герои революционно-разночинного движения нуждаются и в художниках слова, кисти, экрана, сцены, мастерах научно-популярного жанра. С трудом можно вспомнить единичные и притом неудачные примеры обращения советского кинематографа, театра, радио и телевидения к образам удивительного по своему общественному накалу времени.

— Долгое время в нашей стране боязливо обходили эту почти «запретную» тему,— вступает в разговор известный писатель Ю. В. Давыдов, автор ряда книг о народовольцах, в том числе «Соломенной сторожки», удостоенной в 1987 году Государственной премии СССР.— Я мог бы вспомнить немало горьких историй, когда слишком осторожные издатели губили художественные замыслы, стригли и обрезали рукописи, «подчищая историю». В литературе действовал запретный «индекс», писателям разрешали обращаться лишь к сравнительно узкому кругу апробированных имен. Так искусственно создавалась анонимность истории. Неудивительно, что книги этой тематики не становились событиями. Трудный доступ к материалам «ограниченного пользования» приводил к слабой документальной оснащенности художественных произведений, а ведь документальная основа в историческом романе — как гемоглобин в крови. Уверен, революционная история той мятежной поры должна быть осмыслена заново...

Пора восстановить память о людях, жертвовавших своими жизнями во имя свободы народа, а наиболее выдающимся воздвигнуть памятники, установить мемориальные доски, назвать их именами улицы.

Пришло время подумать и о специальных музеях, но, конечно, нельзя ограничиваться лишь теми скромными экспозициями, какие появились в память Софьи Перовской (село Любимовка Крымской области), Николая Кибальчича (город Хорог Черниговской области), Николая Морозова (поселок Борки Ярославской области). Настало время достойно увековечить и съезд революционеров в 1879 году в Воронеже.

Мы виноваты перед их памятью, так постараемся же возвратить ее сторицей.

Пешком по старому Петербургу

Д. ЗАСОСОВ, В. ПЫЗИН

ФАРАОНЫ И ПОЖАРНЫЕ

Полиция в столице составляла целую иерархическую лестницу во главе с градоначальником. Ниже по ступенькам следовали (в каждой части) полицмейстер, пристав, помощники пристава, околоточные, квартальные и постовые городовые. В обязанности домовладельцев, старших дворников и швейцаров входило содействие полиции в выявлении и пресечении правонарушений. На первый взгляд — стройная система, вполне способная обеспечить порядок. Но... полицейские чины все поголовно были взяточниками. Взятки носили почти узаконенный характер. Для домовладельцев, торговцев, предпринимателей считалось обязательным посылать к Новому году и прочим большим праздникам поздравления с «вложением» всем начальствующим в полицейском участке. Околоточным, квартальным и городовым «поздравления» вручались прямо в руки, так как поздравлять они являлись сами. Давать было необходимо, иначе замучают штрафами, особенно дворников: то песком панель не посыпана, то снег с крыш не убран. Платили, деньгами или натурой, владельцы предприятий, больших и малых. Даже «ваньки» и ломовые извозчики должны были «бросать» двугривенный или полтинник: то они нарушали правила движения, например при следовании «гусем» вместо интервала в три сажени сблизились до двух, то обогнали, где не положено, а то и ничего не нарушили, но городовой почему-то записал номер — значит, будет штраф, а чтобы не было, лучше заранее заплатить. И швыряли под ноги городовому двадцать и более копеек, с криком «Берегись!». Городовой понимал условный клич, смотрел под ноги, а увидев монету, незаметно наступал на нее сапогом.

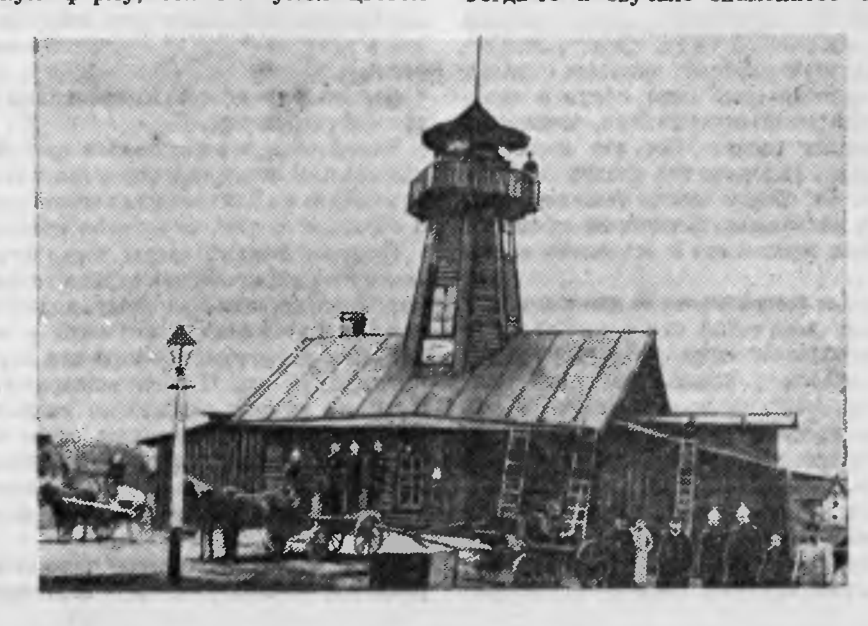
За взятку можно было замазать всякое правонарушение и даже преступление. Поэтому полицейские не пользовались уважением, скорее наоборот — их презирали: простой люд — как грубых насильников (они могли ни за что посадить в «кутузку», заехать в зубы, наложить штраф, воспрепятствовать в самом правом деле), интеллигенция — за преследование передовых людей. Ими брезговали как нечистоплотными людьми, да так оно и было: большинство полицейского начальства до околоточного включительно состояло из офицеров, изгнанных из полков за неблаговидные поступки — нарушение правил чести, разврат, пьянство, нечистую карточную игру. В общество их не приглашали. Даже сравнительно невзыскательные купцы Сенного рынка или жуликоватые торгаши Александровского не звали в гости ни пристава, ни его помощников, а уж тем более околоточных. Если требовалось «ублажить» кого-нибудь, приглашали в ресторан или трактир, смотря по чину, и за угощением «обделывали» любые дела. В случае необходимости скрыть преступление дело не ограничивалось угощением: помощник пристава уходил после ужина, унося в кармане хрустящий конверт, а угощавшему смышленые официанты подавали счет, куда нередко вписывались не заказывавшиеся блюда, например целый жареный поросенок, окорок, севрюга. На вопрос: «Что же ты, милый, вписал то, чего не было?», следовал бойкий ответ: «А это их высокоблагородие господин пристав приказали отправить к себе на квартиру».

Одевались полицейские в мундир (или, в жару,— в белый китель) и черные суконные шинели, зимой с барашковым воротником. На голове летом фуражка, зимой — круглая баранья шапка и башлык, на ногах — собственно сапоги или валенки с «кенгами». Вооружены были шашкой на черной портупее («селедкой») и револьвером на оранжевом шнуре. Офицеры носили общеприятую армейскую форму, отличавшуюся цветом кантов, петлиц и околыша. Погоны и пуговицы у них были серебряного цвета, а шашка — на золотой портупее.

Классическое «обхождение» с простым человеком у полицейского — схватить за шиворот и поддать коленом в зад. Отсюда — и общепринятая кличка: «фараон». Если же человек был одет хорошо, обращение было иное: городовой брал «под козырек» и находил кое-как вежливые слова — боялся нарваться на лицо с высоким служебным или имущественным положением или на «писаку», который «пропечатает» в газете.

Полицейские участки производили гнетущее впечатление: низкие потолки, грязь, спертый воздух, ободранные двери и столы. Из «кутузки» с «глазком» в двери несутся в коридор крики, ругательства, плач. Расхаживающий тут же городовой заглядывает тогда в «глазок» и грубо кричит: «Не ори!». А в комнату дежурного уже ведут нового задержанного для составления протокола и дознания. Если это завсегдатай, его называют по имени, как старого знакомого. Городовой спрашивает дежурного: «Что, на Ивана будем составлять? В пивной он вчера здорово воевал». А тот ему: «Ну его к черту, пусть проспится, а утром пораньше выгоним». Разумеется, Иван должен был потом отблагодарить...

Существовали в Петербурге еще и три роты конно-полицейской стражи, помещавшейся отдельно и выезжавшей по особым вызовам: в места большого скопления народа, на случай беспорядков, на похороны известных лиц, на время проезда царствующей фамилии, при прибытии представителей иностранных государств. Их задачей было отделить простой народ от привилегированной его части, участвующей в процессии или встрече. Тогда-то и звучало знаменитое «Осади



назад!», и хорошо обученные животные крупами пятились на толпу. Конно-полицейские стражники носили форму городовых, но одеты были тщательнее, и лошади у них были одномастные.

Для «наведения порядка» в столице и пригородах квартировали также казачьи сотни. Число их было увеличено в период революционных событий 1905 года. На особом положении была жандармерия — орган политического сыска и борьбы с революционным движением, состоявший при «собственной его величества канцелярии». Корпус жандармов имел тайных агентов и провокаторов во всех слоях общества, особенно среди писателей, интеллигенции, военных.

Во времена нашей юности гнет «голубых мундиров» ощущался в полной мере. Чины корпуса жандармов старались показать себя людьми воспитанными, деликатными, но эта маска никого обмануть не могла. В передовом обществе они приняты не были.

В те далекие годы мы явно симпатизировали пожарным. Нас поражало, что «доблестные пожарные» помещаются вместе с городовыми. А это было именно так. В Петербурге было двенадцать полицейско-пожарных частей — по числу городских районов. Каждую такую часть легко было узнать издали по каланче, где расхаживали дозорные, в случае пожара вывешивавшие на мачте черные шары (ночью — фонари), чье число указывало, в какой части пожар. В начале XX века дежурства на вышках в центре города были отменены, так как новые шестисемиэтажные дома мешали обзору, но в народе долго еще бытовало выражение «ночевать под шарами»: это означало — в полицейской части.

Пожарные были гордостью городской управы. Пожарный обоз, запряженный отличными лошадьми определенной масти для каждой части, представлял собой красивую картину: экипажи окрашены в ярко-красный цвет, сбруя с начищенными медными бляхами, пожарные в сияющих касках. Все это поражало обывателя, увлекало его следом к месту пожара. За обозом всегда бежали толпы зевак и мальчишек. Некоторые любители нанимали извозчиков и старались не отстать.

Команда выезжала через две-три минуты после получения сигнала. Все было приспособлено к скорейшему выезду: хомуты висели у дышел так, что приученные кони могли сами вдеть в них головы: достаточно было небольшого усилия лошади, чтобы хомут оказался у нее на шее. Мгновенно закладывались постромки — и обоз готов. Пожарные вскакивали в повозки, каждый на строго определенное место, на ходу натягивая толстые серые куртки.

Порядок следования всегда был одним и тем же.

Впереди ехал верховой пожарный — «скачок», трубя изо всех сил, чтобы давали дорогу. На место пожара он являлся первым, уточнял очаг пламени и указывал, куда заезжать остальным.

За «скачком» неслась «квадрига» — четверка могучих лошадей с развевающимися гривами, запряженная в линейку — длинную повозку с продольными скамьями, на которых спиной к спине сидели пожарные. Над скамьями на особом стеллаже лежали багры, лестницы и другие приспособления. Рядом с кучером, восседавшим на козлах, стояли трубач, непрестанно трубивший и звонивший в колокол, и высоченный брандмейстер в зеленом офицерском сюртуке и посеребренной каске (зимой под сюртук надевался еще меховой жилет) около развевающегося пожарного знамени красного цвета с золотой бахромой, кистями и эмблемой части. Бочки с водой в наше время уже не возили: в городе почти везде были водопровод и пожарные гидранты, а на окраинах, где водопровода не было, пользовались специальными водоемами, прудами.

Вслед за линейкой неслась пароконная повозка с пожарным инвентарем — катушками со шлангами, ломами, штурмовыми лестницами.

За ней, тоже на пароконной подводе,— паровая машина для накачивания воды (ручных машин с коромыслами для этой цели в центре города уже не было) с празднично надраенным котлом, цилиндрами и медными трубами. Позади машины на приступочке стоял пожарный, на ходу подкладывая топливо, чтобы поднять пар. Из трубы валил густой дым. К машине была привязана сзади деревянная лестница на колесах выше человеческого роста (складных металлических еще не было, а этих хватало до четвертого-пятого этажа).

Замыкал процессию медицинский фургон с фельдшером.

Зимой обоз пересаживался на окованные сани. В пожарном сарае были особые устройства на роликах для легкого вывоза и обратной постановки их на место.

Пожары бывали часто: город отапливался печами, пожарная охрана на фабриках, заводах, складах была недостаточная, много бывало и поджогов — чтобы получить страховую премию или опрокинуть конкурента. К чести пожарных, они были на высоте, беззаветно выполняли свой долг. Когда случались очень большие пожары, особенно казенных зданий, вызывали войска, оцеплявшие место бедствия и охранявшие спасенное имущество.

Если пожар принимал угрожающие размеры, объявлялся сбор всех частей, приезжал брандмайор Петербурга и сам распоряжался тушением. Его приказания выполнялись беспрекословно, двое пожарных с факелами всегда стояли рядом, чтобы он всегда был на виду. Вспоминается ночной пожар в лютый мороз на одной фабрике, где было много горючих материалов. Паровая помпа подавала воду под большим давлением сразу в несколько шлангов. Пожарные бесстрашно бросались в огонь, охвативший все здание. Когда они выскакивали обратно, одежда на них дымилась, их обливали водой, и они мгновенно превращались в ледяные глыбы, с касок даже свисали сосульки. Двоих, обожженных и потерявших сознание, вынесли из огня и медленно доставили в ближайшую чайную, туда подъехал медицинский фургон, вскоре прибыла «скорая помощь». Рядом с фабрикой были два деревянных дома, они тоже начинали гореть. Собралась большая толпа, кое-кто помогал выносить из них вещи, приглашали погорельцев к себе, обещая приютить на несколько дней. Появились полицейские, чтобы наблюдать за порядком, в их адрес сыпались нелестные замечания...

С пожара обоз ехал тихо, сопровождаемый толпой, обсуждавшей, кто как отличился, кто пострадал.

А по пепелищу долго еще бродили погорельцы, выискивая что-нибудь уцелевшее от огня...

Изыскания

Б. ФРЕЗИНСКИЙ

ЭРЕНБУРГ И ШОСТАКОВИЧ

Взаимоотношения Ильи Григорьевича Эренбурга и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича нельзя назвать близкой дружбой, это было, скорее, доброе знакомство, длившееся несколько десятилетий.

В мемуарах Эренбурга «Люди, годы, жизнь» несколько раз упоминается опера Шостаковича «Катерина Измайлова»; может быть, писателю в один из наездов в Москву (в тридцатые годы он был корреспондентом «Известий» во Франции и в Испании) довелось послушать эту оперу. С горечью воспринял он разнос, учиненный Шостаковичу, когда Сталин изрек по адресу оперы: «сумбур вместо музыки» (этот разнос вписывался в общую кампанию борьбы с «формализмом», коснувшуюся всех видов искусства). Для Эренбурга опера Шостаковича была тем же, что мейерхольдовские спектакли в театре, полотна Фалька и Сарьяна в живописи, лирика Пастернака в литературе. «В Москве была премьера оперы Шостаковича „Катерина Измайлова“,— вспоминал Эренбург.— А когда я пришел к одному из ответственных организаторов культуры, он сказал: „Сейчас послушаем“... И восторженно завел патефон с пластинкой „У самовара моя Маша“». Однако и в шестидесятые годы, когда это писалось, такие строки задевали «организаторов культуры», и их вычеркнули из мемуаров...

Эренбург отнюдь не был меломаном. Литература и живопись, кино и архитектура, театр и искусство фотографии интересовали его сильнее, чем музыка. Он не делал из этого тайны. Когда в 1966 году к нему обратились с просьбой написать о Шостаковиче, он решительно отказался: «В области музыкальной культуры я считаю себя невежественным, и поэтому, при моей большой симпатии и уважении к Д. Д. Шостаковичу, я не смею писать о нем и его работе».

С осени 1941 года общение Эренбурга и Шостаковича стало достаточно регулярным. В октябре, при эвакуации из Москвы, пятидневный путь в Куйбышев они проделали в одном отсеке пригородного поезда и с тех пор встречались и беседовали уже постоянно. Об одной такой беседе в Куйбышеве сохранилась строчка в записной книжке Эренбурга: «28 ноября 1941 г. Шостакович. Как оставил мать в Ленинграде»...

29 марта 1942 года Эренбург присутствовал на первом исполнении «ленинградской» симфонии Шостаковича. В начале апреля в корреспонденции, разосланной Совинформбюро западным агентствам печати, он писал: «Несколько дней тому назад в Колонном зале исполняли Седьмую симфонию Шостаковича. Зал, потрясенный, слушал патетический финал. А на улице выли сирены. Их вой не проник в зал. Публике объявили о тревоге, когда концерт кончился, и люди не торопились в убежище, они стояли, приветствуя Шостаковича,— они еще были во власти звуков».

Вот еще одна запись: «31 марта 1942 г. В ЦДРИ. Романсы. „Жди меня". Шостакович о Стравинском». Несколько записей сообщают о встречах и беседах в ноябре 1943 года. 6 ноября на торжественном заседании в Кремле: «Шостакович: „Я сегодня читал Хуренито"» (сатирический роман Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» не переиздавался с 1927 года, и Шостакович читал, а может быть, и перечитывал, старое издание; думается, что эта книга должна была прийтись ему по вкусу). 7 ноября на приеме у Молотова: «Шостакович: „8 симфония лучшее, что я написал. Не потому, что последнее"».

Сохранилась записка Шостаковича: «Дорогой Илья Григорьевич! Если будете свободны 10-го ноября, то выполните, пожалуйста, мою большую просьбу: сходите в большой зал Консерватории и послушайте мою 8-ую симфонию. Д. Шостакович. 9.XI.1943». На следующий день Эренбург записал: «8 симфония Шостаковича. Музыка о войне. Чувство физического ощущения, как от боли. Он сам сходит с ума». Впечатление оказалось незабываемым, Эренбург писал в пятой книге «Люди, годы, жизнь»: «Я вернулся с исполнения потрясенный: вдруг раздался голос древнего хора греческих трагедий. Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать все». Не менее сильное впечатление произвела на него и Десятая симфония Шостаковича — он услышал в ней только что пережитые страшные годы, недаром эту вещь слушают герои «Оттепели»...

Так, не будучи меломаном, Эренбург по достоинству оценил крупнейшие произведения полуопального композитора.

Куда бы ни приезжал после войны Эренбург — везде сталкивался с возрастающим интересом к музыке Шостаковича. В «Японских заметках» он вспоминает, как его расспрашивали о Дмитрии Дмитриевиче на встрече с интеллигенцией в Киото. Но самое первое свидетельство мировой славы Шостаковича принесла Эренбургу его поездка в США в 1946 году. Сохранилось письмо, направленное ему 3 июня 1946 года Американо-советским музыкальным обществом (его основателем и председателем был Сергей Кусевицкий); в письме рассказывалось о планах общества, о его намерении способствовать сближению США и СССР в области музыкальной культуры, говорилось о недавнем большом концерте, где исполнялось Трио Шостаковича, и о приветствиях, полученных обществом от Прокофьева, Шостаковича и Мясковского.

Хранятся в ЦГАЛИ и несколько коротких поздравлений, посланных Шостаковичем Эренбургу по случаю присуждения Сталинской премии за «Бурю» («2.IV.1948 Ленинград. Многоуважаемый Илья Григорьевич! Примите мои сердечные поздравления. Желаю Вам всегда быть здоровым и счастливым. Крепко жму руку. Д. Шостакович») и в дни юбилеев.

В пятидесятые годы им приходилось часто встречаться на конгрессах и конференциях сторонников мира: Эренбург был одним из организаторов Движения за мир, Шостаковича привлекали скорее для представительства; не всегда предписание участвовать в таком заседании согласовывалось с его возможностями и творческими планами. Один такой случай Эренбург описал в мемуарах: «Помню, в один из тусклых дней я увидел Д. Д. Шостаковича; он сидел с наушниками; лицо его было мрачным. Я подошел к нему, он шепнул, что его оторвали от работы, и вот приходится слушать... Я сказал: „Да вы не слушайте, снимите наушники". Дмитрий Дмитриевич отказался: „Все знают, что я не владею иностранными языками, скажут: неуважение к общественности"... На следующий день я снова увидел его с наушниками, но счастливым. Он объяснил: „Догадался — вынул вилку из штепселя... Теперь я ничего не слышу. Удивительно хорошо!". Говорил он, как всегда, скороговоркой и походил на ребенка, которому удалось перехитрить взрослых». Неизвестно, сочли ли это «неуважением к общественности», но вот Эренбургу за это выговорили — в предварительной рецензии в журнале значилось: «Пожалуй, нужна несколько большая осторожность и сдержанность в характеристике некоторых современников. Так... Шостакович выглядит индифферентным к делу мира, настолько, что выключает наушники во время конгресса» — и этот эпизод убрали из книги. Между тем, если говорить о борьбе за мир не в бюрократическом, а в подлинном смысле слова, то, конечно, вся музыка Шостаковича была направлена против войны и насилия, и это куда более веско, нежели присутствие композитора на сессиях и конференциях или даже чтение им речей по шпаргалке. Именно об этом говорил Эренбург, выступая 4 сентября 1954 года на вручении Шостаковичу Международной премии мира: «Чем отстаивает мир и счастье художник? Прежде всего, своим творчеством, утверждающим жизнь. Вы много сделали, дорогой Дмитрий Дмитриевич, для защиты мира. Ваша музыка обошла пять частей света, и повсюду она подтверждала, что один человек может понять другого... Где бы мне ни доводилось побывать, я всюду встречал людей, которые вас знают и любят,— во Франции и в Китае, в Чили и в Польше, в Соединенных Штатах и в Италии... Вы всегда мужественно отстаивали то, что вы считаете правдой в искусстве, шли не по проторенному пути, не в обозе, а впереди, преодолевая многие и многие трудности».

Шостаковичу было что вспомнить, когда он читал «Люди, годы, жизнь», особенно ту часть, где говорилось о столь тяжелых для него 1946—1949 годах. Некоторые места, где речь шла о вреде, нанесенном советской культуре Ждановым, редакция вынуждена была смягчать, и все-таки несколько эпизодов, оставшихся в тексте, позволяли читателю вынести верное суждение об этой фигуре. Остался рассказ о том, как в 1947 году Жданов пригласил Эренбурга вместе с еще несколькими писателями и принялся уговаривать войти в редколлегию журнала «Знамя». «Я наотрез отказался,— вспоминал Эренбург,— и молча просидел до конца заседания — Жданов объяснял, какой должна быть советская литература». Уцелел и эпизод, повествующий о том, как Жданов поучал композиторов: «В начале 1948 года С. С. Прокофьев и Д. Д. Шостакович рассказывали, что Жданов пригласил композиторов и, желая показать, что такое „мелодичная музыка", не похожая на ошибочные произведения, что-то наигрывал на рояле».

Этот эпизод вызвал очень неожиданный и даже нервный отклик Дмитрия Дмитриевича; его письмо, отправленное по горячим следам, написано уже затрудненным почерком:

«19.II.1965 Москва

Многоуважаемый Илья Григорьевич!

В первом номере „Нового мира" за 1965 год прочитал я начало шестой книги „Люди, годы, жизнь". Читал я с большим волнением и восхищением, как и предыдущие книги.

Пишу я Вам не для того, чтобы Вы имели бы еще одного почитателя Вашего творчества, а по другому поводу.

На 123-й странице Вы пишете, что С. С. Прокофьев и я рассказывали о том, что А. А. Жданов, уча советских композиторов сочинять мелодичную и изящную музыку, садился за рояль и играл на таковом, объясняя, как это нужно делать (сочинять мелодичную и изящную музыку).

Этого ни Прокофьев, ни я не могли рассказывать, т. к. не было такого. Эту версию распространяли подхалимы-легендотворцы.

Мне самому приходилось быть свидетелем „творимой легенды".

„Какой потрясающий человек Андрей Александрович (так звали Жданова). Громя формалистов, выводя их на чистую воду, он садился за рояль и играл мелодичную и изящную музыку, а потом, для сравнения, что-нибудь из Прокофьева или Шостаковича. Те буквально не знали, куда деваться от стыда и позора. Ах, какой человек!" и далее, в таком же духе.

На самом деле так не было. Жданов к роялю не подсаживался, а обучал композиторов методами своего красноречия.

Если Ваша „Люди, годы, жизнь" будет переиздаваться, то замените Прокофьева и меня подхалимами-легендотворцами.

Шлю Вам самые лучшие пожелания.

Д. Шостакович».

Эренбург смог прочесть это письмо только через месяц; вот его ответ:

«Москва, 18 марта 1965

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,

только что вернулся из заграничной поездки и спешу ответить Вам.

Мне кажется, что о встрече с Ждановым мне рассказывал С. С. Прокофьев. Помню в его рассказе, как он задремал во время доклада, не знал, что говорит Жданов, спросил, кто выступает. Но я не очень доверяю своей памяти, и возможно, что об рояле я слышал не от него. Я охотно сниму эту фразу о рояле, поскольку Вы говорите, что она не соответствует действительности. Я в ней вижу не легенду подхалимов, а смешной рассказ о мало сведущем человеке, вздумавшем поучать больших художников, но повторяю — после Вашего письма — я сниму фразу о рояле, заменив ее Вашей: Жданов „обучал композиторов методами своего красноречия".

Желаю Вам всего доброго.

И. Эренбург».

Шостакович смотрел на эпизод со Ждановым, приведенный Эренбургом, из 1948 года, когда в «среднестатистическом» восприятии этот эпизод выглядел так: выдающийся интеллектуал и государственный деятель, приблизившийся по частоте цитирования к самому товарищу Сталину, не просто выступает против формализма в музыке, но, садясь к инструменту, может веско и убедительно показать, что хорошо, что плохо. И, с другой стороны,— нашкодившие композиторы-формалисты Прокофьев и Шостакович, не слишком понятные широким массам слушателей, композиторы, с разоблачением которых выступают их же коллеги, народные артисты Асафьев, Дунаевский, Захаров. Со временем, однако, этот эпизод стал восприниматься иначе и сегодня выглядит так: всемирно прославленные и всенародно известные композиторы, гордость нашей музыкальной культуры Прокофьев и Шостакович и, с другой стороны, некто Жданов, тренькающий пальцем на рояле,— смех да и только. Метаморфоза, поучительная для любителей администрирования в культуре...

Но Эренбург и тогда, в 1948 году, именно так воспринимал этот эпизод; од-

нако, прочитав письмо Шостаковича, не мог не почувствовать его неизжитую горечь, обиду, даже какую-то непрошедшую затравленность и, естественно, внес соответствующие исправления в текст.

Последнее письмо Шостаковича Эренбургу датировано 27 января 1966 года:

«Дорогой Илья Григорьевич! Горячо поздравляю Вас с 75-летием. Желаю Вам доброго здоровья, дальнейших больших творческих успехов. Крепко жму руку. Ваш Д. Шостакович».

«Дорогой Дмитрий Дмитриевич,— откликнулся Эренбург,— спасибо Вам большое за поздравление и добрые пожелания. Со своей стороны желаю Вам здоровья и хорошего настроения».

Это последние знаки внимания, которыми они обменялись. А через полтора года, 2 сентября 1967 года Шостакович прислал телеграмму семье Эренбурга: «Примите мое горячее сочувствие в постигшем вас тяжелом горе» и через два дня вместе со своим другом кинорежиссером Л. Арнштамом пришел в Центральный Дом литераторов, чтобы отдать последний долг Илье Григорьевичу...

Дважды за долгие десятилетия голоса муз Ильи Эренбурга и Дмитрия Шостаковича звучали в унисон на весь мир — в годы Великой Отечественной войны и в то время, которое, с легкой руки Эренбурга, повсеместно называют «оттепелью». В декабре 1962 года, когда над советским искусством вновь нависли тучи, Шостакович и Эренбург поставили свои подписи под обращением к Н. С. Хрущеву с призывом «остановить в области изобразительного искусства поворот к прошлым методам, который противен духу нашего времени».

Это было продиктовано чувством подлинной ответственности за судьбы советской культуры, ответственности, которой многим так не хватало в последующие годы.

Сдано в набор 27.04.89. Подписано к печати 2.06.89. М-25012. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Печать высокая. 18,2 + 2 вкл. = 18,55 усл. печ. л. 20,56 усл. кр.-отт. 24,62 + 2 вкл. = 24,90 уч.-изд. л. Тираж 675 000 экз. Заказ № 1987. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомиздате СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15